

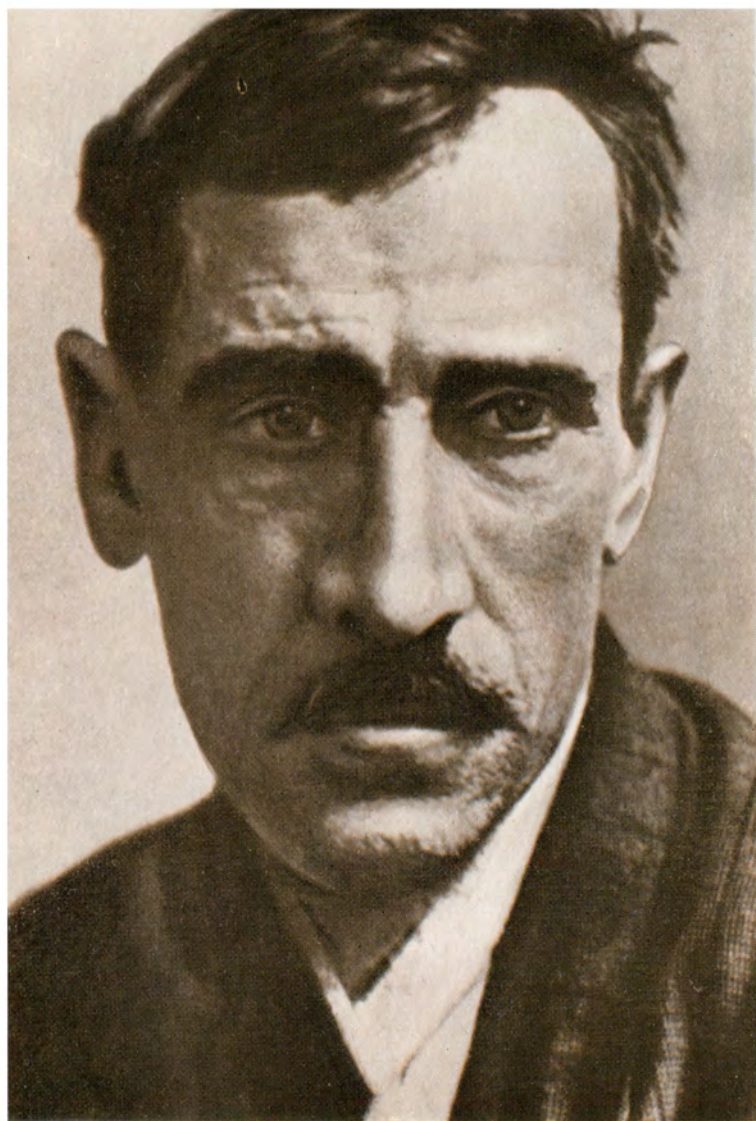


А. С. ГРИН

1



А. С. ГРИН



A. P. Turner

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Вл. Россельса.

Составление
В. Ковского, Вл. Россельса,
Е. Прохорова.

Иллюстрации художника
С. Бродского.

© Издательство «Правда». 1980.
(Составление. Примечания).

РЫЦАРЬ МЕЧТЫ

*Мечта разыскивает путь,—
Закрыты все пѹти;
Мечта разыскивает путь,—
Намечены пѹти;
Мечта разыскивает путь,—
Открыты ВСЕ пѹти.*

А. С. Грин «Движение». 1919.

1

С первых шагов Грина в литературе вокруг его имени стали складываться легенды. Были среди них безобидные. Уверяли, например, что Грин — отличнейший стрелок из лука, в молодости он добывал себе пищу охотой и жил в лесу на манер куперовского следопыта... Но ходили легенды и злостные.

Свою последнюю книгу, «Автобиографическую повесть» (1931), законченную в Старом Крыму, Грин намеревался предварить коротким предисловием, которое он так и озаглавил: «Легенда о Грине». Предисловие было написано, но не вошло в книгу, и сохранился от него лишь отрывок.

«С 1906 по 1930 год,— писал Грин,— я услышал от со-
братьев по перу столько удивительных сообщений о себе са-
мом, что начал сомневаться — действительно ли я жил так,
как у меня здесь (в «Автобиографической повести». — В. В.)
написано. Судите сами, есть ли основание назвать этот рас-
сказ «Легендой о Грине».

Я буду перечислять слышанное так, как если бы гово-
рил от себя.

Плавая матросом где-то около Зурбагана, Лисса и Сан-
Риоля, Грин убил английского капитана, захватив ящик ру-
кописей, написанных этим англичанином...

«Человек с планом», по удачному выражению Петра
Пильского, Грин притворяется, что не знает языков, он хо-
рошо знает их...»

Собратья по перу и досужие газетчики, вроде желтого
журналиста Петра Пильского, изоощрялись, как могли, в са-
мых нелепых выдумках о «загадочном» писателе.

Грина раздражали эти небылицы, они мешали ему жить, и он не раз пытался от них отбиться. Еще в десятых годах во вступлении к одной из своих повестей писатель иронически пересказывал версию об английском капитане и его рукописях, которую по секрету распространял в литературных кругах некий беллетрист. «Никто не мог бы поверить этому,— писал Грин.— Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги...»

Горька ирония этих строк!

Правда, что жизнь писателя была полна странствий и приключений, но ничего загадочного, ничего легендарного в ней нет. Можно даже сказать так: путь Грина был обычным, протоптанным, во многих своих приметах типичным жизненным путем писателя «из народа». Совсем не случайно некоторые эпизоды его «Автобиографической повести» так живо напоминают горьковские страницы из «Моих университетов» и «В людях».

Жизнь Грина была тяжела и драматична; она вся в тычках, вся в столкновениях со свинцовыми мерзостями царской России, и, когда читаешь «Автобиографическую повесть», эту исповедь настрадавшейся души, с трудом, лишь под давлением фактов, веришь, что та же рука писала заражающие своим жизнелюбием рассказы о моряках и путешественниках, «Алые паруса», «Блестящий мир»... Ведь жизнь, кажется, сделала все, чтобы очерствить, ожесточить сердце, смять и развеять романтические идеалы, убить веру во все лучшее и светлое.

Александр Степанович Гринеvский (Грин — его литературный псевдоним¹) родился 23 августа 1880 года в Слободском, уездном городке Вятской губернии, в семье «вечного поселенца», конторщика пивоваренного завода. Вскоре после рождения сына семья Гринеvских переехала в Вятку. Там и прошли годы детства и юности будущего писателя. Город

¹ Один из критиков не так давно «догадался», что писатель укоротил свою фамилию для того, чтобы она звучала на «заграничный» лад. Грин объяснял происхождение своего псевдонима по-другому. «Грин» — так коротко окликал ребята Гринеvского в школе. «Грин-блин» — была одна из его детских кличек.

Именем «А. С. Грин» подписывал писатель и ранние свои рассказы, написанные в бытовой, реалистической манере. В них действие происходит не в романтических Зурбагане или Лиссе, появившихся в произведениях Грина позже, а в Киеве, Петербурге, Пензе, на Урале.

Литературный псевдоним был необходим писателю. Появись в печати подлинная фамилия, его сразу же водворили бы в места не столь отдаленные. Высланный в мае 1906 года в г. Туринск, Тобольской губернии, на четыре года, «поднадзорный Александр Гринеvский» 11 июня 1906 года бежал из ссылки и жил в Петербурге по чужому паспорту.

дремучего невежества и классического лихоимства, так красочно описанный в «Былом и думах», Вятка к девяностым годам мало в чем изменилась с той поры, как отбывал в ней ссылку Герцен.

«Удушливая пустота и немота», о которых писал он, царили в Вятке и в те времена, когда по ее окраинным пустырям бродил смуглый мальчуган в серой заплатанной блузе, в уединении изображавший капитана Гаттераса и Благородное Сердце. Мальчик слыл странным. В школе его звали «колдуном». Он пытался открыть «философский камень» и производил всякие алхимические опыты, а начитавшись книги «Тайны руки», принялся предсказывать всем будущее по линиям ладони. Домашние попрекали его книгами, бранили за своеволие, зывали к здравому смыслу. Грин говорил, что разговоры о «здравом смысле» приводили его в трепет сызмальства и что из Некрасова он тверже всего помнил «Песню Еремушке» с ее гневными строчками:

— В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

«Пошлый опыт», который некрасовская нянечка вдалбливает в голову Еремушке («Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить»...), вдалбливали и Грину. Очень похожую песню пела его мать.

«Я не знал нормального детства,—писал Грин в своей «Автобиографической повести».— Меня в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение, звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих. Уже больная, измученная домашней работой мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!
.....
Философствуй тут как знаешь
Иль как хочешь рассуждай,
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее...»

Жутко читать эти строки. Но так было...

Грина потрясала чеховская «Моя жизнь» со все решительно объясняющим ему подзаголовком «Рассказ провинциала». Грин считал, что этот рассказ лучше всего передает атмосферу провинциального быта 90-х годов, быта глухого города. «Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке»,— говорил писатель. Много из биографии про-

винциала Мисаила Полознева, вознамерившегося жить «не так, как все», было уже ведомо, было выстрадано Грином. И в этом нет ничего удивительного. Чехов запечатлел приметы эпохи, а юноша Гриневский был ее сыном. Интересно в этом отношении признание писателя о своих ранних литературных опытах.

«Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций,— рассказывал Грин.— Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве,— точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик...»

Можно вполне поверить, что юный поэт писал стихи, отталкиваясь более всего от стихов же, невольно подражая тому, что обычно печаталось. Однако и жизненная обстановка, его окружавшая, тоже была типично «чеховская», рано старящая душу. В удушливой пустоте и немоте вятского быта легко рождались стихи о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве.

Юноша искал спасения в другой, «томительно желанной им действительности»: в книгах, лесной охоте. С отроческих лет он знал уже не только Фенимора Купера, Майн Рида, Густава Эмара и Луи Жаколио, но и всех русских классиков. Увлекался романами Виктора Гюго и Диккенса, стихами и новеллами Эдгара По, читал научные книги. Но что более всего манило мальчика, о чем он мечтал упорно и страстно,—так это море, «живописный труд мореплавания». Кто скажет, как зарождались эти грезы о вольном ветре, о синих просторах и белых парусах в душе мальчугана, взраставшего в сухопутной глухой Вятке, откуда, как говорится, хоть три года скачи, ни до какого моря не доскачешь? Легко догадаться, что свою роль тут сыграли книги Жюль Верна, Стивенсона, морские рассказы Станюковича, как раз тогда печатавшиеся в газетах и журналах. Впрочем, вот другой пример. Новиков-Прибой, как известно, родился и рос тоже не у моря, а в медвежьем углу Тамбовщины, где чуть ли не единственной книгой был псалтырь. Но о море, морской службе мальчик Новиков мечтал столь же страстно и целеустремленно. И в конце концов он добился своего: пошел не в монастырские служки, как того желали родители, а на флот.

Книги книгами, но юные сердца часто поворачивает сама жизнь, сила живого примера. Судьбу будущего автора «Соленой купели» и «Цусимы» повернул тот веселый, ни бога, ни черта не боящийся матрос, что однажды встретился деревенскому мальчишке на лесной тамбовской дороге. Новиков-Прибой описал этот случай в автобиографическом рассказе, который так и назван — «Судьба».

Судьбу Грина поворачивали не только книги. Во «флотчиках», изредка появлявшихся в городе, вятские обыватели видели опасных смутьянов, нарушителей спокойствия. Именно это и тянуло к ним романтически настроенного юношу. Уже в самой невиданно белоснежной форме, в беско-

зырке с лентами, в полосатой тельняшке чудился ему вызов всему сонному, неподвижному, заскорузлому, «вятскому». Грин рассказывает в автобиографии, что, увидев впервые на вятской пристани двух настоящих матросов, штурманских учеников — на ленте у одного было написано «Очков», на ленте у другого — «Севастополь», — он остановился и смотрел как зачарованный на гостей из иного, таинственного и прекрасного мира. «Я не завидовал, — пишет Грин. — Я испытывал восхищение и тоску».

Летом 1896 года, тотчас же после окончания городского училища, Грин уехал в Одессу, захватив с собой лишь ивовую корзинку со сменой белья да акварельные краски, полагая, что рисовать он будет «где-нибудь в Индии, на берегах Ганга...» Весьма показательная для характера Грина деталь! Рассказав в своей «Автобиографической повести» про то, как он, забывая обо всем на свете, упивался книгами, героической многокрасочной жизнью в тропических странах, писатель иронически добавляет: «Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать места матроса на пароходе». Мальчик из Вятки, отправляющийся на берега Ганга в болотных сапогах до бедер и соломенной «поповской» шляпе, с базарной кошелкой и набором акварельных красок под мышкой, — и в самом деле представлял собою фигуру живописную. Познания, почерпнутые из книг, причудливо переплетались в его юной голове с самыми странными «вятскими» представлениями о действительности. Он был уверен, например, в том, что ступеньки железнодорожного вагона предназначены для того, чтобы поезд на них, как на полозьях, ходил по снегу; паровоз, который он впервые увидел во время своего путешествия в Одессу, показался ему маленьким, невзрачным, — он представлял его с колокольною высотой. Жизнь надо было познавать как бы заново. И тяжки были ее уроки.

Оказалось, что «Ганг» в Одессе так же недостижим, как и в Вятке. Поступить на пароход даже каботажного плаванья было непросто. И тут требовались деньги, причем немалые, чтобы оплачивать харчи и обучение. Бесплатно учеников на корабли не брали, а Грин явился в Одессу с шестью рублями в кармане.

Удивляться надо не житейской неопытности Грина, не тем передрыгам, которые претерпевает шестнадцатилетний мечтатель, попавший из провинциальной глухомани в шумный портовый город, а тому поистине фанатическому упорству, с каким пробивался он к своей мечте — в море, в матросы. Худенький, узкоплечий, он закалял себя самыми варварскими средствами, учился плавать за волнорезом, где и опытные пловцы, бывало, тонули, разбивались о балки, о камни. Голодный, оборванный, он в поисках «вакансии» неотступно обходил все стоящие в гавани баржи, шхуны, пароходы. И порой добивался своего. Первый раз он плывал на транспортном судне «Платон», совершавшем круговые рейсы по черноморским портам. Тогда он впервые увидел берега Кавказа и Крыма.

Дореволюционные газетчики, строя догадки, утверждали, что автор «Острова Рено» и «Капитана Дюка» — старый морской волк, который обошел все моря и океаны. На самом же деле Грин плавал матросом совсем недолго, а в заграничном порту был один-единственный раз. После первого или второго рейса его обычно списывали. Чаще всего за непокорный нрав.

Не только в книгах, но и в жизни искал юноша необычного, «живописного», героического. А если не находил, то... выдумывал. Очень характерные в этом смысле эпизоды приводит Грин в одном автобиографическом очерке.

«Когда еще юношей я попал в Александрию,— пишет он,— служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Доде, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала: «Селям алейкум». Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам — я не знаю до сих пор.

Равным образом, когда по возвращении с Урала отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему «творимую легенду» приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам... Затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, поглядывая на меня, он внушительно повторял: «Да-да. Не знаю, что из тебя выйдет»

В оправдание этих «творимых легенд» можно сказать лишь то, что мыл золото и ходил в плавание матросом «на все» шестнадцатилетний мальчик-фантазер. Жажда необычного, громкого, далекого от «тихих будней» окурковской Руси, изведанных им сполна, вела его по каменистым дорогам, бросала на горячие пески, манила в чащи лесов, казавшиеся таинственными... Скитаясь по России, он перепробовал самые различные профессии. Грузчик и матрос «из милости» на случайных пароходах и парусниках в Одессе, банщик на станции Мураши, землекоп, маляр, рыбак, газильщик нефтяных пожаров в Баку, снова матрос на волжской барже пароходства Булычов и К^о, лесоруб и плотогон на Урале, золотоискатель, переписчик ролей и актер «на выходах», писец у адвоката. Впоследствии Грин вспоминал, что он «в старые времена... в качестве «пожирателя шпаг» ходил из Саратова в Самару, из Самары в Тамбов и так да-

лее» Если даже «пожиратель шпаг» — метафора, то метафора эта красноречива, она выбрана не случайно. Его хождение в люди само напоминает легенду, в которой физически слабый человек обретает богатырскую силу в мечте, в неизбывной вере в чудесное.

Весной 1902 года юноша очутился в Пензе, в царской казарме. Сохранилось одно казенное описание его наружности той поры. Такие данные, между прочим, приводятся в описании:

Рост — 177,4.

Глаза — светло-карие.

Волосы — светло-русые.

Особые приметы: на груди татуировка, изображающая шхуну с бушпритом и фок-мачтой, несущей два паруса...

Искатель чудесного, бредящий морем и парусами, попадает в 213-й Оровайский резервный пехотный батальон, где царили самые жестокие нравы. Через четыре месяца «рядовой Александр Степанович Гриневский» бежит из батальона, несколько дней скрывается в лесу, но его ловят и приговаривают к трехнедельному строгому аресту «на хлебе и воде».

Строптивного солдата примечает некий вольноопределяющийся и принимается усердно снабжать его эсеровскими листовками и брошюрами. Грина тянуло на волю, и его романтическое воображение пленила сама жизнь «нелегального», полная тайн и опасностей.

Пензенские эсеры помогли ему бежать из батальона вторично, снабдили фальшивым паспортом и переправили в Киев. Оттуда он перебрался в Одессу, а затем в Севастополь. Хочется привести несколько строчек из «Автобиографической повести», строчек, очень характерных для Грина, для его отношения к своей нелегальной деятельности. С явочным паролем «Петр Иванович кланялся», с чужим паспортом на имя Григорьева приезжает Грин в Одессу для делового свидания с эсером Геккером:

«Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя «Петр Иванович кланялся» Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета. Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры — предложения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального «Алексея Длинновязого» (кличка, которой окрестил меня «Валериан» — Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя нестати имена и давая опрометчивые характеристики...»

Грин оставался тем же фантазером, каким он был, когда рассказывал матросам о своих небывалых приключениях в египетской Александрии или отцу о похождениях на золотых приисках Урала. Понятно, пропагандистская деятельность Грина в Севастополе никак не походила на «детскую игру». За эту «игру» он поплатился тюрьмой и ссылкой. И, однако, оттенок иронии сквозит каждый раз, как

только он заговаривает в своей повести о барышне «Киске», игравшей главную роль в севастопольской организации. «Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя», — насмешливо отмечает писатель. Об учителе он прямо говорит, что тот был краснобаем, ничего революционного не делал, а только пугал всех тем, что при встречах на улице громко возглашал: «Надо бросить бомбу!»

В противовес эсеровским краснобаям встает в повести фигура матросского вожака, сормовского рабочего, которого называли Спартак. «На какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы», — замечает Грин. Спартак пошел в сторону социал-демократов. С гордостью вспоминает писатель о тех четырех рабочих социал-демократах, что при объявлении амнистии в октябре 1905 года решительно отказались выходить из тюрьмы, пока не выпустят на свободу «студента», то есть Грина.

«Адмирал согласился освободить всех, кроме меня», — пишет Грин. — Тогда четыре рабочих с.-д., не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей камере, и никакие упрашивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму».

Имя Гриневского достигло высших петербургских сфер. Военный министр Куропаткин 19 января 1904 года доносил министру внутренних дел Плеве, что в Севастополе был задержан «весьма важный деятель из гражданских лиц, называвший себя сперва Григорьевым, а затем Гриневским...»

В архивах найдены и частично опубликованы материалы судебных дел Грина. Они уточняют некоторые факты, известные нам по «Автобиографической повести». Например, в ее заключительной главе, «Севастополь», Грин писал, что при аресте 11 ноября 1903 года он отказался давать показания: «единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я беглый солдат...» Протоколы допросов сохранились, и из них явствует, что ни на первом, ни на втором допросе Грин не называл своего настоящего имени, он «упорно отказывался открыть свое имя и звание», пытался бежать из тюрьмы, сидел в карцере, объявил голодовку («...перестал принимать пищу и добровольно голодал в течение 4-х суток», — так доносили об этом начальству тюремщики). «В общем, поведение Григорьева было вызывающим и угрожающим», — сокрушенно заключал один из протоколов допроса помощник прокурора.

Небезынтересен список литературы, изъятой полицией при обыске севастопольской квартиры Грина; среди книг были социал-демократические издания: «Бебель против Бернштейна», «Политический строй и рабочие», «Борьба ростовских рабочих с царским правительством» и другие. Грин, как и его друг, матросский вожак Спартак, искал истину... «Отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму: «Подай прошение о помиловании». Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить

так», — писал Грин. В следственных бумагах имеется существенное дополнение к этим строкам. Не так прост был старик Гриневский. Вятские жандармы сообщили в Севастополь, что отец Гриневского на допросах дает «уклончивые ответы» и надежды на него «не оправдались».

После освобождения из севастопольского каземата Грин уезжает в Петербург и там вскоре опять попадает в тюрьму. Полиция спешно хватала всех «амнистированных» и без суда и следствия отправляла их в ссылку. Грина высылают на четыре года в г. Туринск, Тобольской губернии. Но уже на другой день после прибытия туда «этапным порядком» Грин бежит из ссылки и добирается до Вятки. Отец достает ему паспорт недавно умершего в больнице «личного почетного гражданина» А. А. Мальгинова; с этим паспортом Грин возвращается в Петербург, чтобы спустя несколько лет, в 1910 году, опять отправиться в ссылку, на этот раз в Архангельскую губернию. Тюрьмы, ссылки, вечная нужда... Недаром говорил Грин, что его жизненный путь был усыпан не розами, а гвоздями...

Отец рассчитывал, что из его старшего сына — в нем учителя видели завидные способности! — выйдет непременно инженер или доктор, потом он соглашался уже на чиновника, на худой конец, на писаря, жил бы только «как все», бросил бы «фантазии»... Из его сына вышел писатель, «сказочник странный», как назвал его поэт Виссарион Саянов.

Читая автобиографические произведения писателей, пробивавшихся в те времена в литературу из «низов», нельзя не уловить в них одной общей особенности: талант, поэтический огонек часто замечали в юной душе не записные литераторы, а простые, добрые души, какие встречаются человеку на самом тяжком жизненном пути. На гриновском пути тоже встречались те добрые души. С особой любовью вспоминал Грин об уральском богатые-лесорубе Илье, который обучал его премудростям валки леса, а зимними вечерами заставлял рассказывать сказки. Жили они вдвоем в бревенчатой хижине под старым кедром. Кругом дремучая чащоба, непроходимый снег, волчий вой, ветер гудит в трубе печурки... За две недели Грин исчерпал весь свой богатый запас сказок Перро, братьев Гримм, Андерсена, Афанасьева и принялся импровизировать, сочинять сказки сам, воодушевляясь восхищением своей «постоянной аудитории». И, кто знает, может быть, там, в лесной хижине, под вековым кедром, у веселого огня печурки, и родился писатель Грин, автор сказочных «Алых парусов»? Ведь юному таланту важно, чтобы в него поверили, а лесоруб Илья верил сказкам Грина, восхищался ими.

В статье «О том, как я учился писать» Горький приводит письмо одной своей юной корреспондентки, которая наивно сообщала ему, что у нее появился писательский талант, причиной которого послужила «томительно бедная жизнь». Горький замечает по поводу этих строк, что пока это, конечно, еще не талант, а лишь желание писать, но если бы у его корреспондентки действительно появился талант, — «она, вероятно, писала бы так называемые «роман-

тические» вещи, старалась бы обогатить «томительно бедную жизнь» красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть...» Вряд ли можно сомневаться в том, что желание писать появилось у Грина по той же причине, какая была у горьковской юной корреспондентки. Грин стремился обогатить, украсить «томительно бедную жизнь» своими «красивыми выдумками».

Но так ли уж далеки его романтические вымыслы от реальности, от жизни? Герои рассказа Грина «Акварель» — безработный пароходный кочегар Классон и его жена прачка Бетси — нечаянно попадают в картинную галерею, где обнаруживают этюд, на котором, к их глубокому изумлению, они узнают свой дом, свое неказистое жилище. Дорожка, крыльцо, кирпичная стена, поросшая плющом, окна, ветки клена и дуба, между которыми Бетси протягивала веревки, — все было на картине то же самое... Художник лишь бросил на листву, на дорожку полосы света, подцветил крыльцо, окна, кирпичную стену красками раннего утра, и кочегар и прачка увидели свой дом новыми, просветленными глазами: «Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год», — мелькнуло у них. Классон выпрямился. Бетси запахла на истощенной груди платок...» Картина неведомого художника расправила их скомканные жизнью души, «выпрямила» их.

Гриновская «Акварель» вызывает в памяти знаменитый очерк Глеба Успенского «Выпрямила», в котором статуя Венеры Милосской, однажды увиденная сельским учителем Тяпушкиным, озаряет его темную и бедную жизнь, дает ему «счастье ощущать себя человеком». Это ощущение счастья от соприкосновения с искусством, с хорошей книгой испытывают многие герои произведений Грина. Вспомним, что для мальчика Грэя из «Алых парусов» картина, изображающая бушующее море, была «тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя». А небольшая акварель — безлюдная дорога среди холмов, — названная «Дорогой никуда», поражает Тиррея Давенанта. Юноша, полный радужных надежд, противится впечатлению, хотя злоедающая акварель и «притягивает, как колодец»... Как искра из темного камня, высекается мысль: найти дорогу, которая вела бы не никуда, а «сюда», к счастью, что в ту минуту пригрелось Тиррею.

И, может быть, точнее сказать так: Грин верил, что у каждого настоящего человека теплится в груди романтический огонек. И дело только в том, чтобы его раздуть. Когда гриновский рыбак ловит рыбу, он мечтает о том, что поймает большую рыбу, такую большую, «какую никто не ловил». Угольщик, наваливающий корзину, вдруг видит, что его корзина зацвела, из обожженных им сучьев «поползли почки и брызнули листьями»... Девушка из рыбацкого поселка, наслушавшись сказок, грезит о необыкновенном моряке, который приплывет за нею на корабле с алыми парусами. И так сильна, так страстна ее мечта, что все сбывается. И необыкновенный моряк и алые паруса.

«Писатель N занимает особое место в литературе...» Эта часто употребляемая в критике, до лоска стертая, штампованная фраза очень удобна: она приложима едва ли не ко всем случаям и судьбам. Ведь каждый талантливый писатель чем-то отличается от других. У него свой круг тем и образов, своя манера письма, а стало быть, и свое, особое место в литературе.

Спорить против этой обиходной истины никто не станет, пока ее не опрокинет сама жизнь. А такое порою случается. Приходит в литературу автор, настолько необычный, что в сравнении с ним иные писатели — даже куда более значительные — кажутся не столь уж своеобразными. Но тогда как раз ему, из ряда вон выходящему, места и не находится. Критики не знают, что с этим писателем делать, куда его отнести, на какую полочку пристроить. В 1914 году Грин писал В. С. Миролюбову, редактору «Нового журнала для всех», где он печатал свои рассказы:

«Мне трудно. Нехотя, против воли, признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен...»

Странен и непривычен был Грин в обычном кругу писателей-реалистов, бытовиков, как их тогда называли. Чужим он был среди символистов, акмеистов, футуристов... «Трагедия плоскогорья Суан» Грина, вещь, которую он оставил в редакции условно, предупредив, что она может пойти, а может и не пойти, вещь красивая, но слишком экзотическая...» Это строки из письма Валерия Брюсова, редактировавшего в 1910—1914 годах литературный отдел журнала «Русская мысль». Они очень показательны, эти строки, звучащие, как приговор. Если даже Брюсову, большому поэту, чуткому и отзывчивому на литературную новизну, гриновская вещь показалась хотя и красивой, но слишком экзотической, то каково же было отношение к произведениям странного писателя в других российских журналах?

Между тем для Грина его повесть «Трагедия плоскогорья Суан» (1911) была вещью обычной: он так писал. Вторгая необычное, «экзотическое» в обыденное, примелькавшееся в буднях окружающей его жизни, писатель стремился резче обозначить великолепие ее чудес или чудовищность ее уродства. Это было его художественной манерой, его творческим почерком.

Моральный урод Блюм, главный персонаж повести, мечтающий о временах, «когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет завещание», не являлся особенно литературной новинкой. Человеконенавистники, доморощенные нищеедцы в ту пору, «в ночь после битвы» 1905 года, сделались модными фигурами. «Революционеру по случаю», Блюму родственны по своей внутренней сущности и террорист Алексей из «Тьмы» Леонида Андреева, возжелавший, «чтобы все огни погасли», и пресловутый циник Санин из одноименного ро-

мана М. Арцыбашева, и мракобес и садист Триродов, коего Федор Сологуб в своих «Навях чарах» выдавал за социал-демократа.

«Началось дело с восстановления доброго имени (с реабилитации) Иуды Искарота,— саркастически писала «Правда» в 1914 году.— Рассказ понравился интеллигенции, уже готовой в душе на иудино дело. После этого большим грязным потоком полилась иудина беллетристика...» Грин, конечно, знал эту беллетристику, знал рассказ Леонида Андреева «Иуда Искарот» (1907), ставший ее позорным символом. Но в отличие от потока «иудиной беллетристики» гриновская «Трагедия плоскогорья Суан» не реабилитировала, а, наоборот, изобличала Иуду. Писатель изображает Блюма черным злодеем, в котором выгорело все человеческое, даже умирает Блюм, как некое пресмыкающееся, «сунувшись темным комком в траву...» Побеждает не осатанелый мизантроп, а поэт и охотник Тинг и его подруга Ассунта, люди, близкие к революционному подполью, побеждает «грозная радость» жизни, за которую нужно бороться.

«— Грозная радость, Ассунта... Я не хочу другой радости... Грозная,— повторил Тинг.— Иного слова нет и не может быть на земле...» Таким итоговым словом заканчивается повесть. И то, что ее события разворачиваются не в сумрачном Петербурге, а на экзотическом плоскогорье Суан, то, что действуют в ней Тинг и Ассунта, а не, скажем, Тимофей и Анна,— не могло обмануть читателей. Они угадывали социальный смысл экзотической гриновской вещи, ее современное «петербургское» звучание...

Сюжеты Грина определялись временем. При всей экзотичности и причудливости узоров художественной ткани произведений писателя во многих из них явственно ощущается дух современности, воздух дня, в который они писались. Черты времени иной раз так приметно, так подчеркнуто выписываются Грином, что у него, признанного фантаста и романтика, они кажутся даже неожиданными. В начале рассказа «Возвращенный ад» (1915) есть, например, такой эпизод: к известному журналисту Галиену Марку, одиноко сидящему на палубе парохода, подходит с явно враждебными намерениями некий партийный лидер, «человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком...». После такой портретной характеристики уже догадываешься, какую примерно партию представляет сей лидер. Но Грин считал нужным сказать об этой партии поточнее (рассказ ведется в форме записок Галиена Марка).

«Я видел, что этот человек хочет ссоры,— читаем мы,— и знал — почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца».

Что это за партия Осеннего Месяца, мог ответить в то время любой читатель. Одна такая партия была в России — так называемый «Союз 17 октября». Сколотили его крупные помещики и промышленники после пресловутого царского

манифеста о «свободах» 17 октября 1905 года, и называли их октябристами. В своей статье «Политические партии в России» (1912) Ленин писал: «Партия октябристов — главная контрреволюционная партия помещиков и капиталистов. Это — руководящая партия III Думы...» Вот такая это была партия Осеннего Месяца, деятельность которой изобличал гринковский герой, журналист Галиен Марк. Казалось бы, все ясно. Однако Грин идет еще дальше, он хочет, чтобы читатели знали, какой именно деятель партии Осеннего Месяца искал ссору с журналистом.

«Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье», — читаем мы дальше. Гуктас... Гуктас... Фамилия «души партии» октябристов была Гучков. Вот в какую крупную птицу целился писатель! Этот прямой экскурс Грина в политическую жизнь страны лишь на первый взгляд может показаться неожиданным. Ведь «Трагедия плоскогорья Суан» тоже является только слегка зашифрованным эскизом жизни России периода реакции. Человеконенавистник Блюм взят из действительности. Каждому, кто читал тогда «Трагедию плоскогорья Суан» (а ее все же напечатал Брюсов в 7-м номере «Русской мысли» за 1912 год), было совершенно понятно, что Блюм — эсеровский террорист. Его предварительно готовили, как он говорит, «пичкали чахоточными брошюрами». Но Блюм не признает никаких теорий: «Они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы... Разве дело в упитанных каплунах или генералах?.. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены...» Но кто же останется на земле? — спрашивают у Блюма.

«— Горсть бешеных! — хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи. — Они будут хлопать успокоенными глазами и кусать друг друга острыми зубками. Иначе невозможно».

«Бешеные», подобные Блюму, порой возглавляли эсеровские акты и «экссы».

«Сказочник странный»... Его сказки подчас похожи на памфлеты. Романтик в каждой жилочке своих произведений, в каждой метафоре, — таким мы привыкли представлять себе Грина. А между тем...

«Звали его Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается: и так живет...»

Откуда это? Чьи это строчки? Серафимович? Свирский с его «Рыжином»? Гиляровский с его «Трущобными людьми»? Можно гадать сколько угодно и ни за что не догадаешься, что это... Грин. Такими строками о кудластом Евстигнее начинается его ранний рассказ «Кирпич и музыка».

Литературное наследие Грина гораздо шире, многообразнее, чем это можно предположить, зная писателя лишь по его романтическим новеллам, повестям и романам. Не только в юности, но и в пору широкой известности Грин наряду с прозой писал лирические стихи, стихотворные фельетоны

и даже басни. Наряду с произведениями романтическими он печатал в газетах и журналах очерки и рассказы бытового склада.

Он и начинал свой литературный путь как «бытовик», как автор рассказов, темы и сюжеты которых он брал непосредственно из окружающей его действительности. Его переполняли жизненные впечатления, вдосталь накопленные в годы странствий по белу свету. Они настоятельно требовали выхода и ложились на бумагу, кажется, в их первоначальном облике, нисколько не преобразованные фантазией; как случилось, так и писалось. В «Автобиографической повести», на тех ее страницах, где Грин описывает дни, проведенные им на уральском чугунолитейном заводе, читатель найдет те же картины неприглядных нравов рабочей казармы, что и в рассказе «Кирпич и музыка», совпадают даже некоторые ситуации и подробности. А в напарнике юноши Гриневского, угрюмом и злом «дюжем мужике», вместе с которым он с утра до поздней ночи («75 копеек поденно») просеивал уголь в решетках, можно без труда узнать прототип кудластого и злого, черного от копоти Евстигнеева.

Рассказ о Евстигнееве входил в первую книгу писателя «Шапка-невидимка» (1908). В ней напечатаны десять рассказов, и почти о каждом из них мы вправе предположить, что он в той или иной степени списан с натуры. На своем непосредственном опыте познал Грин безрадостное житье-бытье рабочей казармы, сидел в тюрьмах, по месяцам не получая весточки с воли («На досуге»), ему были знакомы перипетии «таинственной романтической жизни» подполья, как это изображено в рассказах «Марат», «Подземное», «В Италию», «Карантин»... Такого произведения, которое бы называлось «Шапкой-невидимкой», в сборнике нет. Но заглавие это выбрано, разумеется, не случайно. В большей части рассказов изображены «нелегалы», живущие, на взгляд автора, как бы под шапкой-невидимкой. Отсюда название сборника. Сказочное заглавие на обложке книжки, где жизнь показана совсем не в сказочных поворотах... Это очень показательный для раннего Грина штрих...

Конечно же, впечатления бытия ложились у Грина на бумагу не натуралистически, конечно же, они преобразовались его художественной фантазией. Уже в первых его сугубо «прозаических», бытовых вещах прорастают зерна романтики, появляются люди с огоньком мечты. В том же кудластом, ожесточившемся Евстигнееве разглядел писатель этот романтический огонек. Его зажигает в душе галаха музыка. Образ романтического героя рассказа «Марат», открывающего «Шапку-невидимку», был, несомненно, подсказан писателю обстоятельствами известного «каляевского дела». Слова Ивана Каляева, объяснявшего судьям, почему он в первый раз не бросил бомбу в карету московского губернатора (там сидели женщина и дети), почти дословно повторяет герой гриновского рассказа. Произведений, написанных в романтико-реалистическом ключе, в которых действие происходит в российских столицах или в каком-нибудь окурковском уезде, у Грина немало, не на один том. И, пойдя Грин по этому, уже

изведенному пути, из него, безусловно, выработался бы отличный бытописатель. Только тогда Грин не был бы Грином, писателем оригинальнейшего склада, каким мы знаем его теперь.

Ходовая формула «Писатель N занимает особое место в литературе» изобретена в незапамятные времена. Но она могла бы быть вновь открыта во времена гриновские. И это был бы как раз тот случай, когда стандартная фраза, серый штамп наливаются жизненными соками, находят свой первоизданный облик, обретают свой истинный смысл. Потому что Александр Грин занимает в русской литературе подлинно свое, особое место. Нельзя вспомнить сколько-нибудь схожего с ним писателя (ни русского, ни зарубежного). Впрочем, дореволюционные критики, а позже и рапповские упорно сравнивали Грина с Эдгаром По, американским романтиком XIX века, автором популярной в пору гриновской юности поэмы «Ворон», каждая строфа которой заканчивается безысходным «Nevermore!» («Никогда!»).

Юный Грин знал наизусть не только «Ворона». По свидетельству современников, Эдгар По был его любимым писателем. Фантазию юного мечтателя возбуждали произведения автора «Ворона» и его биография. В ней видел Грин черты своей жизни, черты своей горькой, бесприютной юности в «страшном мире» старой, царской России, черты борения своей мечты с жестокой действительностью. Широкой и громкой была тогда популярность Э. По. Стихотворения и «страшные новеллы» американского фантаста в то время переводились и печатались во множестве. Их высоко ценили такие разные писатели, как А. Блок и А. Куприн. Стихи Блока, посвященные «безумному Эдгару» («Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...»), не сходили с уст литературной молодежи. Куприн говорил, что «Конан Дойл, запленивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки уместается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляр, в небольшое гениальное произведение Э. По «Преступление в улице Морг»...»

Разделяя тут общее мнение, Грин считал автора «Ворона» и «Преступления в улице Морг» превосходным поэтом, блестящим мастером авантюрного и фантастического жанров, нередко пользовался его стиливыми приемами, учился у него изображать фантастическое в реальных подробностях, виртуозно владеть сюжетом. Однако на этом их сходство кончается. Сюжеты у них, как правило, разные. Возьмем, к примеру, один из самых ранних романтических рассказов Грина — «Происшествие в улице Пса» (1909). Конечно же, не случайно, не наугад выбрано это похожее заглавие. А написан он о другом. В нем нет хитросплетенной детективной интриги, нет столь характерного для Э. По натуралистического интереса к «страшному». Совсем иное интересует молодого писателя. Его волнует нравственный смысл происшествия на улице Пса. Виновница уличного самоубийства Александра Гольца, некая смуглянка «с капризным изгибом бровей», появляется и исчезает на первой же странице. Далее речь идет о самом Гольце, этом чародее, который умел

совершать чудеса, но не смог затоптать в своем сердце любовь:

«От живого держались на почтительном расстоянии, к мертвому бежали, сломя голову. Так это человек просто? Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась. Из-за юбки? Тьфу! Человек, встревоживший целую улицу, человек, бросивший одних в наивный восторг, других — в яростное негодование... вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит,—этот человек умер из-за одной юбки?! Ха-ха!»

Обыватели расходились удовлетворенными. Но, подобно тому, «как в деревянном строении затаптывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль: «А может быть — может быть — ему было нужно что-нибудь еще?»

Гриновским героям всегда нужно «что-нибудь еще», что никак не укладывается в рамки обывательской нормы. Когда Грин печатал свои первые романтические произведения, нормой была «санинщина», разгул порнографии, забвение общественных вопросов.

«Проклятые вопросы»,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе,—

писал сатирический поэт тех дней Саша Черный. Герой гриновского рассказа, умерший «из-за юбки», представлялся старомодным и смешным не только обитателям улицы Пса.

Тогда еще начинающий автор, из-за лютой нужды нередко печатавшийся в изданиях бульварного пошиба вроде какого-нибудь «Аргуса», или «Синего журнала», Грин умел оберегать свои рассказы от тлетворной «моды». Он через всю свою трудную жизнь пронес целомудренное отношение к женщине, благоговейное удивление перед силой любви. Но не той любви, гибельной, погребальной, мистической, перед которой склонялся Э. По, утверждавший, что «смерть прекрасной женщины есть, бесспорно, самый поэтический в мире сюжет...» А любви живой, земной, полной поэтического очарования и... дьявольского упрямства. Даже в воздушной, сказочной «бегущей по волнам» Фрези Грант—и в той, по убеждению писателя, «сидел женский черт». Иной раз, как в «Пропиществе в улице Пса», он коварен и жесток. Но чаще всего у Грина это добрый «черт», спасительный, вселяющий в душу мужество, дающий радость.

Если отыскивать причины, почему ко всему гриновскому так увлеченно тянется наша молодежь, одной из первых причин будет та, что Грин писал о любви, о любви романтической, чистой и верной, перед которой распахнута юная душа. Подвиг во имя любви! Разве не о нем мечтает каждый, кому семнадцать?

Стоит сравнить любой из светлых, жизнеутверждающих рассказов Грина о любви, написанных им еще в дореволю-

ционную пору, скажем, «Позорный столб» (1911) или «Сто верст по реке» (1916), с любой из «страшных новелл» американского романтика, чтобы стало совершенно очевидно, что романтика у них разная и они сходны между собой, как лед и пламень.

«Пред Гением Судьбы пора смириться, сör», — наставляет «безумный Эдгар» поэт в блоковском стихотворении. Смирение от безнадежности, упоение страданием, покорность перед неотвратимостью Рока владеют смятенными душами фантастических персонажей Э. По. На кого же из них хоть сколько-нибудь похожи Тинг и Ассунта, упоенные «грозной радостью» бытия? Или бесстрашные в своей любви Гоан и Дэзи («Позорный столб»)? Или Нок и Гелли, нашедшие друг друга вопреки роковым обстоятельствам («Сто верст по реке»)?

Отличительной чертой гриновских героев является не смирение, а, наоборот, непокорность перед коварной судьбой. Они не верят в Гений Судьбы, они смеются над ним и ломают судьбу по-своему.

Литературный путь Грина не был обкатанным и гладким. Среди его произведений есть вещи разного художественного достоинства. Встречаются и такие, что писались под влиянием Э. По, кумира гриновской юности. Но по主要内容 их творчества, эмоциональному воздействию на души читателей Грин и Э. По — писатели полярно противоположные.

Примечательна одна из рецензий в журнале «Русское богатство», который редактировал Короленко. Она начинается словами, обычными для тогдашних оценок гриновского творчества:

«По первому впечатлению рассказ г. Александра Грина легко принять за рассказ Эдгара По. Так же, как По, Грин охотно дает своим рассказам особую ирреальную обстановку, вне времени и пространства, сочиняя необычные вневременные собственные имена; так же, как у По, эта мистическая атмосфера замысла соединяется здесь с отчетливой и скрупулезной реальностью описаний предметного мира...»

А заканчивается эта рецензия выводом неожиданным и точным:

«Грин — незаурядная фигура в нашей беллетристике; то, что он мало оценен, коренится в известной степени в его недостатках, но гораздо более значительную роль здесь играют его достоинства... Грин все-таки не подражатель Эдгара По, не усвоитель трафарета, даже не стилизатор; он самостоятелен более, чем многие пишущие заурядные реалистические рассказы, литературные источники которых лишь более расплывчаты и потому менее очевидны... Грин был бы Грином, если бы и не было Эдгара По».

Уже тогда это было ясно людям, судящим о вещах не по первому впечатлению.

Нет, Грин не пересадочное, не экзотическое растение на ниве русской словесности, произрастающее где-то на ее обочине. И если уж искать истоки его творческой манеры, его удивительного умения вторгать фантастическое в реальное, то они в народных сказках, и у Гоголя, в его «Носе» или

«Портрете», и у Достоевского, и в прекрасных повестях и рассказах русского фантаста Н. П. Вагнера (1829—1907), писавшего под сказочным псевдонимом Кот Мурлыка. Его книжки хорошо знал Грин с детства. Иные из гриновских новелл вызывают в памяти «Господина из Сан-Франциско» И. Бунина, «Листригонов» А. Куприна... Нет, Грин не иноземный цветок, не пересадочное растение, он «свой» на многоцветной ниве русской литературы, он вырос как художник на ее почве, там глубокие корни его своеобразной манеры.

Творчество Грина в его лучших образцах не выбивается из традиций русской литературы — ее высокого гуманизма, ее демократических идеалов, ее светлой веры в Человека, чье имя звучит гордо. То, что эта неизбывная мечта о гордом человеке бьется в книгах Грина неприкрыто, обнаженно, яростно, может быть, и делает его одним из самых оригинальных писателей.

Литературные друзья Грина вспоминают, что он несколько раз пытался написать книгу о Летающем Человеке и считал, что ничего необыкновенного в таком сюжете нет.

«Человек будет летать сам, без машины», — уверял он. Однако этого мало. Он вполне убежденно доказывал, что человек уже летал когда-то, в незапамятные времена, была когда-то такая способность у человека. Но по неизвестным пока нам причинам способность эта угасла, атрофировалась, и человек «приземлился». Но это не навсегда! Ведь осталась все же смутная память о тех крылатых временах — сны! Ведь во сне человек летает. И он обязательно отыщет, разгадает этот затерянный в тысячелетиях секрет, вернет свою былую способность: человек будет летать!

Былинные богатыри, сказочные великаны не были для Грина только красочным вымыслом, порождением народной фантазии. Он доказывал, что жили на земле великаны, и они даже оставили после себя материальные памятники, дольмены, загадочные сооружения из гигантских камней на берегах Балтийского моря. И этот секрет тоже раскроет человек, и будут снова жить на земле великаны.

Конечно, при желании эти мечты можно назвать наивной фантазией. Только то была фантазия художника.

Грин написал свою книгу о Летающем Человеке, писал он и о великанах, поднимающих горы («Гатт, Витт и Реддотт»). Наивность, обнаженность фантастической выдумки, которая приобретала в его книгах черты реальности, чуть не бытовой повседневности (Летающий Человек в романе «Блестающий мир» становится цирковым артистом!) — не в этом ли одна из тайн чудодейственной гриновской манеры, которая так крепко и непосредственно захватывает читателей, особенно юных читателей?

3

Книги Грина уже давно любят и ценят в одинаковой мере и читатели и писатели. В начале 1933 года, вскоре после смерти автора «Алых парусов», Александр Фадеев и Юрий Либединский написали в издательство «Советская литература»:

«Обращаемся в издательство с предложением издать избранные произведения покойного Александра Степановича Грина. Несомненно, что А. С. Грин является одним из оригинальнейших писателей в русской литературе. Многие книги его, отличающиеся совершенством формы и столь редким у нас авантюрным сюжетом, любимы молодежью...»

Это предложение поддержали своими краткими отзывами о Грине десять писателей: Николай Асеев, Эдуард Багрицкий, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Леонид Леонов, Александр Малышкин, Николай Огнев, Юрий Олеша, Михаил Светлов, Лидия Сейфуллина.

Как удивительно едины в оценке творчества Грина эти разные писатели! Казалось бы, что общего между бытовыми повестями Лидии Сейфуллиной и «Бегущей по волнам» или «Альми парусами» А. Грина, между «земной», наиреальнейшей Виринеей и аллегорической Ассоль? Но Л. Сейфуллина видела это общее, видела в Грине что-то свое, нужное ей, нужное читателям.

Отстаивая произведения Грина, писатели заботились «о сохранении лица эпохи и ее литературы». Грина не вынешь из эпохи, не вынешь его из литературы первого революционного десятилетия, романтический герой которого выходил на арену истории, говоря словами поэта Николая Тихонова:

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марснанской жаждой творить...

Творчество Грина — черточка лица эпохи, частица ее литературы, притом частица особенная, единственная. В чем же эта единственность, которую отмечают в своих отзывах писатели, в чем своеобразность Грина, одного из любимых авторов юношества не только в нашей стране, но и за ее рубежами? Гриновские произведения переводятся на иностранные языки, их читают во многих странах.

Уже говорилось, что Грина потрясала чеховская повесть «Моя жизнь», ему казалось, будто он полностью читает о Вятке, городе его безотрадного детства и отрочества, читает о своей жизни, о себе. Те же чувства, ту же дрожь самопознания должен был испытывать Грин, перечитывая всем нам любовно памятный маленький рассказ Чехова «Мальчишки». В худеньком смуглом гимназисте, избравшем себе грозное имя «Монтигомо Ястребиный Коготь» и грезящем о дальних путешествиях в те таинственные страны, где сражаются с тиграми и добывают золото, «поступают в морские разбойники и в конце концов женятся на красавицах», Грин должен был узнавать самого себя. Тем более что, словно чудом каким, совпадали кое-какие биографические и даже портретные детали...

«Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя,— читаем мы в рассказе у Чехова,— но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками... если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся...»

Право же, этот чеховский портрет упрямца-мечтателя мало чем отличается от автопортрета, нарисованного Грином в его «Автобиографической повести».

Мы не знаем, остался ли чеховский упрямец тем же пылким фантазером и романтиком или его «среда заела» и он забыл о своем побеге в пампасы, забыл отважного Монтигомо Ястребиного Когтя, вождя непобедимых,— но его «двойник» Александр Грин (и на склоне лет твердивший, что «детское живет в человеке до седых волос») на всю жизнь сохранил в своей душе дерзкие мальчишеские мечты о дальних странствиях, о бесстрашных мореплавателях, чьи сердца открыты для славных и добрых дел, о гордых красавицах из рыбацких поселков, озаренных солнцем океана.

Грин перенес их, эти всегда живые, никогда не стареющие мальчишеские мечты о подвигах и героях, в свои произведения. Он изобразил в своих книгах страну юношеской фантазии, тот особый мир, о котором справедливо сказано, что это

...Мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

Слова эти сказаны поэтом, в биографии и творчестве которого есть гриновская частица. Он, Эдуард Багрицкий, сам говорил об этом в своем отзыве в издательство в 1933 году: «А. Грин — один из любимейших авторов моей молодости. Он научил меня мужеству и радости жизни...»

Еще в дореволюционные годы называли Грина автором авантюрного жанра, прославившим себя рассказами о необычайных приключениях. Он был великолепным мастером композиции: действие в его произведениях разворачивается, как пружина, сюжеты их всегда неожиданны. Но не здесь заключается главное. «Сочинительство всегда было моей внешней профессией,— писал Грин в 1918 году,— а настоящей внутренней жизнью является мир постепенно раскрываемой тайны воображения...» Писатель говорил о себе. Однако этими же словами он мог бы сказать о многих своих героях: они люди яркой внутренней жизни, и тайны воображения волнуют их столь же трепетно, ибо они неисправимые мечтатели, искатели незнаемого, поэты в душе.

Авантюрные по своим сюжетам, книги Грина духовно богаты и возвышенны, они заряжены мечтой обо всем высоком и прекрасном и учат читателей мужеству и радости жизни. И в этом Грин глубоко традиционен, несмотря на все своеобразие его героев и прихотливость сюжетов. Иногда кажется даже, что он намеренно густо подчеркивает эту моралистическую традиционность своих произведений, их родственность старым книгам, притчам. Так, два своих рассказа, «Позорный столб» и «Сто верст по реке», писатель, конечно же, не случайно, а вполне намеренно заключает одним и тем же торжественным аккордом старинных повестей о вечной любви: «Они жили долго и умерли в один день...»

В этом красочном смещении традиционного и новаторского, в этом причудливом сочетании книжного элемента и

могучей, единственной в своем роде художественной выдумки, вероятно, и состоит одна из оригинальнейших черт гриновского дарования. Отталкиваясь от книг, прочитанных им в юности, от великого множества жизненных наблюдений, Грин создавал свой мир, свою страну воображения, какой, понятно, нет на географических картах, но какая, несомненно, есть, какая, несомненно, существует — писатель в это твердо верил — на картах юношеского воображения, в том особом мире, где мечта и действительность существуют рядом.

Писатель создавал свою страну воображения, как кто-то счастливо сказал, свою «Гринландию», создавал ее по законам искусства, он определил ее географические начертания, дал ей сияющие моря, по крутым волнам пустил белоснежные корабли с алыми парусами, тугими от настигающего норд-веста, обозначил берега, поставил гавани и наполнил их людским кипением, кипением страстей, встреч, событий.

«Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица, и все материки в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном, в замшевой ладанке на твердой груди...»

Так мечтает о море, о профессии капитана юноша, герой гриновской повести «Алые паруса». У кого из юных читателей не встрепенется тут сердце? Кто из читателей, увы, уже не юных, не вздохнет над этими мечтательными строчками?

Одна из самых притягательных черт гриновского своеобразия в том и состоит, что мир юношеского воображения, страну чудесных подвигов и приключений писатель изображает так, будто страна эта и в самом деле существует, будто мир этот зрим и весом и знаком нам в мельчайших подробностях. И писатель прав. Читая его книги, мы в той или иной мере узнаем в них себя, узнаем свои юношеские грезы, свою страну воображения и испытываем ту же дрожь самопознания, какую испытывал сам Грин, читая Чехова или Жюль Верна, Фенимора Купера или Брет Гарта.

Было бы наивно полагать, что этот воображаемый мир писатель Грин только запомнил, что свои мечты и своих героев он просто «вычитал» из книг и в книги же — свои книги — вставил. А так нетрудно подумать, если довериться первому впечатлению. Иностранные имена... Неведомые гавани — Зурбаган, Лисс, Гель-Гью... Тропические пейзажи... Некоторые критики, привыкшие судить о книгах по беглому взгляду, вполне убежденно представляли Грина читателям «осколком иностранщины», переводчиком с английского. Но в литературе, как и в жизни, первое впечатление чаще всего бывает ошибочным, и книги пишутся не для того, чтобы только перебрасывали их страницы, а чтобы их читали.

«Русский Брет Гарт»... «Русский Джек Лондон»... Еще и так именовали Грина охотники приискивать ему иностранных аналогов. Что касается Джека Лондона, то он стал по-настоящему известен в России тогда, когда Грин уже вошел в литературу. А вот Брет Гарта, которого Горький называл «прекрасным романтиком, духовным отцом Джека Лондона», того Грин действительно знал с отроческих лет. Мальчишки его поколения читали Брет Гарта запоем, воображая себя бесстрашными следопытами снежных гор Клондайка, удачливыми золотоискателями. Бретгартовская черта есть в биографии писателя. Шестнадцатилетним мальчиком он пустился искать счастья на русском Клондайке — рыл золото на Урале.

Романтика «певца Калифорнии», герои его книг — рудокопы, старатели, люди мужественной души и открытого, отзывчивого сердца — были близки Грину И в некоторых его произведениях можно уловить бретгартовские мотивы. Только звучат они у Грина по-своему, как по-своему звучат у него «мотивы» Майн Рида или Жюль Верна, Купера или Стивенсона. Кажется, никто еще не решился утверждать, что «Алые паруса» Грин писал «по Жюлю Верну», по его роману «Пятнадцатилетний капитан», а «Золотую цепь» вымерил «по Стивенсону», скажем, по его «Острову сокровищ». Однако ведь есть что-то жюльверновское в гриновских капитанах. Есть в его книгах что-то от романтики той калейдоскопической майнридо-жюльверновской литературы о путешествиях и приключениях, которой мы зачитываемся в детстве, а потом забываем, словно бы пеплом покрывается яркий жар тех далеких и радостных впечатлений.

Читая Грина, мы отгартываем пепел. Грин ничего не забыл Новым жаром вспыхивает в его книгах та «героическая живописная жизнь в тропических странах», которой упивался он мальчиком. Только страны у него теперь другие, гриновские. И другие у него романтические герои. Трезвый и рассудительный Дик Сэнд, жюльверновский пятнадцатилетний капитан, при всех его несомненных достоинствах, вряд ли понял бы Артура Грея с его явно неделовыми алыми парусами.

«Что-то» от Жюль Верна или «что-то» от Стивенсона в мире гриновского воображения — это лишь травка для настоя, для экзотического запаха. Конечно, «книжность» в произведениях Грина чувствуется сильнее, чем у других писателей И это понятно. Герои майнридовского, бретгартовского, жюльверновского склада были героями юношеской фантазии не одного Грина, и это нашло свое отражение в том особом, художественном мире, который создал писатель. И, однако, «книжность» в гриновском творческом методе более всего — только условность, литературный прием, причем прием иногда иронический.

Возьмем, к примеру, один из самых популярных гриновских рассказов — «Капитан Дюк». Уж куда, казалось бы, «заграничнее» заглавие! Но, читая рассказ, мы, быть может, с удивлением обнаружим, что имена в нем совсем не ино-

странные, а условные, придуманные автором, что Зурбаган — тоже не за семью морями...

Какое же это, скажите, иностранное имя — Куркуль? Им назван в рассказе матрос, трусливо бежавший с борта ненадежной «Марианны». «Куркуль» — по-украински «кулак, богатей», и ничего более. Столь же «иностранно» имя другого матроса «Марианны» — Бенц. Писатель заимствовал это словцо из одесского жаргона. И Бенц полностью оправдывает свое прозвище: он нахал, самочинно вселившийся в капитанскую каюту, скандалист, ругатель. У имени Дюка тоже одесское происхождение. Статуя дюка (то есть герцога) Ришелье, одного из «отцов» старой Одессы, стоит на площади города. Одесситы называют эту статую просто Дюком. О запомнившемся ему «памятнике Дюка» Грин говорит в своей автобиографии. Кроме того, имя героя рассказа выбрано, наверно, еще и по звукоподражательному признаку: «дзюк», «грюк», — что вполне гармонирует с шумливым характером капитана.

А зачем, спрашивают иногда, Грин эти имена придумывал? Ведь в его произведениях подчас лишь имена персонажей да названия гаваней звучат экзотически. Заменя имена, скажи, что действие происходит не в Зурбагане, а предположим, в Одессе, и что изменится в содержании того же «Капитана Дюка»? Но попробуйте, замените... Капитана Дюка назовите «просто» Дюковым. Общину Голубых Братьев, куда заманивают бравого капитана лукавые святоши, переделайте в сектантскую общину. Тем паче, что в тексте есть даже прямое указание на это. «Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они!» — объясняет кок Сигби положение дела портовому мудрецу Морскому Тряпичнику. Кока Сигби, божественно жарящего бифштексы с испанским луком, переименуйте в Семена, Морского Тряпичника — в отставного шкипера Максимыча. Голубого Брата Варнаву обратите в пресвитера Варлаама... Прodelав эту нехитрую операцию, вы почувствуете, что выкачали из рассказа воздух. А заодно лишили рассказ его современного звучания. Писатель, конечно, не без умысла наделил продувного духовного пастыря Голубых Братьев столь редкостным именем — Варнава. Сейчас оно выглядит только непривычно, «экзотически», а тогда, когда рассказ печатался в «Современном мире» (1915), имя это имело злободневный смысл. Тобольский архиепископ Варнава, сосланный синодом за всякого рода уголовные деяния, с помощью всесильного временщика Распутина появился в Петрограде и вошел в окружение «святого старца». Эта весьма характерная для того времени скандальная история попала в газеты, поп Варнава стал знаменитым. Его «знаменитым» именем автор и пометил шельму из Голубых Братьев.

Имена у Грина играют самые различные роли. Нередко они служат характеристиками персонажей, таят в себе острый современный намек, порой указывают на время или реальные обстоятельства действия. Но чаще всего эти придуманные писателем имена, как и названия городов («м о и

города» — подчеркивая, писал о них Грин), обозначают лишь то, что действие в гриновских произведениях происходит в мире воображения, где все по-своему, где самое странное выглядит обычно и естественно.

Что такое, например, «эстамп»? Оттиск, снимок с гравюры, и только. Но в гриновском рассказе «Корабли в Лиссе» фигурирует капитан Роберт Эстамп, в романе «Золотая цепь» действует другой персонаж, тоже называющийся Эстампом. В «Блистающем мире» выводится актерская пара, кокетливые старички, супруги... Пунктир. Когда-то давно ходила уличная песенка с залихватским припевом: «Чим-чара-чара-ра!» Из этого припева писатель составил фамилию и наградил ею одного из малосимпатичных персонажей. И она тоже звучит совсем на «заграничный» лад. Среди этих якобы иностранных персонажей вдруг появится действующее лицо с чисто русским именем, например, слуга, называемый точно так, как в чеховском «Вишневом саде», — Фирсом. Фирс в «Трагедии плоскогорья Суан», Фирс в романе «Дорога никуда». Это Фирс с изумлением рассказывает о Тиррее, главном герое романа:

«— Он мне сказал на днях: «Фирс, вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет...»

А подружка Фирса, которой он это рассказывает, служанка гостиницы «Суша и море», зовется на ложноклассический высокопарный лад Петронией.

Тонкой лукавинкой, изрядной долей литературной шуток, веселой мистификации сдобрены произведения писателя. И не заметить этой гриновской иронии могли только очень скучные люди, из тех, кто некогда требовал запретить сказки на том основании, что в них наличествуют мистические существа вроде черта и добрых волшебников. Судя по его книгам, Грин верил в сказки и чудеса, верил в добрых волшебников, владеющих заветным секретом счастья, и, очевидно, поэтому критики приписывали писателю «склонность к мистическому», о чем, как уже о бесспорном факте, сообщалось даже в энциклопедиях.

Творчество Грина сложного состава; реальное и фантастическое, бытовое и сказочное замешаны в нем круто. Даже в таком прозрачном, нежнейше-лирическом произведении, как феерия «Алые паруса», где, кажется, каждое «прозаическое» слово должно бы резать слух, появляются явно буффонные персонажи, наподобие проворного матроса Летика (от глагола с частицей «лети-ка!»), который говорит книжно, иногда даже в рифму: «Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, сеledка, — удит Летика с горы!» — и пишет в стиле чеховской «Жалобной книги»:

«Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Курьезно, что «означенной особой» Летика именует героиню феерии, сказочно прелестную девушку с музыкальным именем Ассоль.

Персонажи, названные Куркулями, Чинчарами, Летиками, действуют в произведениях писателя рядом с героями, от чьих имен веет легендами о Летучем Голландце и Принцессе Грезе, старинными фолиантами о морских походах и сражениях. «Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом...» Эти слова, вложенные в уста Томаса Гарвея, героя романа «Бегущая по волнам», Грин писал о себе. Он любил книги и страстно, самозабвенно читал книги о море. Он был способен сутками, без сна, штудировать редкие издания с описаниями морских путешествий, изучал научные трактаты по мореходству, всякого рода пособия и справочники, касающиеся кораблевождения, долгими часами просиживал над картами и логиями.

По воспоминаниям писателя, первой книгой, которую он увидел, было детское издание «Путешествия Гулливера». По этой книге он учился читать, и первое слово, какое он сложил из букв, было: «мо-ре»! И море в нем осталось навсегда.

Рассказывают, что комната в маленьком глинобитном домике на окраинной улице Старого Крыма, где Грин прожил свои последние годы, была лишена всяких украшений. Стол, стулья да белые, ослепительно сияющие на южном солнце стены. Ни ковров на них, ни картин. Только над кроватью, на которой лежал смертельно больной писатель, перед его глазами висел у притолоки потемневший от времени, изъеденный солью обломок корабля. Грин сам прибил к стене этот обломок парусника — голову деревянной статуи, что подпирает бушприт, разрезающий волны...

Первая книга, прочитанная в детстве, обычно помнится долго, если не всю жизнь. А в руки мальчика, наделенного пылким воображением, попала такая книга, которая вот уже третье столетие поражает читателей необыкновенностью содержания. Тех «некоторых отдаленных стран», где претерпевает невероятные приключения Лемюэль Гулливер, «сначала хирург, а потом капитан нескольких кораблей», не существовало на свете. Не было ни Лилипутии, ни Бробдингнега, страны великанов, ни Лапуты, повисшей в воздухе. Это страны воображения. Они открыты писателем Джонатаном Свифтом, изобретены, вымышлены им. И, однако, его «Путешествия Гулливера» не просто выдумка. События и персонажи этой фантастической книги носят на себе реальные приметы жизни Англии XVIII века.

Литература знает немало книг, герои которых действуют в причудливых странах воображения, от «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле до «Швамбрании» Л. Кассиля, написанной уже по гриновским следам. Разные это страны. Но общее у них то, что они отнюдь не плод чистой фантазии, выросший на пустом месте.

Тех проливов, бухт и гаваней, которые изображаются в книгах Грина, не отыщешь на самых подробных картах.

Не отмечены на них ни шумный Гель-Гью, сияющий маскарадными огнями, с гигантской мраморной фигурой «Бегающей по волнам» на главной площади, ни провинциальный Лисс с его двумя гостиницами «Колючая подушка» и «Унеси горе». Нет этих портов на морях ни северного, ни южного полушарий. Они придуманы писателем, воображены им.

И все же неправ был критик «Русского богатства», уверявший в своей рецензии читателей, будто Грин, подобно Эдгару По, охотно дает своим рассказам ирреальную обстановку, вне времени и пространства... Время и пространство угадываются во многих произведениях писателя довольно точно. Реальную обстановку дают им его отчетливые и скрупулезные описания осязаемого, предметного мира. Вот прочтешь такое, например, описание Лисса:

«...Город возник на обрывах скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин.

Желтый камень, синяя тень, живописные трещины стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс».

Прочтешь эту сияющую красками страницу — и тебе почудится, что ты уже видел Лисс. Грин умел писать так, что все, даже самое фантастическое, самое сказочное, стало бы в его произведениях непререкаемым фактом. Но на сей раз дело не только в этом. Тебе ведь кажется, что ты Лисс видел еще до того, как прочел о нем у Грина. Видел этот город, чьи улицы разбросаны по холмам и скалам, соединенным лестницами и винтообразными узенькими тропинками, видел дома из желтого камня — ракушечника, синюю тень, трещины на стенах, босоногого рыбака с трубкой, чинящего лодку на бугрообразном дворе.. Словом, видел все, о чем пишет Грин, причем видел в натуре, а не в книге...

И это недалеко от истины, потому что Лисс в какой-то мере действительно списан с натуры. Вспоминая о Севастополе, куда забросила писателя его скитальческая судьба в 1903 году, Грин пишет в своей «Автобиографической повести», что тогда «стояла прекрасная, задумчиво-яркая осень, полная запаха морской волны и нагретого камня... Я побывал на Историческом бульваре, Малаховом кургане, на особенно интересном севастопольском рынке, где в остром углу набережной торчат латинские паруса, и на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зеленой травой. Впоследствии некоторые оттенки Севасто-

поля вошли в мои города. Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и Гертон».

Гертон — место действия романа «Дорога никуда» (1929). Несмотря на «иноземность» и причудливость фабулы, в романе явственно проступают его вполне реальные и даже порою автобиографические корни. Грин, как и герой его «Дороги никуда» Тиррей Давенант, томился в тюрьме. Грину друзья тоже пытались устроить побег. Даже бакалейная лавка напротив тюрьмы, на углу, откуда ведут подкоп друзья Давенанта, и та на самом деле существовала в Севастополе. О ней упоминает писатель в «Автобиографической повести», он видел эту лавчонку из окна своей тюремной камеры.

«Некоторые оттенки Севастополя», как и оттенки старой Одессы, Ялты, Феодосии, вошли не только в пейзажи гриновских городов, они вошли в сюжеты его произведений и в образы его романтических героев — меднолицых моряков, просоленных морем и ветром рыбаков, ремесленников, портового люда... Как бы далеко ни улетал писатель на крыльях фантазии, его книги «полны непокидающей родины».

Его художественное воображение питала жизнь, реальная действительность, и потому совершенно неверно представление о нем как о некоем «чистом» романтике, безглаголиво сторонящемся житейской прозы. Между тем именно такое представление о Грине подчас навязывается читателям. Даже К. Паустовский, автор исполненной глубокой любви к Грину повести «Черное море» и превосходных статей о писателе, и тот порой склоняется к этой холодной легенде о Грине. В своем предисловии к однотомнику его произведений (1956) Паустовский пишет:

«..Недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня».

Но, читая Грина, трудно с этим согласиться. «Неуловимых снов» в его произведениях вообще не замечается, он был писателем вполне земной и к декадентским «снам» и «откровениям» относился по большей части скептически. А что до «дряни и мусора каждого дня», то все лучшие произведения Грина, каждая их страница для того и писалась, чтобы «дрянь и мусор» вымести из жизни человеческой, чтобы сказать своим читателям: все высокое и прекрасное, все, что порою кажется несбыточным, «по-существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать чудеса своими руками...»

Эти строки из «Алых парусов». Они задумывались в 1917—1918 годах, в те дни, когда люди «своими руками» творили чудеса революционного переустройства жизни. В «Алых парусах», этой по-юношески трепетной поэме о любви, нет и намека на «недоверие к действительности». Своей феерией, так знаменательно для тех дней названной, Грин откликался на события, бурлящие за окном.

Откликнулся он по-своему, книгой по-гриновски «странной», написанной страстно и искренне, книгой, в которой сказка об алых парусах, лелеемая в душе девушки Ассоль из рыбацкого поселка, этой знакомой нам с детства Золушки, принцессы мечты, становится явью, былью. Былью, которая сама похожа на сказку.

Сказкой перед Грином раскрывалась революция. В своем рассказе в стихах «Фабрика Дрозда и Жаворонка», напечатанном в январе 1919 года в журнале «Пламя» (его редактировал А. В. Луначарский), писатель изображал фабрику будущего, утопающую в зелени тополей, с цветниками роз на фабричном дворе, журчащими фонтанами, плещущим бассейном. А цех на этой фабрике — большая зала,

Круглый свод из хрусталя
В рамках белого металла,
Солнце яркое деля
Разноцветными снопами,
Льет их жар на медь и сталь,
Всюду видимые вами,
Как сквозь желтую вуаль.

Герою рассказа, петроградскому рабочему Якову Дрозду, пригрезилась такая фабрика, где все, как в сказке, где все — от ременного шкива и стен до мотора и машины — сделано «ювелирно и красиво», чтоб «машинная работа с счастьем зрения слилась»... Сейчас, в пору успехов производственной эстетики, то, о чем писал Грин, не диво. А тогда? Кто мог вообразить себе такое в суровом девятнадцатом году? Мечтатель.

Приходит пора вдохновенного труда. Никогда не писал Грин так легко и уверенно и так много, как в эти годы. Феерия «Алые паруса», стихи, рассказы, первый роман, озаглавленный так значительно — «Блистающий мир»... Над ним писатель работал одновременно с другим произведением, тоже новым ему по форме, «Повестью о лейтенанте Шмидте». Рукопись этой повести, к сожалению, утеряна, но отрывок из нее (точнее, ее краткий конспект), напечатанный в 1924 году в московской газете «На вахте», дает представление о ее жанре: это был публицистический очерк о жизни «романтика революции», о восстании «Очакова».

Весьма вероятно, что Грин, тогда только что выпущенный из севастопольской тюрьмы, был свидетелем событий, видел Шмидта. Этому особенно хочется верить, когда читаешь «Блистающий мир». Есть что-то шмидтовское в пафосе трагической судьбы летающего человека Друза.

Роман «Блистающий мир», напечатанный в 1923 году в журнале «Красная Нива», удивил тогда не только читателей, но и литераторов необычностью фабулы, поразительной даже для Грина смелостью художественной выдумки. В своих воспоминаниях о писателе Юрий Олеша приводит очень любопытную характеристику этого романа, данную самим автором.

«Когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того,— пишет Олеша,— какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился.

— Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает, это парение духа!»

То, что изображает Грин в «Блистающем мире», действительно выходит за рамки обычного фантастического произведения. Ведь там люди обычно летают с помощью каких-либо приспособлений, механических крыльев, шаров, хитроумных приборов, а вот чтобы человек полетел без всего, как стоит (так дети летают во сне!), чтобы было это его даром, его естественной способностью,— таких пределов авторы фантастических романов не достигают. Им этого и не нужно, потому что это уже другая область, область символов, иносказаний, аллегорий.

«Блистающий мир» — роман о летающем человеке Друде, его приключениях и трагической гибели — произведение аллегорическое и вместе с тем удивительно конкретное в своих социальных приметах. И суть дела здесь уже не в том, что у Грина была превосходная способность рисовать самое возвышенное, необыкновенное в обстоятельствах обычных, бытовых, «приземленных». Суть в ином. Лисс и Сан-Риоль, эти придуманные Грином сияющие солнцем гавани, где живут чудаковатые, влюбленные в родное море капитаны Дюки и бесстрашные Битт-Бои, приносящие людям счастье, поворачиваются перед читателями своей другой, неожиданной новой стороной. В романе обнаруживается, что не только Дюки, и Битт-Бои, и девушки предместий, нежные Режи, «королевы ресниц», населяют Лисс. В нем обитает и человек без души, министр Дауговет, который тут же, в цирке, приказывает убить летающего человека: «Теперь же. Без колебания». И сыщики, как бульдоги, бросающиеся на Человека Двойной Звезды (так называют Друда в цирке). Оказывается, что в Лиссе есть тюрьмы, тайные казематы, чугуннолицые полицейские. А на главной улице Лисса, в роскошном особняке, притаилась красавица Руна. Она сначала пытается очаровать, обворожить летающего человека, приручить его и заставить служить своим миллионом. Но когда Друд бросает ей в лицо резкое и холодное: «Нет!», — она замышляет то же, что и министр: убить! Ее люди, как охотники зверя, выслеживают Друда. И вот лежит он с разомозженной головой на пыльной мостовой города. Люди, правящие Лиссом, убивают летающего человека, убивают мечту, «парение духа».

Так некогда идиллический Лисс, этот блистающий солнечными красками мир, оборачивается в романе перед читателями своей черной, капиталистической изнанкой. Если «Блистающий мир», как говорил Грин, — роман символический, то его символика насквозь социальна, и это аллегорический социальный роман.

Интересно, что гриновский сюжет о летающем человеке использовали и другие авторы. У чешского писателя Каре-

ла Чапека есть рассказ «Человек, который умел летать». Его герой, страстный спортсмен Томшик, так же, как и Друд, нечаянно, внезапно обнаружил в себе способность летать, и его тоже отучают от полетов, но несколькими иными, невинными способами. Его заставляют летать «по правилам», правильно приседая да правильно разбегааясь, и крылатый Томшик летать разучивается.

Закончив роман «Блистающий мир», Грин весной 1923 года едет в Крым, к морю, бродит по знакомым местам, живет в Севастополе, Балаклаве, Ялте, а в мае 1924 года поселяется в Феодосии — «городе акварельных тонов». В ноябре 1930 года, уже больной, Грин переезжает в Старый Крым, который он любил за его великую тишину, за безбрежие садов и леса, за то, что стоит он на горе, откуда видно море. Тут Грин заканчивал «Автобиографическую повесть», писал рассказы... 8 июля 1932 года писатель умер.

Крымский период творчества Грина примечателен не только тем, что он стал как бы «болдинской осенью» писателя, что в эту пору он создал, вероятно, не менее половины всего им написанного. В произведениях 1924—1932 годов стала яснее, отчетливее их социальная направленность, их связь с жизнью. Черноморские впечатления этих да и ранних лет, разбуженные воспоминаниями о местах давних странствий, вливались в гриновские книги. Вся вторая часть романа «Дорога никуда», где действие происходит в Гертоне, как мы уже знаем, написана по севастопольским впечатлениям. Во многом автобиографичен и шестнадцатилетний юнга Санди, герой «Золотой цепи».

Сюжет «Золотой цепи» кое в чем напоминает «Золотого жука» Эдгара По. В обоих этих произведениях повествуется о пиратских кладках, о найденных несметных богатствах. Но в «Золотом жуке» клад обещает благополучие, сулит довольство и счастье, которое наконец обретут Вильям Легран и его друзья, а в гриновском романе клад приносит людям горе, тянет за собой преступления и смерть. Совсем не напрасно Грин придает кладу гиперболизированный, символический вид: нищий бродяга Ганувер выволакивает на берег со дна морского чудовищную многопудовую золотую цепь.

Золото для нищих духом... Ни за какие блага мира не купить «счастливчику» простых сердец Санди и Молли, для «золотой пыли» они неуязвимы. Чистыми и светлыми проходят они через все соблазны, все лабиринты таинственного Дворца Золотой цепи.

Символически и другой, самый популярный роман Грина, его «Бегущая по волнам». Сказочный Гель-Гью, сияющий маскарадными огнями, тоже поворачивается перед читателями своей неприглядной, будничной подкладкой. Статую «Бегущей по волнам», которая высится на центральной площади, венчая народный карнавал, хотят разрушить люди, «способные укусить камень», — фабрикант и заводчик, с толстыми сигарами в зубах. Прелестная Биче, та, что кажется Томасу Гарвею живым воплощением легендарной девицы, бегущей по волнам, сникает и гаснет при первом соприкосновении с тайной воображения. «Я не стучусь в наглухо

закрытую дверь», — со снисходительной улыбкой говорит Биче. Той дерзкой душой, что не боится «ступить ногой на бездну», оказывается не Биче, а простая девушка с корабля — Дэзи. Это Дэзи зовет и слышит в конце романа призывный голос «Бегающей по волнам»:

«— Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...»

Горький говорил, что в рамки аллегории можно уложить темы самые значительные; пафос и сатира, лирика и эпос — все ей подвластно. Аллегорические романы Грина тому прямое доказательство.

Не все, что написал Грин, равноценно. Даже такие его вещи, как «Остров Рено» или «Пролив бурь», наиболее известные в дореволюционную пору, кажутся сейчас «чужими» в творчестве писателя. Ведь Грин в них ближе всего к кумиру своей горькой юности Эдгару По, к его романтике отчаяния, гибельной судьбы человека, как в рассказах типа «Карантин» или «Третий этаж» он ближе всего к Леониду Андрееву.

Но не от нелюбимого «Острова Рено», а от таких блистательных, жизнелюбивых вещей, как «Капитан Дюк», «Возвращенный ад», «Сто верст по реке», шла прямая дорога к «Кораблям в Лиссе» и «Алым парусам». И пусть мечта бравого Дюка, этого морского Фальстафа, не перелетает за борт надежной «Марианны», она сродни крылатой мечте Друда. Они люди одного сплава, одной мечты, мечты на всю жизнь.

Иногда мечта гриновских героев, по слову Писарева, «может хватать совершенно в сторону». И тогда появляются в произведениях писателя строки и страницы, которые звучат, как фальшивая нота в ясной и чистой мелодии. К примеру, в «Алых парусах» вслед за уже знакомыми нам прекрасными словами о том, что чудеса надо делать своими руками, герой феерии говорит так:

«Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз придержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как это невыразимо чудесно...»

Мечтания об идиллических начальниках тюрем и миллиардерах, по доброй воле отдающих писцам свои виллы и сейфы, относятся к разряду подлинно несбыточного. Однако эти иллюзии были у Грина стойки. Он сам не раз писал рассказы о сентиментальных начальниках тюрем и растроганных ворах, а кое-какие черты добродетельного обладателя чековой книжки сейчас легко обнаружить даже у Грэя из «Алых парусов» или Томаса Гарвея из «Бегающей по волнам».

К счастью, эти иллюзии не определяют основного направления творчества писателя. Сюжеты его книг ведут люди действия, те, которые «видят в своей мечте святую и великую истину» и ради нее идут на дерзновенные свершения. Презирающий смерть лощман Битт-Бой, исполненная неугасимой веры в мечту Ассоль, верный Санди и непод-

ШАПКА-НЕВИДИМКА

Другу моему Вере

МАРАТ

I

Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные, крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое, решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы,— желание обернуться и смачно, грузно вlepить пощечину в потное, рысё лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущества бессарабских вин.

— В них,— сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза,— есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты... Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов... Но, уверяю вас,— после двух, трех бутылок деми-сека воображение переносит в широкие, солнечные степи, где смуглые полные руки

красавиц молдаванок плетут венки из виноградных листьев...

Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крикнул и сказал:

— Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков...

— Пусть будет так!..— согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове.— Да процветает российская мелкая торговля!

Коренастый ярославец глядел нам в глаза и, без сомнения, видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом.

— Десяток энтих — три двугривенных, шестьдесят копеек! — предупредительно объяснил он.— Завернуть позволите? Хорошо-с!

Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной! Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил:

— Дорогой мой! Не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?

Ян, казалось, искренно удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал:

— От молодых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета...

— Бедняга...— сказал Ян, пожимая плечами.— Вам вредно пить много бессарабского... Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?

Детина растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи обер-

точной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал:

— Милости просим, ваше-ство! Ежели когда!.. Самые хорошие...

Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные, бегающие глаза, с точностью фотографических аппаратов отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканьи десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую, неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих.

Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг наперерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного, отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой, кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал:

— Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко.

Мы свернули на сырой, утоптаный песок. Густые, прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными, дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковицы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому, детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим, слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных, черных котелка, неутомимых, беспокойных и рышущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие, нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, расstroганным голосом:

— В детстве я был набожен и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты божьего храма,

бесконечное благоговенно наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви Всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин!..

Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади. И это не помогало! Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глубину своего испорченного, развращенного сердца.

— Охота вам быть монахом! — сказал я тоном старого опытного кутилы. — Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее, — то это карты, вино... и девочки!..

И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блуда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее, отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты.

Ян, измученный, с наслаждением опустил на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая, оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности.

Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил:

— Итак, товарищ, наступает день... Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо... Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче... Хорошо?

— Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться...

— Вот именно... И положение интересное: нас будет

четверо — двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем... Надеюсь, что скучно не будет. Только...

— Что?

— Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации... Но я придумал: мы с вами переедем на тот берег, они приедут после... Вы приходите в семь часов к пристани у лесопильного завода... Возьмите вина, конфет... Я очень люблю раковые шейки...

— Чудесно, Ян! Когда стемнеет.

— Да... А что же вы им скажете?

— Ну! Мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли... Вообще положитесь на меня.

— Спасибо!..

Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался.

— Я тороплюсь, Ян! — сказал я. — Идите, пора... Для вас все готово...

— Сто против одного, что мне не придется этим воспользоваться... — ответил он, думая о чем-то. — Это была бы страшная редкость!

— Всякое бывает...

— Посмотрим...

Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел «чистый», и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливом...

Но чудес не бывает. И тяжела рука гнева...

II

Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел.

Я греб, Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно, задумчиво мигал, слушая песню. Сутуловатый и неподвижный, он, казалось, прирос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, стриженной головой и добродушно саркастическими глазами. Песня-жа-лоба одиноко и торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песне двигались и стучали весла в уключинах, отбрасывая назад тяжелую, булькающую воду. Девушка обвила косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого, тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного, неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла. Простые, трогательные слова песни волновали и нежили:

Меж высоких хлебов затерялось
Небогатое наше село;
Горе горькое по свету шлалось
И на нас невзначай набрело.

Ох, беда приключилась страшная,
Мы такой не знавали вовек.
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек...

Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов.

Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховый платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых, горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки потянуло холодом и сыростью. Уключины мерно скрипели и звякали, и так же мерно вторил им плеск подгребаемой воды.

— Пора ехать домой, господа почтенные, — сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая пле-

чами.— Я озябла. И вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте!..

— А в самом деле?..— подхватил Кирилл.— Я уж тоже напичкался поэзией... от сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдыхайте...

Я передал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурлила под килем, лодка остановилась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево. Горный, кряжистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная, мглистая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому, усеянному точками огней, берегу.

Я взглянул на Яна. Он сидел, сгорбившись, наложив на румпель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка тербил его волосы. Утомленные и дремотные, все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши.

— Ой, не свистите, ради бога! Терпеть не могу, кто свистит... На нервы действует.

Ян досадливо мотнул головой.

— Что же можно? — спросил он, глядя в сторону.

— Все, что хотите, хоть купайтесь. Только свистать не смейте... Вот лучше расскажите нам что-нибудь!

— Что рассказывать! — неохотно уронил Ян.— Про других — не умею, про себя — не хочется. Да и нечего... Все жевано и пережевано...

— Отчего это стало вдруг всем скучно? — недовольно протянула девушка, оглядывая нас.— Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту... Возобновляйте ваш дар слова... ну!..

Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась.

— Не балуй, Женька! — сказал Кирилл.— Спать захотела,— капризничаешь!

Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице.

Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбою и скользить без дум и желаний в таинственной, холодной глубине или плыть без конца в лодке к морю

и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину...

Вдруг вопрос, странно-знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить.

Он спросил совершенно спокойно и просто:

— Кирилл! Что вы думаете о терроре?

— О терроре-е? — удивился Кирилл. — Да то же, надеюсь, что и вы. Программа у нас общая...

Ян ничего не сказал на это. Кирилл подождал с минуту и затем спросил:

— А вы почему об этом заговорили?

Ян ответил не сразу.

— Потому, — сказал он наконец, как бы в раздумье растягивая слова, — что террор — ужас... А ужаса нет. Значит, и террора нет... А есть...

— Самый настоящий террор и есть! — насторожившись, задорно ответил Кирилл. — Конечно, в пределах возможного... А что же, по-вашему?

— Да так, пустяки... Спорт. Паники я не вижу... Где она? Сумейте нагнать панику на врагов. Это — все! Ужас — все!..

Кирилл насмешливо потянул носом.

— Надоело все это, знаете ли... — сказал он. — Даже и говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз... А спорить ради удовольствия — я не мастер. Да и к чему?

— Вы, Ян, страшно однобоки! — важно заметила девушка. — Вам бы в восьмидесятых годах жить... А пропаганда? Организация?..

Ян снисходительно улыбнулся углами губ.

— Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции? Ненависть! И если ее нет, то... и ничего нет. Если б каждый мог ненавидеть!.. Сама земля затрепетала бы от страха.

— Да он Марат известный! — захохотал Кирилл. — В ***ске его так и звали: «Маленький Марат». Ему все крови! Больше крови! Много крови... Кр-рови, Яго!.. Тигра лютая!

Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным. Но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, что даже я не-

вольно насторожился, почуяв новые струны в этом, хорошо мне знакомом, сердце.

— Да! пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов — необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что — революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..

Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашли, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе. А он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало споров.

Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна.

— Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведает... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие словеса может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?

— Да.

Лицо Яна еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев в задумчивости. Только черные глаза беспокойно блеснули в орбитах. Я попытался сгладить впечатление.

— Я вас вполне понимаю, Ян... — сказал я. — У вас слишком накалилось на душе!..

Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный, красивый отдых прогулки.

— А помните, Ян, — перешла девушка в другой тон, — как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой... как дитя. И страшно восставали против всякой полемики, а также и... против террора, как системы?

— А помните, Евгения Александровна, — в тон ей ответил Ян, улыбнувшись, — как двадцать лет тому назад вы лежали в кровати у мамы? Одной рукой вы засовывали свою голенькую, розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы? И восставали против пеленок и манной каши...

Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Ки-

жизнь — нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..

И мы разошлись в разные стороны.

III

Я опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после, — никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.

Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на йоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.

Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них — фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.

Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.

Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания — себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти... Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски.

Она росла и крепла, и тяжелые, кровавые волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полузадушенные звуки рояля, наигрывающие кек-уок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодovitой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось,

прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаялось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет,— все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон...

И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.

IV

Едва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятельство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому — уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо,— одежда имела право остаться чистой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в горле, теснясь и отталкивая друг друга.

Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголки, офицерском мундире.

Первое, что я увидел,— это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог услышать нашего разговора. Но я

склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:

— Вот как?.. Славно...

Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и так же тихо ответил:

— Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра...

Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.

И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:

— Он не был, Ян?

— Был.

— Он ехал, да?

— В карете. Я видел его.

— А потом?

— Он уехал.

— Почему?

— Я ушел.

— Почему же, почему, Ян? Ян!..

Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, раздельно роняя слова, ответил:

— Он был не один... Там сидела женщина и еще кто-то... Не то мальчик, не то девочка... Длинные локоны и большие капризные глазки... Ну...

Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким, равнодушным голосом:

— Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба...

Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, совестился поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарила в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе, и пальцы ее заметно дрожали.

Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой стальных часов...

Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз — он был один...

КИРПИЧ И МУЗЫКА

I

Звали его — Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами саж и копот, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом.

Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья», голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан»¹. Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрященным кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнею.

— Кончал твоя башка, Стигней! — говорили ему. — Пропадешь, как собака!

Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.

— Зачем так делил? — снова начинал противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. — Мой закон такой, — твой закон другой... Чего хочешь?

Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:

¹ Лошадиное мясо.

— Жрать я хочу, знаком, и боле никаких... Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слышал: Алла муллау чигирит в углу?

— Анна секим! — вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.

Впрочем, он и сам не знал — зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо тарашил брови и говорил:

— Я — добер! Я — страсть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебя не вдарю — ты не можешь стерпеть... Другие, которые пером (нож) обходятся... Этого я позволить, опять же, не могу... Если ты могишь совладать — завсегда в душу норови, пока хрип даст...

Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.

Ночью, когда все затихало, и в спертom, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные горами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены и его будили сонные, торопливые руки рабочих, — подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.

II

Наступал праздник; двенадесятый или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал

грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению — «гулять».

«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба — он ругался; шли парни — он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, — молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.

— Стой, ядреная, стой! — кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. — Стой! Куда прешь!

— Вот пса посадили, слава те господи! — отвечала, вздыхая, баба. — Хошь вино-то цело будет... Лай, лай, собачья утроба!..

— Куда те прет? — кричал Евстигней. — В зоб-то позвони, эй! слышь? Зобари проклятые...

— Лай, лай, — дам хлеба каравай! — отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. — Зимогор паршивый! Галах!

— Валял я тебя с сосны, за три версты, — хохотал Евстигней. — Зоб-то подыми!..

Мужик, грызший семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:

— Охальник ты, пра... Мотри — парни те вышибут дно.

— Ого-го! — Евстигней тряс кулаком. — Утопнут!..

Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках — он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым голосом:

Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а,
Свишша-а неу-гасимая-а!..

Когда-а свишша-а по-га-сы-нет,
Тог-да д'милка при-ла-сы-не-ет!..

И кричал:

— Чалдон! Сопли где оставил?

Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:

— Ладно!

Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.

III

Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.

Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлечшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблюжий крик.

Пожужив, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жалобные звуки, и затем осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыркнул слюной в сторону и сказал:

— Корова вот тоже поет. Слышь, князь? — Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:

— Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-ваё-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!

Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо злыми, сосредоточенными глаза-

ми. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратить в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тубетейкой на голове, громко сказал:

— Ступай себе — чего хочешь? Не любишь — сам пой. Добром говорю.

— Христом богом прошу! — не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. — Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня — и ту...

Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:

— Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!..

Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:

— Анан секим! Ты што, — бритая посуда?!

— Слушай, Стигней! — продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. — Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал... Ты знай: богом тебя клянусь, — пусть я помирал, как собака... Пусть я матери своей не увижу — если я тебя тут на месте не кончал... Слыхал? Ступай, Стигней, уходи...

Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал — и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.

IV

Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди

частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черно; или — что до полочки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.

Тьма совсем уже вошла в чашу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнея за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, — это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверху синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.

И вдруг, откуда-то и, как показалось Евстигнею, со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.

Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.

Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управите-

ля», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хотя он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иванович. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.

Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.

— Ишь ты! — сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колышется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и заскрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:

— Кто там? Тут есть кто-нибудь?

Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.

Евстигней откашлялся и сказал:

— Так что — проходя мимо... Мы здешние, с заводу...

— Что вам? — спросила женщина громче и тревожнее. — Кто такой?.. Что нужно?

— Я с заводу,— повторил Евстигней, осклабляясь.— Проходя мимо...

— Ну, что же? — переспросила она, уже несколько тише и спокойнее.— Идите, любезный, с богом.

— Это вы — на фортупьяне? — набрался смелости Евстигней.— Очень, значит,— того... Я... проходя мимо...

Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улынулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растеряннo и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.

Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:

— Так, как же... Проходя мимо?

— То есть,— Евстигней развел руками,— я, значит,— шел... Слышу это...

— Ступай, любезный,— сказала женщина.— Ночью нельзя шляться...

Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом «француза» Ивана Ивановича, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса — поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.

V

Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.

Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церкви, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и красных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашенных пряников. Скука одолевала его. Послonyaвшись еще по улицам и запылив добела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.

Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными голосами разговаривали наперерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».

Евстигней остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется — не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.

— Как он-на-яво!.. — прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. — Ты грит, сына своо куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится... Ты сякая, ты такая... Не-ет! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?

— Го-го! — гоготал Евстигней. — Без портов? На что лучше.

— Как он-на... яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха!
Вот ведь что антиресно!

Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне слышались слова: «Как он-наяво.. Вот ведь!»

Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки. соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь,хватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и устался в стену тяжелым, бессильным взглядом.

Кто-то сел рядом — один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.

Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:

— У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!

Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:

— Нажрался, сопля.

— А ты — татарская морда! — заявил Евстигней, смотря в угол. — Я нажрался... а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. — И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то

ташил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.

VI

На воздухе дышалось легче, и хмельной угар поне-много выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость за-клубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкаясь, останавливаясь и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьям шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспокойно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:

— С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!

Иногда чудилось, что кто-то бежит в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым, сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливаясь, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес — он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.

Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигнею вежливо предложили уйти — тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от

опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.

Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встrepенулcя: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:

— Кто там?!

— Эт-то я,— опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами.— Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии... Предоставьте, значит, тово... Проходя мимо.

Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:

— Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!

Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крикнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.

— Стерва! — взревел Евстигней.— Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!

Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»

— Стервы! — крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги — сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задышал, широко раскрывая рот.

— Стерва, сукина дочь! — сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигней, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще — всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.

Потом он уснул — пьяный и обессиленный, а когда проснулся, — было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чащу. Струился пар, густой, розовый.

— Фортупьяны, — сказал Евстигней, зевая. — Вот те и фортупьяны! Стекла-то, вставишь, небось...

Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, разминая окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и усталости. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.

ПОДЗЕМНОЕ

I

— Ну, что вы на это скажете?

Шесть пар глаз переглянулись и шесть грудей затаили вздох. Первое время все молчали. Казалось — невидимая тень близкой опасности вошла в тесную комнату с наглухо закрытыми ставнями и вперила свои неподвижные глаза в членов комитета. Ганс, продолжая рисовать карандашиком на столе, спросил, не подымая головы:

— Когда получено письмо, Валентин Осипович?

— Сегодня утром. Было оно задержано в пути или нет — я не знаю... Факт тот, что оно пришло к нам на двое суток позже его...

— Вот так фунт изюма! — произнес Давид и рассмехался своей детской улыбкой, обнажившей ровные, острые зубы.

— Товарищ, прочитайте еще раз! — сказал Ганс. — Свежо предание, а...

Он поднял свои светлые, серые глаза и опустил их, продолжая рисовать кораблики.

Пожилой сутуловатый господин с проседью в бороде и усталыми, нервными глазами, окинул всех продолжительным, озабоченным взглядом и, взяв листик бумаги, лежавший перед ним, начал читать ровным, грудным голосом:

— «К вам едет провокатор. Должен прибыть 28-го. Приметы: молодой, черные усы, карие глаза, выдает себя за студента; левый глаз немного косит. Примите его, как следует.

Районный комитет, 23-е июля».

— Оттуда письмо идет два дня,— продолжал Валентин Осипович, кончив чтение.— Одно из двух: или его задержали, или бросили слишком поздно. Я, как заведующий конспиративной частью,— улыбнулся он,— поступил, быть может, слишком конспиративно, уничтожив конверт, так что подтвердить второе предположение теперь невозможно. Но оно всего вероятнее, ибо полиция не отправляет адресатам такие документы, раз они попадутся ей в руки...

— Левый глаз косит,— сказал про себя Валерьян, юноша могучего телосложения, с целой копной черных волос, из-под которой сверкали маленькие глаза-буравчики.— Да... дождались!..

Опять наступило молчание. Дверь из соседней комнаты раскрылась, и на пороге появилась девушка. Она стояла, держась одной рукой за косяк двери, другой — за свою собственную косу, перекинутую через плечо. Лицо ее было уверенно и красиво.

— Ну?! — сказала она.

Но все молчали. Валерьян тряс головой, гневно покашлявая; Давид вертел большими пальцами рук, поджав нижнюю губу. Ганс рисовал и ломал карандаш.

— Ну? — повторила девушка, и глаза ее рассердились.

— Мы придем пить чай после, Нина,— сказал Ганс, рисуя шхуну с распущенными парусами.— Нам очень жарко...

Никто не улыбнулся на шутку. Девушка исчезла, нетерпеливо хлопнув дверью.

— Теперь будем думать! — сказал Давид.— Что ж? Надо решать как-нибудь... Грязное дело получается...

— К порядку, господа! Валентин Осипович, возьмите на себя председательство!.. — раздраженно крикнул

Сергей, пятый член комитета, высокий, с впалой, чахоточной грудью.

— Прекрасно!

Валентин Осипович выпрямился на стуле и провел рукой по волосам, еще густым и волнистым.

— Итак,— сказал он,— пусть Ганс расскажет нам про него...

— Я расскажу то, что уже рассказывал...

Сказав это, Ганс бросил наконец рисовать и поднял свою круглую, стриженую голову с твердыми, крупными чертами лица. Холодные, серые глаза его были серьезны, а рот улыбался.

— Третьего дня... я сплю. Приходят и говорят: «Вас спрашивают»... Ну... встал... Входит молодой человек, черноусый, карие глаза... левый глаз заметно косит. Сказал явку, честь честью... «Приехал,— говорит,— работать, а по специальности — агитатор и дискуссионер...» Я ему сказал сперва, что денег в комитете мало, но так как люди у нас нужны, а денег все равно добудем же когда-нибудь, то он и решил остаться... Вот.

Сказав это, Ганс взял карандаш и приделал флаг к мачте, а на флаге написал: «П. С. Р.»

— Откуда он приехал? — отрывисто буркнул Валерьян.

— Из Самары. Знает тамошнюю публику. Физиономия внушает доверие... Обращение — ровное, голос уверенный, спокойный... Говорит, что бывший студент...

— Да, нет сомнения — это он... — задумчиво произнес Валентин Осипович. — Ну, товарищи, ваше мнение?

— Я, Валентин Осипыч, — покраснел Давид, — думаю, что... это может выйти ошибка... По всему видно, что он — бывалый парень... Вчера, например, он, еще не отдохнув, как расщипал эсдеков у Симона на заводе! В лоск прямо положил!.. А это значит, что он не младенец...

— А кто давно работает... — тот не может быть провокатором? Милейший юноша, — улыбнулся Валентин Осипович, — вы еще плохо знаете людей... Я за свою жизнь знал таких, что работали годами в партии, а потом делались шпионами... Эволюция эта проклятая, знаете ли, незаметно происходит... Устанет человек, озлобится, — вот вам и готово субъективное отношение... А тут один шаг к дальнейшему... А этот — Ко-

стя, кажется, его зовут — еще молод, а на мягком воске молодости сплошь и рядом можно написать что угодно...

У Ганса опять сломался карандаш, и он с ожесточением принялся чинить его, стругая так, что куски дерева летели во все стороны. Опять наступило молчание, и каждый думал о том, что сказал старый, опытный революционер.

— Ну, вот что, товарищи,— продолжал Валентин Осипович.— Я хотя и старше вас, и прислан с директивами от ЦК, и знаю весь объем опасности, грозящей делу революции в крае, но всецело предоставляю решение этого дела вам, во-первых,— потому, что оно просто и ясно, а во-вторых,— потому, что у меня много более важных дел... А вы уж сами справитесь.

— Да,— промолвил Ганс,— придется того...

Он не договорил, но каждый понял его жест и мысль...

— Это надо сделать скорее,— невозмутимо продолжал Ганс, отделивая корму большого океанского парохода.— Вы меня простите, товарищи, но чем скорее переговорить об этом неприятном деле, тем лучше... Кто же возьмет на себя руководство этим... предприятием? — спросил он, оглядывая всех. Рот его улыбался.

— Ганс прав,— сказал Валентин Осипович.— Сделаем так, мы избавим не одних себя, а все организации от риска провала.

— Ну, кто же? — спросил Ганс еще раз и, откинувшись на спинку стула, склонил голову набок, любясь рисунком. Затем, подождав немного, добавил два-три штриха и сказал:

— Я возьму. Завтра пойду к Еремею. Доверяете, или... может быть — кто-нибудь другой хочет?

— Нет уж, спасибо,— сморщился Давид, расширив свои голубые глаза.— Валяйте вы.

— А вы не хотите, Валерьян? — улыбнулся Ганс.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — болезненно крикнул Сергей.— Нельзя из этого делать шуток!..

— Ну, хорошо! Провокатора съем! — совсем уже рассмеялся Ганс. Валентин Осипович тоже улыбнулся.

Снова вошла Нина, и все поднялись, не дожидаясь ее недовольного «ну!». Зазвенели чайные ложки, и Ва-

лентин Осипович стал рассказывать о жизни в Якутске и сибирских чалдонах. Рассказывал он очень интересно, с увлечением, и все смеялись, а у Ганса улыбался рот.

II

На улице было темно и тихо. Ганс провожал Валентина Осиповича домой. Они шли медленно; молодой человек сердито стучал тросточкой о деревянные тумбы, спутник его курил папиросу. Вечер был теплый и нежный, и в душу ползла легкая дремота очарования, мешая разговаривать и вызывая в голове неясные, сладкие воспоминания, полные неопределенной тоски о будущем. Юноша совсем размяк и молчал. Валентин Осипович изредка делал кое-какие замечания, касающиеся завтрашней сходимки у Синего Брода, где еще раз должны были померяться силами две партии. Он негодовал и сердился.

— Совершенно я не понимаю и не признаю этих дебатов... Смешные эти петушинные бои... Честное слово...

— Нельзя, Валентин Осипович, — возразил наконец Ганс. — У нас всего восемь кружков, а у социал-демократов 30. И что всего замечательнее: у нас масса литературы крестьянской, рабочей — и все же как-то дело подвигается туговато... А они жарят без литературы, и у них кружки растут, как грибы.

— Ничего удивительного... В рабочих говорит классовый инстинкт... Зато мы монополизировали крестьянство...

— И потом — у эсдеков здесь есть типография, а у нас все еще процветает кустарничество...

— Ну, это, знаете, не важно, по-моему... Можно и на гектографе сделать хорошо...

— Можно, да здешние уврие — весьма балованный народ: подавай им непременно печатные, а гектограф, мимеограф и т. п. они и знать не хотят...

— Очень скверно. Со временем можно будет наладить и типографию... А теперь надо устроить с провокатором. Вы как думаете?

— О! Я сам не хочу здесь мараться... Просто передам в дружину, а там пусть как хотят... Ну, окажу, конечно, косвенное содействие.

— Смотрите, будьте осторожнее. Вы — ценный человек для революции.

— Помилуйте! Вы меня конфузите!

— Ну, будет скромничать... Нет, я говорю не комплимент. В вас есть незаменимое качество: энтузиазм... А это не так часто встречается... Наша интеллигенция — больше от головы революционеры, а не от сердца.

Оба замолчали и через минуту остановились у подъезда большой каменной гостиницы, где жил Валентин Осипович. Ганс пожал ему руку и быстро пошел обратно. Дойдя до угла, он крикнул извозчика и велел ему ехать в нижнюю часть города к реке.

Извозчик ехал скоро, и от быстрой езды по пустынным, затихшим улицам, и от сознания романтичности положения Ганс испытывал необыкновенно сильный прилив энергии и возбуждения, когда мысли горят ровно и сильно и все кажется возможным и достижимым. Это случалось с ним каждый раз, когда приходилось рисковать в чем-нибудь или обдумывать детали сложного предприятия. И, чем ближе подъезжал он к цели своего путешествия, тем яснее становилось для него все, задуманное им. Улыбаясь своей обычно неопределенной улыбкой, Ганс слез с извозчика у ворот небольшого деревянного домика и подошел к окну, освещенному и раскрытому настежь. Белая занавеска колыхалась в нем; Ганс отдернул ее и тихо сказал:

— Здравствуйте, Костя.

К окну придвинулся черный силуэт хозяина квартиры. Костя читал и очень обрадовался приходу Ганса.

— А, Ганс! — сказал он весело. — Ну, входите!..

— Скажите сперва — сколько времени?

Костя вынул карманные часы и посмотрел на них, слегка косясь левым глазом.

— Одиннадцать. А вы торопитесь куда? — спросил он.

— Поторапливаюсь, товарищ. Ну, что — нашли квартиру?

— Нашел, кажется, годится... Впрочем, можно будет переменить... Она помещается на одной лестнице с редакцией «Голоса», так что вроде публичного места. Приходит и уходит народ, а куда, в какую квартиру — кто знает?

— Правильно! — согласился Ганс.

Он облокотился на подоконник и положил голову на руки.

— Да идите вы в комнату, странный субъект! — вскричал Костя. — На улице шляется масса шпионов...

— Нет, спасибо! — вздохнул Ганс. — А вот что: у вас револьвер есть?

— Есть, браунинг.

— У меня тоже есть и тоже браунинг.

— Поздравляю вас!

— Премного благодарствую... Соскучился я, пришел к вам посидеть... Был сегодня у Нины, да она меня гонять стала; боится, что квартиру замараю... А сейчас от Валентина Осипыча... Симпатичный человек.

— Да-а!.. Будем ли мы с вами такими в его годы? — задумчиво произнес Костя, и его левый глаз как-то жалобно устремился в сторону, в то время, как правый серьезно и грустно смотрел на темную фигуру Ганса. — Каторга, ссылка, десяток тюрем — и все как с гуся вода... По-прежнему молод, верит, борется...

Рот Ганса перестал улыбаться, и он спросил вдруг, устремив глаза на потолок:

— Костя! Вам снились сегодня дурные сны?

— Никаких! — рассмеялся он. — Да что это вы сегодня — какой-то лунатик? Уж не собрались ли вы?..

— А мне снились, — упрямо перебил Ганс.

— Ну что же из этого? Я, ей-богу, вас не понимаю! — Костя пожал плечами. — Идите-ка вы лучше спать. А то нервы расстраиваете...

— Вот что, Костя! — сказал Ганс. — Сейчас я иду решать дело, от удачного исхода которого зависит все существование нашего комитета... Я говорю серьезно, — добавил он, заметив недоверчивую улыбку в глазах товарища.

Лицо Кости сразу стало серьезным, и глаз перестал косить. Он заправил один ус в рот и сказал:

— Та-ак-с...

— И мне нужна... или, может быть, понадобится ваша помощь... Пойдемте со мной? Это будет не долго, а? У вас есть револьвер к тому же...

— Хорошо-о... — протянул Костя в некотором раздумьи. — А... какое дело?

— Уверяю вас — я не могу вам сказать сейчас;

во-первых, потому, что мало времени, во-вторых, потому, что у меня уже все решено в голове, и вы можете понадобиться только в крайнюю минуту, на случай опасности...

Костя заторопился, надевая верхнюю блузу, шляпу и закладывая обойму в револьвер. Ганс вынул свой браунинг и пересчитал патроны, держа руки в глубине окна.

III

Река медленно и сонно плескалась у берегов, невидимая в темноте. На пароходных пристанях тускло горели красные фонари, дрожащим, призрачным светом выделяя из мрака полуразвалившиеся штабели дров, «бунты» товара, окутанные брезентами, и лодки всевозможных размеров, уткнувшие в песок свои носы. В отдалении звонкой, щелкающей трелью заливалась трещотка ночного сторожа.

Ганс и Костя спустились к воде у конторки «Кавказа и Меркурия». Тут лежали толстые бревна, очевидно, когда-то употреблявшиеся для настилки сходней. Влево высилась черная масса пристани и по борту ее ходил человек с фонарем, осматривая что-то. Дремлющий ветер донес с середины реки пьяные звуки гармоники и подгулявших голосов.

Они остановились у бревен, и Ганс сказал:

— Костя, вы пройдите, пожалуйста, и спрячьтесь где-нибудь за дровами... Если вы услышите, что я крикну: «сюда!» — спешите скорее. Если же нет — не показывайтесь... Жаль только, что вы не услышите нашего разговора...

— Один вопрос, товарищ: это дело не касается лично вас?

— Меня? — усмехнулся Ганс. — Да нет же... Оно касается всех... и вас в том числе.

Костя еще постоял немного в раздумьи. Ему было слегка неприятно, что он играет пассивную и подчиненную роль, и самолюбие его, эта ахиллесова пята революционеров, было сильно уколото. Но он не подал вида, отчасти потому, что был еще новым лицом в городе и, следовательно, — пока зависимым; отчасти же потому, что Ганс сильно заинтриговал его, и ему хотелось узнать суть дела хотя бы путем участия в нем. Кроме

того, Костя был не трус, а опасность притягивает. В силу всех этих соображений он еще раз соображающе выпятил губы и скрылся в грудах березовых дров и колесных ободьев.

Ганс сел на бревно и перестал улыбаться. Фигура его, прилично одетая в черное пальто и такой же картуз, почти совершенно сливалась с погруженным в темноту берегом. Вытянув ноги в лакированных штиблетах, он вдруг вспомнил что-то, опустил руку в карман и, вынув белый носовой платок, обернул им ладонь левой руки. Еще одно соображение мелькнуло в нем. Он встал и подошел к сколоченной из старого теса будке старика лодочника, приютившейся возле громадных сходней пристани, и крикнул:

— Эй, дедка!

Разбуженный «дедка», седой, сутуловатый, но еще крепкий и жилистый старик, вылез из будки и устремил на юношу свои красные, подслеповатые глазки. «Дедку» — в его вечном ватном картузе до ушей и огромных валенках знала вся городская молодежь, и он ее, так как сходки и вечеринки часто устраивались где-нибудь на островах, а у старого лодочника была превосходная, быстрая и легкая «посуда».

— Лодочку, барин? — закричал «дедка».

— Четверку... ту — востроносию... Дорого не бери, смотри...

— Цена известная... Лодки-то, почитай, все разобрали. Ай, нет, есть никак... Денежки пожалуйста.

Ганс заплатил деньги, взял весла и спустился к воде. Быстро отперев цепь и вскочив в лодку, закачавшуюся под ногами, он вставил весла в уключины и в два взмаха очутился у бревна, на котором сидел. Выскочив на берег, он вытащил лодку до половины на песок и снова уселся на бревне.

Ветер, поднявшийся было с востока, стих, и воздух застыл в легкой прохладе речной сырости. Сверху, из темных сбившихся облаков, блестел тусклый, месячный свет. С горы, усеянной темными купами деревьев, доносились звуки голосов, сонное тявканье собак, бряканье калиток; светились красные четырехугольники окон.

Сердце билось у Ганса сильнее обыкновенного. Он перевернул браунинг, лежавший в кармане, рукояткой вверх и стал ждать, посматривая в сторону спуска.

Ждать пришлось недолго. Прошло пять-шесть минут, и на дороге, пролежавшей вдоль берега, показалось черное пятно человека, идущего медленным, легким шагом. Человек подошел к сходне пристани, остановился, помахивая тросточкой, и начал осторожно спускаться к воде. Ганс не видел лица идущего, но чувствовал пытливый и подозрительный взгляд, направленный в сторону бревна. Он положил руку, обернутую платком, на левое колено и тихонько крикнул.

Незнакомец спустился к самой воде и стал шагах в двух от революционера, смотря прямо перед собой в темную даль реки. Теперь Ганс мог его разглядеть. Это был невысокий, худощавый молодой человек, с скуластым, крепким лицом и бородкой клинышком, одетый в серое пальто и черную фетровую шляпу. Тросточка его описывала за спиной беспокойные зигзаги. Наконец он скосил глаза в сторону Ганса, осклабился, увидя белый платок, и, выжидательно смотря на юношу, сказал:

— Теплынь-то, а? Благодать!.. Барсов.

Ганс начинал испытывать раздражение. Он выпрямился и сказал:

— Ну, садитесь, раз пришли! Мне, знаете, некогда!

Незнакомец вдруг оживился и просиял. Быстро засуетившись, он прислонил тросточку к бревну и, запахнув полы пальто, уселся рядом с Гансом, заговорив радостным, тихим голосом:

— Вот как хорошо, что вы пришли-с! Ей-богу! А мы-то уж думали, думали! Мы-то гадали, гадали! Уж прямо-таки решили, что вы, не дай бог, захворали или что!.. Ей-богу! Господин ротмистр даже расположения духа лишились, право! Сердитые... ходят взад и вперед и все говорят: — «Уж эти мне петербургские! Осторожности на целковый, а дела на грош!» Да-с... Вы уж извините, что я так говорю...

— Да говорите, что же мне ротмистр! — прервал его Ганс — Только почему это вы так беспокоились? Ведь мы условились именно сегодня?

— Так-то так, да все же-с... Думали: господин Высоцкий сами заглянут, улучат минутку... А вы вот, видите ли, — осторожны. Что же? По совести, и я бы так делал-с... В нашем деле нельзя иначе, нельзя-с... Опасное дело по нынешним временам!..

— Да, неприятное,— вздохнул Ганс.— Можно живота лишиться...

— И-и! Сколько хотите!.. Я вот, знаете ли, на днях: иду за одним эсэриком... да вы его знать должны, как же-с: еврейчик, часовщик, Трейгер фамилия...

— Как же, знаю! Ну, этот не опасен — мальчишка... Другие есть, настоящие...

— Конечно,— поспешил согласиться незнакомец.— Ах, простите,— привстал он,— позвольте представиться: Николай Иванович Хвостов-с. Я недавно служу, а все же, конечно, приятно познакомиться. Да-с. Так вот, слежу я, изволите видеть... А он, жидюга, завернул за угол да оттуда обратно и выскакивает... А я разлетелся, да и сшибись с ним... Ка-ак он замahнется на меня набалдашником!.. Я уж тут отбежал... И грозит еще, представьте. «Не попадайся!» — кричит.

— Скоро мы им отшибем спеси,— сказал Ганс.

— Да-а... Больно ведь уж силу взяли, куда тебе! Так и плодятся, как саранча... Одних этих партий проклятых не пересчитаешь... да-с. Мы тогда же, как вашу телеграмму получили — подумали: ну, возьмутся умные люди, закрутят овечке хвост!..

— Да, я потому и послал телеграмму, что так было удобнее,— сказал наудачу Ганс.

Но Николай Иванович, очевидно, обрадовался возможности поговорить. Он подсел еще ближе и, оглядываясь, таинственно зашептал:

— Да-с: мы как ее расшифровали, господин Высоцкий,— так и подумали: тут дело не с бухты-баракты делается... Сообщает человек свой адрес, фамилию и когда увидеться. Сразу, с налету, так сказать, орлом! Налетел, расклевал,— ищи! Дело чисто сделано! Ха-ха!..

Ганс облегченно вздохнул, и рот его улыбнулся. Теперь все становилось ясно.

— Нельзя иначе, Николай Иванович,— сказал он.— Я сам — человек общительный, люблю общество умных людей... поговорить там, в картишки... А все же, знаете, нужно себя сохранить... Что же? Приехал я аккуратно, с паролем, виды видал, думаю — живо выведу всех на чистую воду, прихлопну и — дальше... Надо себя сохранить...

— Это верно-с, верно! Что говорить! — подхватил

Николай Иванович.— А то начнешь ходить в жандармское, полицию или так куда... не дай бог — заметит кто из социалистов!.. А тут уж разговор короткий...

— Знаете,— перешел Ганс в деловой тон,— я, пожалуй, сегодня же вам все передам. Делать здесь больше нечего... Останется разве какая мелюзга — на развод! — усмехнулся он.

— Да-а? — обрадовался Хвостов.— Вот молодец вы, право!.. В две недели!.. И уезжаете?

— Конечно... А скоро все это сделано потому, что я сразу вошел в комитет... Ну,— и актер я хороший...

— Да-с, да-с!.. По лицу даже заметно... Гениально, можно сказать! А я вам тут пакетец припас от полковника... Сведеньища тут и потом, знаете, кое-что насчет Екатеринослава... Может, там будете, так дела можете сделать...

У Ганса сделался нестерпимый зуд в ногах от этих слов. Всеми силами сдерживая охватившее его волнение, он немного помолчал и сказал небрежно:

— Ну, что ж... Давайте! Всякое лыко в строку...

Николай Иванович расстегнул пиджак и вытащил тяжелый, толстый пакет. Принимая его, Ганс испытывал ощущение стопудовой тяжести в руке, пока пакет не очутился в его кармане. Ему вдруг сделалось ужасно радостно и весело на душе. С веселым лицом он повернулся к Хвостову и, опустив руку в карман, где лежал револьвер, сказал изменившимся голосом, в упор глядя на сыщика:

— А что бы вы сказали, Николай Иванович, если бы вдруг узнали, что я... не Высоцкий, а... социалист-революционер?

— Что бы я сказал? — улыбнулся Хвостов.— Сказал бы, что вы — гениальнейший артист! Гамлет-с, можно сказать!.. Талант! Хи-хи!

Ганс рассердился.

— А что бы вы сказали,— грозно произнес он, быстро вставая и приставляя браунинг к фетровой шляпе Хвостова,— что бы вы сказали,— повторил он, и его резкое лицо вспыхнуло,— если бы я сообщил вам, что здесь восемь пуль и одной из них довольно, чтобы пробить ваш грязный мозжок? А?

Николай Иванович сидел, сложив руки на коленях, недоумевающе улыбался и вдруг побелел в темноте, как

снег. Глаза его в ужасе, казалось, хотели выскочить из орбит. Он протянул руки перед собой, как бы отстраняя Ганса, и пролепетал:

— Хо-хо-роший револь-вер... У вас... ка-казенный?

— Не валяйте дурака! — начал Ганс. — Если вы...

— Ка...раул!.. — взвизгнул Хвостов, но вместо крика из его горла вырвался какой-то сип. Ганс быстро ударил его дулом в лоб. Сыщик пошатнулся и умолк.

— Если вы, — зашипел Ганс, — скажете хоть еще одно слово — застрелю... Сюда! — громко сказал он в сторону дров.

Дрова со стуком посыпались, и Костя бледный, держа за спиной револьвер, подбежал к воде.

— Товарищ! — взволнованно сказал Ганс, — вот этот человек — шпион... Я хочу, — произнес он, быстро переводя дыхание, — сплавить его на тот берег.

— Господа! Миленькие!.. — пискливо шепнул Хвостов. — Ей-богу!.. Если я!.. Простите! Будьте такие добрые! Ради Христа! Христос не велел...

— Садитесь в лодку! — приказал Ганс, не отводя дула от сыщика. — Скорее! Я вам не сделаю ничего, увезу вас только на тот берег, чтобы вы не подняли гвалт... Костя, голубчик, общите его скорее...

Молодой человек торопливо выворотил карманы Николая Ивановича. Записная книжка и несколько фотографических карточек исчезли в брюках Ганса.

Хвостов стоял, дрожа всем телом. Он сразу как-то весь окис и опустился, молчал и только изредка всхлипывал. Ганс связал ему руки назади туго свернутым носовым платком и, втолкнув в лодку, схватил весла.

— Ганс! — сказал Костя, и в голосе его слышалась просьба. — Вы...

— Ничего я ему не сделаю, товарищ, — сурово ответил Ганс. — Пусть полежит с денек в лесу...

«Дедка» проснулся, вышел из шалаша и, вздыхая, посмотрел на небо. Кой-где блестели звезды, и бледные клочки начинающего светлеть неба тонули в тучах. Он зевнул и обернулся к темным фигурам, возившимся у воды. Уключины брякнули, и лодка, столкнутая Костей, заколыхалась на воде.

— Поехали, молодцы? — спросил «дедка». — Дай бог веселого пиროванья... Али вы рыбу ловить?

— Рыбу ловить, дедка! — крикнул Ганс, и Костя

вздрыгнул, не узнав его голоса в этом звонком, оборвавшемся выкрике. Вода зашумела под веслами, и лодка отделилась от берега, уходя в темноту. Минуты две еще было слышно, как брякали уключины в такт мерным, тяжёлым всплескам. Затем все стихло.

Серый туман окутал реку, и с нее потянуло пронизывающей сыростью. Вода светлела у берегов, и стальные гладкие полосы отмелей серебрились, пронизанные черными отражениями судов, стоящих на якоре. Разноцветные точки фонарей дрожали в воде.

И вдруг в глубокой тишине уходящей ночи гулко и отчетливо прокатился выстрел, подхваченный эхом... Вверху на горе глухо залаяли разбуженные собаки... И снова все стихло. Река сонно шептала у берегов, как будто рассказывая тысячетлетние были. Костя вздрогнул и опустил голову...

IV

Ганс причалил, молча снял весла и отнес их в сторожку. Затем встряхнулся, потянулся так, что затрещали суставы, и, не дожидаясь вопросов «дедки» о причинах скорого возвращения, схватил Костю под руку и быстро зашагал в гору. Выбравшись наверх, они остановились и перевели дух.

Костя поглядел на товарища. Лицо Ганса как-то посерело и осунулось, а серые, холодные глаза ушли внутрь. Он тяжело дышал. Так они стояли с минуту, глядя друг другу в глаза.

— Костя! — сказал наконец Ганс упавшим грудным голосом. — Вы знаете, кто такой... Валентин Осипович Высоцкий?

— Что за шутики, Ганс, — поморщился Костя. — Говорите прямо... если есть что.

— Петербургский провокатор! — выпалил Ганс. — Это тот самый, что провалил в прошлом году ростовских социал-демократов!..

Костя остоленел, и крик изумления вырвался у него:

— Провокатор! Ганс!! Не может быть!..

— А вы слушайте!.. — продолжал Ганс тихо. — И пойдемте... Тут стоять нельзя. Знаете — если бы мне три дня тому назад кто-нибудь сказал то, что я вам сейчас — я без дальних околечностей закатил бы ему

пощечину... А теперь... «Всякое бывает» — сказал Бен-Акиба... Все вышло случайно... То есть поистине все вышло чудесно... Дело было так: два дня тому назад прихожу я к Высоцкому... У меня было дело, надо было посылать человека за границу... Пришел, а его дома нет... Ждал, ждал... Вдруг стучит кто-то... «Войдите»... Посыльный.— «Здесь живет такой-то?» — Здесь, мол... — «Письмецо вам»... — Хорошо,— говорю... Ушел, письмо я сунул в карман, Высоцкого не дождался, про письмо забыл, прихожу домой,— тут мне почтальон приносит два письма... Но так как мне тут же надо было спешить на организационное собрание, то я их в тот же карман сунул, сел на конку и помчался... Дорогой вынимаю одно, читаю...

Ганс остановился и вытер вспотевший лоб. Товарищи шли быстрым, полным шагом... Бледный рассвет застыл над городом недвижной, мертвой улыбкой. Было тихо и пусто.

— И тут,— продолжал Ганс,— меня как будто целой крышей по голове хватили... Там было написано вот что... оно у меня огненными буквами в мозгу засело: — «Многоуважаемый г. Высоцкий! Настоящим имею честь уведомить вас, что, согласно просьбе вашей, выраженной в телеграмме, назначить свидание для переговоров о деле не раньше двух недель со дня приезда вашего — полагаю возможным назначить таковое в субботу, 29-го сего месяца. Место и час прихода вашего будьте любезны заблаговременно сообщить письмом в Управление, с указанием какого-либо отличительного знака, по которому наш агент мог бы вас узнать. По приходе он скажет вам следующее: «Барсов». Примите уверение в совершенном почтении, Барсов»... И вот, пока я читал, я еще думал, что эти карбонарские приемы относятся к какому-нибудь нашему делу, мало ли что может быть... А подпись жандармского ротмистра меня прямо к земле пригвоздила... Да еще в связи с канцелярским изложением... Я ночь не спал, все думал — как быть? Потом решил взять все на свой риск и написал Барсову письмо, что все, мол, прекрасно и в двенадцать часов ночи я приду туда, где мы сейчас с вами были... Я хотел таким образом попытаться узнать кое-что... И действительно... А сегодня, то есть вчера вечером,— поправился Ганс,— у нас было очередное заседание... Высоцкий приходит и

читает письмо, якобы от районного комитета; смысла письма таков, что к нам приехал провокатор и что провокатор этот — вы!..

Костя застонал и схватился за голову.

— Вот! И понимаете, — что всего ужаснее — вас здесь никто не знает!.. Приехали вы с местной явкой, а Высоцкий — с партийным паролем... А? Каково? И вчера, знаете, уж порешили вас того — убрать...

Костя вдруг опустился на ближайшую тумбу и закрыл лицо руками. Нервное потрясение было слишком велико... Он весь содрогался от сдерживаемых рыданий и скрипел зубами...

— Костя, да что с вами? Будьте хладнокровнее! Идемте скорее! До утра нужно еще созвать всех и обсудить, как быть дальше! Время дорого... Слышите?..

Ганс тряс товарища за плечо изо всей силы. Наконец тот встал и рассмеялся хриплым, нервным смехом, вытирая глаза.

— Видите, какая скотина! — заботливо-негодующим тоном произнес Ганс. — Он ведь переписку вел. Пари держу, что получил письмо относительно себя и хотел след запутать, а сам еще где-нибудь напакостить... Вы вот что: идите к Нине и Сергею, а я побегу к остальным... Сергею надо щекотать пятки, иначе он не встанет...

— Хорошо...

— Ну, до свиданья пока... Ой, ой, вы мне руку раздавили!

— Слушайте, Ганс!.. А... тот?

— Пришлось покончить... А соберемся, скажите — у Лизы...

В небе легли розовые краски, и стало холодно. Запели петухи.

V

— Я сам пойду! — кричал бледный Сергей, размахивая шапкой. Глаза его лихорадочно горели, и красные пятна зловеще алели на щеках. — Я, — он глухо закашлялся и схватился за грудь, — я сам... кха... кха!..

— Нет! Пусть Валерьян!.. Куда вам?! Идите спать, Сергей! — кричал Ганс. — Вы будете шуметь, разговаривать! Слышите?

— Нет! — раздражался Сергей. — Я пойду!.. Эволюция личности!.. Прохвост!..

— Сергей! Прошу вас, останьтесь!.. — решительно сказал Валерьян. — Вы мягкий человек!..

— Боже мой! Валерьян — да идите уж вы, что ли, скорее!.. Ведь не сто человек тут нужно... Вот деньги и паспорт на всякий случай... Впрочем, наверно, увидимся еще!.. Нина, где деньги?..

Девушка, плотно сжав губы, молча вынула ассигнации и подала Гансу. Тот передал их Валерьяну, который стоял, ерша обеими руками свою густую копну, и энергически тряс головой. — Ну, жарьте!..

Валерьян вышел, плотно притворив дверь и вздрагивая от утреннего холода в своей черной сатиновой блузе. Все в нем кипело и бурлило, как самовар. Юноша гневно сверкал своими черными маленькими глазками, направляясь в центр города. У подъезда гостиницы он остановился и позвонил.

Было пять часов, и солнце золотым шаром выкатилось над крышами, позолотив куполы церквей и стекла окон. Сновали редкие прохожие, громыхали пролетки извозчиков, выезжавших на промысел. Валерьяну отпер заспанный, обрюзгший швейцар, окинув молодого человека подозрительным взглядом. Революционер сунул ему двугривенный и стал подыматься вверх.

В длинных полутемных коридорах гостиницы все еще спало. Валерьян подошел к номеру, в котором жил Высоцкий, и приложил ухо к двери. Там слышалось ровное дыхание спящего. Где-то внизу хлопнула дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. Валерьян осторожно постучал три раза и снова прислушался. Дыхание прекратилось, и послышалось шарканье калош, одетых на босу ногу. Через секунду чиркнула спичка и ключ повернулся в замке. Дверь открыл Высоцкий, в одном белье, с заспанным и недовольным лицом. В зубах его торчала папироса. Увидя Валерьяна, он прищурился и сморщился.

— Что так рано? — зевнул он. — Ну, проходите...

— Дело есть, Валентин Осипович, — глухо проворчал Валерьян, входя и запирая дверь на ключ. Подумав немного, он вынул ключ из замка и сунул в карман.

— Зачем вы это делаете? — размеренно спросил Высоцкий.

— Затем, чтобы нам не помешали,—слегка дрожащим голосом ответил Валерьян.— Я пришел... ну, одним словом, не будем долго разговаривать... Вы провокатор, и ваша песенка спета!

Что-то неопределенное сверкнуло в глазах Высоцкого. Лицо его оставалось спокойно, но пальцы рук нервно задвигались. Он отступил в глубину комнаты и произнес громким, сдавленным голосом:

— Вы — мальчишка и сумасшедший! Убирайтесь вон!..

— Молчать! — заревел Валерьян, и револьвер ходунном заходил в его руке.— Сорвалось, ага! Скажите только хоть слово!..

Высоцкий покачулся и упал вперед всем корпусом к ногам юноши. Тот растерялся и в то же мгновение почувствовал, что падает сам. Валентин Осипович схватил его за ноги и с силой дернул к себе. Падая, Валерьян выронил револьвер, и началась отчаянная борьба на полу. Но молодой был сильнее и проворнее старика. Он быстро подмял его под себя и уселся сверху, тяжело пыхтя. Правая рука его шарила по полу, отыскивая упавший браунинг. Наконец полированная рукоятка попала ему в руку.

— Слушайте! — сказал Валерьян.— Я сейчас убью вас!.. Но скажите, откройте мне душу предателя!..

Высоцкий лежал, запрокинув голову, и широко раскрытые глаза его вертелись во все стороны. Тонкая кровяная струйка стекала по виску, оцарапанному при падении.

— Я дам вам тысячу рублей...— с трудом, наконец, прохрипел он, так как левая рука молодого медвежонка лежала на его тонкой, жилистой шее.— Слышите?! Пустите меня!.. Когда я был... слушайте... я вам расскажу!.. в группе старых... народовольцев...

— Эволюция личности, да? — злобно прошипел Валерьян, плохо соображая, о чем говорит Высоцкий.— Подленькая натура у вас, это будет вернее!..

— Вы, вы знаете... правду? — захрипел Высоцкий.— Кто вы — черт вас побери с вашим добром и злом? Пустите меня, паршивый идеалист!.. Вас повесят, слышите вы? Фарисей!..

Сиплый полувиизг, полукрик клочками вылетал из его сдавленного горла.

— Застрелитесь сами?! — предложил вдруг Валерьян, красный, как пион.

— Сам?? — Пустите меня! — слышите? Ради матери вашей!..

Валерьян отвернул голову и выстрелил не глядя куда... Эхо зарокотало в коридоре, и тело лежащего вздрогнуло под рукой Валерьяна. Пороховой дым закрутился по комнате... Юноша выскочил и бросился бежать, сломя голову, по лестнице вниз. Она была пуста. Весь дрожа, улыбаясь бессознательной, плачущей улыбкой, Валерьян вышел на улицу и крикнул извозчика.

Через час он был на конспиративной квартире.

В ИТАЛИЮ

I

Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку.

Те, кто охотились за ним, без сомнения, потеряли его из виду. Быть может — это было и не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее — совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Геник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез.

В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был небольшой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города.

Прямо перед Геником, за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фон-

тан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышным дребезжанием экипажей.

Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Геника, разворачиваясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя, вдобавок, запутаться на незнакомом дворе,—немыслимо. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шаг. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом, незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоду, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наконец, было уже оцеплен.

Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь — осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом книзу на пыльной, горячей мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три... Трех было очень мало...

Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь — это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю...

II

Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца.

Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им... Он прогнал муху,

приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание...

...Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких, шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов...

Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая «взрослыми». «Взрослые» носили брюки навывпуск, ничего не знали (или очень мало) о существовании разрыв-травы и важнейшим делом жизни считали умение есть суп «с хлебом»...

Все это — лужайка, мотыльки и взрослые—сверкнуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами.

Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полужастенчивым, полурадостным голосом:

— Здравствуй, дядя Сережа!

— Здравствуй,— ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера.

— А ты почему не приехал завтра? — продолжал ребенок, испытующе поглядывая на дядю.— Мама тебя очень бранила. Она говорит, что ты какой-то деревянный!

— Мама пошутила,— медленно и внушительно сказал Геник.— Она думала, что ты умная. А ты — глупенькая!

— Это уж ты глупенький-то! — Девочка надулась.— Не буду тебя любить!

— Вот как! Это почему?

— А ты... ты, ведь, хотел привезти железную доро-о-огу! И еще зайчика... Разве ты обманщик?

— Я был сердит на твою маму,— вывернулся Геник.— Я хотел, чтобы тебя называли Варей, а она меня не послушала.

— Варя — это у кухарки,— заявила девочка, подступая ближе.— Она рыжая. А я Оля!

— Ну, вот. Но теперь я уже перестал сердиться. И знаешь, что я придумал?

— Нет! Какую-нибудь дрянь? — осведомилась девочка.

— Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари...

— Я не учусь! Это папа так говорит,— хладнокровно возразила племянница.

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! — продолжал укоризненно покачивать головой Геник.

— Ну — я не буду! Ну — скажи, что? — приставала девочка.

— А ты любить меня будешь?

— Да-а! — Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. — Ну, скажи же, скажи!

— Мы, — торжественно заявил Геник, — поедem с тобой на настоящей железной дороге!

— В Италию, — с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились.

— В Италию! Мы возьмем с собой маму м... м...

— Мы еще возьмем... возьмем вот кого! — Оля задумалась. — Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Гаиьку, и французенку... Нет, французенку не нужно! Она злая! Она все жалуется, а папка ее очень любит за это!..

— Вот как! Ну, мы ее тогда... оставим без обеда!..

— Во-от. Так ей и надо! — Девочка с нетерпением смотрела на Геника. — Мы едем в Италию!

— Нет! — печально вздохнул Геник. — Я и забыл, что мне нельзя ехать.

— Ну-у?! — Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. — А почему нельзя? а?

Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Геник погладил ее по щеке и сказал:

— Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу.

— Вот такую, как у папы, — озабоченно заметила девочка. — Белую. А ты был в Италии?

— Был. Только там шляпы лучше папиной!

— Да-а, как же! У папы всегда лучше, — заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости.

— Сережа, едем! — закричала она, хлопая в ладоши. — Скорее! Я дам тебе папину шляпу — вот!

Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза.

— Не надо, Оля, — сказал он печально. — Мама узнает, будет бранить Олю!

— Мамы нет, Сережа! Она у художника — знаешь? Плешивый!..

III

Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих.

Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков.

«Вызвали наряд городовых, — думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. — По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает...»

Где-то, вероятно на соседнем дворе, шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Генику. Маленькая, вертящая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Геник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся.

Стена имела не менее сажени в высоту. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно; как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кустики мощеного двора и угол каменного, многоэтажного дома.

Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приво-

дить себя в порядок, затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада.

IV

Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Станный, колющий озноб пробегал по его ногам, несмотря на июльскую жару.

Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи: большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы.

— Вот папина шляпа, Сережа! — заявила она, шумно переводя дыхание. — Надевай!

Она привстала на цыпочки и, прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую, черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму.

— Ах! — она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением поглядывая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор.

— Ну, вставай же, поедem!

— Погоди, детка, — улыбнулся Геник. — Еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро... и тогда... Мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся.

— Ну, пойдем ко мне! Я покажу тебе Зизи. Она сейчас завтракает, а потом будет кувыраться... У нее глаза болят!..

— Видишь ли, очень жарко. А в комнате еще теплее. Я даже хочу снять пальто.

Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком, сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто.

— А я сяду к тебе? — она заглянула ему в глаза. — Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет.

Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер.

— А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство!

V

Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада... Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание... Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху...

Два городских, с револьверами наготове, показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный, невысокий мужик, широколицый, с маленькими, часто мигающими глазами.

Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь.

— Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!

Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше.

Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами...

— С приездом осмелюсь вас поздравить, барин, — сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку — Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!

Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам.

— Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем... С Михайловской улицы из пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил... А окромя как через наш двор ему выскочить негде...

— Какой человек? — отрывисто спросил Геник.

— Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городского стрелял, прямо в живот угодил...

Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный.

— Степан! — начал он медленно и внушительно,

смотря дворнику прямо в глаза, — стоит мне сказать одно слово — и ты будешь немедленно уволен! Помогать охране порядка — твоя прямая обязанность! В то время, как вот они, — он указал взглядом на городских, — не жалея жизни исполняют свой долг — ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух! Очень хорошо!

— Господи! Ужли ж я... ведь на один секунд! Ежели в этакую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю что... Эх, барин!

Степан обиженно вздохнул и умолк.

— Иди, я не держу тебя. Впрочем — погоди. Позови извозчика — ряди в дворянское собрание...

— Хорошо-с, — сказал угрюмо Степан, надевая картуз.

Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь вполголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала:

— Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?

-- Нет...

-- Они кого ищут? Мазурика? Да?

— Да...

— Он какой — голый?

— Да...

Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и, как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом...

Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки.

— Сережа, не плачь! Сережа — я обманула тебя! Я буду тебя любить...

Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую, загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась.

— Ты — смешной! — заявила она. — Как клоун!

На другом конце двора послышалось дребезжание извозничьего экипажа. Геник встал.

— Прощай, Оля! — сказал он, поправляя галстук. — Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу.

— И лошадку?

— Да, и лошадку. А потом мы поедем в Италию!..

— Вот как хорошо! — засмеялась девочка, идя рядом с ним. — Ты, ведь, до-о-бренький! Я с тобой всегда буду ездить!

Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный, мощный двор. У роскошного крыльца ожидал извозничий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую, русую головку.

— До свидания! Будешь умница?

— Да-а!..

Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу.

Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему...

Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепнулся и донес слабый отголосок детского крика:

— Ведь ты приедешь, Сережа?

СЛУЧАЙ

I

Бальсен запряг свою понурую, рыжую лошадку и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю. Густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной, уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсена, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсена, Анна, умирала. Так думали все соседи и старуха Розе, сидевшая у больной. Но упрямая, круглая голова Бальсена не верила этому. Молодая и любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря.

Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к де-

ревянкой, почерневшей от времени кровати, на которой, среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсен смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить... Щеки впали; лоб, обтянутый гладкой, пожелтевшей кожей, покрылся испариной. Запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной.

Розе копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсен тихо потрогал жену за руку и спросил:

— Ну, как? Трудно тебе, Аина?

Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным, мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсен стиснул зубы.

— Оставь ее, Отто, оставь! — убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими, коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. — Нельзя ее трогать... Поезжай скорее, если ты добрый муж!

Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему. Бальсен перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Адо Бальсен, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши.

— Брось газету, Адо! — раздраженно крикнул Бальсен, и жилы вздулись на его лбу. — Вечная политика, даже тогда, когда в доме горе!.. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине к небу и валитесь вместе с ней! Брось, я тебе говорю!

Адо улыбнулся и поднял глаза на брата.

— Не сердись, Отто! — мягко сказал он. — Я не обижаюсь на тебя... Тебе тяжело; это понятно... Но чем виновата газета?

— Никто не виноват! — тяжело дыша, сказал Бальсен и заходил по комнате, круто поворачиваясь. — А чем

еиновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди!..

— Этого не может быть! — сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. — Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать!..

— Ну да! Это из книжки! А на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит... А других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова...

— Отто, ты — как большой ребенок! — сказал Адо. — Ну, что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором... Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь!..

— Сорвать?! Молокосос ты и больше ничего!.. Что стало с краем? Еще такой год, и мы будем нищие! Мы, Бальсены!..

Истекший год оставил в Бальсене-старшем тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдела: кто разорился, кто исчез, неизвестно куда. Нескончаемые военные постои, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью... Обыски, доносы... Жизнь сделалась адом.

И Бальсен в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье, радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон... В прошлом жилось хорошо, настоящее — ужасно и смутно; будущее — неизвестно...

И Бальсен возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газета, иностранное слово раздражали его. Рабочий, крестьянский ум Бальсена глядел в землю и никуда больше.

Ребенок затих, и старуха вошла в комнату шаркающей, хлопотливой поступью.

— Будет шуметь! — сказала она. — Что для вас Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена сорок верст... Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя хватом.

Бальсен перестал ходить и подошел к кровати. Поставив немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспамятстве шептала что-то, быстро

шевелия губами. В голубых, сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаенная мука.

— Не топчись! — ворчала Розе. — Поезжай, ну!

— Тетка Розе! — сказал вдруг Бальсен. — А что, если он не захочет?

— Ну, вот! Поедет! Иначе его покарает бог!.. А бумажку возьми с собой на всякий случай; купишь в аптеке.

Бальсен нащупал в кармане бумажку, сложенную вчетверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт, вздохнул и вышел, тихо притворив дверь.

II

Дорога шла лесом. Невысокая, редкая чаща тянулась на пятнадцать верст двумя сплошными, угрюмыми стенами. Дорога была неровна и кочковата, но Бальсен не захотел ехать обычным, наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние по крайней мере верст на десять. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплотившихся в последнее время. Бальсен живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного — в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода.

Низкие, темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной, зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно про шумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и тогда казалось, что лес наполняется торопливым, смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий, осторожный треск... Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное и одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-у! гу-у!» выло, как ветер в трубе.

Лошадь быстро бежала, поматывая шейей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсену, глядевшему в черный, неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом, темном коридоре, уходящем в какое-

то подземное царство... Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленно и высоко ползущие тучи.

Проехав верст десять, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седёлку, сбившуюся набок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой, сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишья ночи, упавшего на землю.

И дорога, предстоявшая Бальсену, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задержал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами.

Сидя в повозке, Отто Бальсен думал об Анне, жизни, глупом братишке Адо и своем путешествии. Мысли его тяжело и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может придти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его, Бальсена, стороны не было к этому никаких поводов. Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, заботливым мужем... А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсен, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами...

И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта... Бальсен сердито вытянул Рыжика кнутом и выехал на опушку.

III

Лес кончился, уходя назад черной, плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные, серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к пяти утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих четырех лошадей. Бедный Рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой.

И вдруг Бальсен услышал, что навстречу ему кто-то

едет. В темноте раздавались дробные, перебивающиеся удары копыт и фыркание лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, кочковатое жнивье и остановил Рыжика.

Топот приближался, слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсен рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное, возбужденное ржанье, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом, с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсену стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился, с неприятным чувством вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так, что голова его лошади обдала лицо Бальсена горячим паром ноздрей, и спросил:

— Куда путь держишь, дружище?

— В город... — неохотно ответил Бальсен, нетерпеливо пожимая плечами. — И очень тороплюсь.

— А чего же ты торопишься? — спросил другой казак и захохотал громким, резким смехом. — Дюже же ты торопишься, засев у середь поля!..

Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и по тому, как он спросил: — «Что тут?», и по тому, что казаки повернулись к нему лицом, Бальсен догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсена, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина.

— Ты думаешь? — спросил офицер, зевая.

— Так тошно... Стоить у середь поля...

— Куда едешь? — сердито крикнул офицер.

— В город, господин начальник, — ответил Бальсен, снимая шапку. — За доктором. У меня очень больна жена...

— Откуда?

— Из Келя... Меня зовут Бальсен, Отто Бальсен...

— А есть у тебя паспорт?..

— Паспорт я забыл дома, господин начальник, — сказал Отто. — Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на сто верст. Я мирный человек.

Несмотря на уверенный тон, каким Бальсен давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь. Он вздохнул и продолжал:

— Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник. Очень неприятно. Я очень тороплюсь...

Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсен спросил:

— Так мне можно ехать? Меня здесь все знают...

— Нет, нельзя, — спокойно сказал офицер. — А может быть, ты не Бальсен, а? Как же это ты — без паспорта? Разве ты не читал приказа?

— Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас, — вздохнул Бальсен. — Со всяким может случиться ошибка, господин полковник. И я прошу вас простить меня. Мне нужно к доктору...

— А ну, обыщите его, ребята, — приказал офицер. — А зачем ты свернул с дороги?

— Я не знал, кто едет, господин начальник, — оправдывался Бальсен. — Теперь много разбойников.

— Вылезай! — сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. — Прощупаем тебя.

Бальсен засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них: трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розе, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледном и прыгающем, Бальсен увидел худое, бледное лицо офицера, склонившегося над вещами крестьянина. Офицер долго ворочал и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? — Да! — А? Да-а!...»

Время тянулось для Бальсена удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окурки папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркнул, потряхивая дугой.

Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая вещи Бальсена казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсен облегченно вздохнул и сказал:

— Можно ехать?

Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнув носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешились и подошли к Бальсену.

— Ну, вот что, друг,— сказал один, и Бальсену показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить,— можно ли ему наконец ехать, но казак продолжал:

— .. мы тебя свяжем. А ты стой смирно. Смотри — не вздумай тикать — застрелю!..

Он повернул Бальсена за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся... И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу... Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног и все кружится со страшной, молниеносной быстротой.

— Не прыгай, до города далеко,— апатично сказал казак, сидевший верхом.— Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь...

— За что?! — закричал Бальсен, и заплакал.— Меня все!.. Я Отто Бальсен!..

— Сам знаешь, за что,— угрюмо ответил казак.— Начальство, дядя, распоряжается, а не мы... Очень разумные. Вот за это самое.

Бальсен застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем и сам он умер... А, быть может, это сон... Все сон: сырая, пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, Рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие, темные фигуры людей, отдалившихся от него... Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой, темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь...

В голове его пестрым, разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая, светло-зеленая капуста, темный стрельчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные... Все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсен, Бальсен, которого знают на сто верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло...

И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсеном сверкнули желтые, пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили...

Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав два-три шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую, вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил:

— Ослаб. Пугается...

— Я видал,— сказал другой.— А видал и таких, которые смелые. Есть тоже из ихнего брата...

Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсеном. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется... Еще, одно, еще последнее усилие...

— Не копайся, Данило,— сказал верховой.— Вы, черти!.. Чего томить человека?!

Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсен видел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая, тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, Адо, склонившегося над газетой, и больную, любимую Анну...

Затем все исчезло.

АПЕЛЬСИНЫ

I

Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо! Золотой свет и синяя река! И синяя река, широкая, свободная...

Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подминаяще радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю, холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увидит все... Как молодой орел он взмост, освобожденный в воздушной пустыне и — крикнет!.. Что? Не все ли равно! Крикнет — и в крике будет радость жизни.

Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими, сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной, ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался.

Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали как беспокойные птицы, что у реки, над бархатом камышей, поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.

II

Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками.

Так думал Брон, и злое, гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал «товарищем», а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался «свирепо» — по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимое условие его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно.

Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые, певучие звуки дразнили и нежили. Синяя река дрожала золотыми блестками; внизу, глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые, зеленые березки.

«Тяжело сидеть весной,— подумал Брон и вздохнул.— Третья весна в тюрьме...»

И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому, никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа

были большие, темные глаза и нежное, продолговатое лицо...

— И это ушло... Ради чего? Да,— ради чего? — повторил он.— Несчастливая, рабская страна...

Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего; подавил мгновенную боль, сел и раскрыл «Капитал». Сухие, математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника,— ему стало скучно и холодно.

III

Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой, желтой двери. В четырехугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы и бесстрастный, хриплый голос произнес:

— Передача!..

Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно-взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И оттого, что день был тепел и ясен, и оттого, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу,— ему стало очень хорошо и весело.

«Ну, кто же мог прислать? — соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.— Н-нет... Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка — значит, это кто-нибудь из своих»...

И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил паль-

цы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.

«Вот она. Какая маленькая! Однако хитро придумано!..»

Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.

«Товарищ! — гласила записка. — Я узнала случайно, что Вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — В. О. 11 л., 8. — Н. Б. Вам, должно быть, ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания, если что нужно — пишите. Н. Б.»

И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, постукиваясь с соседом, он просил передать на «волю», что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из... Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать, и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка «прошелся» по адресу кадетов, назвав их «политическими доносками» и «фальстафами». И, уже кончив писать, — вспомнил, что пишет незнакомому человеку.

«А все же пошло, — подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ — долг вежливости. — Скучно же так сидеть...»

Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал:

— Как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной, дружеской заботы...

Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось, Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму.

IV

Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец; Н. Б. писала, что письмо его получено и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.

«...Я прочитала Ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы Вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают Вас! Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу Вам это? Не знаю. Н. Б.»

Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что «страдания их» — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень Вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».

Раскрывая на сон грядущий Гертца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н. Б. — высокого роста, тоненькая брюнетка, в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять «оппортуниста» Гертца.

V

Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя на себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие, подробные письма, в красивой, грустной форме заключающие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно прикнувшейся к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри...

Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги, мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой, полудетской рукой. Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире, полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим, зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И, читая эти певучие, жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорожное вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим отвагу юности.

VI

В один из четвергов, когда за дверью камеры, где-то глубоко внизу, гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал:

«Дорогой Брон! Вам, в самом деле, должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидания с Вами под видом вашей «гражданской жены». Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу Вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся.

У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н. Б.»

«И так тепло, весело на улице»,— подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубашу. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул: — 56-й! На свидание!

И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но, когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал: «Пожалуйста!», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел.

Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре гре-

мели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. «Зальный» надзиратель, толстый, усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил:

— На свидание? В конец пожалуйста, в камеру направо!

Брон пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой, легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново покрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брон старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тот же надзиратель равнодушно произнес:

— Пожалуйста сюда!

У Брона сильно забилося сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скусающе скользнули по нем, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.

VII

В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенная, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми, растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно-крепко пожал протянутую ему руку.

— Ну, вот... здравствуйте! — сказал он, кашлянув. — Ну, как здоровы? — поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет.

— Прошу сесть, господа! — раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые, белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно, с отчаянием придумывал

тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них была его по нервам:

«Я сижу тупо, как дурак! — Как дурак! — Как дурак!»

— Ну, говорите же что-нибудь, — тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. — Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут... Вон в предварилке, говорят, больше...

— Да, там больше, — согласился Брон значительным тоном. — Там десять минут дают...

И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились.

— Я очень торопилась сюда, — продолжала девушка. — Мне надо еще поспеть в одно место... А здесь ждала — час... или нет? Полтора часа...

— Спасибо, что пришли, — сказал Брон деревянным голосом. — Очень скучно сидеть... — «Что же это я жалуюсь?» — внутренне нахмурился он. — А вы... как?

— Я? — рассеянно протянула девушка. — Да все так же...

Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь:

— Свидание кончено... Кончайте, господа!..

Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила:

— Я приду в четверг... А вы не скучайте.

Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взглядом... Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронивший за железными прутьями столько прекрасных душ... Может быть также... — Все может быть.

Брон медленно поднимался по лестнице к «своему» коридору и «своей» камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал — отчего это... И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души,

где рождаются и гаснут желания,— двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвешанных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого...

Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий, возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона...

НА ДОСУГЕ

Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной — проклятие, и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть хлеб в поте лица своего».

Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалованья приходить так рано. Годы его — молодые, кипучие... Сидеть и переписывать цифры, да возиться с арестантскими билетами — такое скучное занятие. То ли дело — вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни. Аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни. Разные барышни. В платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.

— Пардон, мадамзель! Молоденькие, а в одиночестве... И не скучно-с?..

— Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристае!..

— А вы, барышня, не чопуритесь!.. Так приятно в вечер майский с вами под руку гулять!.. И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..

— Хи, хи!..

— Хе-хе!..

Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бормочет:

— А уголь-то не везут... Выходит, что к подрядчику идти надо...

С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова — тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет — да и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами — подкормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело — дрова, керосин, уголь... Святое, можно сказать, занятие...

Часы бьют десять. Жар усиливается. В решетчатых окнах недвижно стынут тополи, залитые жарким блеском. Кругом — шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу. Муха беспомощно барахтается в чернилах. Тишина.

Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, поставив ноги, шевелит усами и мысленно усчитывает лампадное масло. Тишина, скука; оба зевают, крестят рты, говорят: «фу, черт!» — и зевают снова.

На крыльце — быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.

— От товарища прокурора... Письма политическим...

Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво расчеркивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе — небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону.

— Вот-с! — торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. — Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что

отец Абрамсону не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..

— Что-то невдомек мне,— лениво зевает надзиратель, шевеля усами:— что он писал у в прошедший раз?..

— Что писал! — громко продолжает писарь, вытаскивая письмо.— А то писал, что ты, так сказать — более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией... И потому, говорит, более от меня писем не жди...

— Что ж,— меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу.— Когда этакое супротивление со стороны своего дитя... Забыв бога, к примеру, царя...

— Иван Павлыч! — радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав.— От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..

— Значит — на прогулку сегодня не пойдет,— шуруется Иван Павлыч.— Он этак всегда. Я в глазок¹ сматривал. Долго письма читает...

Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным, женским почерком. На открытке — заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.

— В глазок сматривал,— продолжает Иван Павлыч и шуруется, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная бородка.— Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали... Свернет это мелконько в трубочку — да и в сапог... Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает... А я тут ключами — трах!.. — «На прогулку!» — «Я, говорит, сегодня не пойду»... — «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» — Раскритится, дрожит... Сме-ехи!..

— «Ми-лый... м... мой. Пе...тя...» — торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение.— Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и...

Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.

— Мама-то с усами была! Знаем мы! — говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.

— бу-ду-те-бя-жда-ать... те-бя-сош-лют-в-Сибирь...

¹ Глазок — круглое отверстие в дверях камеры.

Там-уви-дим-ся... При-е-х-ать-же-мне, сам знаешь,— нель-зя...

— Врет! — категорически решает Иван Павлыч. — Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан... Я карточку ейную видел в Козловского камере... Красивая!.. Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пускает, чтобы не тревожил письмами...

— Само собой! — кивает писарь. — Я вот тоже думаю: у них это там — идеи, фантазии всякие... А о кроватке-то, поди — нет, нет — да и вспомнят!..

— Что барская кость, — говорит внушительно Иван Павлыч, — что мещанская кость, — что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует...

— Жди его! — негодуяще восклицает писарь. — Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужчина, а... тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..

— Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело... Бее-ды!..

— Вот! — писарь подымает палец. — Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»... Видите? Так оно и выходит: ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..

— Хе-хе-хе!..

— Какая панорама! — говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. — Разные виды!..

— Тьфу!.. — Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. — Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амуры разные, сволочь жидовская, подпускают... А ты за них отвечай, тревожься... Па-а-ли-тика!..

Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:

— А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать... Супротивнее всех... Позавчера: «Кончайте прогулку», — говорю, время уж загонять было. — «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» — Крик, шум поднял... Начальник выбежал... А что, — меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается, — ждет письма-то?

Писарь подымает брови.

— Не ждет, а сохнет! — веско говорит он. — Каждый день шляется в контору — нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору...

— Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу!.. Ведь я что... разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения...

Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.

— Чего ж? — роняет он, наконец, небрежно, но решительно. — Мо-ожно... Картинку себе возьму...

В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.

Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.

Губы его шепчут:

— Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..

ГОСТЬ

I

Я пришел по делу к товарищу и застал его читающим свежий номер революционного журнала «Красный Петух». Он сидел перед столом, грыз ногти, обдумывая кипучую аргументацию автора передовой статьи, направленной против социал-демократов, и был так погружен в это занятие, что не заметил моего прихода. Я хлопнул его по плечу, он вскочил, уронил очки и сейчас же успокоился.

— Чего вы ходите, как кошка?! Смотрите, что пишут мерзавцы социал-демократы! Идиоты! Туполобые марксисты! Антиколлективистические черепа! Вороны! Кукушки!

Он, вероятно, еще долго бы ругался, огорченный поведением друзей из марксистского лагеря, если бы я кротко не заметил разгоряченному и вспотевшему человеку:

— Не стоит волноваться, Ганс. Бросьте их.

— Вы думаете? Ведь что возмутительно...

— Ганс, как быть с забастовкой? Нужно собраться еще раз. Дело в том, что социал-демократы не желают бастовать одновременно с нами! А это может внести раскол. Если мы назначим завтра — они забастуют послезавтра; если решим бастовать послезавтра — они бросят работу завтра. Все это с целью представить нас партией, не имеющей реальной силы. Очень интересно!..

Ганс вытянул на столе свои мускулистые, волосатые руки и сморщился. Потом, откладывая в сторону «Красного Петуха», сказал:

— Я же говорил, что они мерзавцы! В № 00 «Искры», страница пятая...

— Отложите на время «Искру». Что сейчас делать, а?

— Что делать? А... знаете, мы соберемся и... вот, все это обсудим... Но, ведь, еще Каутский в «Аграрном воп...»

— Ганс?!

— А? Да... Но, видите ли, я не могу равнодушно... Третий том «Капитала»...

— Слушайте, ведь это же из рук вон! Я уйду, или давайте говорить о деле!..

В комнате было сумрачно и прохладно, а в окна глядел июль, жаркий, пыльный, грохочущий. Я ожесточенно доказывал, что нужно устроить собрание комитета сейчас же, немедленно, что мы не можем идти «в хвосте» и т. д. Ганс слушал и утвердительно кивал головой. Когда я кончил и перевел дух, он подвинул к себе пепельницу и, стряхивая папироску, сказал:

— Да-а... Между прочим: последняя статья в «Фабричном Гудке»... Читали вы? Проклятые социал-демократы пишут...

Я не успел рассердиться, так как за дверью раздались тяжелые, мерные шаги и незнакомый голос спросил:

— Позвольте войти?

Болван Ганс, вечный книжный червь Ганс сказал: — «Войдите!» — раньше, чем я успел спрятать злополучного «Красного Петуха». Он так и остался лежать на столе, в раскрытой книге, и на обложке его крупными буквами было напечатано черным по белому: «Красный Петух»...

Что ж? Пусть входят чужие и смотрят, как поверга-

ются в прах основные законы конспирации. Если Ганс желает когда-нибудь попасть впросак таким образом,— его дело.

Когда отворилась дверь и тихо, конфузливо улыбаясь, вошел молодой полицейский офицер,— я быстро развернул альбом с фотографиями и, глядя на усатое лицо какого-то господина, успел сказать:

— Что за пикантная женщина!

— Здравствуйте, г-н Гребин...—быстро, мельком оглядываясь, заговорил посетитель.— Собственно говоря, я вас побеспокоить пришел насчет маленького дельца...

Он нерешительно, неловким движением протянул руку, как бы опасаясь, что она повиснет в воздухе. Ганс густо покраснел и, растерявшись, пожал ее. В мою сторону полисмен ограничился чрезвычайно учтивым поклоном и продолжал:

— Видите ли — суть эта самая, так сказать, — такая... г-н пристав просит вас пожаловать к нему сегодня. Вот повесточка... Будьте так добры — расписаться.

— Садитесь, чего же вы стоите? — процедил Ганс.

Небрежно, стараясь казаться беззаботным и непри нужденным, он подвинул стул, и полицейский со словами: «Благодарствую, воспользуюсь вашей любезностью», — боком присел к столу. Раскрытая книга с номером «Красного Петуха» лежала перед его глазами. Я стиснул зубы, мысленно обливая Ганса ушатом отборной брани, и стал разглядывать посетителя.

У него было худое, продолговатое лицо, рыжеватые усики, часто мигающие светлые глаза и белые, коротко стриженные волосы. Одной рукой он механически дергал португезу шашки, выпячивая грудь, другой уперся в колено и застыл так, рассеянно оглядывая стол. Через мгновение глаза его остановились на развернутой книге, метнулись и замерли, прикованные крупным, ясным заглавием журнала.

Взволнованный Ганс ожесточенно ткнул пером в повестку и прорвал бумагу.

— Леший! — вскричал он, — перо не годится. Не пишет. Дайте-ка ваш карандаш... Есть у вас?

Он повернулся ко мне и, пока я вынимал из записной книжки карандаш, полицейский смущенно перебегал взглядом с затылка Ганса на обложку журнала. Потом медленно, осторожно закрыл книгу и вытянул ноги, рассматривая потолок комнаты.

— Карандашиком, знаете, неудобно...— виновато протянул гость.— Уж будьте добры— чернильцами...

— Не искать же мне сейчас перьев,— недоумевающе буркнул Ганс.— Да и не знаю, где они. Как же быть?

— А вы... того...— оживился полицейский, улыбаясь и взглядывая на меня,— карандашик в чернильца обмакните и таким манером распишитесь...

— А ведь в самом деле!— рассмеялся Ганс. Затем он спросил:

— Зачем меня просят в участок?

— А... так, пустяковина. Насчет подписки о невыезде.

— А-а... ну, вот-с, получите...

Полицейский встал.

— Так до свидания,— сказал он, надевая фуражку.— Будьте благополучны...

— Вам того же...

Он вышел, тихо притворив дверь.

— Вот дубина!— сказал Ганс, подмигивая мне и весело потирая руки,— ведь тут около него лежал номер «Красного Петуха»! Вы взяли его? Я думаю, что он не заметил, а?

II

На другой день началась забастовка. Я проснулся рано, с смутным предчувствием наступающих событий, но ни тревога, охватившая меня в первую же минуту пробуждения, ни сознание важности момента не могли уничтожить яркого, солнечного блеска и зеленого шума старых лип, смотревших в окно. Наскоро, обжигаясь, я выпил чай и вышел, охваченный жутью тревожной атмосферы.

Улицы, залитые светом, были пусты и тихи: лавки и магазины закрыты. Кое-где мелькали бледные, озабоченные лица блузников. С грохотом и звоном проскакала казацкая сотня в белых, запыленных рубахах; прошел тяжелый, медленный взвод городских. В отдалении стонали гудки бастующих фабрик и заводов.

Путь мой лежал через городской сад. И здесь, как на улицах, было пусто. Оживленно щебетали птицы; пробежал мальчик, размахивая газетами, прошел сторож с лейкой. Вдруг, впереди, за крутым поворотом те-

нистой аллеи раздались крики, топот, и на площадку выскочил молодой бледный рабочий, без шапки, в синей, разорванной блузе, с окровавленным, вспотевшим лицом. Он, задыхаясь, бежал к кустам крупными, изнемогающими шагами. Голубые, оступелые от страха глаза беспомощно металась вокруг.

В двух шагах от него, размахивая обнаженной шашкой и заливаясь трелью полицейского свистка, бежал мой вчерашний знакомец, весь красный от злобы и напряжения. Он, видимо, нагонял рабочего. Еще далее, нелепо размахивая локтями и отставая, топали тяжелыми сапожищами двое городских.

Я посторонился. Рабочий, без сомнения, изнемогал. Пробежав еще несколько шагов, он вдруг остановился, прижимая руки к груди, шатаясь и выпучив глаза. В тот же момент полицейский подскочил к нему, размахнулся и наотмашь ударил кулаком в шею.

— Беги, сукин сын, беги! — зашипел он, замахиваясь шашкой.

Бедняга ткнулся в кусты и механически, полусознательно отбежал вперед. Потом судорожно вздохнул и, собрав последние силы, пустился бежать, что есть мочи, к выходу. Полицейский, обессилев, крупными, быстрыми шагами шел следом, свистел и кричал протяжным, усталым голосом:

— Держи-и-и! Держи-и-и!..

Подоспели городовые. Предводитель остановился, вынимая носовой платок.

— Убежал, собака! — сказал он, снимая фуражку и вытирая вспотевшую голову.

ЛЮБИМЫЙ

I

Яков, или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, со стуком поставил трость, игриво отбросил шляпу, энергично взмахнул пышной, каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал:

— Поздравь!

— Поздравляю! — с любопытством ответил я. — Что? Выиграл?

— Хуже!

— Дядя умер?

— Хуже!

— Тогда не знаю. Расскажи.

— Женюсь! — выпалил он и расхохотался. — Влюблен и женюсь! Вот тебе!..

Я развел руками и пристально посмотрел в его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегдатай увеселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными, голубыми глазами и вовсе не обнаруживал стремления закричать петухом. В таких случаях принято говорить: «рад за тебя, дружище», или — «ну, что же, дай бог». Я предпочел первое и сказал:

— Очень радуюсь за тебя.

— Еще бы ты не радовался, — самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. — Ты должен — слышишь? — ты обязан с ней познакомиться... Она — чудо: ангел, добрая, милая, хорошенькая, — прелесть, а не женщина! Восторг, а не человек!..

— Хм!..

— Да! Но сознаешь ли ты, почему я выхожу за... то есть почему я женюсь? Я смертельно ее люблю! Я обожаю ее... ах, Вася!.. Ну, ты увидишь, увидишь!..

В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то заняло. Не то грусть, не то зависть; может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как непоседы и собутыльника. Вздохнув, я побарабанил пальцами и спросил:

— Как же это так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова...

— Ах, да молчи! — Жак зажмурился и сжал губы. — Пожалуйста, не вспоминай... Я стараюсь не думать больше о... о... этом... Нет, решено: я люблю и буду порядочным человеком!

— Да?! — сказал я. — Я в восторге от тебя, Жак. Но расскажи же, как, что?.. Все это так неожиданно.

Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изложил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и т. д.

существом, остолбенел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вадыхать, таять, забывать есть, словом, проделывать все то, что принято в таких случаях. А через пять дней упал на колени, рыдая, целовал ее ноги и получил согласие.

«Что же? — размышлял я, — Жак не очень глуп, красив, богат, с добрым сердцем... Дай ему бог».

— Она, — рассказывал Жак, — дочь состоятельного чиновника, кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. Ведь это хорошо — в консерваторию? — вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня. — В консерваторию! Ты подумай... Поедет в Петербург, слава, овацции, ну... Одним словом!

— Хм!

— Ты увидишь, Вася!.. Ах, слушай, ну, ей-богу же, это удиви... это ангел... Вася, милый!..

— Милый Жак, — грустно сказал я. — Я... растроган... я... будь счастлив... будь...

Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь минут через пять, оглушенного и полузадушенного. На щеке моей еще горели следы его поцелуев, слез, а жилет и усы запахли бриллиантином. Я отдышался, пришелся в себя и вытер лицо платком.

— Бегу! — Жак стремительно сорвался и затрепетал. — Бегу к ней... опоздаю... Ну... — он схватил мою руку и стал калечить ее... — Ну... ты понимаешь... я не могу... я... прощай!

— Слушай, — сказал я, — когда же я увижу...

— Ах, да... Какой я дурак! Дорогой Вася... сегодня, в театр, мы там, то есть я... и она, конечно, с мамой и дядей... Ну, жму тебе... руку... прощай!..

В одно мгновение он схватился за ручку двери, отдал мне ногу; шляпа как-то сама вспрыгнула ему на голову, и Жак исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую трость.

II

Пробило восемь.

Что же еще взять с собой? Портсигар, бумажник, платок, анисовые лепешки — все здесь. Ах, да! Маленький цветок в петлицу. Жак будет этим доволен. Прият-

но видеть желание друга понравиться моей избраннице. Я выдернул из букета камелию, и она вспыхнула на сюртуке. Итак — еду. Некоторые говорят, что грустно быть холостяком... Д-да... с одной стороны...

Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко освещенном зале я увидел Жака; он сиял в третьем ряду кресел, и его ослепительный жилет ярко оттенял розовое, счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но трудно разглядеть издали. Я подошел ближе и раскланялся.

Да — она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая, золотистая блондинка, матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные губы озарены тихой, приветливой улыбкой.

Она медленно поправила маленькой, гибкой рукой трэн белого, с кружевной отделкой платья, и села удобнее, переводя взгляд с Жака на меня и обратно.

Скверно, что мамаша была тут, рядом с ней, в противном случае я мог бы присесть ближе к фее и незаметно поволноваться. О, эта мамаша с двойным подбородком, крикливая и пестрая, как попугай! Этот острый материнский взгляд!.. Но дядя показался мне крайне милым человеком. Он молчал, блестел лысиной, бриллиантовыми перстнями и приятно улыбался.

Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал вполголоса, но довольно внятно:

— Жак! Завидую тебе... Счастливчик!..

Она улыбнулась радостно, вспыхнув и дрогнув углами глаз. Он — самодовольно, с оттенком пошлости. Дядя сказал:

— Когда я был в Бухаре...

После этого он приятно улыбнулся и смолк, потому что Жак начал рассказывать нечто необъяснимое. Из его слов я мог лишь понять, что есть погода, театр, что он любит всех людей и завтра купит новую лошадь. Когда он кончил, дядя сказал:

— Я, видите ли, был в Бухаре и...

Но ему помешал оркестр. Грянул залихватский марш, и дядя, приятно улыбнувшись, окаменел в задумчивости. Мамаша крикнула, томно закатывая глаза:

— Ах, я обожаю военную музыку! Это моя слабость!..

— А вы,— спросил я девушку,— вы любите драму?
Фея повернулась ко мне, и было видно, что она не понимает вопроса. Мысли ее были не здесь, а в просторанстве, где плавают розовые будуары, усы, резные буфеты и любовь. Я повторил вопрос.

— Да... люблю... конечно,— серьезно сказала она и тихо повторила, смотря на занавес:

— Люблю...

К театру ли относилось последнее слово? Не знаю.

III

Прежде чем случилось несчастье и сознание хлынувшего ужаса потрясло мозг,— что-то больно зазвенело в груди и дрогнуло там острым, разбившимся криком. Это наверху, с галерей, раздался шум, треск скамеек и пронзительный остервенелый вопль:

— Гори-и-им!!

Что-то быстро и звонко переломилось в душе,— граница между сознанием и паникой. Казалось, рухнули стены и знойный вихрь всколыхнул воздух.

Бешеное стадо с ревом заколебалось вокруг, топча и опрокидывая все на пути. Оно бессмысленно лезло во все стороны, цепляясь, с плачем и проклятиями, за рампу, мебель, стены, волосы женщин, царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. И так же ярко, ровно горело электричество, заливая уютным светом мятущуюся толпу фраков, мундиров, причесок, голых плеч и белых, безумных лиц. Хохот помешанных летел в уши, слезливый и бессильный. Все трещало и стонало, как роща в напоре ветра.

Фея бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. Жак грузно подвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело; одной рукой он отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед и каждый палец этой руки кричал о помощи.

У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, удерживая изо всех сил свое тело, готовое помчаться с воем по головам других. Пальцы мои впились в бархатную отделку барьера и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулач-

ки, грудь замерла. Кто это — дядя? Нет, это сумасшедший. Он стоит, топает ногами и сердится, а скулы его дрожат, прыгает нижняя челюсть, и одной рукой он трет себя по спине...

— Где Жак?

В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длинные руки Жака, с бешенством отбросившие прочь маленькое, кружевное тело. Тело стукнулось, а лицо окаменело в испуге. Потом закрылись глаза, сознание оставило ее.

Забыв о маме и дяде, я схватил фею на руки и кинулся вперед. В тылу плотно сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с Жаком и взглянул на него. Это было не лицо... Отвратительный, трясущийся комок мяса, и слюни, текущие из раскисшего рта... о! Я плюнул в этот комок и с бешенством страха ударил Жака ногой в живот. Взгляд его скользнул, не узнавая, по мне. Он прыгал, как курица, на месте, стараясь вылезть на плечи других, но каждый раз обрывался и всхлипывал.

Все — паника и давка — кончилось после нескольких упорных, звонких, умышленно-ленивых окриков сверху:

— Господа, стыдно! Пожара нет!..

КАРАНТИН

I

Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячей, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек,плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву.

Воздух, хмельной, жаркий и чистый, нежился, греясь в лучах. Яблони и черемухи стояли как замороженные, задремав под гнетом белого, девственного цвета. Мохнатые, бархатные шмели гудели певучим баском, осаждая душистую крепость. Суетливые пчелы сверкали пыльными брюшками, роясь в траве, и, вдруг сорвавшись, быстрой, черной точкой таяли в голубизне воздуха. Надсаживаясь, звонко и хрипло кричали воробьи, скрытые темной зеленью рябин.

Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита, и отражение этого веселого торжества сеткой теней и светлых пятен перебегало в лице Сергея, лежавшего под деревом в позе смертельно раненного человека. Руки и ноги его раскинулись как можно шире и свободнее, темные волосы мешались с травой, глаза смотрели вверх и, когда он закрывал их, свет проникал в ресницы красноватым сумраком, трогая веки. Сладкое бездумье, полное ленивой рассеянности, входило сквозь каждую пору кожи, нежа и расслабляя. Ни одна определенная, беспокойная мысль не гвоздилась в голове, и захотелось лежать так долго, спокойно, пока красный закат не встанет за черными углами крыш и не сделается темно, сыро и холодно.

Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную, рыхлую землю. Корни эти, извиваясь, убегали в самую толщу ее, в сырой и тесный мрак подземного царства червей, жучков и кривых, коричнево-розовых корней старых деревьев, пьющих весеннюю влагу. Растаяв, соединившись с зеленью и желтым светом, Сергей блаженно рассмеялся, крепко, сосредоточенно зажмурился и вдруг сразу открыл глаза. Прямо в них упала голубая зыбь, жаркая и светлая, а в нее, опрокинувшись, тянулись зеленые, трепетные листья.

Он повернулся на бок и стал смотреть в дремучую, таинственную чашу мелкого хвороста, бурых, прошлогодних листьев и разного растительного сора. Там кипела озабоченная суeta. Продолговатые, черные жуки, похожие на соборных певчих, без дела слонялись во все стороны, торопливо спотыкаясь и падая. Муравьи, затянутые в рюмочку, что-то тащили, бросали и вновь

ташили, двигаясь задом. Закружилась и села бабочка. Сергей деловито нахмурился и вытянул пальцы, целясь к белым, медленно мигающим крыльям.

— Ах, вы! Пшш! Маленький!..

Всхлопнули руки, и зашумела трава. Сергей поднял брови и оглянулся.

— Чего вы, Дуня? Где маленький?

— Бабочку вашу спугнула! — объяснила девушка, и в ее нежном лбу и линиях губ дрогнули смеющиеся складки. — Ищу вас, а вы — вон он где... Маленький-то — это вы, должно быть, Сергей Иванович... Делать-то вам больше нечего.

— Ну, ладно! — хмуро улыбнулся Сергей. — Что ж такое... Поймал бы и отпустил, ибо сказано: «всякое дыхание да хвалит господа...»

Дуня потянулась, ухватила рукой за черный кри-вой сук и подняла вверх свое тонкое, правильное лицо, одетое легким, румяным загаром. И в ее черных, спрашивающих глазах отразилось колыхание света, ветра и зелени.

— А вы думали — нет? Ясное дело, что хвалит, — протянула она. — Жарко. Я вам там письмо на столе положила, почтальон был.

— Неужели? — почему-то спросил Сергей.

Он встал, неохотно и сладко потягиваясь. Тонкая, цветная фигура девушки стояла перед ним, и согнутый сук дрожал и осыпался над ее головой мелким белым цветом. Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их. Откуда это письмо?

Смутное, колющее чувство, странно похожее на зубную боль, заняло в нем, и сразу тоскливая, серая тень легла на краски зеленого дня. Каменный город взглянул прямо в лицо тысячами слепых, стеклянных глаз и пестрым гулом ударил в уши. Дуня улыбнулась, и он улыбнулся ей, машинально, углом губ. Раздражая, чирикали воробы. Девушка отпустила сук, и он зашумел, устремившись вверх.

— Сегодня покатаюсь, — весело сообщила она. — Я, да еще Липа Горшкова, да столяриха, да еще канцелярщик один, Митрий Иванович... Запоем на всю ива-

новскую. Гребля только плоха у нас — некому. Кабы не это — далеко бы забрались!..

— Великолепно,— задумчиво сказал Сергей.— Кататься — хорошее дело...

— А...

Дуня слегка открыла рот, собираясь еще что-то сказать, но только положила руки на голову и вопросительно улыбнулась.

— Что — «а»? — подхватил Сергей.

— Вы, небось, ведь не захотите... А то вместях бы... Митрий Ваньч сыграет что... Новая гармонь у него, к весне купил. Трехрядка, басистая.... Уж так ли играет — прямо вздохнешь...

Неприятное чувство тревоги наскоро заменилось мыслью, что письмо ведь может быть незначительным и нисколько не страшным. Но идти в комнату медлилось и хотелось разговаривать.

— Ваша любезность, Дуня,— поклонился Сергей,— равняется вашему росту. Но...

Девушка смешливо фыркнула. Задорно блеснули зубы; на смуглых щеках проступили и скрылись ямочки.

— Но,— продолжал Сергей,— никак не могу. К моему величайшему сожалению... Буду писать письма, то да се... Так что спасибо вам за приглашение и вместе с тем — извините.

— Да ведь что ж, как знаете! Я только насчет гребли... Наши-то кавалеры бессовестно обленились... Вози их, чертей эдаких!..

Она сердито улыбнулась, и ее хорошенькое лицо сделалось натянутым и неловким.

«А не поехать ли в самом деле? — подумал Сергей.— Что ж такое? Будут визжать, брызгаться водой, петь и щипаться. «Митрий Ваньч» разведет свою музыку. Еще стеснишь ведь, пожалуй. Нет, уж...»

Но тут же он увидел лодку, девушку, сидящую рядом, и мысленно ощутил близость ее стройного, дразнящего тела.

«Нет, как-то неудобно»,— сказал он себе еще раз и с тоской вспомнил письмо. И вместе с этим угасло желание чего-то бездумного и молодого.

— Пойти! — обронила Дуня.— Самовар поставить да мясо искрошить...

Девушка повернулась и удалилась быстрой, плавной походкой. В проломе старого, серого плетня, заменявшем садовую калитку, она обернулась и скрылась. Через минуту из белого, бревенчатого домика вылетел ее звонкий крик, раздались шлепки и отчаянный детский плач.

II

Сергей поднялся на крыльцо и ступил в сумеречную прохладу сеней. У дверей его комнаты, низеньких и обшмыганных, заслонив их своим телом, Дуня, согнувшись, удерживала за руки пятилетнюю сестренку Саньку, упорно желавшую сесть на пол. Ребенок пронзительно кричал, дергая во все стороны босыми, грязными ножками; платье его сплошь пестрело свежей, мокрой грязью. Заметив Сергея, Санька сразу утихла, всхлипывая и враждебно рассматривая фигуру «дяди» вспухшими, красными глазками. Дуня посторонилась, подымая напряженное, вспотевшее лицо.

— Гляньте, гляньте, что делает! Ишь ведь, ишь! Мука ты моя мученическая! Сладу никакого с ей нет... Просто наказание божеское!..

Торопливо подоткнув сбившуюся юбку, она мельком взглянула на Сергея и снова принялась возиться с Санькой, заголосившей еще громче и отчаяннее. Юноша отворил дверь и прошел в комнату.

После влажной, весенней жары и пестрого блеска, глаза приятно отдыхали, встречая стены, и легче было дышать. Белая занавеска, колыхаясь, закрывала окно; сквозь ее узорчатую сеть смутно виднелась освещенная, пыльная дорога улицы и маленькие домики с кирпичными низами, в серых, похожих на шляпы крышах. Кое-где пестренькие, дешевые обои скрывались яркими олеографиями под стеклом, в черных, узких рамках. На зеленом ободранном сукне раскрытого ломберного стола лежали книги, привезенные Сергеем, и стоял письменный прибор, пестрый от чернильных пятен. Четыре желтых крашенных стула торчали вокруг стола и коричневого комода, а на полу тянулась запачканная холщовая дорожка.

Письмо синело на столе, в широком конверте. Сергей взял его и некоторое время с тревожным чувством досадливого нетерпения разглядывал резкий, безразлич-

ный почерк адреса. Старое желание выяснить себе и другим результат этих двух месяцев добровольного изгнания снова вспыхнуло и оборвалось чувством смутной, колеблющейся боязни. Слегка взволнованный, как будто простой, синий конверт донес и бросил ему в лицо старые, огненные мысли, забытые в городе, разбив несложную гамму весенних дней,—Сергей разорвал письмо и вынул тонкий, хрустящий листик. Нетерпеливо скомкав глазами неизбежный обывательский текст, маску настоящего смысла, он зажег свечку в медном, позеленевшем подсвечнике и поднес бумагу к огню, нагревая чистую, незаписанную сторону. Она коробилась, желтела и ломалась, но упорно молчала, как человек, не желающий поведать тайну, вверенную ему. И только тогда, когда пальцы Сергея заныли от огня и он хотел уже убрать их,—на бумаге выступили коричневые точки. Они ползли, загибались и, прежде чем последняя буква облеклась в плоть и кровь, Сергей уже знал, что завтра придет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть.

Сначала он прочитал ровные, твердые буквы совершенно равнодушно, машинально отмечая их мыслью и собирая в слова. Когда же они кончились и остановились во всей грозной наготе своего значения, он весь подобрался и стиснул зубы, готовый отразить грядущий удар. Только теперь совершенно ясно и определенно Сергей понял, что этого не будет и не могло быть. Там, где оглушенный, пылающий мозг дает обещания и падает грань между жизнью и смертью в тяжелом угаре судорожной борьбы, там есть своя правда и логика. А там, где хочется жить, где хочется есть, пить, целовать жизнь, подбирая, как драгоценные камни, малейшие ее крохи, там, быть может, нет ни правды, ни логики, но есть солнце, тело и радость.

В углу, где коробились порванные обои, показались далекая мостовая, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи. Кто-то едет... Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце подымает руку, и все хохочет вокруг гремящим, страшным смехом и рушится...

Воробыи трещали за окном жадными, назойливыми глотками. Громыхали скачущие телеги, стучал топор. Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом

труб и стадами вагонов. Он шумно, тяжело дышал и смеялся в лицо Сергею звонким, металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фанатическим налетом горения мысли.

Там, в центре кипучей, бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроений, окружая Сергея немой, загадочной силой порыва. Но как тогда измученный дух рвался к расплате с палачами жизни, так теперь было понятно и просто, что умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть.

Он никогда не забывал о яркой, лицевой стороне жизни, и жадность к ней росла по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессиленное, издерганное тело, полное сильной, горячей крови. Шли дни — он жил. Вставало солнце — он умывался и улыбался солнцу. Дышал свежим, пьяным воздухом, пьянел сам, и все казалось веселым и пьяным. Земля обнажалась перед ним день за днем, пахучая, сильная, и зеленела. Тяжелело и росло тело, полное смутных желаний.

Было просто и хорошо, и хотелось, чтобы всегда было так: ясно, хорошо и просто.

Друзья и знакомые или те, кого он считал друзьями и знакомыми — походили теперь на маленьких, смешных и крикливых воробьев. Жизнь пела вокруг них, красивая, трепетная, а они шумели и прыгали, стараясь перекрычать жизнь. Рядом с этой картиной сверкнули бледные, измученные, издерганные лица, голодные глаза, вечно голодные мозги, вечно окаменевшие в муках сердца. Теперь он уже ясно видел полчища голов, горы книг и скупые, неуютные квартиры, похожие на лица старых девушек. Ставил прошлое на шаткие, слабые ноги и смотрел. Краски стерлись, погасли тона, но контуры те же, резкие и угловатые. Кровью, своей и чужой, вписаны они. Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы — иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпиграфом к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованых, тяжелых страницах...

И ревность к своей вере, неутомимая, гневная, тяжело дышит, готовая обрушиться всем арсеналом отточенной, жалящей и ранящей аргументации. А дальше, в углах, скрытых мраком, ползают гады и гудит тоскли-

вый плач, сливая в одном потоке слезы бессилия, вздохи раба, тупую, скотскую злобу и детское, кровавое непонимание...

Сергею вдруг стало тяжело, противно и жалко. Взволнованный, слушая торопливый, таинственный шепот крови — он стоял и все еще не решался давно уже и бессознательно готовым решением порвать бег мысли. И, наконец, подумал то, что таилось внутри, быть может, там, где крепкое, цветущее тело возмущенно отвергало холод смерти. Коротенькая, в три слова была эта мысль: — «Ни-за-что!»

И хотя после этого стало спокойнее и беззаботнее, все же было досадно на себя и чего-то жаль. Досадно потому, что и он, как многие, оказался способным создавать мысленно красивые, смелые дела. В периоды острых, нервных подъемов воображаемого подвига так приятно умирать героем и вместе с тем радоваться, что ты жив.

За окном по-прежнему неугомонно и настойчиво кричали воробьи, и в крике их слышалось:

— Здесь есть один воробей — я! Чир-рик!..

Сергей вздохнул, открыл глаза и поднялся со стула. Потом усмехнулся, сладко зажмурился, зевнул и, спохватившись, быстро сжег письмо. Оно вспыхнуло и упало легким серым пеплом. Затем повернулся на каблуке, снял со стены старенькое одноствольное ружьецо и вышел из комнаты.

У ворот он встретился с черными спрашивающими глазами Дуни. Она сидела на лавочке, подогнув ноги, и ловко, быстро лущила семечки. Черные, с блеском, волосы ее были заплетены в тугую, длинную косу и украшены желтым бантом, а розовое лицо на фоне серого, дряхлого забора казалось цветком, прищипленным к сюртуку лавочника.

— На охоту, Сергей Иванович? — спросила она, сплевывая шелуху. — Вот уж Митьки Спиридонова-то нет. Уж он бы вас в такие ли места свел! Сам ходил, бывало, — весь птицей обвешан, страсть что полевал!..

— Здорово! — сказал Сергей, разглядывая пестрый ситец Дуниной кофточки, плотно обтянувший тонкое, круглое плечо. — А где же он?

— Далеко — отселе не видать! — рассмеялась девушка. — В солдатах, в Костроме.

— Здорово! — повторил Сергей и улыбнулся. Отчего-то стало смешно, что Митя Спиридонов ушел в солдаты и, остриженный, скрученный дисциплиной по рукам и ногам, делает разные вольты.

— А вы, Дуня, пойдете со мной! — пошутил он. — С вами вдвоем, я думаю, мы много настреляем.

— Чего ж я? — хладнокровно сказала Дуня и, помолчав, добавила: — Да и нельзя. Тетка звала подомовничать. Ребята у ней сорванцы, того гляди — дом сожгут... Выдумали тоже!

— А кататься ведь поедете?

— Так ведь то кататься, а не по болоту, юбки задрать, кочкарник месить! — с живостью возразила девушка. — Какой вы, Сергей Иванович, смешной, право!

И она весело, со смехом блеснула ровными, белыми зубами. Сергей стоял, улыбаясь ее веселью, здоровью и солнцу, бросавшему жаркие тени в углы заборов, поросшие густой, темно-зеленой крапивой.

— Ну, до свидания!

— Обедать-то придете?

— Не знаю... Вы оставьте мне что-нибудь, — если не приду.

Он медленно пошел, вздымая тяжелыми сапогами густую, стоячую пыль дороги и чувствуя за спиной пристальный женский взгляд. Обернуться ему не хотелось.

— Чепуха какая! — с улыбкой зевнул он, завертывая за угол и направляясь к реке.

III

Сергей ушел далеко, верст за семь, и шатался долго, до одурения. Переходя волнистый, зеленый луг, неровно изрезанный тенистыми зигзагами речки, окаймленной кудрявыми купами ивняка, он вспомнил апрель. Тогда здесь было еще сыро, холодно и неудобно. Нога противно чмокала в жидкой, размокшей почве, залепленной блеклой, прошлогодней травой и сгнившими прутьями. Талый снег гнезился в ямках, предательски закрывая лужи и рытвины, в холодную воду которых неожиданно проступали озябшие ноги. Солнце тускло блестело, скрытое испарениями. Ивняк стоял голый, ободранный, нелепо кривя сучья. Речка еще спала, и лед в ее черных преющих берегах вздувался грязно-белым горбом, ис-

тыканый сетью звериных и птичьих следов. У обрывов, там, где скупы блестящие грязные лужицы весенней воды, уныло качались ранние кулики и, увидев человека, с пугливым свистом летели дальше.

Теперь природа казалась женщиной, нарядной, умывшейся после долгой, хмельной ночи. Льющийся звон стоял в траве, сплетаясь дикой, монотонной мелодией с криками птиц. Зеленая и синяя краски рябили в глазах, пестрея лилово-розовым узором цветов. Воздух обливал разгоряченное лицо то сущью жары, то нежными, прохладными волнами.

Далеко-далеко, за сизой полосой леса пронесся слабый, жалобный свисток паровоза, и снова огромный, тысячеглазый город взмахнул перед глазами Сергея закопченными железными крыльями. Но теперь видение потеряло свою остроту и быстро отлетело в прозрачную, хрустальную даль. Меж цветов, кочек, густо поросших красноголовым кукушкиным мхом, кустами шиповника и малины, оно казалось безжизненным и бледным, как давно виденный сон. Здесь ему не было места. Кудрявый щавель и лаковая зелень брусники взяли Сергея под свою защиту. Он поправил ремень дробовика и хитро, молодо улыбнулся кому-то притаившемуся в глубине кустов.

Прыгали желтенькие трясогузки, кокетливо покачивая длинными прямыми хвостиками. Где-то лениво дергал коростель. Жажда томила Сергея, и он, нырнув в затрепавшие кусты, спустился по крутому, осыпчатому берегу к мелкой струистой речке. У берега вода стояла тихо, пронизанная осокой и водорослями, на дне блестяла крупная галька. Наклонившись и промочив колени, Сергей увидел в сумрачном зеркале воды голубое, светлое небо, ушедшее куда-то вниз, далеко под берег, свое темное лицо, спутанные волосы и жилы, вздувшиеся на лбу. Напившись, он еще раз, немного разочарованный, посмотрел на себя. В лице водяного двойника, мужественном, красивом, не было и следа борьбы. Оно глядело спокойно, беспечно, устало и слегка, по обыкновению — насмешливо.

Он вытер платком мокрые губы, надел фуражку и, лениво хватаясь за траву, взобрался наверх, чувствуя, как вязкое, нудное беспокойство ходит с ним, преследуя, держит, не спуская с него глаз и отравляя воздух своим

дыханием. Оно было похоже на чужой надоедливый груз, который, однако, нельзя бросить, не дотащив до известного места. Вся досада и недоумение выражались в сознании неизбежности завтрашнего дня. А вместе с тем казалось оскорбительным, что люди, которых он в тайниках души всегда почему-то считал стоящими ниже себя, теперь станут, быть может, и даже наверное, презирать его и сострадательно смеяться над ним, хотя он и теперь несколько не хуже их. Но всего досаднее то, что они, люди эти, как будто получали право отнестись к нему так или иначе. И — что уж совсем являлось смешным и нелепым, а в действительности как будто так и выходило — что право это давал он.

Эта вспугнутая мысль тревожно билась и ерзала некоторое время, вздымая целый ворох грязного белья, накопленного в душе. За ней двинулись другие, лениво вспыхивая и сучая, враждебные зеленой, тысячеглазой жизни, напиравшей со всех сторон. Серые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толклись, неуклюжие и заspanные. Обрывки их, складываясь в слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие, жалкие калеки.

Смеркалось, а он все ходил, перебирая четки прошлого, пока не захотелось пойти домой. Мыслям его нужны были стены. Там, свободные от воздуха и усталости, прямые и голые, давно знакомые и надоевшие друг другу, они могли текуче звучать до завтра, пока между ним и ними не упадет широкое лезвие незримого топора и не сделает его, Сергея, открыто самим собой.

IV

Когда он подходил к околице городка, было уже темно, грустно и сонно. В дворах глухо мычали коровы, прыгали сердитые женские голоса. Где-то кричали пьяные. Светились окна. Натруженные ноги горели, словно обваренные кипятком. Хотелось есть, потом лечь и сладко отдохнуть. Сергей нажал брякнувшую калитку и вошел во двор.

Окон не было видно в темноте, и он сначала решил, что все уже спят. Но, подымаясь на заскрипевшее крыльцо, услышал в черноте дремлющего, парного воздуха сдержанные звуки разговора и женский смехок.

Сергей прислушался. Мужской голос, довольный и вместе с тем мечтательный, медленно плыл в глубине сада:

— Вот видите — вы и не в состоянии этого постигнуть... А это, ей-богу — бывает... Вроде как просияние. И это объяснено даже во многих философических книгах.

— Вот уж я бы на этакое не согласна, — быстро заявил женский, Дунин голос. — Вы подумайте! Червями весь прокипишь... Стой, как дурак, целую жисть. А вдруг все даром пропадет?

— Как дурак? — обиженно возразил мужчина. — Это вы совсем напротив. Наоборот — душа особый дар приобретает и все ей известно... Например... Забыл вот только, как его звали... один старец стоял на столбе тридцать лет и три месяца. И до того, представьте себе, дошел, что звериный и скотский образ мыслей понимать стал!

— Вот стой, — продолжала девушка, и плохо скрытый смех дрожал в ее грудном, певучем голосе, — стой так-то; все богу молись да молись, все о божественном думай да думай, голодай да холодай — а вдруг в мыслях что согрешишь — и поминай как звали все твои заслуги. Не очень приятно.

И, помолчав, добавила:

— Нет уж. Я, например, хоть в аду кипеть буду, так все равно. Вы думаете — там скучно, в аду-то? А я думаю, что все народ очень веселый. И вас, к одному уж, захватить, Митрий Ваныч!! Ха-ха!

Сергей стоял на крыльце, прислушиваясь, и улыбался. Ему хотелось пойти в сад, вести мирный, дурашливый разговор, не видя глаз и лиц, и дышать теплым, сонным мраком. Но идти не решался, а в душе было смутное, верное чувство, что с его приходом разговор оборвется, и всем станет вдруг неловко и скучно.

— Я, Дунечка, — сладко, поучительным тоном возразил Дмитрий Иваныч, — хотя и готов, конечно, проследовать за вами даже на край света, до самых отдаленных берегов Тавриды, но душу свою, извините, в смоле кипятить не желаю, хе-хе... Как это вы так говорите — ровно у вас огромное беремья грехов!

Прозвенели несвязные, отрывистые переборы гармонии.

— Я — большая грешница, — смеясь заявила девушка. — Ух! мне никакого спасения нет. Я все грешу. Вот вы божественное говорите, а мне смешно. Сижу вот с вами тут — чего ради? Тоже грех.

— Если бы вы... — вздохнул Дмитрий Иванович, — знали те мои чувства... которыми...

— Отстаньте, пожалуйста. И никаких у вас чувств нет... Сыграйте лучше что ненабудь.

— О жестокая... гм... сирена! Для вас — навсегда и что угодно! Что прикажете? Хороший есть вальс, вчера выучил — мексиканский.

— Н-нет, — протянула задумчиво девушка. — Вы уж лучше тот... «Душистую зелень».

Несколько секунд стояла тишина, и вдруг сильно и певуче заговорила гармоника. Бойкие пальцы игрока быстро переливали грустные, звонкие трели, рывкали басами и дрожали густыми, протяжными вздохами. Трепет ночи и теплый мрак дробились и звенели мягкими, округленными тактами, и звуки вальса не казались ни пошлыми, ни чуждыми захолустью жизни. Поиграв минут пять, Дмитрий Иванович бурно прогудел басами и умолк.

— Очень хорошо! — сказала, помолчав, девушка. — Научите меня, Митрий Ваныч, вальсы плясать!

— Почту себя счастливым услужить вам, — галантно ответил кавалер. — Это, между прочим, самый пустяк... Ну, как ваш жилец-то?

— Что ж жилец? — неохотно протянула Дуня. — Ничего... живет.

— Фигура заметная, — продолжал Дмитрий Иванович. — И большой гордец... На грош амуниции, а на целковый амбиции. Третьего дня встретился я тут с ним как-то... ну известно — разговор, то да се... Так нет — «до свидания, — говорит, — мне некогда»... А между тем, как это говорится — человек интеллигентный...

— Вы-то уж хороши! — недовольно возразила девушка. — Он даже очень вежливый и совсем простой. С Санькой вон вчера возился, как маленький.

— Ну да, — обидчиво заметил уязвленный Дмитрий Иванович, — это для вас он, конечно, возможно, что и вполне хороший... как он у вас живет два месяца... конечно...

— Вы — пожалуйста! — задорно перебила Дуня. — Не выражайтесь! Живет и живет — что ж тут такое?..

Воцарилось натянутое молчание, и затем гармоника обиженно заголосила пеструю, прыгающую польку. Сергей самодовольно улыбнулся и, пройдя сени, отворил дверь своей комнаты. В лицо пахнула душная, черная пустота. Нашарив спички, он зажег лампу, с жадностью съел холодный обед, разделся и, усталый, сладко потягиваясь на кровати, закурил папиросу. Усталость и сонливость делали теперь для него совершенно безразличным — приедет ли кто-нибудь завтра или нет; просто хотелось спать.

Погасив лампу и повертываясь на бок, он расширил глаза, стараясь представить себе, что мрак — это смерть и что он, Сергей, бросил бомбу и умер. Но ничего не выходило, и самое слово «смерть» казалось пустым, ничего не значащим звуком.

И, совсем уже засыпая, увидел крепкое, стройное тело девушки. Может быть, это была Дуня, может быть — кто другой. От нее струилось волнующее, трепетное тепло крови. И всю ночь ему снились легкие, упругие руки женщин.

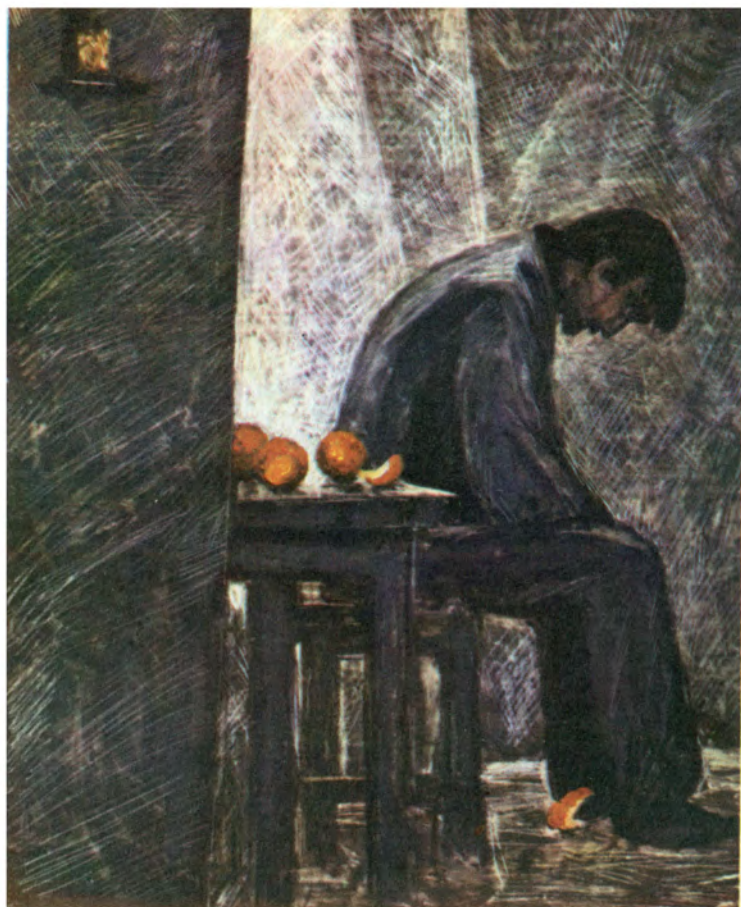
V

Когда — после, спустя много времени — Сергей вспоминал все, что произошло между ним и товарищем, приехавшим на другой день для окончательных переговоров, ему всегда казалось, что все это вышло «как-то не так» и что тут произошла какая-то ошибка. Какая — он сам не мог определить. Но несомненным было одно: что причина этой ошибки лежит не в нем — Сергее, и не в товарище Валерьяне, а там — за пределами доступного ясному и подробному анализу. Как будто обоим стало тяжело друг перед другом не за свое личное отношение к себе и людям, а за то огромное и слепое, имя которому — Жизнь и которое ревниво охраняло каждого из них от простого и спокойного понимания чужой души. Сознать это было тяжело и неприятно еще потому, что и в будущем могло повториться то же самое и снова оставить в душе след больной тяжести и бьющей тоски.

Сергей не знал, что приедет именно Валерьян. Когда на другой день утром вертлявый, смуглый и крикли-



«КИРПИЧ И МУЗЫКА»



«АПЕЛЬСИНЫ»

вый революционер шумно ворвался в комнату и начал тискать и целовать его, еще сонного и подавленного предстоящим,— Сергей сразу почувствовал, что объяснение будет тяжелое и злое. Столько было уверенности в себе и в своем знании людей в резких, порывистых движениях маленького кипучего человека, что в первое мгновение показалось невозможным сознательно отступить там, где давно было принято ясно и твердо выраженное решение. А потом сразу поднялось холодное, твердое упрямство отчаяния и стало свободнее двигаться и легче дышать.

И вместе с этим кислое, нудное чувство отяготило душу, зевая и морщась, как заспанный кот. Все казалось удивительно пресным, бестолковым, совершенно потерявшим смысл. Пока Сергей умывался и одевался, рассеянно и невпопад подавая реплики, Валерьян суетился, присаживался, вскакивал и все говорил, говорил без умолку, смеясь и взвизгивая,— о «текущем моменте», освобожденцах и эсдеках, «Революционной России» и «Искре», полемике и агитации,— говорил быстро, пронзительно, без конца.

Черный, кудлатый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбудораженный, он казался комком нервов, наскоро втиснутым в тщедушное, жилистое тело. Ерзая на стуле, ежеминутно вскидывая пенсне, хватая Сергея за руки и пуговицы, он быстро-быстро, заливаясь детским самодовольным смехом, сыпал нервные, резкие фразы. Даже его одежда, умышленно пестрая, южной полуприказничьей складки, резко заслоняла обычную для Сергея гамму впечатлений и, казалось, принесла с собой все отзвуки и волнения далеких городских центров. Сергея он знал давно и относился к нему всегда с чувством торопливой и деловой снисходительности.

Когда, наконец, Сергей убрался и вышел с товарищем в сад, где смеющееся солнце золотилось и искрилось в зелени, как дорогое вино, и оглушительно кричали воробьи, и благоухал пушистый снег яблонь, он почувствовал, что тревога и раздражение сменяются в нем приливом утренней бодрости и выжидательного равнодушия ко всему, что скажет и сделает Валерьян. А вместе с тем понимал, что с первых же слов о деле станет больно и тяжело.

Они сели на траве, в том месте, где густая рябина закрывала угол плетня, примкнувший к старому сараю. Слегка передохнув и рассеянно вскидывая вокруг близорукими глазами, Валерьян начал первый:

— А вы ведь меня не ждали, дядя, а? Ну — рассказывайте — как, что, — иное и прочее? Все хорошо? А? Ну, как же?

— Да вот... — Сергей принужденно улыбнулся. — Как видите. Приехал я, и поселился, и живу... как видите — в благорастворении воздушных...

— Да! Да?! А? Ну?

— Ну, что же... ем, толстею... пища здесь дешевая. Я здорово отъелся после сидения. Можно сказать — воскрес. Вы ведь видели, какой я тогда вышел — вроде лимона...

— Вроде выжатого лимона, ха-ха! Ну, а это, как его — вы чистый здесь? Слежка есть, а?

— Тише вы... — Сергей оглянулся. — Слежки нет, конечно, какая же здесь может быть. Приехал я... Я сперва думал объявиться ищущим занятий, но потом отбросил эту мысль, потому что это даже не город, а скорее слобода.

— Да, да!.. Ну?

— Ну — так вот... поселился здесь — просто под видом больного на отдыхе. И прекрасно. Знакомств никаких не заводил, да и не с кем... Да и не нужно...

— Да, да, да!.. И знаете ли, что вы, дяденька, — еще счастливейший из счастливых!.. Другие, — он понизил голос, — перед актом держали карантин по пять, по шесть, по девять месяцев! Ничего не поделаете! Нужно! Нужно, понимаете ли, человеку очиститься так, чтобы ни синь-пороха, ни одного корня нельзя было выдрать... А я ведь, знаете, откровенно говоря, сомневался, что у вас хватит выдержки сидеть в этой... ха-ха! — келье под елью. Вы того, человек живой. Хм...

Он уронил пенсне, подхватил его, оседлал нос и таинственно спросил:

— А кто ваши хозяева? А?

— Глава семейства и владелец этого домишки, — кузнец, здесь в депо. Человек смирный и, как говорится, — богобоязненный. По вечерам, когда придет с работы, долго и шумно вздыхая, пьет чай, по воскресеньям напивается вдребезги и говорит какие-то кроткие, уми-

ленные слова. Плачет и в чем-то кается... А вот жена у него — целый базар: рябая, толстая, сырая, и глотка у нее медная. С утра до вечера ругает весь белый свет. Есть у них еще две дочки: одна — крошка и плакса, а старшая — ничего себе...

Маленький человек слушал, одобрительно хохотал и хлопал Сергея по плечу, вскидывая пенсне.

— Ну, ну? Да? — повторял он беспрестанно, думая в то же время о чем-то другом. И когда Сергей кончил, Валерьян как-то совсем особенно, растроганно и грустно взглянул ему в глаза.

— Ну, так как? — тихо сказал он. — Когда же выезжать вам, как думаете, а?

И как бы опасаясь, что слишком скоро и неделикатно задел острый вопрос, быстро переспросил:

— Скучно было здесь, да?

Кольцо, схватившее горло Сергею, медленно разжалось, и он, стараясь быть равнодушно-твердым, сказал:

— Н-нет... не очень... Я охотился, читал... Страшно люблю природу.

— Природа, да... — рассеянно подхватил Валерьян, и сосредоточенное напряжение легло в мускулах его желтого смуглого лица. — Ну... это — приготовились вы?

Он понизил голос и в упор смотрел на Сергея задумчивым, меряющим взглядом. Сразу почему-то слиняло все забавное в его манерах и фигуре. Он продолжал, как бы рассуждая с самим собой:

— Я думаю — вам пора бы, пожалуй, двинуться... Штучку я привез с собой. Она в комоде у вас. Слушайте, — осторожнее, смотрите!.. Если ее не бросать об пол и не играть в кегли — можете смело с ней хоть на Камчатку ехать. Вот первое. Затем — деньги. Сколько их у вас?..

Вопрос повис в воздухе и, замерев, все еще звучал в ушах Сергея. Стало мучительно стыдно и жалко себя за всю ложь этого разговора, с начала до конца бесцельную, убого прикрывшуюся беспечностью и спокойствием товарищеской беседы. Он глупо усмехнулся, деланно просвистал сквозь зубы и сказал тонким блуждающим голосом:

— Валерьян! Ужасно скверно... То, что вы ведь в сущности... совсем напрасно, то есть... я хочу сказать... Видите ли — я... раздумал. Только...

С тяжелым, мерзким чувством Сергей повернул голову. В упор на него взглянули близорукие, черные, растерянно мигающие глаза. Валерьян криво усмехнулся и, подняв брови, вопросительно поправил пенсне. В его тонкой желтой шее что-то вздрагивало, подымаясь и опускаясь, как от усилий проглотить твердую пищу. Он сказал только:

— Как?! Да подите вы!..

Звук его голоса, странно чужой и сухой, делал излишними всякие объяснения. Он сидел, плотно закусив нижнюю губу, и тер ладонью вспотевший, выпуклый лоб. И весь, еще минуту назад уверенный, нервный, он казался теперь усталым и жалким.

— Валерьян! — сказал, помолчав, Сергей. — Во всяком случае... Валерьян — вы слышите?

Но, пристально взглянув на него, он с удивлением заметил, что Валерьян плачет. Крупные, неудержимые слезы быстро скатывались по смуглым щекам из часто мигающих, близоруких глаз, а в углах губ сквозила нервная судорога усмешки. И так было тяжело видеть взрослого, закаленного человека растерявшимся и жалким, что Сергей в первую минуту опешил и не нашелся.

— Слушайте, ну что же это такое? — беспомощно заговорил он после короткого, тупого молчания. — Зачем, ну, зачем это?

— Ах, оставьте! Оставьте! Ну, оставьте же! — раздраженно взвизгнул Валерьян, чувствуя, что Сергей трогает его за плечо. — Оставьте, пожалуйста...

Но тут же, быстрым усилием воли подавил мгновенное волнение и вытер глаза. Затем вскочил, укрепил пенсне и заторопился неровным, стихшим голосом:

— Мы с вами вот что: пойдете-ка! Слышите? Нам нужно с вами побеседовать! Куда пойти, а? Вы знаете? Или просто — пойдете в поле! Просто в поле, самое лучшее...

Они вышли во двор, жаркий после прохлады садика; зеленый, в белой кайме бревенчатых строений. На крыльце стояла Дуня, в ситцевом, затрапезном платье и Глафира, ее мать, рыхлая, толстая женщина. Обе кормили кур. Увидев Сергея, Глафира ослабилась и переломилась, кланяясь юноше.

— Здравствуйте, Сергей Иванович! — запела она. — Это вы никак гулять уже направились! Чай-то не буде-

те, штоль, пить? Гостя-то вашего попойте, право! Экой вы недомовитый, непоседливый, пра-аво!..

— Мы после,— сказал Сергей и рассеянно улыбнулся Дуне, глядевшей на него из-под округлой, полной руки.— Вы самовар-то, конечно, поставьте. Мы после...

В груди его что-то волновалось, кипело, и смущенные, всколыхнутые мысли несвязно метались, отыскивая ясные, твердые слова успокоения. Но все, попадавшееся на глаза, отвлекало и рассеивало. С криками и грохотом ехали мужики, блеяли козы, гудел и таял колокольный звон, стучали ворота. Валерьян шел рядом, черный, маленький, крепко держа Сергея за локоть и резко жестикулируя свободной рукой. Усталый и взвинченный, он крикливо и жалобно повторял, трогая пенсне:

— Но как вы могли, а? Как? Что? Что вы наделали? Ведь это свинство, мальчишество, а? Ведь вы же не маленький, ну? Ах, ах!..

Он ахал, чмокал и быстро, быстро что-то соображал, едва поспевая за крупными шагами товарища. По тону его, более спокойному, и легкой, жалобной и злобной усмешке Сергей видел, что главное уже позади, а теперь остались только разговоры, ненужные и бесцельные.

— Ну, что же вы теперь, а? Ну?

И вдруг Сергею захотелось, чтобы этот стремительный человек, хороший, глубоко обиженный им человек понял и почувствовал его, Сергея, слова, мысли и желания — так, как он сам их понимает и чувствует. И, забывшая всю пропасть, отделявшую его душевный мир от мира ясных, неумолимо-логических заключений, составлявших центр, смысл и ядро жизни маленького, черного человечка, идущего рядом, он весь вздрогнул и взволновался от нетерпения высказаться просто, правдиво и сильно.

— Валерьян, послушайте!..

Сергей набрал воздуха и остановился, подбирая слова. Внутри все было ясно и верно, но именно потому, что простота его чувств вытекала из бесчисленной сложности впечатлений и дум — необходимо было схватить главную, центральную ноту своих переживаний.

— Ну? — устало протянул Валерьян. — Вы — что? Говорите.

— Вот что,— начал Сергей. — Другому я, конечно, ни за что бы, может быть, не высказал этого... Но уж

так подошло. Я хотел вам привести вот такой пример... н-ну — такой пример: случилось ли вам... ходить около витрин, и... ну... смотреть — на... это... бронзовые статуэтки? женщин?

— Случалось... Далее!..

— Так вот: когда я смотрю на эти овальные, гармоничные... линии... ясные... которые навеки застыли в форме... которую художник им придал,— мертвые, и все-таки,— мягкие и одухотворенные,— я думаю всегда,— что именно, знаете ли — такой должна быть душа революционера... — Мягкой и металлической, определенной... Ясной, вылитой из бронзы, крепкой... и — женственной... Женственной — потому... ну, все равно... Так вот: ...Слушайте... себя я отнюдь таким не считал и не считая... Это, конечно, смешно было бы... Но именно потому, что я — не такой, я хотел жить среди таких... Металл их — альтруизм, а линии — идея... Понимаете? Но не один альтруизм тут, а...

— Да, конечно,— рассеянно перебил Валерьян.— Ну, что же из этого?

— ...а оказалось совершенно, быть может, то же, что и у меня,— тише добавил Сергей.

Возбуждение его вдруг упало. Ему показалось, что настоящие, искренние мысли по-прежнему глубоко таятся в нем, и говорит он не то, что думает. Валерьян молчал.

— Да...— медленно продолжал Сергей.— Все то же, все как есть: и честолюбие, и жажда ярких переживаний, и, наконец, часто одна простая взвинченность... А раз так, значит я тем более не могу быть металлом... А поэтому не хочу и умирать в образе ничтожества...

— Удивительно! — насмешливо процедил Валерьян.— Ах вы, чудак! Разумеется, все люди — как люди, и ничто человеческое им не чуждо! Ну, что же? Вы разочарованы, что ли?

— Ничего!..— сухо оборвал Сергей.

И быстро, лукаво улыбаясь, пробежали его другие, тайные мысли и желания широкой, романтической жизни, красивой, цельной, без удержки и страданий. Те, которые он высказал сейчас Валерьяну,— были тоже его, настоящие мысли, но они мало имели отношения к тому, чего он хотел сейчас. Вместо всего этого сложного лабиринта мелких разочарований, остывшего увлечения

и недовольства людьми — просился на язык властный, неуправляемый голос молодой крови: — «Я хочу не умирать, а жить; вот и все».

— Удивительное дело, — сказал Валерьян, повыше вскидывая пенсне и с любопытством рассматривая разгоревшееся лицо товарища. Вы рассуждаете, как женщина. — В вас, знаете, сидит какая-то декадентщина... Не начитались ли вы Макса Штирнера, а? Или, ха... ха!.. — Ницше? Нет? Ну, оставим это. Деньги-то у вас есть?

— Нет, Валерьян, не то, — снова заговорил Сергей, сердясь на себя, что хочет и не может сказать того простого и настоящего, что есть и будет в нем, как и во всяком другом человеке. — Вы знаете — я вышел из тюрьмы издерганный, нервно-расстроенный, злой... Я был, как пьяный... Впечатления подавляли, — и вот — созрел мой план... Нервы реагировали болезненно быстро... Но — я уже сказал вам: быть героем я не могу, а винтиком в машине — не желаю...

— Нет! — рассмеялся Валерьян, — вы мне еще ничего не сказали!.. А? Конечно, — вам, как и всякому другому — хочется жить, но при чем тут бронзовые статуэтки? Какие-то обличения? И зачем вы... Ах, ах! Я ведь, в вас, знаете — ни секунды не сомневался!..

Он недоумевающе поднял брови и замедлил шаг. Поле дышало зноем, городок пестрел в отдалении серыми, красными и зелеными крышами.

— Вы надоели центральному комитету! Вы всем уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и кланчили... Ведь были же другие? Эх вы! Все скачки, прыжки... Впрочем, теперь что же... Но — хоть бы вы отсюда написали, что ли? А?

Сергей молчал. Раздражение подымалось и росло в нем.

— Во-первых, я не ожидал, что так скоро... — жестко сказал он... — А теперь — я вам сказал... Там уж как хотите.

— Ну, ну... Что же вы теперь намерены?

— Не знаю... Да это неважно.

— Да-да... пожалуй, что так... Дело ваше... Ну, ладно. Так прощайте!

— Куда же вы? — удивился Сергей.

— А туда! — Валерьян махнул рукой в сторону, где,

далеко за рощей, краснело кирпичное здание станции.— На поезд я поспею, багаж сдан на хранение... Ну, желаю вам.

Он крепко пожал Сергею руку и пристально взглянул на него сквозь выпуклые стекла пенсне черными, быстрыми глазами.

— Да! — встрепенулся он, — я ее оставил там у вас, в комнате. Она мне теперь не нужна... Вы ее бросьте куда-нибудь, в лес хоть, что ли, где-нибудь в глушь...

— Хорошо, — грустно сказал Сергей. Ему было жаль Валерьяна и хотелось сказать что-то теплое и трогательное, но не было слов, а была тревога и отчужденность.

Маленький, черный человек быстро шел к станции, размахивая руками. Сергей долго смотрел ему вслед, пока худая, низенькая фигурка совсем не превратилась в черную, ползущую точку. Через мгновение ему показалось, что Валерьян обернулся, и он быстро махнул платком, смотря в зеленую пустоту. Ответа не было.

Черная точка еще раз приподнялась, переходя пригорок, и скрылась. Солнце беспощадно палило сухим, желтым светом, и зелень молодой травы сверкала и нежилась в нем. Вдали дрожал и переливался воздух, волнующая очертания тонких, как линейки нотной бумаги, изгородей. За рощей вспыхнул белый, клубчатый дымок и тревожно крикнул паровоз.

Идя домой, Сергей вспоминал все сказанное Валерьяну. И жаль было прошлого, неясной, смутной печалью.

VI

Ходить взад и вперед по маленькой комнате, задевая за угол стола и медленно поворачиваясь у желтенькой, низенькой двери, становилось скучно и утомительно. При каждом повороте Сергей прислушивался к упругому скрипу сапожного носка и снова шел, механически отмечая стук шагов. Думать, расхаживая, было удобнее. Он привык к этому еще в тюремной камере, которую чем-то, должно быть, своим размером, странно напоминала его комната.

Волнение давно улеглось, и осталось чувство, похожее на чувство человека, посетившего дневной спектакль: вечерний свет, музыка, игра артистов... Несколь-

ко часов он видит и слышит прибранный, поэтический уголок жизни... А потом белый, назойливый день снова царит и грохочет, и снова хочется обманного, золотистого вечернего света.

Плоские, самодовольные обои пестрели вокруг нама-
леванными, грязными цветочками. Ветер вздувал занавеску, и она слабо шуршала на столе, шевеля клочки бумаги и обгрызанный карандаш. Заглавия книг кида-
лись в глаза, вызывая скуку и отвращение. Серьезные, холодные и нестерпимо надоевшие, они рождали пред-
ставление о монотонной жизни фабричного мира, бес-
численных рядах цифр, пеньке, сахаре, железе; о всем
том, что бывает, и чего не должно быть.

День гас, убегая от городка плавными гигантскими шагами, и следом за ним стлалась грустная тень. Где-
то размеренно и сочно застучал топор; перебивая его,
быстро заговорил молоток, и два стука, тяжелый и лег-
кий, долго бегали один за другим в затихшем воздухе.
Сергей сладко, судорожно зевнул, хрустнул пальцами и
остановился против стола.

Между книгами и письменным прибором лежала не-
большая, металлическая коробка, формой и тускло-
серым цветом скорее напоминавшая мыльницу, чем сна-
ряд. Было что-то смешное и вместе с тем трагическое в
ее отвергнутой, ненужной опасности, и казалось, что
она может отомстить за себя, отомстить вдруг, не ожи-
данно и ужасно.

Он вспомнил теперь, что, войдя в комнату, сразу
ощутил в ней присутствие постороннего, почти живого
существа. Существо это лукаво глядело на него и шупа-
ло взглядом, безглазое,— сквозь стенки комода, покор-
ное и грозное, как вспыльчивый раб, готовый выйти из
повиновения. Теперь оно лежало на столе, и Сергей
смотрел на квадратную стальную коробку с жутким,
любопытным чувством, как смотрят на зверя, беснующе-
го за толстыми прутьями клетки. Хотелось знать,
что может выйти, если взять эту скучную с виду вещь
и бросить об стену. Острый, тревожный холод пробе-
жал в нем при этой мысли, зазвенело в ушах, а домик,
в котором он жил, показался выстроенным из бумаги.

Сумерки вошли в комнату неслышными, серыми те-
нями. Скука томила Сергея и нетерпеливым зудом тре-
вожила тело. Стараясь прогнать ее, он вспомнил грядущ-

щий простор жизни, свою молодость и блеск весеннего дня. Но темнота густела за окном, и скованная ею мысль бессильно трепетала в объятиях нудной, тоскливой неуверенности. От этого росло раздражение и робкая тихая задумчивость. И вдруг, сначала медленно, а затем быстро и яснее зародилась и прозвенела в мозгу старинная мелодия детской, наивной песенки:

...Да-ца-арь, ца-арь, ца-арев сын,
Наступи ты ей на но-жку-да ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын,
Ты прижми ее к сер-деч-ку, да-ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын...

Слабое воспоминание детства колыхнулось как смутный, древний сон и резко заслонило черной, прыгающей спиной Валерьяна. Она таяла, удаляясь. Сергей стиснул зубы и тупо уставился в стену. И стена, одетая сумраком, смотрела на него, молча и сонно.

«У меня дурное настроение,— подумал он.— Это приходит так же, как и уходит. Оно пройдет. Тогда станет опять весело и интересно жить. В самом деле — чего мне бояться?»

— Сергей — чего тебе бояться? — сказал он вполголоса.

Но мозг не давал ответа и не зажигал мысли, а только грузно и медленно перекатывал камни прошлого. Там были всякие: большие и маленькие, темные и светлые. Темные — сырые и скользкие, торопливо падали на старое место, и больно было снова тревожить их.

Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он, придет в назначенное место и, поблуднев от жуты, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он — нет; он будет жить и услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти.

За стеной пили чай, кто-то ворочался на стуле и тяжело скрипел. Бряцали блюда, смутный гул разговора назойливо лез в уши. В сенях хлопнула дверь, и затем в комнату тихо постучали.

— Что там? — встряхнулся, вздрогнув, Сергей.
За дверью женский голос спросил:

— Лампу зажечь вам?

— Зажгите, Дуня. Войдите же.

Девушка, не торопясь, вошла и остановилась темной, живой тенью. Сергей несколько оживился, точно звуки молодого, звонкого голоса освобождали душу от когтей вялого беспредметного уныния.

— Ничего-то ровнешенько не вижу,— сказала Дуня, шаря в темноте.— Где лампа?

— Без керосина совсем, вот здесь — нате!

Он подал ей, осторожно двигаясь, дешевую лампу в чугунной подставке, и пальцы его коснулись тонких, теплых пальцев Дуни.

— Я заправлю,— сказала она.— Сию минуту.

— Ничего, я подожду... Слушайте, Дуня: ну как — катались вчера?

— Ничего мы не катались,— досадливо протянула девушка.— Лодок-то не было. Все, как есть, поразобрали, такая уж досада... А своя еще конопатчика просит... Я сию минуту...

Она бесшумно скользнула в мрак сеней, хлопнув дверью. Сергей заходил по комнате, насвистывая старинную песенку о царе — цареви сыне и видел горячую, курчавую головку мальчика, сонно шевелящего пухлыми губками. Он ли это был? Как странно. Но уже становилось веселее и тверже на душе, захотелось уютного света, чаю, интересной книги. То, что думает Валерьян, принадлежит ему и таким, как он; то, что думает Сергей, принадлежит Сергею. В этом вся штука. Не нужно поддаваться впечатлениям.

Далекий призрак каменного города пронесся еще раз слабым, оторванным пятном и растаял, спугнутый шагами прохожих. Шаги эти, тяжелые и неровные, смутно раздались под окном и замерли, встревожив тишину.

VII

Вошла Дуня, и желтый свет прыгнул в комнату, обнажив стены и мебель, закрытые тьмой. Стало спокойно и весело. Девушка поставила лампу на комод и слегка прикрутила огонь.

— Вот так,— сказала она.— Что вы?

— Я ничего не сказал,— улыбнулся Сергей, подымаясь со стула. Заложив руки в карманы брюк, он остановился против Дуни.

— Так-то,— сказал он.— Ну — как вы?

Ему хотелось говорить, шутить и казаться таким, каким его считали всегда: ласковым, внимательным и простым. Никаких усилий это ему никогда не стоило, а сознавать свои качества было приятно и давало уверенность.

Девушка стояла у дверей в ленивой, непринужденной позе, касаясь косяка волосами устало откинутой головы. Сергей смотрел на ее крепкое, стройное тело с завистливым чувством больного, наблюдающего уличную жизнь из окна скучной, бесцветной палаты.

— Что подделывали сегодня? — спросил он, заглядывая в ее темные, смущающиеся глаза.

— Вот спать скоро пойду! — рассмеялась девушка и зевнула, закрыв рот быстрым движением руки.— Уж так ли я устала — все суставчики болят.

— Разве ходили куда?

— Ходила... В лес за шишками.— Дуня снова протяжно зевнула и потянулась ленивым, томным движением.— За шишками еловыми для самовара... Целый мешок приволокла...

«Красивая... — подумал Сергей.— Выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира».

— А вы, небось — опять, поди, за книжку сядете? — быстро спросила Дуня.— Хоть бы мне когда какой-ни-на-есть роман достали... Ужас как люблю, которые интересные... А Пушкина бы вот,— тоже!..

— Дуня-я-а! Ле-ша-ай! — закричала в сенях Глафира привычно сердитым голосом.— К Саньке ступай!..

— А ну тебя! — тихо сказала девушка, прислушиваясь и смотря на Сергея.— Сейчас! — крикнула она громким, озабоченным голосом и, шумно распахнув дверь, быстрым, цветным пятном скрылась из комнаты. После ее ухода в тишине слышался еще некоторое время шелест ситцевой юбки, а в воздухе, у дверного косяка, блестела розовая улыбка.

И вдруг, как это бывает на улице, когда какой-нибудь прохожий пристально посмотрит сзади, и человек безотчетно оборачивается, чувствуя этот взгляд,— Сергей неожиданно, вспомнив что-то, повернулся к столу. Маленький металлический предмет, похожий на

мыльницу, безглазый, тускло смотрел на него серым отблеском граней. Собранный в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи,— он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины. Сергей пристально глядел на него, и казалось, что два врага, подстерегая и затаив дыхание, собирают силы. И человек усмехнулся с чувством злорадного торжества.

— Ты бессильна,— тихо и насмешливо сказал он.— Ты можешь таить в себе ужасную, слепую силу разрушения... В тебе, быть может, спрессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу... Вот — я возьму тебя... Возьму так же легко и спокойно, как поднимают репу... Где-нибудь в лесу, где гложет человеческий голос, ты можешь рывкнуть и раздробить сухие, гнилые пни... Но ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаза, не раздавишь череп, как разбивают стекло... Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво...

Он взял ее, тяжелую, гладкую и холодную. Потом достал полотенце, тщательно и осторожно укутал в него снаряд, надел шапку, положил в карман клубок бечевы, погасил лампу и вышел из комнаты.

VIII

Ночь торжествовала и ширилась, полная тишины и слабых, замирающих звуков. Звезды ярко жгли черное пространство. Земля терялась в мраке, и ноги ступали ощупью в сырой, невидимой траве. Дул ровный, спокойный ветер, изредка замирая, и тогда дышало теплом. Холмики и канавы прятались, медленно выступая темными, уснувшими очертаниями. На горизонте, как далекий пожар, краснел узор месячной полосы.

Шаг за шагом, осторожно подвигаясь вперед, стараясь не запнуться, Сергей обходил кочки и рытвины. Черные, молчаливые кусты шли навстречу неровными, густыми рядами и когда он встречал их — медленно открывали узкие, извилистые проходы, полные лиственным, сырого шороха. Казалось, что они спали днем, ослепленные светом, а теперь проснулись и думают таинственную, старинную думу. Трава подымалась гуще и вы-

ше, и ноги ступали в ней с мягким, влажным хрустом. Когда Сергей раздвигал руками кусты, ветви их упорно и быстро выпрямлялись, стегая его в лицо холодными, мокрыми листьями.

Он шел, и казалось ему, что он спит и во сне движется вперед с тяжелым, жутким металлом за пазухой, стерегущим каждый его шаг, каждое сотрясение тела, готовым украсть и разомчать его, одинокого, затерянного, в сонной равнине, полной тайны и безмолвия. Бывшее раньше — вставало теперь длинным, бесконечным сном, и все вокруг — ночь, мрак, сырость и кусты — казалось продолжением этого, одного и того же, вечного, то яркого, то смутного сна.

Ночь шла, бесшумно двигаясь в вышине, и он шел, напряженный, слушающий. Казалось ему, что смерти нет и что он, Сергей, всегда будет жить и чувствовать себя, свое тело, свои мысли. Будет всходить и заходить солнце, леса сгниют и обратятся в прах; исчезнут звери, птицы; одряхлев, рассыплется горы; моря уйдут в недра земли, а он никогда не умрет и вечно будет видеть голубое небо, золото солнца и слушать ночной мрак...

В стороне затрещало, всхлопнуло, и тонкий писк невидимой птицы сонной жалобой скользнул в кусты. Мрак впереди поднялся черной, зубчатой пастью и задышал холодком. Это близился лес; огромное уснувшее тело его печально гудело и шепталось вершинами. Еще несколько шагов, и деревья потянулись вперед слабо различимыми очертаниями, открывая ряды черных, таинственных коридоров. Кусты отступили, сомкнувшись за спиной.

Сергей вошел под хвойные, нависшие своды. Хворост трещал под ногами; впереди темной толпой выходили и расступались деревья. Наверху скрипело и вздыхало, как будто кто-то огромный, мшистый ворочался там, роняя шишки, падавшие вниз с легким, отчетливым шелестом.

Нервная жуть, похожая на робость вора, хватала его, когда трещали прутья, сломанные ногой, и, казалось, вздрагивала тишина. Все спало вокруг, сырое, огромное. Мохнатые лапы елей висели вниз, задевая голову, корявые пни торчали, как уродливые гномы, вышедшие на прогулку. Корни бурелома, вывороченные с землей, чернели узловатыми, кривыми щитами, и за

каждым из них кто-то сидел, притаившийся и дикий. Где-то ухало и стонало. Изредка хлопала ночная птица, с шумом усаживаясь повыше и затихая вновь.

Он выбрался на поляну, где было еще печальнее и глуше от темных, ползающих сверху туч, и остановился. Затем бережно положил сверток на землю, развернул полотенце и крепко обмотал бечевками крест-накрест металлический предмет. Потом выбрал дерево с высокими сучьями и, затаив дыхание, привстал на цыпочки, заматывая бечеву от снаряда вокруг сучка так высоко, как только мог достать руками. Привязав к тому же сучку конец другой бечевки, более толстой, он стал разматывать ее, пятясь задом к другой стороне поляны.

Бечевы хватило шагов на тридцать. Когда она кончилась, Сергей лег за огромный высокий пень, плотно втянув голову в плечи, и, замирая от ожидания, медленно потянул конец. Бечева упруго натягивалась, дрожала, и вдруг, оробев, Сергей отпустил ее, и сердце его заколотилось.

Но пень был надежен и расстояние достаточно. Тогда он закрыл глаза и, похолодев, дернул изо всех сил.

В ушах болезненно зазвенело. Тишина лопнула огромным, паническим гулом, и мрак прыгнул вверх, ослепив и обнажив зазвеневшим блеском лесную глубину. Взрыв загремел тысячами звонов, тресков и протяжных, хохочущих криков. Шум исступленно заплясал вокруг, растягиваясь беглым, замирающим кругом. Эхо завздыхало, плача тонкими голосами, и сгибло вдали.

Оглушенный и ослепленный ярко-молочным блеском, Сергей поднялся, пошатываясь, с судорожно бьющимся сердцем. В глазах его еще плыл зеленый, вырванный из мрака ударом взрыва, уголок леса. Уши ломило, и в них дробился отчетливый, переливчатый звон. Казалось, пройдет еще мгновение, и тайна тьмы, оскорбленная святотатством, ринется на него всем ужасом лесной, хитрой жути.

Он глубоко вздохнул и выпрямился. Сверху еще падали, дергая за платье и руки, обломки сучьев, комья земли, какие-то палки. Сергей прислушался. Но было тихо, словно ничто не потревожило глушь.

Он торопливо бросился к тому месту, где, минуту назад, на сучке висела плоская, тяжелая коробка. Дерево лежало, разбитое вдребезги у корней, дерн и сы-

рая, взрытая земля громоздились вокруг. На самом месте удара образовалась неровная, продолговатая яма. Он постоял, успокоился и пошел домой.

И снова жадная тьма шла за ним, забегая вперед, а ноги ступали теперь легко и быстро. Снова шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими, кривыми проходами. Тишина обнимала пространство, тянулась вверх и кивала темной, неясной зыбью.

IX

Соборный, далекий колокол мягко прогудел одиннадцать раз, когда Сергей, усталый и взвинченный, отворял калитку, пролезая под загремевшую цепь. Спать ему совсем не хотелось, и он несколько секунд стоял у крыльца, задумчиво вытирая ладонью влажный, вспотевший лоб.

Теплое звездное небо дышало покоем, и в его черной пропасти стыли волнистые купы деревьев сада, словно гряда туч, севших на землю. Замирая в тишине, стучали где-то шаги, и казалось, что их родит сам воздух, пустой и черный. Стукала колотушка сторожа мягкой деревянной трелью. Трава слабо шелестела под ногами. Сергей вошел в сад, охваченный ароматной, пряной духотой растительной гущи. Листва молчала, как вылитая из железа, и вдруг, оживая в мягком, печальном вздохе, шумела трепетной, переливчатой дрожью. И казалось Сергею, что кудрявые, листовые волны темными объятиями смыкаются вокруг, стремясь поглотить его ленивое, истомленное тело. В черной глубине деревьев красным узором светились окна соседнего домика, как яркие угли, тлеющие в золе.

Где-то, должно быть, во дворе, скрипнула дверь и слегка прошумело. Сергей машинально прислушался, ему показалось, что там ходят. Быть может — Дуня. Но все молчало, и окна спали. Мысли его ушли в комнату хозяйской дочери, где она теперь, вероятно, спит, ворочаясь в жаркой, нагретой постели белым, гибким телом. Так думалось безотчетно и потому приятно. А через мгновение захотелось разговаривать и передать другому сдержанное кипение души, настроенной взволнованно и как-то особенно грустно-хорошо. Сырые тяжелые запахи струились из земли и хмельным паром бродили

в голове. Пахло черемухой, яблонью, тмином и гниlostью мокрых пней.

Кусты шарахнулись и замерли легким, упругим треском. Кто-то живой, дышащий стоял в темноте, спрятанный черными тенями сада. Сергей встрепенулся и насто-рожился.

— Кто это?! — негромко спросил он, всматриваясь.

— Кто тут?! — вздрогнул в ответ тонкий, испуганный возглас.

Сергей узнал и улыбнулся.

— Как же это вы, Дуня, не спите? — подзадоривающе протянул он. — Шишек-то, шишек-то что насобирали сегодня! Чай, умаялись ведь?!

— Ох, господи! Перепугали только, аж сердце заколотилось!.. Потому вот и не сплю, что я вам не спрос, а вы мне не указ. — Девушка успокоилась, и уже насмешливые нотки зазвенели в ее голосе. — А вы чего полунощничаете? Может — клад заговариваете?

Она засмеялась тихим, вздрогнувшим смехом. И Сергей подумал, что здесь, вероятно, скрытая мраком, она чувствует себя увереннее и свободнее, чем тогда, когда приходит с лампой, или подметать, неловко под-держивая обрывки разговора.

— Не сплю... — сказал он. — Не спится. Хожу и думаю. Здесь у вас хорошо, в садике.

— Мне-то бы спалось, — лениво отозвалась девушка, — да что-то неохота...

Она помолчала и бросила, усаживаясь на землю:

— Вы вот — ученый... Зачем люди спят?..

— Затем, что сон восстанавливает силы, потраченные в течение дня, — привычно-поучительным тоном сказал Сергей. — Это необходимо...

— Та-ак... — задумчиво протянула Дуня. — Не спится. А голова вот — как кадушка, пустая... Буду сидеть тут, пока сон сморит...

Сергей подошел ближе к девушке. В темноте слышалось ее дыхание, неровное, длинное.

— Так принести вам Пушкина? — спросил он, опускаясь рядом с ней на траву, и вздрогнул, задев рукой отодвинувшуюся Дунину ногу. — А почему вам непременно хочется Пушкина?

— Он стихи пишет, — вздохнула девушка. — Я страсть люблю, ежели хороший стишок... А вы?

— Да, и я,— рассеянно сказал Сергей.

Наступило молчание. И, чем дольше тянулось оно, тем напряженнее подымалось в душе Сергея сладкое, щемящее волнение, тесня дыхание и мысль. Кровь медленно прилиwała в голову. В темноте он видел только смутную белизну женского лица и рук, опущенных на колени. Дуня сидела, слегка подняв голову. Молчание росло, и было сладко и жутко прервать его.

— Дуня! — вдруг отрывисто сказал Сергей, и свой голос, сдавленный, дрогнувший, показался ему чужим. Тревожная жуть выросла в жаркое, расслабляющее волнение, от которого тело сделалось легким, а дыхание — тяжелым и частым.

— Что вы? — поспешно ответила девушка и сейчас же продолжала деланно-беззаботным голосом: — Ах, смотрите! Звездочек-то што! Так и плавают!

Снова настало чуткое, напряженное молчание. Его невидимая нить трепетно протянулась между ними, мешая думать и разговаривать.

— Дуня! — повторил Сергей. Ощупью протянув руку, он коснулся ее пальцев и вздрогнул, чувствуя мягкое, горячее тело. Тяжелый ком рос в его груди, дыша короткими, глубокими сокращениями. Девушка сидела не двигаясь, как сонная. Тогда он сильно сжал ее руку и неловко, краснея в темноте, потянул к себе. Рука упруго сопротивлялась, дрожа в его сильных, горячих пальцах. Заторопился слабый конфузливо-взволнованный шепот:

— Оставьте, ну же... Оставьте... что это?!

Она стала вырывать руку резкими движениями, но, видя, что Сергей уступает, вдруг сильно сдавила его ладонь тонкими, влажными пальцами. Пьяная волна кинулась ему в лицо. Он схватил девушку за руку выше локтя, а другой обнял спереди, сжимая ее упругую грудь и быстро целуя пахучие, пушистые волосы. Дуня слабо вздохнула и затихла, вздрагивая. Сергей торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями расстегнул ее кофту и затрепетал, коснувшись жаркого, влажного тела.

Вдруг она вскочила, отчаянно вырываясь и вытягивая руки вперед. На темном изгибе ее стана судорожно колыхалась белая, смятая рубашка. О туманенный Сергей бросился к ней, и две тонкие женские руки уперлись ему в грудь, с силой толкнув назад.

— Дуня... милая,— слушайте... что вы?!

— Нет, нет, нет! — зачастила девушка глухим, умоляющим шепотом, покачиваясь и шумно дыша.— Нет, нет!.. Сергей Иванович, голубчик, не надо!.. Завтра... вам... Завтра скажу!..

Слова ее, как птицы, порхнули мимо Сергея пустыми, бессмысленными звуками. И он снова, волнуясь и торопясь, потянул ее к себе, ломая тонкую мягкую руку.

Дуня рванулась последним, решительным движением, и кусты, прошумев треском и быстрыми шагами — стихли. Через мгновение в глубине двора хлопнула дверь и все смолкло, но Сергею казалось еще, что в темном, сыром воздухе часто и громко стучит испуганное сердце девушки. Иллюзия была так сильна, что он инстинктивно вытянул руку вперед. Рука коснулась пустоты и опустилась. Это стучало его собственное тревожное сердце.

Он сел на землю и, весь дрожа от неостывшего еще возбуждения, приложил к пылающему лицу сырые, холодные листья. Сердце все еще стучало, но уже тише и ровнее. Сад молчал.

Дуня, Валерьян, стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня — мелькало и путалось в голове неровными, пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого, сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью.

— Жить! — сказал он негромко, прислушиваясь.— Хорошо...

ШТУРМАН «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

РАЙ

Через некоторое время я обернулся и увидал громадную толпу, шедшую за мной... Тогда первый, которого я видел, войдя в город, сказал мне:

— Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы уже давно умерли?

В. Гюго. «Отверженные» (часть 1-я, книга VII, гл. IV).

I

ЗАВЕЩАНИЕ

1

Перо остановилось, и банкир нетерпеливо зашевелил пальцами, смотря поверх строк в лицо бронзовому скифу. Мертвая тишина вещей, окружающих изящным обществом лист бумаги, равнодушно ждала нервного скрипа. Пишущий вздохнул и задумался.

На некотором расстоянии от его глаз, то уходя дальше, то придвигаясь вплотную, реяли призраки воображения. Он вызывал их сосредоточенным усилием мысли, соединял и разъединял группы людей, оживлял их лица улыбками, волнением и досадой. Чужие, никогда не виданные люди эти толпились перед ним, настойчиво заявляя о своем существовании, и смотрели в его глаза покорным и влажным взглядом.

Он не торопился. Лично ему было все равно, кто наследует громадное состояние, и он тщательно перебирал различные нужды человечества, стараясь заинтересовать себя в употреблении денег. Родственников у него не бы-

ло. Благотворительность и наука, открытия и изобретения, премии за добродетель и путешествия — проникали в сознание затасканными словами, не трогая любопытства и жалости. Банкир закусил губу, резко перечеркнул написанное и перевернул лист следующей чистой страницы.

Другие, насмешливые мысли подсунили ему кучу эксцентрических решений, чудачеств, прихотей и капризов. Изобретение механической вилки, улучшение породы кроликов, перпетуум-мобиле, лексикон обезьяньего языка — множество бесполезных вещей, на которые ушло бы все состояние. Но, едва родившись и кутаясь в холодную пустоту души, мысли эти гасили свои измученные улыбки: нужно было много хлопот и серьезного размышления над пустяками, чтобы завещание, составленное таким образом, получило значение документа.

Банкир сделал рукой, державшей перо, нетерпеливое движение и написал снова:

«Я, нижеподписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое состояние, движимое и недвижимое...»

Далее был тупик, в котором уныло толкалась мысль, превращая последнее дело жизни в простое желание развязаться с листом бумаги. Завещать было некому, и медленно сокращалось сердце, вялое, как измученная рука. За окном румянился вечер, целуя землю, и прозрачные стекла горели золотым блеском, открывая даль, полную спокойного торжества.

Банкир стал прислушиваться к себе, улыбаясь и хмурясь, как ребенок, встряхивающий разбитую погремушку. Наклонив голову, с рассеянным и сухим лицом мурлыкал он когда-то любимые мотивы, песни и арии, но деланно звучал голос. Банкир кивнул головой; в прошлом жизнь бросала ему раны и поцелуи, их сладкая боль насакала морщины вокруг глаз, и жадно смотрели глаза. Память высыпала яркие вороха, он сумрачно смотрел в них, пораженный обилием маленьких трупов, — минувших радостей. Крошечные руки их тянулись к его лицу, гладкому и сытому лицу человека, уже смерившего глазами короткое расстояние между жизнью и смертью. Прошлое превратилось в воздух, обступило письменный стол, блеснуло в лаке шкатулок, набитых письмами, в мраморной наготе статуй, легло ковром под ногами, встало у двери и последним коротким эхом замерло в напряженной душе.

Банкир тяжело осмотрелся и медленно подверг нервы страшной пытке насилия, но не было волнения и тревоги, злобы и нежности. Ясное, ленивое сознание крепотливо удерживало боль тоскливых усилий, отказываясь страдать без цели и идти без конца. Хлынуло тяжелое утомление, спутало мысли и заковало голову в тесный стальной обруч.

Итак, он ничего не напишет. Потом, может быть, послезавтра, многие станут удивляться неоконченным строчкам завещания, торопливо предполагая все, вплоть до желаний оставить деньги правительству. Человеко-ненавистники обвинят его в черствости и легкомыслии, нищая добродетель создаст ему репутацию атеиста. И никто не узнает, что добросовестно, целых полтора часа он размышлял о своем завещании. Куда уйдут деньги,— ему безразлично до отвращения. Обмануть себя он не может так же, как не может отрезать себе голову. Ясное, мертвое равнодушие — последняя истина его жизни; раньше их было слишком много, этих старых, молодящихся истин с восторженными глазами. Все они бессмысленно клеветали друг на друга, как разобиженные кумушки. Довольно истин и лжи, одно стоит другого.

Банкир встал и хотел выйти, но вдруг остановился, протянул руку к индусской вазе, подарку своей первой жены, и мерным рассчитанным движением сбросил на пол десятки тысяч. Огромный сосуд сверкнул в воздухе массивным, прекрасным в полудикой наивности своей узором и глухо треснул, разлетевшись в куски, как простой горшок. Банкир отбросил ногой острые черепки и вышел из кабинета.

2

Пустые залы, проникнутые суровым молчанием, слышали звук шагов. Плотный, неповоротливый человек, с черными волосами и желтым сухим блеском тщательно выбритого лица, шел тяжелой походкой, опустив голову.

По дороге он останавливался у каждой двери и медленно нажимал кнопки. Тотчас же, вслед за движением его руки, вспыхивало электричество, и, мигнув, разлетался мрак, уходя в стены.

Так прошел он залу за залой, почти весь отель, без

размышления и улыбки. Взгляд его бегло переходил с предмета на предмет,— все здесь было слишком знакомо его утомленному вниманию. Первая зала, в которую он вступил, горела разноцветным шелком, яшмой и золотом. Пухло улыбались диваны, пестрели ковры, чинно блестело оружие; из маленьких, светлых курильниц тянулись дымки, синевя в желтизне света, и мертвая, пышная тишина кружила голову.

Следующая, круглая зала, в голубом зареве люстр, жеманно кокетничала. Живопись восемнадцатого столетия, легкая, как хоровод бабочек на весенней лужайке, скрывала стены и потолок, устроенный в виде купола. Розовые белокурые пажы, красавицы в высоких прическах и голубых туфлях, маркизы в жабо, со шпагами и лютиями, посылали друг другу обворожительные, навеки застывшие улыбки. Над ними, разбрасывая гирлянды цветов, кувыркались толстенные амуры, и мебель, полная живых изгибов, отражала матовым блеском голубой свет.

Далее тянулся ряд зал, выдержанных в бледных тонах. Бледный паркет, белые лепные украшения, изящная вольность линий, закругленность в асимметрии, прихотливость в законченности, каприз, продуманный до конца. Стремительный человеческий дух отбрасывал жизненный колорит прошлого и грезил красотой умирания, нежной, как веки ангелов, как радуга лесных паутин.

Потом яркая зелень растений спуталась над банкиром. Сверху, снизу, из многочисленных лепных консолей падали зеленые, цветущие вороха, ложась на полу и вытягиваясь струйками завитков. Пышная растительность всех оттенков; пряная сырость оранжереи; пахучая красота сада; солнце тропиков в капле воды; воздух, затканый листьями. Квадратный бассейн, выложенный розовым мрамором, блестел темной водой; отражения толпились в ее глубине под водными орхидеями, тюльпанами и розами. Горбатый, серебряный тритон купался, высунув голову, и звонкие капли текли из его пасти, колыхая мгновенным плеском дремоту воды.

Банкир рассеянно осмотрелся, новая мысль затрепала в его мозгу, мысль, похожая на благодеяние и проклятие. Любовно, ревниво обдумывал он закипающее решение, тщательно проверив цепь мыслей с начала и до конца:

«...Яркий свет заставляет мигать; бессознательное движение. Все люди мигают. Часто мигающие тупы и подозрительны. Птицы не мигают, у них круглые, внимательные глаза. Не мигают слепые. Слепота изощряет слух. Слепые не видят, но догадываются, и это отражается на их лице. Слепых следует убивать. Слепые почти никогда не убивают себя, из жалости к себе они продолжают существовать и мстят этим так же, как и уроды, калеки — все оскорбленные с ног до головы своим духом и телом...»

Банкир отправился в кабинет, сел к столу и ровным, крупным почерком приписал следующее:

«...местному жителю, человеку, лишенному рук и ног от природы или в силу случайности; независимо от его звания, имени, общественного положения, пола и национальности; самому молодому из всех, не имеющих назначенных членов — в его полное и бесконтрольное распоряжение».

Он бросил перо, перечитал написанное и в первый раз после угрюмых дней скуки рассмеялся ленивым, грудным смехом.

II

ЛЮБИТЕЛИ ХОРОШО ПОЕСТЬ

Когда все уселись и глаза каждого встретились с глазами остальных участников торжества, — наступило молчание. Замерли незначительные, стыдливо отрывистые фразы. Шевелились головы, руки, принимая то или другое положение, но не было слов, и скучная тишина покрыла черты лиц сдержанной бледностью.

Все пятеро: четверо мужчин и одна женщина, сидели за круглым торжественно белым столом, в обширной, высокой комнате. Электрический свет падал на серебро, хрусталь бокалов, цветы и маленькими радужными пятнами льнул к скатерти.

Потом, когда молчание сделалось тягостным и нервные спазмы подступили к горлу, а ноги невольно начали упираться в пол, когда неодолимая потребность тряхнуть мгновенно оцепенение возвратила живую краску лиц, — банкир сказал:

— Надеюсь, что время пройдет весело. Никто не может нам помешать. Как вы спали сегодня?

Следы бессонной ночи еще не растаяли на его желтом, осунувшемся лице, и человек, к которому относился вопрос, глухо ответил:

— Спал неважно, хе-хе... Да... Совсем плохо. Так же, как и вы.

— А вы? — обратился хозяин к женщине, сидевшей прямо и неподвижно, с пылающим от болезненной силы мысли лицом. — Вы, кажется, хорошо спали, вы розовая?

— Да... Я... благодарю вас.

— А вы? — Банкир с мужеством отчаяния поддерживал разговор. — Странно: меня это интересует. Ничего?

— Извините, — чужим, тонким голосом сказал офицер: — я буду молчать. Я не могу разговаривать.

— Хорошо, — любезно согласился банкир, — но предоставьте мне поддерживать разговор, это необходимо. Уверяю вас, — мы должны говорить. О чем хотите, все равно. Мне приятно слушать собственный голос. Отчего вы так потираете руки, вам холодно?

— Хе, хе, — встрепенулся бухгалтер. — А вы заметили? Напротив, мне жарко.

— Вот меню обеда, — сказал хозяин, — надеюсь, оно удовлетворит вас... — Все вздрогнули. — Я шучу, господа... тсс... постараюсь воздержаться. Раковый суп, например... Спаржа, утка с трюфелями, бекасы и фрукты. Скромно, да, но приготовлено с особой тщательностью. Опять все молчат. Говорите, господа!.. Говорите, господа!

— Ну, скажу вам, что я не чувствую себя, — заявила женщина. — Это не пугает, но неприятно. Нет ни рук, ни ног, ни головы... точно меня переделали заново, и я еще не привыкла упражнять свои члены. И я думаю бегло, вскользь, тупыми, жуткими мыслями.

— Вот принесут кушать, — сказал бухгалтер, — и все пройдет. Ей-богу!

— У всех трясутся руки и губы, — неожиданно громко заявил офицер. — Господа, я не трус, но вот, напротив, в зеркале, вижу свое лицо. Оно совсем синее. Мы сойдем с ума. Я первый начну бить тарелки и вить. Хозяин!

Банкир поднял брови и позвонил. Лакей с наружностью дипломата бесшумно распахнул дверь, и лица всех торопливо окаменели, как вода, схваченная морозом. Фарфор, обвеянный легким паром, бережно колыхался в руках слуги; он нес кушанье, выпятив грудь, и вдруг шаги этого человека стали тише, неровнее, как будто кто-то тянул его сзади за фалды. Он медленно, трясушимися руками опустил кушанье на середину стола, выпрямился, побелел и отступил задом, не сводя круглых, оцепеневших глаз с затылка бухгалтера.

— Уходите! — сказал банкир, играя брелоком. — Вы нездоровы? Сегодняшний день в вашем распоряжении. Вы свободны. Что ж вы стоите? Что вы так странно смотрите, черт побери!

— Я...

— Я рассчитываю вас, молчать! Управляющий выдаст вам жалованье и паспорт. Вон!

Лакей вышел, и все почувствовали странное, глубокое облегчение. Краска медленно исчезла с побагровевшего лица хозяина. Он виновато пожал плечами, подумал и заговорил:

— Ушел, наконец! Не обращайтесь внимания, господа, мое последнее путешествие продолжалось так долго, что слуги забыли свои обязанности. Никто не потревожит нас. Попробуйте это вино, сударыня. И вы, капитан... Позвольте, я налью вам. Рекомендую попробовать также это, оно слегка заостряет мысли. Затем можно перейти к более буйным сортам. Вот старое итальянское, от него приятно кружится голова, и розовый свет туманит мозг. Посмотрите сквозь стекло, я вижу там солнечные виноградники Этны. Эти угрюмые бутылки не должны смущать ваше милое лицо, принцесса: под наружностью театрального злодея у них ясная и открытая душа. Я лично предпочитаю вот этот археологический ликер: вдохновенное опьянение, в котором начинается звучать торжественная и мрачная музыка. Чокнемся, господа!

Руки соединились, и стаканы вскрикнули маленьким, осторожным звоном... Вино блеснуло, точно в нем судорожно бились крошечные золотые рыбки, и разноцветные зайчики скользнули по белизне скатерти.

Журналист вынул платок, тщательно протер очки, надел их и внимательно посмотрел на жидкость. Она

невинно горела перед ним в тонком стекле ровным, красным кружком. Женщина, молча, усиленно проглатывая, выпила все до последней капли; глаза ее смотрели поверх бокала, темные, ласковые глаза. Капитан выпил раньше всех. Бухгалтер нервно хихикал и потирал руки, озноб леденил его. Банкир сказал:

— Вино порядочное. Возьмите на себя роль хозяйки, сударыня!

Женщина вспыхнула и нерешительно протянула руку. Капитан отвесил ей глубокий поклон.

— Из ваших рук, сударыня?

Глаза его тяжело смотрели в растерянное молодое лицо. Девушка не нашлась, что ответить, пальцы ее выразительно пошевелились; казалось, это была просьба молчать. Только молчать. Ни слова о неизбежном. Разве не знает он, что эти руки нальют и себе.

— Позвольте вашу тарелку,— тихо сказала девушка.

Три слова брызнули ударом хлыста в перекошенные подступающей судорогой лица. Кто-то задел посуду, и мягкий звон поплыл в тишине комнаты. Стих он, и молчание сделалось шумным от быстрого дыхания обедающих. Одежда теснила и жгла тело, хотелось сорвать ее; кровь стремительно ударяла в мозг, все плыло и качалось перед глазами. Непостижимое единство ощущений спаяло всех; казалось, из сердец их протянулись слепые щупальца и цепко сплелись друг с другом. Рты с шумом выбрасывали воздух, ноги дрожали и ныли. Над столом двигались женские руки, и тарелка за тарелкой возвращалась на свое место, полная до краев.

— У вас все сильнее блестят глаза,— сказал белый, как молоко, журналист.— Вы, конторский червь,— когда вы перестанете глупо смеяться? Ведь это ужасно! У меня пропал аппетит, благодаря вам. Ну, вот, слава богу!..

Бухгалтер визгливо рыдал, уткнувшись в салфетку. Лица его не было видно, но затылок подпрыгивал, как резиновый, и все, затаив дыхание, смотрели на гладко остриженную, плясавшую от безумного плача голову. Капитан громко свистнул, он не выносил нервных людей.

И вдруг все засуетились, бесцельно, с тупым состраданием уговаривая бухгалтера. Девушка схватила его мокрую, вялую руку и, стиснув зубы, сжала изо всех сил побелевшими от усилия пальцами.

— Если вы будете плакать,— сказал капитан,— я брошу в вас хлебным шариком. Смотрите, я уже скатал. Он плотный и пробьет вам череп, как пуля.

Жалкий, убитый вид бухгалтера портил обед, и злобная жалость закипала в сердцах, полных отчаяния. Журналист гневно кусал ногти. Хозяин сказал:

— Господа, это же так естественно! Оставьте его!

— Слышите, молодой старичок? — продолжал капитан. — Я целюсь! Постыдитесь дамы! Нехорошо!

Бухгалтер поднял голову и рассмеялся сквозь слезы. Теперь он походил на маленького, загримированного мальчишка, с фальшивыми бородой, морщинами и усами.

— Удивительно! — шепнул он. — Какая слабость! Простите меня!..

Снова придвинулась тишина, и чьи-то пальцы хрустнули под ее гнетом, резко и противно, как сломанные. Журналист взял ложку и стал есть, сосредоточенно, быстро, с глазами, опущенными вниз. Когда он жевал, уши его слегка шевелились.

— Замечательный суп! — вздохнул он, придвигая тарелку ближе. — Меня огорчает то, что я ем насильно. Впрочем, — немного вина, и все уладится. А! С удовольствием вижу, что все последовали моему примеру. Я, кажется, слегка пьян. Знаете, что больше всего мне нравится в вас, сударыня? Что ваша порция съедена. Мои нервы натягиваются, в голове крылья... Безумно хочется разговаривать... И потом — вы так грациозно шиплете хлеб... Я уверен, что у меня веселое лицо. Все краснеют, работают невидимые маляры... Кто засмеется первый? Улыбнитесь, мадмуазель! Не так, это улыбка мертвеца. Улыбнитесь кокетливо! Мерси. Господа! Я как будто никогда, никогда не говорил! Представьте себе такое ощущение... Капитан, удержите ваши глаза, они подозрительно круглеют... Я, вообще, должен много сказать... Браво, господин конторщик, вы так энергично трянули головой и вытираете губы вашей заплаканной салфеткой!.. Мне кажется, что вы ниже меня... нет, нет, не спорю!.. Я, может быть, счастлив... О чем вы думаете, хозяин?

— Слежу за собой, — отчетливо произнес банкир. — Мне весело, уверяю вас. Так вот, вдруг, ударило в голову и стало весело... Да, представьте себе. Я могу летать... Правда, неуклюже летать, но все-таки могу. Бог

со мной, здесь. Я чувствую его подавляющее присутствие. Он наполняет меня. Я весь из массивного, литого золота. Все вы сидите от меня страшно далеко.

— Вы все милые,— неожиданно ввернула девушка.— Вот вам! Боюсь я? Нет, ни капли!..

— И я! — сказал бухгалтер.

— И я!

— И я!

— И я!

— Господа!..— крикнул капитан, прикладывая руку к груди.— Мне хочется что-то сказать вам. Но я не могу, простите!.. Братья! Есть вечность?

— Об этом подумаем завтра,— сказал хозяин.

— Он сказал — «завтра»! — подхватила девушка.— Вы слышите, господа? «Завтра»!..

— Ха-ха-ха-ха-ха!..

— Хо-хо!..

— Хе-хе-хе!.. хи-хи!..

— Вы удивительный человек, хозяин!..— кричал журналист.— Мы хотим кушать, слышите? Тащите нам жареного бегемота!.. Не откладывайте до завтра! Работай челюстями! Шевелись, старый отравитель, распоряджайся, капризник!..

Журналист ласково подмигнул хозяину и положил руки на колени, стараясь прекратить их быструю дрожь. Бухгалтер пугливо улыбался, ворочался, напевал сквозь зубы и часто вздыхал. Другой лакей принес смену блюд, поставил и удалился.

Теперь ели развязно, машинально и быстро. Взрывы хохота наполняли воздух, веселая истерика трясла грудь, пылали лица, и громкий спутанный разговор сверлил уши страстными, взволнованными словами.

— Расскажите нам,— говорил банкир, обращаясь к девушке,— расскажите что-нибудь о себе... Вам есть что рассказать, вы жили так мало. Мое прошлое велико, я часто путаюсь в нем, брежу и сочиняю... Кто захотел бы жить с отчетливым до минут грузом прошлого? Слабая память — спасение человека... Он вечно переделывает себя в прошлом... Расскажите про ваш короткий весенний путь... Мне кажется, что вы еще любите молоко, парное, с запахом сена, а?..

— Я жила просто,— сказала девушка,— но прежде уберите ваши глаза, они так неприятно налились

кровью... Знаете, я думаю, что я бессмертна!.. Вы слышите, какой у меня звонкий голос? Как маленький рожок. И он замолчит? Нет, тут что-то не так!.. Вот, все смотрят на меня и улыбаются. Ну, что же, господа, вы расшевелили меня! Я много болтаю... Я, может быть, даже пьяная, но я вот нахмурюсь сейчас, и вы увидите... Ах, господин журналист, знаете, вы похожи на разгоряченного петуха!.. А вы, капитан, не притворяйтесь волком, вы очень добры. Я, кажется, говорю комплименты?! Ничего не будет, я уверена в этом... То есть, я просто-таки не верю, что умру!

Покрывая ее голос, заговорил капитан, и странно тяжёлы были его слова, как будто держали человека за горло и сдавливали его каждый раз в конце слова, заставляя проглотить окончание. И все почувствовали инстинктом, что капитан борется с ужасом, почувствовали и стали бессмысленными, как воздух, и легкими, как сухой снег. Тошнота защекотала внутренность, мозг кричал и ломился в изгибы черепа, и глухо ныл череп.

— Я облокачиваюсь на стол,— сказал капитан.— Смотрите, каков я! Я еще чувствую себя. Слышите! Помолчите... один уходит... Левой... ноги... у меня... нет... Какие мы странные... больные... несчастные... Я хорошо... понимаю... что... на лицо... мое... страшно... смотреть... Внутри... у меня... гудит... Электричество гаснет... потому что... темно. Я боюсь!.. Ваши лица... темнеют от... ужаса. О... подождите... минутку!.. Улы... байтесь, как... можно... приятнее! Во мне... тысяча пудов. Я не могу... пошевелить пальцем... Я противен себе... Я... тухла... Вся... моя... одежда... отравлена... Вы...

Он умолк, тщетно ворочая коснеющим языком. Яд медленно проник в мускулы, парализовал их и последней уродливой гримасой застыл на пораженном лице. Проблеск жизни еще обволакивал вылезшие наружу глаза, но уже каждый чувствовал, что сидят четверо.

Тогда дикая волна ужаса потрясла живых и нечеловеческим воем застряла в горле бухгалтера. Он встал, теряя равновесие, упал, как срезанная трава, к ногам банкира, хватаясь непослушными пальцами за ножки стульев. Жизнь рвалась прочь из маленького тщедушного тела, и он инстинктивно пытался удержать ее, усиливаясь подняться. Наконец, мрак схватил его за горло и удушил, с хрипением и вздохами.

Женское тело склонилось над журналистом, белое и мокрое. Он прогнал отвратительное оцепенение смерти и ответил бессмысленным хохотом идиота, тупо моргая веками.

— И я так? И я? — рыдала девушка. — О, мое лицо, мое красивое лицо!.. Я укушу вас!.. Они валяются на ковре, что же это?! Уйти мне?.. На воздух, а?.. Мне легче будет, а?.. Слышите?.. Слышите ли вы?!

— Я слышу ваш голос, — сказал журналист, насили выговаривая слова. — Если это вы, та подстреленная девушка, что сидела против меня, то ступайте в гостиную и прилягте. Уйдите в другую комнату. Здесь нехорошо. Я — последний человек, которого вы слышите. Ступайте!..

Он снова погрузился в забытие и, когда очнулся, глаза его смутно припоминали что-то. Банкир сидел рядом, выпятив грудь и закинув почерневшую голову на спинку стула; руки свесились, стеклянные, незнакомые глаза смотрели на потолок.

— Вот сон! — сказал журналист. — Была еще девушка, но она ушла. Я, кажется, покрепче этих. Кто-то разбил мне голову, она болит как чудовищный нарыв. Я жив еще, что немного нахально с моей стороны. Вон под столом торчат ноги конторщика. А капитан спит крепко, — фу, как он выглядит!.. Противная штука — жизнь. Противная штука — смерть!.. Что, если я не умру?..

Липкий пот выступил на его лице; он встал и сел снова, дрожа от слабости. Мысли тоскливо путались, отравла глушила их, и хотелось смерти. Сердце металось, как умирающий человек в агонии; предметы меняли очертания, расплывались и таяли.

— Милые трупы, — сказал журналист, — я нежно люблю вас!.. Вон ту девушку мне хотелось бы прижать к сердцу... Милые мертвецы! Я люблю ваши отравленные, несговорчивые души!.. И я вру, что вы обезображены, нет!.. Вы красавцы, просто прелесть какие!.. Ну, да, вы не можете. Позвольте, мне тоже что-то нехорошо... Тошнит... Все кончено. Ничего нет, не было и не будет...

Он перестал шептать и, чувствуя приближение смерти, лег на ковер ничком, вытянувшись во весь рост. Жизнь медленно оставляла его железный организм. Журналист поворочался еще немного, но скоро затих и умер.

Столовая опустела. Люди не выходили из нее, но ушли. Холодный электрический свет заливал стены; бархатные тени стлы в углах. Улица посылала нестройные, замирающие звуки, и ночь, прильнувшая к окнам, смотрела, не отрываясь, на красные цветы обеденного стола.

III ЗАПИСКИ

1

БАНКИР

В детстве, не помню точно когда, я видел зеленые холмы в голубом тумане, яркие, нежные, только что вымытые дождем. Ласточки кружились над ними, и облака неслись вверх, дальше от потухавшего солнца. Небо казалось таким близким,— стоило взбежать на пригорок и упереться головой в его таинственную синеву.

Взбежав, я грустно присел на корточки. Небесные мельницы, выбрасывающие сладкие пирожки, оказывались несколько дальше. Равнина, застроенная кирпичными зданиями, красными и белыми, тянулась к огромному лесу, за которым пряталось вечернее небо. Я протягивал к нему руки; мои гигантские растопыренные пальцы закрывали весь горизонт, но стоило сжать кулак, чтобы убедиться в огромности расстояния. А сзади кричала нянька:

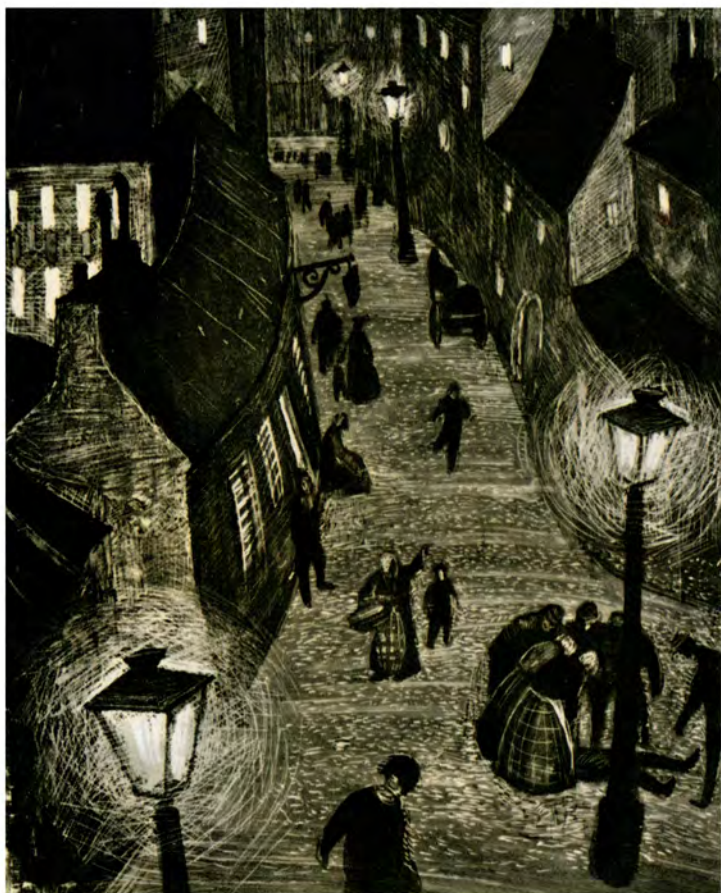
— Куда, пострел!?

Через двадцать пять лет мне стали доступны самые тонкие наслаждения, все благоухание жизни, вся пестрота ее. К человечеству я относился милостиво, т. е. допускал его существование рядом со мной. Правда, были еще повелители жизни, богатые, как и я, но, равные в силе, мы не вредили друг другу. Я жил. Все, что я говорил, делал, думал и чувствовал в течение жизни,— было «я» и никто другой.

Я — русский, с душой мягкой, сосредоточенной, бессильной и тепловатой. Думал я мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Любил — мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Наслаждался — мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Грустил — мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато.



«ОСТРОВ РЕНО»



«ПРОИСШЕСТВИЕ В УЛИЦЕ ПСА»

В молодости, отрастив длинные волосы и совершая мечтательные прогулки по аристократическим улицам, я с уныло бьющимся сердцем рассматривал зеркальные стекла особняков, завидуя и восторгаясь, мечтая и негодуя. Убожество людской фантазии поражало меня. Неуклюжие, казенной архитектуры дома, выкрашенные темными красками, чопорные и мрачные, были, казалось, приспособлены скорее для узников, чем для миллионеров. За их стенами жили механической, убитой преданиями жизнью, или неуклюжим, грубым существованием разбогатевших мещан. Круг привычек и вожделений, домашнего быта и внешнего времяпровождения укладывался в два-три готовых шаблона, из которых наиболее интересным казался тип самодура, трагический силуэт капризника без фантазии и страстной тоски.

Тем не менее я был всецело на стороне людей силы и денег. В их руках крылись возможности, недоступные для меня, очарование свободы, покой удовлетворенных желаний. Моя комната в шестом этаже утратила неподвижность материи, и стены ее по вечерам разрушались, открывая божественные горизонты, окутанные табачным дымом. Я воздвигал дворцы и цветущие острова, строил белоснежные яхты и любил призраков — женщин, волнующих и блестящих, с неясными, но возвышенными и тонкими чувствами. Впечатления моей собственной жизни раздражали меня, как больничная обстановка — нервного человека. Природа и книги, встречи и разговоры с людьми оставляли во мне бледные следы своего ненужного прикосновения. Я хотел острого пульса жизни, взрыва наслаждений подавляющей красоты. Я думал, что сильные удары откроют выход всей полноте человека и на каждый удар впечатления я отвечу музыкой нервов, потрясением и экстазом.

Обстоятельства привели меня к исключительному богатству, а воспоминания говорят мне, что я воспринял и пережил все — мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Я не мог прыгнуть выше ушей. Я не мог сказать «убирайтесь!» самому себе, пожать эту пухлую руку энергическим, страстным пожатием и вздохнуть глубже своих собственных легких. Лет пять назад, приевшись себе до тошноты, я стал одеваться, как англичанин, брить бороду и усы и говорить по-английски. Но флегматичная самоуверенность и спокойное сознание

своего достоинства остались в Англии. Я долго перебирал в памяти содержание человека: экспансивность, страстность и великодушие, отвлеченность и жадность, возвышенность и непосредственность, остроту мысли и чувств, решительность и поэзию упоения. Но плакал от злобного бессилия. Нет человека. Он разбит вдребезги, и мы осколки его. Я имею все, что хотел, и даже больше, но радоваться и страдать иначе — не могу.

Женщина, которую я люблю, любит не меня, а то, что могло бы быть на моем месте — свою мечту. Я не говорил ей об этом, не осыпал ее упреками. Но часто холод, полный глубокой грусти, разделял нас, когда она спрашивала:

— Можешь ли ты любить иначе? Как юноша, немножко дикой, немножко смешной любовью?.. Бросить все для меня?.. Уничтожаться в моем присутствии?.. Трепетать от ласковых слов?..

И я отвечал ей:

— Я хотел бы любить так. Я хотел бы радоваться всему и любить все. Но я не люблю все и не радуюсь. Ты знаешь меня. У меня мягкая, не выносящая одиночества душа. И я тихо, грустно люблю тебя.

Она плотнее сжимала губы, глаза ее становились загадочными и меркли. А я ждал со страхом, что она встанет и уйдет от меня. Но смех покрывал все, ждущий, нервный смех женщины, играющей в беззаботность. И я, довольный минутой, смеялся в ответ ей искренним, облегченным смехом.

Недавно она ушла. Одиночество угнетает меня и серебрит голову. Жизнь хохочет в окно презрительно и надменно, как любовница, ласки которой не зажгли силы в теле ночного избранника. Творчество ее безгранично, и жалок я перед ним с роскошным своим убожеством.

Я устал. Есть ли там что-нибудь? Если — «да», — пусть будут зеленые холмы в голубом тумане и вечерняя тишина.

2

БУХГАЛТЕР

Самообманы и иллюзии отрицаю. Единственная задача моей жизни была — отыскать ровную, спокойную дорожку, по которой, без особенных огорчений и без особенных удовольствий, можно пройти до конца, т. е.

до конца жизни. Я привык выражаться точно, этому научила меня жизнь, такая простая и ясная.

От этой ясности я бегу, сломя голову, и, кажется, делаю хорошо. Объяснюсь. Семнадцать лет я кончил городское училище и поступил на коронную службу. Таким образом, я сделался чиновником. Потом, в один прекрасный день, познакомился с девушкой, ныне уже моей умершей женой. Мне было холодно жить и скучно, но я целых полгода старался выставить себя перед нею чем-то вроде возвышенной натуры, рисовался, говорил, что не признаю любовь и прочее. Она не понимала меня. Наконец, стосковавшись, я пришел однажды домой и почувствовал себя любящим до такой степени, что на другой день явился к ней с цветами и сказал:

— Будьте моей женой! Я дурак... Я вас мучил, а между тем, я люблю вас!.. К новому году мне обещали награду... Не отвергайте меня!..

Она засмеялась и поплакала вместе со мной. Мы обвенчались. Родился ребенок, и жить стало еще трудней. Я бился пять лет, залез в долги и, наконец, бросил казенное место, поступив на завод бухгалтером. Я сильно любил жену и не отказывал ей ни в чем. Раз она мне сказала:

— Помнишь? Шесть лет назад, в этот самый день, ты сделал мне предложение!

— Помню, милая,— сказал я. На самом же деле, за хлопотами и заботами давно забыл, в какой именно день это произошло. И прибавил:

— Как же я могу забыть, подумай-ка ты?!

Она поцеловала меня, и мы пообедали в ресторане, а потом отправились в театр. Возвращаться пришлось поздно, на извозчике: ехал он страшно тихо; моросил дождь, и дул холодный, пронзительный ветер.

К вечеру другого дня я слег, захворав тифом, и пролежал в больнице три месяца, а когда выписался,— на мое место был нанят другой. Мы продали и заложили все, что могли. Дети хворали, надо было лечить их, а в квартире часто не было что поесть. Маленькая жена моя постарела за эти семь месяцев голодного отчаяния, на нее больно было смотреть. Чем мы жили и как? Грошовыми займами, случайной перепиской, унижительными долгами в мелочную лавку. А в один промозглый весенний вечер я ходил по бульвару, красный, как ку-

мач, от стыда, и выпрашивал подаяние. Я принес 14 копеек наличными, купив съестного, но жене промолчал, сославшись на доброту приятеля.

Наконец, грошовый, но постоянный заработок отчасти выручил нас. Правда — это было уже не то, что раньше; наша чистенькая, теплая квартира с роялем, цветами и скромными безделушками отошла в область воспоминаний, но все же мы были кое-как сыты. Занятия мои состояли в том, что я читал вслух полусумасшедшему старику романы старинных авторов. Клиент мой плакал над добродетелью и грозно сжимал кулаки по адресу злодеев. Я получал с него тридцать рублей в месяц и жил тогда в одном конце города, а старик в другом.

Жена моя умерла. И умерла от какой-то странной болезни, дней в шесть. Однажды пришла с горячей головой, глаза блестят, слабая. Я уложил ее и напоил чаем с ромом, но это не помогло. И после, на другой день, она ходила еще, но все держалась за что-нибудь — стенку, стол.

— Ну что? — говорю. — Тебе ведь нехорошо?.. Пойди к доктору.

— Нет... Это пройдет, не волнуйся, пожалуйста.

Она перемогалась три дня, слегла, и доктор, посетив нас, прописал много лекарств. Я, как сейчас, вижу его задумчивые глаза. Он не определил болезни и ушел. Через день жене стало хуже, но меня вызвали читать новый роман. Уходя из дома, я постарался вложить в мою улыбку всю душу. На улице охватила тоска, хотелось вернуться, но я поборол себя и отправился к старику.

Человек этот уже впадал в детство и всегда приветствовал мое появление хилыми рукоплесканиями. Рот его под острым сморщенным носом растягивался до ушей, кашляя беззубым смехом. За ним неотступно ходила племянница, высохшая девушка с ястребиными глазами и жидкой прической. В тот вечер я читал плохо и невнятно, потому что со страниц книги смотрели глаза жены. Кто-то прикоснулся ко мне, я встал.

— Тут к вам пришли, — забормотала племянница. — На кухне вас спрашивают!

Я вышел и увидел жену швейцара нашего дома. Она еще мялась, потирая красные, озябшие руки, но я уже

не слушал ее. Все стало ясно, пусто, колени подгибались, хотелось сказать тихо самому себе:

— Да что же это такое?..

Я побежал на улицу без шапки, в одном сюртуке, как был. Пустые улицы скрещивались и расходились, полные сумеречной белизны и желтых огней.

— Извозчик!..— кричало мое пересохшее горло.— Извозчик!..

Ничего нельзя было разглядеть. Снег залеплял глаза, уши, сверлил шею. Я повернул в другую сторону и побежал еще быстрее. Одинокие пешеходы тонули в сумерках и в воротниках шуб.

— Извозчик!..— хрипел я.— Дорогой, голубчик!.. Извозчик!..

Снег крутился передо мной, полный лихачей, моторов, экстренных поездов... Не помню, долго ли бежал я, наконец — нашел и ослабел от радости. Он сидел на козлах, скорчившись, и крепко спал. Лошадь понуро вздрагивала, спина ее и сани белели, засыпанные снегом.

— Извозчик!..— сказал я, стараясь сдержать голос, переходящий в крик.— Эй, дядя!..

И дернул его за рукав. Он покачнулся, но не изменил позы.

— Извозчик!..— плакал я.— Рубль тебе, поезжай, хорошенько, извозчик!..

Он спал, я стал тормозить его, рванул за полу раз, другой, и вот — медленно, как бы выбирая на снегу удобное место, он вывалился из саней и шумно хлопнулся вниз лицом, грузный и мягкий. Лошадь мотнула головой и замерла.

Был он пьян или мертв — не знаю, но я не испугался, не отскочил в сторону, а заскулил, как собака, и выругался. Потом долго нес свое тело, окостеневшее и разбитое, пока лошадиная морда не фыркнула мне в лицо паром ноздрей. Я сел и поехал.

Все кончилось без меня. Я застал тишину труп, бесценного труп. В пьяном виде я сочинил стихи и теперь помню только одну строчку:

«Гроб ее белый...»

Как видите, жизнь моя очень проста и нет в ней ничего такого, над чем можно задуматься. Я и сам никогда не задумывался, зная, что бог и вселенная — ряд нераз-

решимых загадок. Я ничего не знаю. А на земле все ясно... все ясно, и поэтому нельзя жить. Из горошины, например, апельсин не вырастет.

3

КАПИТАН

Я жил всю свою жизнь, господа, надеждой на что-то большое, светлое и хорошее. Но я состарился, и не было ничего, и не будет.

Так-таки совсем не было. Я даже остался холостым. Скучно, холодно, нечем жить. Тоска убивает меня. Как я живу? Доклады, рапорты, строевое ученье, маневры, карты — изо дня в день совершается убийство человека. А ведь я, действительно, надеялся, я ревниво хранил в себе жажду счастья, какого-то особенного счастья. Казалось, что вот-вот оно может придти, надо только верить. Придет, охватит своими благоухающими руками, засмеется — и я стану другим. Но у меня красный нос, маленькие, острые глаза, и мне совестно, как будто я виноват в этом. Я скучен, неразговорчив. Может ли быть счастлив человек незначительного вида и заурядных способностей? Теперь мне даже смешно.

Я не могу рассказать свою жизнь, но вот рассказ, вырезанный мною из журнала. Кто-то рассказал мне обо мне и залил краской стыда мои щеки. Как будто меня раздели. Мне стыдно не за себя, а за того, кого люди знают под именем капитана Б. Рассказ называется «Приключение». Вот он:

«Сотни романов и повестей, прочитанных фельдшером Петровым, оставили в нем неизгладимый след разнообразием и случайностью житейских комбинаций, приводящих к таким заманчивым и поэтическим финалам, как свадьба, двойное самоубийство и бегство в Америку. Он был твердо убежден в том, что, если с ним до сих пор ничего подобного не случилось, то случится, и не далее Нового года. Пока же, в ожидании неизвестного, но заманчивого будущего, Петров ходил в городскую больницу,пил, получал сорокарублевое жалованье и играл в стучолку.

Надежды и планы, лелеемые им про себя в лекарственном воздухе приемных покоев, были весьма разнообразны и коренились в свойстве человеческой природы —

забывать настоящее. В прошлом фельдшера совсем не было случаев, оправдывающих его романтические наклонности, но тем более он считал себя роковой личностью, уготованной для неожиданного и приятного взрыва скучной действительности.

И, как будто в насмешку, обстоятельства жизни тщательно берегли его особу от всяких волнений. На памяти его не было даже крошечной, случайной интриги, неожиданной встречи, поэтически сорванного удовольствия. Никогда не угрожали ему оглобли извозчика, а больные умирали на его дежурствах тихо, без воплей и бредовых эксцессов.

На четвертом десятилетии своей жизни Петров стал задумываться, хандрить, и в ночь, когда случилось непоправимое, характер фельдшера имел уже своеобразности, сократившие его жизнь и тоску.

Он только что вышел из пивной, грузный и охмелевший. Ноги скользили по тротуару, еще мокрому от вешнего дождя, и черная мгла пеленала улицу.

Вдруг, прямо против него, колыхаясь в неровном свете уличного фонаря, вынырнула женская тень. Она, должно быть, перешла дорогу, потому что появилась из мрака внезапно и тихо, как привидение. Петров суетливо посторонился, испуганный выражением ее гордого, заплаканного лица, а она прошла мимо, шурша шелковым платьем и медленно утопая в темноте высокой, стройной фигурой.

Это не была проститутка, а между тем шла одна ночью, в глухой части города, странной, нервной походкой, какая бывает у сильно возбужденных или испуганных людей. Одно-два мгновения Петров стоял неподвижно и потом мрачно двинулся вслед за женщиной, привлекаемый тайным соображением о печальных секретах и неожиданных приключениях, могущих дать, наконец, его жизни сильное и желанное течение.

Женщина шла быстро, не оглядываясь. Часто ее трепетная, легкая тень совершенно тонула в темноте, и только скрип шагов указывал фельдшеру нужное ему направление. Он стал размышлять, не следует ли подойти к ней, заговорить, но тут же испугался собственной мысли и решил просто идти до конца. В крайнем случае, могли подвернуться пьяные, оскорбить незнакомку, и его присутствие оказалось бы тогда как нельзя

более кстати. Он уже размечтался и мысленно повторял еще не сказанные слова благодарности:—«Ах, я никогда не забуду этого».—Казалось, он слышал нежный ласкающий тембр женского голоса и чувствовал в своей неловкой руке маленькую, нежную перчатку. Мысль, что он смешон,— не приходила ему в голову.

Волнение разрасталось — сентиментальное, самолюбивое волнение подвыпившего одинокого человека. Напрягая зрение и ускоряя шаги, Петров двигался по пустынной улице, обдумывая еще одно, полное благородства и достоинства соображение: проводить ее до подъезда того дома, куда она идет, и в самый последний момент остановить, сказав приблизительно, следующее:

— Прошу извинить за мою смелость, сударыня... Но вы были одни... глухое место... взволнованы... и я счел не лишним...

Она, конечно, должна понять его, если не с первого, то с пятого слова. Что же дальше? Ах, да! Легкое изумление, внимательная улыбка. Затем он выслушает ласковую благодарность и уйдет, так как больше ему ничего, решительно ничего не нужно.

Улица выходила на песчаный берег, загроможденный плотами, барками, полузарытыми в песок бревнами, лодками. Различные догадки, беспокоившие фельдшера, сразу исчезли, и на душе его стало покойно и даже весело. Уверенно и торопливо погружая в хрусткий сыпучий песок свои полуистоптанные ботинки, он побежал за неизвестной женщиной, стараясь нагнать ее раньше, чем она подойдет к длинным, черным плотам, забегавшим далеко на самую середину реки, как узкие, змеевидные отмели.

Мгла, висевшая над водой, отсвечивала стальную, серебристую гладь течения, и от этого все предметы, возвышавшиеся над берегом, рисовались отчетливо, как вырезанные из черной бумаги. Женщина ступила на плот и теперь почти бежала. Петров задыхался от возбуждения, усталые ноги тяжело и неверно попадали на скользкие выскочившие из скреп бревна, темная, невидимая вода колыбалась под ним, качая потревоженный плот. Маленькие бледные звезды горели в далеком небе, и печально посвистывали сонные кулики.

Он нагнал ее у самой воды и схватил за плечо

прежде, чем она почувствовала его присутствие. Потом у него осталось воспоминание о руках, поднесенных к волосам, очевидно, с целью снять шляпу. Незнакомка испугалась и стояла молча, вздрагивая, с детским страхом в расширенных, больших глазах. Петров перевел дух и заговорил, страшно торопясь и комкая фразы:

— Я... вы... позвольте, я, кажется... Фельдшер Петров, сударыня... Сегодня такая ночь... Мне показалось, или... может быть... Простите... Если я ошибся, то... Во всяком случае... Если бы вы знали... Но... как хотите...

Волнение не помешало ему заметить, что женщина молода и красива. Голос его осекся, и он умолк, испугавшись ошибки и страшного стыда за это перед самим собой. Дама дышала глубоко и быстро, она поняла и теперь, быть может, досадовала. Но возбуждение, видимо, оставляло ее, спугнутое неподдельной тревогой добродушного, растерянного лица фельдшера. Она сказала только тихо и нерешительно:

— Уйдите...

Он понял или, вернее, по-своему растолковал, что значило это коротенькое, слабое слово. Это значило, что он здесь лишний, что он не может ничем помочь и суется не в свое дело. Петров постоял, не находя слов, трепеща от жалости к чужому горю, способному положить такой страшный и грубый конец. И тут, как почти всегда бывает в таких случаях, на помощь ему пришли слезы.

Она плакала судорожно и жалко, всхлипывая, как ребенок, и закрывая маленькими руками свое бледное, мокрое лицо. На шляпе ее вздрагивали и, казалось, плакали вместе с ней искусственные цветы. Но Петрову казалось, что она плачет не от осознанного ею в этот момент ужаса смерти и жизни, а оттого, что он, непрощенный и неловкий, грубо вошел в ее жизнь и помешал умереть.

Тогда то, что есть в каждом человеке и просыпается только в редкие и великие мгновения контрастов, глубоких размышлений или трепетных взрывов чувства, поднялось со дна души невзрачного фельдшера и развязало его волю. Маленький и сутулый, с взлизями на висках, он был велик в эти минуты в своих клетчатых брюках и люстриновом пиджаке. Торопливые, полные страстного убеждения слова, заимствованные из рома-

нов, но прочувствованные и лелеемые сердцем, сорвались с его губ. Начал он отрывисто и несладно, но, постепенно захваченный постоянной, преследующей его мыслью, Петров чувствовал, как исчезает перегородка, естественно разделяющая двух незнакомых, чужих людей. Она сидела, еще всхлипывая тихим, прислушивающимся к его словам плачем; а он патетически взмахивал дешевой тросточкой, нервно расстегивая и застегивая свободной рукой верхнюю пуговицу пиджака. В голосе его были просьба и умиление, восторг перед бесконечностью жизни и собственное бессилие...

— Сударыня,— говорил он,— кто бы вы ни были, конечно... Я понимаю ваше отчаяние и все такое... Жизнь сложна, сударыня, и вот главное... На каждом шагу, быть может, нас ожидают тысячи радостей, а мы и не подозреваем этого... О! Мы способны из-за минутного разочарования, из-за неудачной любви разбить себе голову, но кто и чем вознаградит нас, если, может быть, следующий же час готовит нам как раз то, чего мы искали и не нашли? Нас ждали, может быть, радостные песни, а мы сыграли похоронный марш!.. Жизнь... жизнь, ведь это — поток, который уносит все, сударыня, все, а главное — горе... Какое бы оно ни было, сударыня, уверяю вас! Зачем же, зачем губить себя? Поверьте мне, поверьте, уверяю вас... Это — истина, не может быть иначе! Все проходит и все уходит!.. Да, вспомните Иова!.. Жизнь ведь это — мать, сударыня!.. Она ранит, она же и исцеляет... Какие неожиданные встречи, какие комбинации могут быть! Это правда, поверьте мне!.. Все в руках человека, зачем же...

Над плотами серела мгла, и ночь мчалась бесшумным, долгим полетом, скрывая мраком воду, небо, далекие черные суда и двух маленьких, слабых людей.

— Я устала,— сказала женщина.— Проводите меня. О, как я устала!..

Он шел за ней следом, сбоку, и все повторял, теперь уже печально и монотонно:

— Сударыня, поверьте мне! Подумайте только: ведь жизнь —...

Она улыбалась и думала про себя свое, известное только ей, изредка роняя рассеянные, короткие фразы:

— Вы думаете?

Или:

— Да, да. Я так устала!

Или:

— Да, конечно...

У ворот каменного двухэтажного дома они расстались... В руку его легла маленькая, упругая перчатка, и он услышал:

— До свидания!.. Вы были очень добры!

Придя домой, фельдшер зажег лампу и просидел до утра, бесконечное количество раз повторяя слова, сказанные там, на плоту. В момент возбуждения так ярко, так прекрасно было то, во что он верил: судьба — неожиданная, капризная и ласковая. И так уныло глядела теперь из четырех углов его собственная одинокая скука.

Он подошел к стене. Маленькое зеркало безжалостно отразило сорокалетние морщины, лысину и заметное, мирно круглившееся, брюшко.

Потом, уже спустя много времени, кто-то пустил слух, что он отравился, заразившись скверной болезнью и потеряв надежду на выздоровление. Но это неверно. Опровержением служит собственноручно им оставленная записка, где сказано ясно и просто: «В смерти моей прошу никого не винить».

Брат его, приехавший получить наследство, нашел немного: ситцевый диван, этажерку с книгами и набор врачебных инструментов. Это было все, что подарила Петрову жизнь».

Я узнал себя. Нет у меня никаких надежд. а умру я сейчас или после — все равно.

4

ЖУРНАЛИСТ

Послушайте-ка, эй вы, двуногое мясо! Не желаете ли полпорции правды?

Отвратительно говорить правду; гнусно, она мерзко пахнет. Впрочем, не волнуйтесь: может быть, то, что для меня ужас, для вас — благоухание. С какой стороны подойти к вам? Как проткнуть ваши трупные тела, чтобы вы, завизжав от боли, покраснели не привычным для вас местом — лицом, а всем, что на вас есть, включительно до часового брелока? Жалею, что, убивая себя, не могу того же проделать с вами. Прочитав это,

вы скажете: «Человек рисуется». Конечно. Да. Я пользуюсь своим уничтожением для полного восстановления своей личности, желая собрать себя на протяжении всей своей жизни в ее одном полном и тоскливом результате — ругательстве. От души и от чистого сердца примите мое проклятие.

Я — дитя века, бледная человеческая немочь, бесцветный гриб затхлого погреба. Лирически завывая, скажу: «И я хотел многого, о, братья! И я стремился помочь вам освободиться от свиного корыта. Поняв вашу истинную природу, звонко хохотал в продолжение пяти лет. Срок довольно порядочный для того, чтобы, обдумав ваше и свое положение, сказать вам: «Покажите мне честного человека!»

Не конфетно-напомаженную личность, а просто-таки честного человека, который отвечал бы за свои поступки. Покажите мне чистое сердцем человеческое животное, большого ребенка с твердой волей и одной прямой, как стрела, мыслью, без уверток и драпировок, без спрятанной про запас правды и механической лжи; покажите мне это чудовище, и я буду жить слепо, без разговоров, уверовав во все сказки о будущем. Ваши лживые лицевые мускулы скрывают слишком много такого, что нужно скрыть. Бойтесь правды! Ложью держится мир, благословляйте ее!

Право на ненависть! Признайте за человеком право на ненависть! Возненавидьте ближнего своего и самого себя. Будьте противны себе, разбейте зеркала, пачкайте себя, унижайте; почувствуйте всю мерзость, весь идиотизм человеческой жизни, смейтесь над лживыми страданиями; обрушьте всей скрытой злобой вашей на надоевших друзей, родственников и женщин; язвите, смейтесь, с благодарностью принимайте брань. Ненавидя, люблю вас всей силой злобы моей, потому что и я такой же и требую от себя больше, чем можете потребовать вы, Иуды! Властью умирающего осуждаю вас: идите своей дорогой.

«Все стройно, все разумно», — говорят некоторые господа, а я говорю: идиотизм. Если вы мне не верите, — возьмите книгу «Хороший тон»; там вы узнаете, как легко заслужить презрение окружающих, разрезав рубку ножом Или попробуйте рассказать вашей жене все, что думаете в течение дня. Или прочтите в газете о бородатой скотине, изнасиловавшей пятилетнюю девочку.

Ухожу от вас. Скверно с вами, нехорошо, страшно. Неужели вам так приятно жить и делать друг другу пакости? Слушайте-ка, мой совет вам: очокурьтесь. И перестаньте рожать детей. Зачем дарить прекрасной земле некрасивые страдания? Вы подумайте только, что рождается человек с огромной и ненасытной жаждой всего, с неумолимой потребностью ласки, с болезненной чуткостью одиночества и требует от вас, давших ему жизнь,— жизни. Он хочет видеть вас достойными любви и доверия, хочет царственно провести жизнь, как пишете вы в изящных, продуманно лживых книгах; хочет любви, возвышенных наслаждений, свободы и безопасности.

А вы, на мертвенно-скупных, запачканных клопами постелях, издевательством над любовью и страстью творя новую жизнь, всей темной тучей косности и ехидства встаете на дороге вечно рождающегося человека и плюете ему в глаза, смотрящие мимо вас, поверх ваших голов,— в отверстое небо. И, бледнея от горя, человек медленно опускает глаза. Окружайте его тесным кольцом, вяжите ему руки и ноги, бейте его, клеветайте, оскорбляйте его в самых священных помыслах, чтобы лет через десять пришел он к вам в вашем образе и подобии глумиться над жизнью. Перестаньте рожать, прошу вас.

Подумайте, как будет хорошо, когда вы умрете. Останутся небо, горы, степи, леса, океаны, птицы, животные и насекомые. Вы избавите даже их от кошмара своего существования. И дрозд, например, будет в состоянии свистнуть совершенно свободно, не опасаясь, что какой-нибудь дурак передразнит его песню, простую, как свет.

В смерти моей прошу никого не винить.

Я написал много, но жег. Все люди достойны смерти, и противно жить, господа.

ЖЕНЩИНА НЕИЗВЕСТНОГО ЗВАНИЯ

Мне хочется рассказать о себе так, чтобы этому все поверили. Я состарилась; мне всего 23 года, но иногда кажется, что прошли столетия с тех пор, как я родилась, и что все войны, республики, эпохи и настроения умер-

ших людей лежат на моих плечах. Я как будто видела все и устала. Раньше у меня была твердая вера в близкое наступление всеобщего счастья. Я даже жила в будущем, лучезарном и справедливом, где каждый свободен и нет страдания. У меня были героические наклонности, хотелось пожертвовать собой, провести всю жизнь в тюрьме и выйти оттуда с седыми волосами, когда жизнь изменится к лучшему. Я любила петь, пение зажигало меня. Или я представляла себе огромное море народа с бледными от радости лицами, с оружием в руках, при свете факелов, под звездным небом.

Теперь у меня другое настроение, мучительное, как зубная боль. Откуда пришло оно?.. Я не знаю. Говорят, что чем больше человеку лет, тем он более становится равнодушным. Это правда. Я сама знаю одного такого, он мне приходится дальним родственником. В молодости это был крайний, теперь ему тридцать лет, и он говорит о стихийности, повинующейся одним законам природы. Он домовладелец. Прежде из меня наружу торчали во все стороны малейшие, острые иглы, но кто-то притупил их. Я начинаю, например, сомневаться в способности людей скоро завоевать будущее. Многие из них кажутся мне грязными и противными, я не могу любить всех, большинство притворяется, что хочет лучшего.

Как-то, два года назад, мы шли целой гурьбой с одного собрания и молчали. Удивительное было молчание! Это было ночью, весной. Какая-то торжественная служба совершалась во мне. Земной шар казался круглым, дорогим человечком, и мне страшно хотелось поцеловать его. Я не могла удержаться, потому что иначе расплакалась бы от возбуждения, сошла с тротуара и поцеловала траву. Все бросились ко мне и долго смеялись, и за то, что они смеялись, а не пожали плечами, я сказала: — Кто догонит меня?..

Теплый ветер бил мне в лицо, я бежала так быстро, что все отстали. Потом катались на лодке, а мне все время было смешно, казалось, стоит проколоть шпилькой любого — и из него сейчас потечет что-то, чем он переполнен. Мне приятно вспоминать это. Потом я любила. Мы разошлись ужасно глупо: он хотел обвенчаться и показался мне мещанином. Теперь он за границей.

А что будет дальше? К тридцати годам станет ужас-

но скучно. Я и теперь старая, совсем старенькая, хотя у меня молодое лицо. Я так много жила и благодаря опыту научилась понимать людей. Я знаю их хорошо, о! Они все измучены. Они все хотят настоящего, а здесь я бессильна. А будущее как-то перестало стоять на своем месте, оно все передвигается вперед.

Еще и теперь бывают у меня редкие минуты, особенно утром, когда отдернешь занавеску. Вдруг кровь засмеется, и жадно смотришь на все зеленое, вымытое солнцем, и кажется, что если бы пришел кто-нибудь и сказал:

— Вы царевна!

Я сказала бы:

— Да.

Или сказал бы:

— С неба упал слон!

Я тотчас бы ответила:

— Конечно.

Потом напьемся чаю и входишь в обычную колею. Я уже не та. Я треснула. И я не хочу через пять лет равнодушно читать газеты, ходить в театр, не забывая, что передо мной актеры, заботиться о прическе и грустить, только улыбаясь прошлому. Это ужасно, что живут другие люди старше тебя, и ты отражаешься в них.

Тот хрустальный город, где жили бы в будущем, обнесен высокими, молчаливыми стенами. Мне не переступить их. Чего хочу я? Какой-то сжигающей, вечной радости, света от розы-солнца, которой нет нигде и не будет. Перед ней меркнет все, и я стою в темноте, гордая своим желанием. Я умру, зная, что не переставала хотеть.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

Маленькое общество сидело в сумеречном углу на креслах и пуфах. Разговаривать не хотелось. Великий организатор — скука — собрала шесть разных людей, утомленных жизнью, опротивевших самим себе, взвинченных кофе и спиртными напитками, непредприимчивых и ленивых.

Степанов томился около пяти часов в этой компании; нервничал, бегло думал о сотне самых разнообразных

вещей, вставлял замечания, смотрел в глаза женщин отыскивающим, откровенным взглядом и нехотя вспоминал о том, что скоро он, как и все, уйдет отсюда, неудовлетворенный и вялый, с жгучей потребностью возбуждения, шума, продолжения какого-то неначавшегося, вечного праздника. Нервы томительно напряглись, в ушах звенело, и временами яркая, тяжелая роскошь старинной залы казалась отчетливым до болезненности, тревожным и красочным полусном.

Когда закрыли буфет и Степанов, с тремя женщинами и двумя мужчинами, вошел сюда, чувство досадного недоумения поднялось в нем ленивым, издевающимся вопросом «зачем?». Зачем нужна ему эта ночная, воспламеняющая желания сутолока? Каждый занят собой и ищет в другом только покладистого компаньона, предмет развлечения, работу глаз и ушей. Не уйти ли? Чего ждет он и все эти люди, спаянные бессонной, тоскливой скукой?

Степанов подошел к беллетристу, молча посмотрел в его тусклые, лишенные всякого выражения, глаза и тихо спросил:

— Что же теперь делать?

Беллетрист прищурился и, скромно улыбаясь, сказал:

— Да ничего. Поскучаем. Этот момент красив. Разве вы не чувствуете? Красива эта холодная скука, красива зала, красивы женщины. Чего же еще вам?

Лицо его приняло выражение обычного довольства всем, что он говорит и делает. Степанов хотел сказать, что этого мало, что этот красивый дом и женщины — не его, но, подумав, сел в кресло и приготовился слушать.

В холодную тишину зала ударились звонкие, мягко повторяемые аккорды. Играла Лидия Зауэр, томная блондинка, с холодным взглядом, резким голосом и удивительно нежным, особенно в свете ламп, цветом волос.

Лицо ее, освещенное сверху вниз бронзовым канделябром, мерно колебалось в такт музыке, совсем спокойное и чужое звукам рояля. Степанов закрыл глаза, долго вслушивался и, уловив, наконец, мелодию, перестал думать. Музыка волновала его, оставляя одно общее впечатление близости невозможной, плененной ласки, случайного обещания, нежной злости к невидимому, но пре-

красному существу. Открыв глаза, Степанов понял, что Зауэр перестала играть.

— Когда музыка прекращается,— сказал он, присаживаясь поближе к черноволосой курсистке,— мне кажется, что все ушли и я остался один.

— Да,— рассеянно согласилась девушка, как-то одновременно улыбаясь и Степанову и беллетристу, сидевшему с другой стороны. Весь вечер она заметно кокетничала с обоими, и эта бесцельная игра женщины ревниво раздражала Степанова. Временами ему хотелось грубо подойти к ней и прямо спросить: «Чего ты хочешь?» Но вопрос гаснул, напряженное равнодушие сменяло остроту мысли, и снова продолжалась игра глаз, взглядов, улыбок и фраз.

Когда Зауэр, поднявшись из-за рояля, подошла к кучке умолкших, потускневших от бессонной ночи людей, всем показалось, что она скажет что-то, засмеется или предложит идти домой. Но женщина села молча, медленно улыбаясь глазами, и замерла. Молчание становилось тягостным.

— Чего все ждут? — уронила маленькая артистка, сидевшая рядом с Лидией.— Клуб закрывается... ехать сегодня, по-видимому, некуда. А все ждут чего-то. Чего, а?

— Ждут, что женщины начнут целовать мужчин и признаются им в любви,— засмеялся студент.— Мы слабы и нерешительны. Женщины! Освободитесь от предрассудков!

Масляная, осторожная улыбка приподняла его верхнюю губу, обнажив ряд белых зубов. Никто не засмеялся. Артистка, размышляя о чем-то, поправила волосы, Лидия Зауэр механически посмотрела на говорившего, и ее розовое, холодное лицо стало совсем чужим. Студент продолжал:

— Здесь почти темно, настроение падает, и я предлагаю зажечь электричество. Зажгите, господа, электричество!

— Никакое электричество не поможет вам увидеть себя,— съязвил Степанов, делая мистическое лицо.

Студент, вспомнив свою некрасивую, отталкивающую наружность, понял и отпарировал:

— Да здравствует общество трезвости!

От шутки, фальшиво брошенной в унылую тишину душ, стало еще скучнее. Три женских лица, слабо оза-

ренные упавшими через тусклый паркет лучами зажженного канделябра, три разных — как разные цветы — лица, настойчиво, безмолвно требовали тонкого сверкающего разговора, непринужденного остроумия, изысканности и силы удачно сказанных, уверенно верным тоном звучащих фраз.

Но мужчины, сидевшие с ними, бессильно стыли в мертвенном ожидании чего-то, не зависящего от их усилий и воли, что властно стало бы в их сердцах и сделало их — не ими, а новыми, с ясной, кипучей кровью, дерзостью мгновенных желаний и звонким словом, выходящим легко, как утренний пар полей. Утомленные и оцепеневшие в раздражающей, бесплодной смене все новых и новых впечатлений, они сидели, перебрасываясь редкими фразами, тайно обнажающими ленивый сон мысли, усталость и отчужденность.

Беллетрист, помолчав минут пять, пробасил:

— В данный момент где-нибудь на другой половине земного шара начался день. Тропическое солнце стоит в зените и льет кипящую, золотую смолу. Пальмы, араукарии, бананы... а здесь...

— А здесь? — Артистка перевела свои сосредоточенно-кроткие глаза с кончиков туфель на беллетриста. — Продолжайте, вы так хорошо начали...

— М-м... здесь... — Беллетрист запнулся. — Здесь — мы — люди полуночной страны и полуночных переживаний. Люди реальных снов, грез и мифов. Меня интересует, собственно говоря, контраст. То, что здесь — стремление, т. е. краски, стихийная сила жизни, бред знойной страсти — там, под волшебным кругом экватора, и есть сама жизнь, действительность... Наоборот — желания тех смуглых людей юга — наша смерть, духовное уничтожение и, может быть, — скотство.

— Позвольте, — сказал Степанов, — конечно, интеллект их ленив... но разве вы ни в грош не ставите органическую цельность здоровой психики и красоту примитива?

— «Двадцать во-о-семь!» — донесся из угловой залы голос крупье, и тотчас же кто-то, поперхнувшись от жадности, крикнул глухим вздохом: «Довольно!»

— Да! — ненатурально взвинчиваясь, продолжал беллетрист, — мы, северяне, люди крыльев, крылатых слов и порывов, крылатого мозга и крылатых сердец. Мы — прообраз грядущего. Мы бесконечно сильны,

сильны сверхъестественной чуткостью наших организаций, творческим, коллективным пожаром целой страны...

Степанов смотрел на студента и беллетриста и точно теперь только увидел их впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испытые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы. Курсистка Антонова пристально смотрела на беллетриста, женским чутьем угадывая лстящее ей желание мужчины понравиться недурной женщине. Артистка невинно переводила глаза с одного лица на другое, делая вид, что все ей понятно и что сама она тоже принадлежит к крылатой северной породе людей.

И все остальные, сознавая насильно, чужими словами проникшую в их голову мысль о величии и ценности человека, задерживались на ней гордым утверждением, выраженным в коротком, слепом звуке «я», безотчетно думая, что только их жизнь таит в себе лучи будущих озарений, силы и мощи. Об этом говорили самодовольно застывшие взгляды и упрямо чуть-чуть склоненные головы. И холодно, странно, чуждо светилося между ними лицо Лидии Зауэр.

Беллетрист, поверив в свою искренность, говорил еще много и раздраженно о людях, потом незаметно перешел на себя и окончательно заинтересовал курсистку Антонову. Страстно, всю жизнь делеемая ложь о себе давалась ему легко. Все слушали. И каждому хотелось так же сказочно, похоже на правду, рассказать о себе.

Потом беллетрист смолк, закурил папиросу, рассчитано задумался и стал смотреть невидящим взглядом на бронзовый узор двери. Прошла минута, и вдруг отчетливый, грудной женский голос пропел мягким речитативом:

По синим волнам океана,
Чуть звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них паруса не шумят...

— Лидия,— сказал Степанов, когда женщина острожно остановилась.— Прекрасно! Дальше, дальше! Мы ждем!

— Это не моя музыка,— сказала Зауэр, и ее маленькие, розовые уши чуть покраснели,— но я буду дальше... если не скучно...

— Браво, браво, браво! — зачастил, словно залаял студент. — Ну же, дорогая Лидия, не мучьте!

Розовое, холодное лицо вдумчиво напряглось, и снова в томительной тишине зала, усиливаясь и звеня, поплыло великое о великом:

...Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

Тяжелый холод чужой хлынувшей силы сдавил грудь Степанова. Он неподвижно сидел и думал, как мало нужно для того, чтобы серая фигура в исторической треуголке, с руками, скрещенными на груди, и пристальным огнем глаз ожила в столетней пропасти времени... две-три строки, музыкальная фраза...

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Иные ему изменили
И продали шпагу свою.

Голос Лидии вздрагивал почти незаметным, нежным волнением, но опущенные ресницы скрывали взгляд, и Степанову хотелось сказать: «Не мучьте! Бросьте страшное издевательство!»

Через мгновение он увлекся и, зараженный сам стихийной, трагической жизнью царственно погибшего человека, почувствовал, как защекотала горло невысказанная, умиленная благодарность живого к мертвому; смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыканье перелетных бродяг, бежит, хромая, и валится на распластанные, ожиревшие крылья в осеннюю, больную траву.

Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И падают горькие слезы
Из глаз на холодный песок...

И, по мере того, как стихотворение подходило к концу, лица становились натянутыми, упрямыми, притворно скучающими. А Лидия Зауэр думала, по-видимому, не о них и не о том, в чьем образе неразрывно сплетено золото императорских орлов с грозной музыкой Марсельезы. Глаза ее оставались покойными, слегка влажными.

ми и холодными: человека стихийной силы здесь не было. Но в голосе ее так же, как в своей душе, Степанов чувствовал незримые руки мольбы, протянутые к плоской равнине жизни и к вечно витающему, вспыхивая редкими воплощениями, призраку человека.

Розовое лицо смолкло; тонкие, неторопливые пальцы стали поправлять волосы — обычное движение женщины, думающей о мыслях других людей. Кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место.

Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жалче и бесильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте.

ШТУРМАН «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

Во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать.

Сервантес

Шатаясь, я придерживался за складки его плаща, изображая собой судно, буксируемое против ветра. Он неуклонно подвигался вперед и, как подобает морскому волку, тщательно рассматривал мрак. Ветер, проносясь со скоростью шторма, свистел нам в уши, словно стая обезумевших мальчишек. Выпитая водка кое-как согревала внутренности, предоставляя коже зябнуть и коченеть от ледяных брызг дождя. В голове мелькали воспоминания: хохочущие женские рты. Но если хоть раз в день было весело — это уже хорошо.

Неизвестно, куда мы шли, но в то время несколько не сомневались, что идти нужно именно в этом направлении. Зачем? Спросите об этом у штурмана. Он шагал так быстро, что я сам не успел задать ему этот вопрос; к тому же он мне тогда и не приходил в голову. Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый. Я говорил страшно много. В самый короткий срок, считая с того момента, когда мы показали тыл порогу «Свидания моряков», я выложил и вывернул наизнанку себя всего, как наволочку; рассказал все свои секреты легкомысленно обнажил тайны, проявил все сомнения и

вытряхнул столько убеждений, что их хватило бы ино-
му на всю жизнь. Кроме того, я клялся самой страшной
божбой и, когда штурман начинал одобрительно рычать,
приходил в явно неистовый восторг.

Подвигаясь таким образом, мы очутились не далее,
как в двух шагах от воды. Штурман втянул носом соле-
ный запах и не допустил меня упасть с набережной, что
я пытался сделать, принимая воздух за продолжение мо-
стовой. Я сказал:

— Спасибо тебе за то, что не всякий бы сделал на
твоем месте. Будь здесь мой дядюшка, он ласково улыб-
нулся бы мне с берега, даже не заботясь, способен ли я
разглядеть сквозь эту тьму его дьявольскую улыбку.

— Я хочу пить! — захрипел штурман, хватая меня
за бока. — Пить! — Или я ложусь в дрейф, и пусть меня
слопают акулы, если я тронусь с места! Довольно! Я не
греческая губка, но и не черепаха. Я не могу более.
Я жажду.

— Нечего жаждать, — возразил я. — Морская
вода с примесью апельсиновых корок — этого ли ты хо-
чешь, бесстыдник? Или тебе мало полубочонка имбирно-
го пива, трех бутылок виски и полкварти персиковой
настойки? Если мало — то «да», а если довольно — то
«нет!».

— Да! — воскликнул он с одушевлением пророка. —
Да! И идем, Билль, как можно скорее! Не может быть,
чтобы все трактирщики легли спать. Право на борт, пья-
ница с гнилыми ногами, и держись за меня, иначе, кля-
нусь копытами сатаны, ветер опрокинет тебя, как груд-
ного младенца.

Здесь я принужден сделать маленькое отступление,
чтобы познакомить со штурманом тех из моих читате-
лей, кто не встречал его ни в «Свидании моряков», ни в
«Черном олене», ни в «Рассадики собутыльников». Он
был в полном смысле слова — мужчина. Его рыжая гри-
ва была густа, как июльская рожь, а широкое, красное
от ветра лицо походило на доску, на которой повар кро-
шит мясо. Говорят, что и весь он исполосован шрамами
в схватках на берегу из-за лишнего комплимента чужой
красавице или нежелания уступать дорогу первому
встречному, вроде джентльмена в эпи, — но этого под-
твердить я не могу, так как никогда штурман при мне не
снимал рубашку; а снимал он ее три раза в год, по боль-

шим праздникам. Рост его был немного пониже семи фут; глаза черные, как две хорошие маслины, а кулаки весили бы, вероятно, по шести фунтов каждый.

Если это вам нравится, то именно таков был его портрет в те времена. Прибавлю еще, что в правом ухе он носил серьгу, снятую им со своей покойной жены, когда ее положили в гроб. При этом, как передают, им были сказаны следующие знаменательные слова: «Не думай, милая моя Бетси, что я хочу тебя обокрасть или что я стал жаден, как нищий в пустой квартире; стоит тебе встать из гроба — и я куплю тебе сережки в четыре фунта, потолще моих пуговиц». Сказав это, он зарыдал и вытащил серьгу из уха покойницы — на память, по его объяснению.

За плащ этого человека я и держался, пока мы, тоскуя о невозможном, блуждали по спящим улицам. Не знаю — было ли еще когда-нибудь темнее, чем в эту ночь. Ветер бушевал, как дюжина цепных псов; слева и справа, сзади и спереди бросал он отчаянные толчки, рвал одежду и затруднял дыхание. Дождь поливал нас усерднее садовника, хотя мы и не были розами, ноги мои жужжали в сапогах, коченели, и я, наконец, перестал их совсем чувствовать. Мы прошли одну улицу, другую; свернули, путались в переулках, но нигде, кроме искр своих собственных глаз, не видели никакого света. Наглухо закрытые ставни скрипели заржавленными болтами, из водосточных труб хлестала вода, и мрак, чернее мысли приговоренного к смерти, закрадывался в наши сердца, жаждущие веселья.

Наконец, штурман не выдержал. Стиснув зубы так, что они взвизгнули не хуже плохого флюгера, и топнув ногой, он утвердился на месте крепче принайтовленной бочки. Я тщетно пытался сдвинуть его, все мои усилия повели только к взрыву проклятий, направленных против неба, ада, трактирщиков, моей особы и ни в чем не повинной шхуны «Четыре ветра», мирно дремавшей у мола в соседстве двух катеров.

— Ни с места! — громовым голосом рывкнул штурман, набирая как можно больше воздуха. Это служило признаком, что он намерен держать речь, как всегда — в подобных и иных критических случаях. — Ни с места, говорю я. Разбудим весь город, или сами захрапим тут не хуже каких-нибудь кухарок или объевшихся лавочни-

ков! Как?! Два джентльмена желают выпить и не могут этого сделать потому, что в этом дрянном городе живут сурки?! Эй, проживающие здесь (говоря это, он подошел к ближайшим воротам и ударил в них кулаком так крепко, что вздрогнула ночь),— эй,— говорю я,— вставайте! Мы желаем с вами познакомиться. Если же вы не слышите, я буду барабанить здесь, как обезьяна на ярмарке, до тех пор, пока не свалюсь в грязь! Проснитесь, сухопутные крысы, кочни капусты, пучки сельдерея! Одну бутылку — и мы удалимся! Расчет наличными!

Беснуясь, он каждое слово свое сопровождал сокрушительными ударами. Сердце мое замерло. С минуты на минуту я ожидал, что нас окружит толпа потревоженных жителей, и тогда будет нехорошо. Но, к моему удивлению, царствовало глубокое безмолвие, нарушаемое лишь возгласами отважного штурмана и гулом ветра.

— Лазит в карман за словом тот, кто привык искать его везде, кроме собственной головы,— продолжал мой спутник, сделав маленькую передышку, так как уже охрип.— Или вы думаете, что мне с вами не о чем разговаривать? Дудки-с! Я буду кричать вам до рассвета, потому что нет ни одной гавани в мире, где я не менял бы золото на медяки, а серебро на свистульку! Кроме вас, есть еще желтые, черные и коричневые балбесы, а есть и такие, что блестят почище ваших медных кофейников! В Гаване рыбу ловят острогами, а в Судане крючками. А где лучший хлеб, знаете ли вы, каракатицы? Я знаю — в Лиссабоне; потому что он там бел и мягок, как девушка в восемнадцать лет! Я вам скажу, что в Индии есть слоны и дворцы, тигры и жемчужные раковины. В океане, где я живу, как вы под железной крышей,— вода светится на три аршина, а рыбы летают по воздуху на манер галок! Это говорю вам я, штурман «Четырех ветров», хотя ее и чинили в прошлом году! Попробуйте-ка прогуляться где-нибудь в Вальпарайзо без хорошего револьвера — вас разденут, как артишок. В море, говорю я вам, бывают чудеса, когда ваш собственный корабль плывет на вас, словно вы перед зеркалом! А где пляшут гейши — я вам и ходить не советую, потому что вы распустите слюни. Поросята! Я вам скажу, что есть места, где ананасы покупают корзинами, и они дешевле репы. Видали вы небо, под которым хо-

чется хохотать с зари до зари, как будто ангелы щеко-чут в вашем носу концами своих крыльев? А леса, перед которыми ваши цветники — вроде огородной гряды перед облаками на закате? В Шанхае чай шесть пенни за фунт, и это первого сбора. Клянусь тетушкой черта, если она у него есть, что сам видел раковины больше корзины, и они пестрели, как радуга. Если б я не был пьян, я вас всех вытащил бы на палубу и дал бы вам на первое время в месяц по двадцати шиллингов. Чего вы боитесь? Вы можете взять с собой все ваши кастрюли, кровати и горшки с душистым горошком, да в придачу еще пару гусей, если они у вас есть. Так я вам и позволил пако-стить судно разным печным скарбом! Не плачьте, чулочники, сапожники, кузнецы, пивовары, лавочники и жулики! Ваше прошлое останется с вами, вы можете его пережевывать, как коза жвачку, сколько угодно. Эй, говорю я, прыгайте, прыгайте из окошек вниз! Я покажу вам новую бизань из самого сухого дуба на всей земле.

И так как по-прежнему никто не пожелал бросить теплую постель, чтобы выругать штурмана, он начал трясти ворота с остервенением, равным его жажде. Резкий грохот задребезжал в переулках. Я дернул штурмана за рукав, не обращая внимания на его брань, и сказал:

— Глотка из бирмингамского железа — или ты хочешь, чтобы нас избили ни за что, ни про что?

Но упорство его было велико. Он уже приискивал подходящий булыжник, как вдруг неизвестная личность, появившись из-за угла, помешала нашему объяснению. Это был ночной сторож.

— Куда вы ломитесь, бродяги? — закричал он, под-ходя ближе и направляя красный свет фонаря на наши головы. — Это пустой дом, и в нем нога человеческая не бывала еще с прошлого рождества! Нечего сказать, хорошее занятие — портить кулаки о ворота!

И я услышал из уст штурмана новую, но уже негодную для печати речь, которую он закончил следующими словами:

— Пусть рассыплется в порошок тот, кто, покидая этот сарай, не прибил к нему фонаря с надписью: «Здесь живут мыши!»

И мы пошли снова. Штурман быстро шагал к гавани, а я едва поспевал за ним, придерживаясь за складки его плаща.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА

I

За окнами караульного помещения бушевал резкий, порывистый ветер, потрясая крышу ветхого здания и нагоняя скучную, зевотную тоску. В самой караулке, у деревянного крашеного стола, кроме разводящего, сидели еще двое: рядовой Банников и ефрейтор Цапля. Разводящий, младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, лениво переленстывал устав строевой службы, время от времени кусая краюху ржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать, но он пересиливал себя и притворялся погруженным в изучение воинской премудрости. К тому же минут через двадцать надо было вести смену. А кроме этого, он не решался вздремнуть из боязни караульного офицера, который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему, разводящему, строгий выговор, а то и посадить под арест. И хотя он завидовал часовым, имеющим возможность через каждые два часа стояния на посту спать целых четыре, но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его еще шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая непреложные догматы строевой дисциплины.

Цапля взял листик махорочной бумаги и, вытащив из штанов огрызок карандаша, при свете жестяной лампы нарисовал, помогая себе языком и бровями, подобие порохового погреба и маленькую фигурку часового. Часовой вышел кривым на один глаз и безногим, так что казалось, будто он стоит по колено в земле, но Цапля, тем не менее, остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, отчего вздрогнули его полные, мясистые щеки, потом сказал, протягивая бумажку Банникову:

— Смотри, Машка,— это кто?

Банников всегда служил предметом насмешек Цапли и теперь не сомневался, что ефрейтор изобразил его, Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал, ласково улыбаясь глазами, нежными, как у молодой девушки:

— На кого-то страсть похож. Никак Алехин?

Алехин был солдат, стоявший в это время на часах.

Цапля помолчал немного, придумывая, что бы такое сказать поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул:

— Это, Машка, ты! Вот ты эдак, расщеперившись, стоишь.

Банников молча улыбнулся, взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая.

— Ужин-то не несут, кашицу-то нашу,— сказал он.— Дай-кось хлебца хошь пожую, что-то есть охота.

Разводящий поднял голову. У него было худое, загорелое лицо и маленькие черные усы. Он протянул руку к Цапле и сказал, зевая:

— Покажь!

Цапля подал рисунок унтеру и глупо захохотал.

— Машка, расщеперившись, стоит,— с трудом сказал он сквозь смех.— Не хочет признавать своего патрета.

— Вовсе не похож,— сказал разводящий.— Банников — парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил.

Цапля надулся. Он ожидал, что унтер поддержит его, и они вдвоем подымут на смех молодого солдата, прозванного «Машкой» за скромность и застенчивость. Он пожевал губами и сказал:

— Сущая девка энтот Банников. Банников! А может, ты девка переряженная, а?

Унтер улыбнулся, жуя хлеб. От движений челюстей шевелились его маленькие, острые усы, и казалось, что они помогают жевать.

Довольный Цапля продолжал.

— Позавчера в газетах писали, будто Банников наш к ротному ночевать ходит. Правда, штоль, ась, Банников?

Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у Цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб:

— А пускай их пишут! Попишут да и перестанут. Скоро, чай, сменяться. Смена-то моя ведь!

— Ну, так что? — спросил Цапля.

— Кашицу долго не несут,— зевнул Банников.— Без горячего скушно.

— Ишь ты, деревенский лапоть,— наставительно сказал унтер, хотя сам с удовольствием похлебал бы те-

перь горячей жидкой кашицы.— Солдат по уставу безо всякой кашицы должен обойтись. Терпеть и голод и холод.

— Да ведь это... оно... так, например... только словесность,— тихо произнес Банников.— А есть каждому полагается!

— На службе мамки и тятки нет,— зевнул разводящий.— Цапля, давай чай пить. Все равно эту кашницу принесут холодную. Вон Банников за кипятком сбегает. Давай копейку, Банников, на кипяток, будешь с нами чаевать.

— Сейчас бегу,— сказал Банников, вставая и откладывая в сторону недоеденный ломоть.— Только мне не поспеть уже чай пить — чичас на смену.

— Ну, на смену! Еще четверть часа тебе слободы, а коли што, Алехин обождет малость. Беги-ка, беги скоренько!

Банников вышел из-за стола, поправил ремень, оттянутый патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил:

— Куда идти-то? Чай, заперто везде.

— В Ерофеев трактир беги, Машка! — крикнул Цапля, часто моргая белыми ресницами серых навывкате глаз.— На Колпинской, возле часовни. Там дадут, не заперто.

— Ладно,— сказал Банников отворил дверь и вышел.

II

Банников служил первый год и часто со страхом думал, что службы осталось еще три долгих, тяжелых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему новизной обстановки, строгим, деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стала тяготить строгость дисциплины и общество чужих, раздраженных и тяготящихся людей, согнанных в глухой уездный город со всех концов страны. Банников был грамотный, добродушный крестьянин, застенчивый и мягкий. Лицо его даже на службе сохранило какую-то женскую округлость и свежесть розовых щек, пушистых бровей и ресниц, что было причиной постоянных,

скорее бессмысленных, чем обидных шуток и прозвищ, вроде «Машки», «Крали», «Анютки». С первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость — козыри в жизненной игре. Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им, своему взводному или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче. Это чувствовалось, и хотя к Банникову не придирались так, как к другим, но всегда при удобном случае давали ему понять, что всякая провинность будет взыскана с него так же, как и с других. Но Банников был всегда молчалив, внимателен, исполнителен и сосредоточен.

Он купил в трактире чаю, сахару на две копейки, кипятку, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу Банников заметил, что кипяток не горячий, а только теплый, и это обстоятельство было ему неприятно. «Еще ругаться будут за мои же деньги, — думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. — Разводящий-то еще ничего, а вот Цапля проклятая начнет глупость свою выказывать». — Эта служба — ой, ой, ой! — вслух вздохнул он, обращаясь к невидимому слушателю. — Только бы отслужить как-нибудь, уж черт бы ее взял!

Когда перед ним в темноте скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый, простуженный голос Алехина. Часовой крикнул:

- Эй, кто идет?
- Свои, Банников.
- А смена скоро, не знаешь?
- Надо быть, скоро, — подумав, ответил Банни-

ков.— Надо быть, эдак, с четверть часа, што ли, еще тебе стоять.

В ответ послышалось легкое насвистывание гопака. Банников хотел уйти, как вдруг Алехин сказал:

— Караульный офицер был.

— Ну? Был? А что?

— Да ничего. Кабы не заметил, что ты был ушодчи.

— Ну-у! — с сомнением протянул Банников. Однако смутная тревога охватила его и задержала дыхание. Он подошел к караульному помещению и отворил дверь.

III

Когда Банников ушел, Цапля свернул папироску, лег на грязные, лоснящиеся доски нар, поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении оттого, что его, ефрейтора, выпущенного из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то Банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но все-таки мысль о том, что он должен, как простой рядовой, сменять Банникова или Алехина, которые чистят ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия. С разводящим они одногодки, однако тот уже младший унтер, имеет две нашивки и получает три рубля жалованья, а он, Цапля, все еще ефрейтор. Непонятно и унижительно. От скуки ему захотелось подразнить разводящего, и он сказал, пуская табачный дым колечками к потолку:

— Петрович! А, Петрович!

— Ну,— отозвался унтер, закрывая устав. И так как Цапля молчал, придумывая, что сказать, добавил: — Я, брат, вот уже двадцать три года Петрович!

— А не зря ли мы Машку послали? — как бы рассуждая сам с собой, продолжал Цапля.— Зря, право, зря!

— А почему зря? — спросил разводящий, вынул карманное зеркальце и, боком поглядывая в него, раздавил прыщ около носа.— Почему, ты говоришь, зря?

— Как бы караульный офицер не пришел. Застанет на грех, да облает, а еще, того гляди, в карцер запрячет.

— Придет — скажу, что ушел часовой, мол, по своей надобности,— и вся недолга.

— Ой, придет, чует моя печенка,— продолжал Цапля.— Этот Циммерман имеет обнаковение спозаранку. Мне из его четвертой роты сказывали.

— И врешь же ты все, Цапля! — с досадой сказал разводящий.— Экий у человека брешливый язык!

— А вот с места не сойти! А ты маленький, что ли, не понимаешь, караулы-то они вон на каком расстоянии. Конечно, зачнет ходить пораньше.

— Да будя тебе брехать,— сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба.— Спи, околей до чаю.

— А вот он идет! — вскричал Цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему. На самом же деле он никого не видел, да и глубокий мрак, висевший за окном, не позволял ничего видеть.

В это время за дверью караульного помещения раздались медленно-приближающиеся шаги. Разводящий подумал, что идет Банников, но что Цапля принимает шаги солдата за приближение офицера. Поэтому он решил сам напугать Цаплю, встал из-за стола и запер дверь на крючок.

— Не пушу его,— сказал он, держа руку у крючка,— твоего Циммермана. Нехай тем же поворотом гарцует обратно.

Кто-то дернул дверь, крючок брякнул и замер. Но Цапля уже действительно не на шутку испугался и вскочил с нар.

— Эй, Петрович, отпирай ему! — крикнул он.— Ведь и в самом деле...

Разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что Банников в самом деле не мог вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле.

— Вот дурака валяет! — взволновался Цапля.— Шутки шутками, а в самом де...

Сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что задребезжали стекла и огонь испуганно затрепетал в лампе. Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь, и взбешенный офицер быстрыми шагами вошел в помещение.

Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырек, крикнул: «Смирно!» и поблед-

невшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным.

— Ваше благородие, в карау...— начал было он, но Циммерман раздраженно махнул рукой.

— Чего запираешься, черт! — крикнул он, бегая серыми обрюзгшими глазами с разводящего на Цаплю.— С девками вы, что ли тут, сволочь?

— Простите, вашебродь,— сказал унтер голосом, пересекающимся от волнения.— От ветру... дверь. Ветром отводит... Я на крю... хотел припереть... вашбродь!

Офицер смотрел на него в упор, засунув руки в карманы пальто и как бы ожидая, когда солдат кончит свои объяснения, чтобы снова разразиться бранью. Циммерман был невысок, сутуловат, с длинной шеей и брюзгливым, птичьим лицом. Он ударил ладонью по столу и сказал:

— Постовую ведомость!

Разводящий заторопился, вынимая бумагу из брюк. В это время офицер нагнулся и посмотрел под нары. Не найдя там никого, он немного успокоился и сказал:

— Где третий?

У разводящего захолонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил:

— Банников... вашбродь... так что вышел за своей нуждой...

— Позови его! — сказал офицер утомленным голосом, разглядывая стены.— Позови его!

Цапля стоял, возбужденно переминаясь с ноги на ногу, и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных, долгих мгновений. Циммерман подписал ведомость и сказал:

— Ты слышал мои слова?

— Будьте великодушны, вашбродь! — плаксиво забормотал унтер.— Он вышел, вашбродь... У меня просься... за кипятком, вашбродь... Сейчас обернется.

— Сволочь! — сказал офицер твердо и отчетливо, подняв брови.— Сволочь! — повторил он, уже раздражаясь и посапывая.— Ты в карцере сидел?

— Никак нет, вашбродь! — с отчаянием выдавил из себя разводящий.

— На первый раз скажешь своему ротному, чтобы посадил тебя на пять суток переменным. Понял?

— Так точно, ваш...

Циммерман повернулся к солдатам спиной и, толкнув ногою дверь, вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял еще некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз.

— Эх ты, господи! — вздохнул он, разводя руками. — Ну, что это? Почему такое?

— Я тебе говорил, Петрович, отопри! — заискивающе пробормотал ошеломленный Цапля. — Разве я зря? Когда мне из четвертой роты...

— Пошел ты к лешему! — сказал унтер, садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы. — Ты говорил? Ты лежал и брехал.

Он был сконфужен и разозлен печальным результатом своей шутки с Цапляй. Перспектива чаепития, такая заманчивая несколько минут назад, сделалась теперь безразличной и нудной.

— А, отсижу! — вдруг ободрился разводящий, приходя в себя — Пять суток — ишь, удивил солдата!

— Я вчера Лизку встрел, — сказал Цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. — Убегла ведь от меня, стерва, не верит в кредит, ха, ха, ха!

— Ну, пять суток, так пять суток! — продолжал размышлять вслух разводящий. — Пять — не десять!

— Ведь как угадал, — удивлялся Цапля, тупо усмехаясь широким ртом — Ровно знал, что придет. Прямо вот такое было у меня предчувствие.

— Рад, что накаркал, — огрызнулся унтер. — А вот он самый с кипятком идет.

IV

Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что не даром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему:

— Не больно горяч только кипяток-от. И то насилу достал. У буфетчика выпросил, он уже запирается хотел.

— А ну тебя с кипятком! — морщась, процедил сквозь зубы разводящий. — Тут из-за тебя такая неприятность была.

— А што? — спросил, недоумевая, Банников, переводя глаза с ефрейтора на унтера. — Кака неприятность?

— Кака, кака? — закричал Цапля, багровея и брызжа слюной. — Разиня вятская, черт бы тебя там дольше носил!

Он был взволнован недавним приходом офицера, и теперь, при виде спокойных, ясных глаз Банникова, испытывал непреодолимую потребность выместить на нем возбужденное состояние своей души. Цапля был «отделенным» Банникова, начальством, и поэтому считал себя вправе кричать и браниться.

Недоумение в лице Банникова еще больше раздражало его. Он сплунул в сторону и продолжал громким, злым голосом:

— Цаца эдакая! Смотрите, мол, на меня, какой я красивый!

— Чего же вы ругаетесь, господин отделенный? — тихо сказал Банников. — Я же ведь ничего...

— А чего ты два часа слонялся? Из-за тебя вон разводящий засыпался.

— На пять суток, — уныло сказал унтер, перелистывая устав. — Караульный тут был, тебя спрашивал, а как ты отлучился, так вот я и засыпался.

— Я не виноват, — вполголоса ответил Банников.

Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и, сев с краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чадила, узкая струйка копоти видась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете фигуры солдат и самые лица их казались деревянными, грубо раскрашенными манекенами. В бревенчатых стенах шуршали тараканы, изредка срываясь и падая; в углу, у кирпичной облупленной печи, блестели металлические части винтовок. Цапля, в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные сердечком, насвистывали песню: «Крутится, вертится шар голубой...» Затем он поймал на стене таракана и оборвал ему усы. Таракан вырывался, но Цапля понес его к лампе, бросил в стекло и долго, ухмыляясь, смотрел, как коробится и трепещет от боли поджаренное насекомое. Повода придраться к Банникову

пока больше не было. Цапля скучал. Его беспокойный, дурашливый характер требовал суеты, кипения, брани. Он стал ловить другого таракана, но разводящий поднял голову и сказал:

— Руки поганишь, а потом будешь за сахар хвататься. Брось! Давай чай пить. Пить — так пить...

— А где кружки? — спросил Цапля, хотя знал, что они стоят на полке в углу; но ему хотелось, чтобы их принес Банников. Банников не шевелился, и острая неприязнь к молодому солдату снова шевельнулась в груди ефрейтора.

— Там, на полке, — сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу.

Цапля помялся немного, потом достал две кружки, плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и унтеру, взял кусочек сахара, бережно откусил и потянул из кружки бурую теплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и Цапля крикнул:

— Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принес?

— Да, Банников, холодноват! — сказал и унтер, трогая чайник.

— Да не было, взводный, горячего-то! — ответил Банников. — Чуть было еще сахару не забыл купить.

Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул. Ему показалось, что Банников хочет укорить его в том, что он, Цапля, пьет его чай и сахар, а все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал:

— Сахару купил! Думаешь, сахар купил, так тебя, тетерю, завсегда по башке будут гладить? Ты чего коришь сахаром-то своим? Лапоть паршивый, а? Хошь, я тебе завтра пуд сахару в зубы воткну? Что я сахару твоего не видал, что ли?

Банников надел второй сапог и удивленно, оторопев, смотрел несколько секунд на расхोдившегося ефрейтора. Прошло еще мгновение, и на розовом, безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но Цапле в мягко улыбнувшемся рте солдата почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые, мясистые щеки запрыгали, как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову.

Неожиданно для самого себя он занес руку наотмашь и больно ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала, в момент замаха, намерения ударить у него не было. Но когда побледневшее лицо Банникова с испугом в глазах метнулось в сторону, уклоняясь от удара, у Цапли вспыхнула острая жестокость к розовой упругой щеке, и он конвульсивно дернул по ней пальцами.

— Эй, Цапля, не драться! — строго прикрикнул унтер. — В казарме дело твое, а при мне не смей!

— Вот, смотри на него! — сказал Цапля глухим голосом, дрожа от волнения. — Цаца! Пальцем его тронуть не смей? Ишь, сволочь!

Банников встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомое чувство сжимало ему горло. Наконец на темных глазах его заблестели слезы, и он сказал:

— За что вы меня бьете-то, отделенный? А? За что?..

Тоска и жалость к себе слышались в его голое. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого.

— За что вы меня ударили, отделенный? — тихо и настойчиво повторил Банников. — За что? Я же ничего.

— Чего мелешь? — сердито отозвался Цапля. — Кто тебя бил? Никто тебя не бил. Поговори еще.

Наступило неловкое молчание. Злая тяжесть обиды глухо ворочалась в Банникове. За что? Он купил для них за свои деньги чаю и сахару. Ему вдруг страстно захотелось уйти, уйти из опостылевшей караулки куда-нибудь в лес, лечь на траву и забыться.

Разводящий молча прихлебывал чай, чувствуя стеснение и неловкость от выходки Цапли. Желая нарушить тягостное молчание, он покрутил усы и сказал:

— Какой случай в пятой роте был. Приходит артельщик на базар за крупой, крупы купить. Ну, это самое, купил, на кухню принес, смотрит, а там, в мешке-то, шесть мышенят подошедших. Ей-богу! Целое гнездо. Так и бросили, дежурный по кухне велел...

Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотря в одну точку глазами, полными слез.

— Будет, Банников! — сказал разводящий, крикнув. — Он так, сдуру. Брось!

И, помолчав, добавил:

— В конвойной команде двоих избили прямо в лоск... Одному так пол-уха откусили.

— Разводящий! — сказал Цапля, прислушиваясь. — Никак Алехин свистит.

Действительно, за стеной караулки трещали короткие, раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, оставил кружку и сказал:

— Банников, айда на смену! И так прозевали. Четверть часа лишка стоит человек.

Банников встал, молча надел поверх белой рубахи серую скатанную шинель, взял из угла винтовку и вышел... Вслед за ним вышел и разводящий и через несколько минут вернулся назад с Алехиным, рябым и курносом парнем.

V

Банников, заступив пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошел здание порохового склада, рассматривая, в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что все благополучно, он вскинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперед по узкой тропинке, проложенной часовыми. Дул по-прежнему холодный, упорный ветер, свистя в ушах, но Банников, расстроенный случившимся в караулке, не замечал ни ветра, ни холода. Раздражение против Цапли постепенно утихало, и он только с грустью думал о том, что за три оставшихся года службы придется, вероятно, еще много натерпеться подобных неприятностей. Понемногу в одиночестве и тишине уснувшей площади ему захотелось спать, но он, как и всегда, преодолевал усталость, расхаживая и высчитывая, когда придет письмо из деревни в ответ на его письмо, в котором он просил выслать холста для рубашек и яблоков.

Алехин между тем долго и основательно ругался, узнав, что ужин не принесли и что кипятку в чайнике почти не осталось. Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастье. Алехин на это заметил:

— Леший бы их всех дра! С солдата спрашивают, а чтобы куб поставить в караулке, так этого нет. Спать я хочу; утро вечера мудренее, а баба девки ядренее.

Он лег на нары, зевая во всю мочь, сунул под голову свернутую шинель, дососал окурочек папиросы и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливость и на разводящего, но так как унтер спал крепко и боялся проспать смену, то не лег на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать.

Цапле не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглая, побледневшая от удара щека Банникова вертелась перед глазами, вызывая раздражение против себя, солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым, он проиграл еще утром в карты рубль шестьдесят копеек и остался без денег. Вытащив складной нож, Цапля принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки; потом плюнул в гирию стальных часов, но не попал и стал считать удары маятника. А досчитав до тридцати, заскучал, надел шапку и вышел из помещения.

VI

Небо выяснилось и, синяя, мерцало холодным узором звезд. От этого сверху, над черными массами зданий, было как будто светлее, а над землей по-прежнему расстилался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха Банникова смутно белела шагах в двадцати от караулки, неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подпрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк.

«Ишь, фря! — сказал он мысленно. — Тоже, выслужиться хочет. Фордыбачит. Очень мне твой сахар нужен!»

Но тут же вспомнил, что часто брал взаймы у Банникова и сахар и чай.

«Пойти вот, пугнуть тебя хорошенько, так будешь знать, что есть служба!»

Мысль эта мелькнула в его голове сначала просто словами, но потом Цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы еще как-нибудь посмеяться над Банниковым. Ни то, что он ефрейтор и отделенный, ни то, что

он ударил Банникова и ругал его, не давало ему сознания своего превосходства над ним. Напротив, как будто выходило, что он еще чем-то обязан Банникову, и тот знает это. Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы молодой солдат почувствовал зависимость свою от него и признал ее.

«Выкрасть разве затвор у его? — сказал себе Цапля. — Пусть попросит Машка хорошенько, тогда отдам!»

Эта жестокая, но соблазнительная мысль сменилась другой — что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать врасплох. Однако Цапля хотел попытаться. У него была надежда, что Банников уснул или задремал, в крайнем же случае ефрейтор решил тихонько подползти к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный, гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженный возможностью интересного развлечения, Цапля уже представлял хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность и увидит, что затвора нет. Такие шутки часто выкидываются солдатами, и Цапля однажды уже с успехом проделал это.

Он вернулся в караулку, торопливо скинул летнюю рубашку с погонами и остался в темной, бумазейной. Фуражки он не надел потому, что она была тоже белая, парусиновая, и вышел за дверь. Белая рубаха часового смутно маячила в том же самом месте. Цапля осторожно, на цыпочках, затаив дыхание, прошел несколько шагов по направлению к пороховому складу, потом лег на живот и стал тихо ползти к углу здания, где, опираясь на пожарную кадку с водой, спиной к нему стоял Банников. Холодная, мокрая трава задевала и колола лицо Цапли, колола руки, а он, подползая все ближе и разглядев внимательнее позу часового, окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим, коротким телом слабо шуршащую траву.

Теперь между ним и Банниковым оставалось пять-шесть шагов расстояния. Из-за высокой кадки Цапле виднелся белый чехол фуражки и темный силуэт плеч. Тонкое черное острие штыка шевелилось рядом с головой, как раз с левой стороны, с которой приближался Цапля. Улыбаясь в темноте, ефрейтор приостановился,

рассматривая кадку и соображая, заползти ли совсем с левой стороны к Банникову, или сзади, из-за кадки, протянуть руку и нащупать затвор ружья.

Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню и медленно покачивал головой из стороны в сторону. Цапля решил выползти из-за кадки, сообразив, что, пожалуй, из-за нее рукой ружья не достать. Он стал подыматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом, как пласт. Банников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слипались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружье, потоптался немного и медленными, мерными шагами двинулся в сторону Цапли.

Ефрейтор совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал шагах в трех от стены здания, мысленно ругая Банникова и досадуя на свою неловкость. И в то мгновение, когда он хотел незаметно двинуться в сторону, Банников задел ногой о его сапог, почувствовал живую упругость человеческого тела и испуганно остановился.

Тишина вдруг сделалась зловещей и хитрой, со звоном бросилась в уши, ударила в сердце. Десятки различных мыслей, нелепых и смутных, разбежались в голове Банникова, как стая рыб. Вздрагивая, как струна, он взял ружье наперевес, осторожно склонился, разглядывая траву, и еще более испугался, различив немые очертания притаившегося человека. Что-то уперлось ему в грудь, сжало кольцом горло, завертелось в глазах.

— Кто тут? Встань! — с отчаянием сказал он твердым голосом, судорожно стискивая руками ложе ружья. — Эй!

Неизвестный молчал. Ефрейтор лежал сконфуженный, с слабой надеждой, что Банникову только почудилось, и он уйдет. Часовой нагнулся еще ниже, присел на корточки и с удивлением узнал Цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце еще продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял выпрямившись, с досадой и недоумением.

Цапля неподвижно лежал, и страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание.

— Вставайте, отделенный! — твердо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения — Ну!

Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо, с ненавистью в душе продолжал лежать.

Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его сердце.

— Вставайте, отделенный! — настойчиво повторил Банников и пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет.

Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И оттого, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз.

Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженному затылку ефрейтора.

Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми, конвульсивными движениями. Тонкий, лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным, тупым звуком. Шея Цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным, притаившимся телом.

Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, Банников потрогал пальцами теплый, липкий конец штыка, затем прислонил ружье к стене, достал коробочку спичек и стал зажигать их, опустившись на колена возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Желтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробочку в сторону, потом встал и начал искать ее, чувствуя в теле и движениях тупую, пьяную легкость. Руки его были холодные и дрожали. Не найдя спичек, он вспомнил о винтовке, вскинул ее на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал:

— А я почему знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно!

Тяжелая, смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднес к губам свисток и свистнул долгой, пронзительной трелью, вызывая разводящего.

ТЕЛЕГРАФИСТ ИЗ МЕДЯНСКОГО БОРА

I

Произошло что-то странное; может быть сон, так похожий на жизнь, что все его мельчайшие подробности отчетливо рисовались в мозгу, полные грозного, сложного значения действительно совершившегося факта.

Перед этим, до катастрофы, казался понятным и неизбежным момент острого, болезненного возбуждения тела и духа, переходящего все границы обычных человеческих волнений; момент бешеного упоения риском, экстатического порыва натянутых до последней крайности нервов, когда жизнь и смерть становятся пустыми, короткими словами без всякого смысла и значения.

Но фантастичность свершившегося заключалась не в громадной дерзости и отваге людей, безуспешно пытавшихся выполнить свою отчаянную задачу, а в безмятежном затишьи летнего полудня. Он так же, как и раньше, как и сто лет назад, спокойно голубел над землей, шевеля пустынным ветерком лиловый багульник, розовые мальвы и сухие, поседевшие от жары тра-

вы. Так же, как и час назад, мирно ползли облака и задумчиво шевелились мохнатые вершины елей, изредка роняя вниз, на бурую хвою, маленькие сухие шишки. Едва смолкли последние выстрелы и, загрохотав, замер вдали поезд, как спугнутая тишина снова оцепенела над землей, полная монотонного циканья кузнечиков, лесных вздохов и тихих голосов птиц, порхавших на опушке.

И когда Петунников, слепо тыкаясь в кусты и задыхаясь от внезапного тоскливого изнеможения, упал в мягкую еловую поросль, отуманенный бешеным стуком крови и тяжелой сутолокой напряженных, остановившихся мыслей, ему показалось, что ничего не было. Так доверчиво и спокойно лежала кругом хвойная, освещенная редкими солнечными пятнами лесная глушь, что происшедшее несколько минут назад горело в иступленном от возбуждения мозгу отрывками только что виденного и до ужаса похожего на действительность сна.

А между тем то, что было — б ы л о, и несло с собой неумолимую, мгновенно развертывающуюся цепь последствий, которых, правда, можно и избежать при счастье и ловкости, но во власти которых мог, если не сейчас, то потом, оказаться Петунников. Впрочем, теперь он не думал об этом. Отдельные сцены нападения скачками, без мыслей, вспыхивали перед ним помимо воли, как нарисованные.

До самой последней минуты, несмотря на то, что в поезде их было одиннадцать вооруженных, заранее, по уговору, севших людей, несмотря на полное сознание близости решительного момента, не верилось, что задуманное наступит. Даже осторожно и почему-то очень бережно сжав задрожавшими пальцами пыльный, красный рычаг тормоза Вестингауза, Петунников подумал беглыми, темными задами мысли, что все это до ужаса просто и именно так быть не может. А как — он не знал; но странным казалось, что даже в этот момент отчаянного риска внимание работает будничным, обычным порядком, пристально отмечая вырытые, гнилые шпалы, скучный говор колес, окурки, подскакивающие на площадке, запыленные стекла, спокойный, убегающий лес...

И только на обрыве последнего мгновения, когда сверкая отполированной сталью рельс, выступило кру-

тое, ровное закругление, когда холодная, слепая тяжесть начала давить грудь, и рука, вдруг ставшая чужой, безотчетно потянула вниз заскрипевший рычаг, и быстро натянулась и лопнула гнилая, замазанная краской бечевка, пронзительно и тоскливо взвизгнули тормозные колодки, прильнув на бегу к быстро вертящимся колесам, и, громыхнув буферами, содрогнулись вагоны, как стадо степных лошадей, встретивших неожиданное препятствие,— тогда лишь звонкая, горячая волна хлынула в голову Петунникова, закричав тысячами резких, пьяных голосов, затопляя сознание лихорадочной быстротой ощущений и чувством действительной, полной бесповоротности.

И хотя над замершими вагонами сонно таяла голубая полуденная высь, а лес стоял зеленый и равнодушный к людям, оцепеневшим в страшной тревоге, воздух мгновенно стал звонким, хитрым и душным. Казалось Петунникову, что в нем самом бесследно растворилось и пропало его собственное тело, что мысли стали чужими и бешено торопливыми, как сухой, взвихренный ветром песок. Он спрыгнул на откос насыпи и, шумно дыша, побежал вперед, крепко сжимая рукой теплую сталь револьвера.

II

Все, что произошло потом — результат горячих двухнедельных споров, раздражения, осторожных, тонких расчетов, надежд и сомнений — совершилось с какой-то потрясающей, нелепой быстротой, бестолково и страшно. Снаряд не разорвался: брошенный между колес, он тупо стукнулся о шпалу, перевернулся и лёг в песок, как старая пустая коробка. Откуда-то по крутой, глинистой насыпи, спотыкаясь и размахивая руками, бежали неизвестные, разно одетые люди, враспынную стреляя из револьверов в сторону желтого почтового вагона. Один из них, маленький и худой, с плоским растерянно-торопливым лицом, отделился и побежал навстречу Петунникову мелкими, неровными шагами, выкрикивая на ходу тонким, странно обрадованным голосом: «Ага... Ага...» и неумело стреляя из тяжелого казенного револьвера. Когда между ним и Петунниковым осталось всего восемь — десять шагов, молодой человек вытянул руку и нажал спуск, почти не

целясь, но со странной уверенностью в том, что не промахнулся. Сыщик перестал кричать и пошел шагом, все тише и тише, потом сел, уперся руками в живот и взвизгнул тоскливым, ровным голосом.

Петунников остановился, с тупым удивлением рассматривая раненого, безотчетно оглянулся и снова из всех сил побежал дальше, к голове поезда. Издали он узнал четверых с бледными, странно-чужими, озабоченными лицами; они стояли у площадки вагона и быстро, не двигаясь с места, словно делая какое-то страшно важное и спешное, но совершенно безопасное дело, стреляя в окна и на площадку. Сзади кто-то кричал бестолково и хрипло, эхо тревожно замирало в лесу. Из вагонных окон со звоном прыгали осколки стекла, и кто-то стрелял оттуда невидимый, мерно и ожесточенно разряжая револьвер.

Вдруг сзади неожиданно и сильно раздалась выкрики:

— Сюда-а!.. Эге-ей!.. Эй!.. Солда-а-ты!..

Петунников обернулся назад и увидел бегущих товарищей. Они торопливо прыгали с насыпи, отчаянными и, как показалось Петунникову, страшно медленными движениями продираясь сквозь цепкую вересковую заросль опушки. Из задних вагонов бегло и дробно стукали винтовочные выстрелы.

Теперь весь поезд стонал и гудел, как озлобленный и шумный улей. Паровоз тяжело пыхал; белые, густые клубы дымного пара стлались по заросли. Петунников осмотрелся, стиснул зубы и, вдруг поняв, что все кончено, пустился бежать к лесу. За ним кто-то гнался, шумно, с топотом, треща сучьями и кустарником. Две-три пули провизжали над головой, но, не останавливаясь и не оглядываясь, прыгая через пни и валежины, охваченный внезапной тоскливой паникой, Петунников бежал так быстро, что жаркий, неподвижный воздух бил ему в грудь и лицо, как ветер.

Бежал он инстинктивно и прямо, без мысли и соображения, туда, где деревья казались темнее и гуще. Но лес все расступался и расступался перед ним бесконечной зеленой толпой, открывая новые поляны, ямы, заросли и валежины. От испуга и стремительного движения не хватало воздуха, дыхание вырывалось из груди хриплым, неровным шумом, и казалось, что лопнет

сердце, не выдержав бешеного прибою крови. И была только одна мысль, одно желание — убежать как можно дальше от полотна. Временами казалось, что теперь опасность отдалена, что пора остановиться, прийти в себя. Но, как только он замедлял шаг, новый, слепой взрыв острого, нетерпимого страха болезненно встряхивал нервы и мускулы, толкая вперед. И снова, напрягая последние усилия, Петунников бросался дальше, как ошеломленный, затравленный зверь, пока не упал в мягкую хвойную поросль, бессильный, уничтоженный и разбитый, в состоянии, близком к обмороку.

III

Мысль о том, что, может быть, ничего не было, и все это — дикий, бессвязный кошмар, вместе с ясным и глубоким сознанием лесной тишины, была последняя. Настало полное тяжелое оцепенение, и Петунников, не шевелясь, чувствовал только свое измученное тело, лежащее навзничь в мягком сыром мху. Ныли и, казалось, всасывались землей разбитые мускулы, крупный горячий пот слепил глаза, быстрые огненные мухи сновали в воздухе. Кто-то ненасытно, хрипло дышал внутри его; неистово гомонило сердце, вздрагивая и наполняя лес огромными глухими толчками. Муравьи раздражали кожу, ползая по рукам и лицу, забираясь в рукава и за воротник, но не было сознания, что это муравьи и что можно стряхнуть их. Все тело от корней волос до натертых, горящих ступней беззвучно томилось жаждой полного, близкого к уничтожению и смерти покоя.

Прошло как будто и страшно много и страшно мало времени, когда Петунников, еще несколько раз глубоко вздохнув жадной, остывшей грудью, сообразил, где он лежит и почему. Страх прошел, канув в тишину лесного безлюдья, но еще оставались тревожная рассеянность мыслей и звонкое напряжение слуха, готовое схватить и сообразить малейший треск сучка, шорох падающей шишки, стук дятла. Маленькая, словно живой черно-серый орех, синица-гайка уселась над головой Петунникова, вопросительно свистнула тоненьким, мелодичным свистом и перепорхнула на соседнее дерево.

Он встал, слегка пошатываясь, с закружившейся от утомления головой, встряхнулся, поправил фуражку и

тоскливо огляделся. Вокруг печально и угрюмо ширилось лесное молчание, мягкие отсветы меланхолично падали в чашу кустарника и тихо двигались меж деревьями по извилистым, узловатым корням, уходя дальше сквозь толпу мохнатых елей и лиственниц в зеленую, жуткую глубину. Срываясь, замирали в тенистом воздухе редкие жалобные крики птиц; где-то ворочался дятел, мерно и озабоченно стучая клювом.

И постепенно, усиливаясь и загораясь желанием идти, двигаться, предпринять что-нибудь, росло глухое, беспокойное раздражение, вызванное сознанием, что прежнее направление, определявшее сторону, где проходила железная дорога, утеряно им безвозвратно с того самого момента, когда он, обессилевший и полузадохшийся, упал в кусты. Как ни силился Петунников ориентироваться, выходило до нелепости очевидно, что железнодорожная линия идет со всех четырех сторон сразу и что вместе с тем ее нет. Идти наудачу было рискованно не только из-за опасности попасть к станции и обратить на себя внимание служащих, но и потому, что можно было удариться не поперек, а вдоль огромного леса и проплутать неопределенное время без всякой надежды избежать розысков и поимки. И все-таки, несмотря на всю неумолимую правильность этих соображений, ничего другого не оставалось, как просто... идти вперед.

IV

Долго и безостановочно шел Петунников большими, торопливыми шагами, со все возрастающим беспокойством, тщательно стараясь не уклониться от раз взятого направления. Шел он все прямо, через мочажины и овраги, через огромные высохшие болота, усеянные частыми упругими кочками. Иногда кусты загораживали дорогу, и цепкие ветви больно задевали лицо. Вязкая лесная паутина садилась на вспотевшую кожу, как липкое, отвратительное насекомое. Небо стало туманнее и бледнее, глуше и сосредоточеннее возились невидимые птицы, и только тишина, глубокая, печальная тишина леса, навевая тревожные, неотступные мысли, не давала заметить Петунникову густых пряных испарений вечеряющего дня.

На ходу он думал, отрывочно углубляясь в отдельные эпизоды событий, и ясным становилось ему, почему так сложно и хорошо обдуманное предприятие кончилось печальным, непредвиденным крахом. Еще там, в городе, перед тем, как сесть в поезд, стало известно, что на этот раз воинская охрана не сопровождает деньги и что отправляются они, по-видимому, без всяких особых мер предосторожности. Тогда это не показалось ни странным, ни удивительным; напротив, возбужденное состояние, в котором находились все, рисовало картины необычайной и красивой легкости ограбления.

Теперь же, вспоминая неизвестных людей, стрелявших на бегу в него и его товарищей, Петунников видел, как глупо они, увлекающиеся конспираторы, попали впросак. Очевидно, охрана, состоявшая из сыщиков или переодетых жандармов, сидела, как и они, в вагонах под видом пассажиров третьего класса. И даже смутно и неуверенно, как сквозь сон, Петунникову припомнились отрывистые, характерные звуки винтовочных выстрелов.

Точно ли не было солдат? А если их прятали, то с какой целью? Быть может, в надежде, что революционеры, введенные в обман, не станут взрывать вагона? Петунников вспомнил неудачный снаряд и криго усмехнулся. Но все-таки ясным и несомненным было то, что о готовящемся нападении или знали, или просто ожидали его ввиду большой, соблазнительной суммы денег.

Мысль о деньгах, однако, не вызвала у Петунникова ни сожаления, ни досады; слишком была велика ставка в этой игре, ставка собственной жизнью, чтобы ход, сыгранный вничью, по крайней мере для него, заставил пожалеть о возможном и потерянном выигрыше. Товарищи его, вероятно, пока тоже избежали преследования, хотя, почему так думается, он не знал. Возможно, что, раненный и арестованный, он думал бы наоборот, т. е. что и все ранены и арестованы. В сущности, оставалось благодарить судьбу, что не кончилось хуже, но радости никакой не было, а была тревога, заброшенность и усталость.

Чем дальше шел он, тем сильнее росла уверенность, что он действительно заблудился и совершенно беспомощен. Ясно было одно, что до опушки далеко, так как

деревья все время тянулись крупные, высокие, на свободном, ровном расстоянии друг от друга, а он знал, что опушка больших лесов — сплошная, дикая чаща. Полная неопределенность положения, незнание местности и мучительный вопрос «что же делать?» подгоняли его сильнее всяких соображений о риске. Он шел с лихорадочной быстротой, время от времени закуривая папиросу, чтобы отогнать комаров и возбудить разбитое, ослабевшее тело. Но по-прежнему утомительно и однообразно строгие, сумрачные деревья расступались перед ним, смыкаясь за его спиной зеленым, жутким молчанием. А когда, несмотря на огромное напряжение воли и решимости выбраться как можно скорее из этого глухого, дикого леса, острая, болезненная ломота в коленях и ступнях стала замедлять шаги Петунникова, в душу его проник маленький, одинокий страх, как струйка ночного холода в согретую постель спящего человека.

Сумерки надвигались и плыли вверх, в резких изломах вершин, холодными, темнеющими клочьями черного неба. Внизу стало еще тише, еще тревожнее; деревья не рисовались, как днем, отчетливо, прямыми, стройными очертаниями, а сквозили и расплывались в сырой мгле черной массой стволов, окутанной темной громадой хвои. А он все шел, упрямо, механически шагая разбитыми ногами, с тяжелой, одурманенной головой, полной неясных шорохов и унылых вздохов огромного засыпающего леса.

V

Ночь настигла Петунникова неторопливо и равнодушно, властно и медленно, как всегда, погружая лесную равнину в глухой, смолистый мрак и сонную жуть. Когда стало совсем темно и идти наугад, ощупью значило уже совсем без толку кружиться на одном месте, Петунников остановился, ощупью сгреб несколько охапок валежника, зажег их и в мучительно сладком изнеможении сел на землю, радуясь смелому, беглому треску костра и дымному, трепетному огню. Бессознательный ночной страх, рожденный мраком и безмолвием, отодвинулся за угрюмые стволы елей и замер. Круг света, бросаемый пламенем, то вспыхивал ярче и отгонял еще дальше черную пустоту ночи, то суживался, бледнел, и тогда казалось, что темная масса воздуха

прыгает к Петунникову, стремясь поглотить раскаленные, горящие сучья.

Согнувшись и механически подбрасывая в огонь засохшие прутья, он думал о том, что выход из настоящего положения один: пробраться к заселенному месту, выяснить, где почтовый тракт и двинуться пешком обратно в город. По его расчету до города не могло быть более ста пятидесяти верст, значит, через трое суток, если его не поймут, можно попасть к своим, отдохнуть и уехать. Идти он решил по ночам, а днем спать где-нибудь в канаве или кустах.

Проснулся и заворочался голод, но это не так беспокоило Петунникова, как тревожный, сосущий жар и слабость внутренностей вместе с дразнящим желанием холодной, чистой воды. Пытаясь обмануть себя, он стал размышлять о предстоящей дороге, но чувство, сознание и выраженное мыслью, настойчиво требовало удовлетворения. А когда он сорвал какой-то стебелек и начал жевать его, жадно глотая обильную слюну, им овладело уныние: мучительно хотелось пить...

Черная лесная жуть толпилась вокруг, вздыхала вершинами, прыгала по земле уродливыми тенями красного трепетного огня. Костер потрескивал и шипел, свертывая и мгновенно воспламеняя зеленую смолистую хвою. На ближайших стволах горели желтые отблески, гасли и загорались вновь. Все спало вокруг, сырое, мохнатое и немое. И казалось Петунникову, что только двое бодрствуют в уснувшей лесной равнине — он и дикое, дымное пламя ночного костра.

VI

Пятно солнца, медленно двигаясь по одеялу, прильнуло к смятой, пышной подушке, и от близости пыльного утреннего луча в лицах спящих людей неуловимо дрогнули светлые тени и сомкнутые ресницы. Дыхание стало неровным, зашевелились сонные губы, и казалось, что в свежем раннем воздухе натянулись невидимые, паутинно-тонкие струны, готовые проснуться и вздрогнуть звуками ленивых, полусонных человеческих голосов.

Пятно медленно, как часовая стрелка, передвигалось влево, коснулось бритого, загорелого подбородка, изогнулось, позолотило рыжеватые усы и протянуло от го-

лубого сияющего неба к плотной скуле Григория Семеновича воздушную струю солнечной пыли. Варламов открыл один глаз, вздрогнув бровью, быстро зажмурился, потянул одеяло, проснулся и сразу увидел спальню, подушки, ширмы и крепко спящую, розовую от сна жену.

Варламов выпался, но сладко потягиваться всем крепким, сильно отдохнувшим за ночь телом было приятнее, чем вставать, одеваться и вообще начинать суетливый деловой день. Он лежал с минуту на спине, закинув большие волосатые руки под коротко стриженную голову, зевнул широко и сильно, с наслаждением разжимая челюсти, и посмотрел на жену искоса, не поворачивая головы. Она лежала так же, как и он, на спине; одна рука с согнутыми пальцами упиралась в щеку, другая пряталась под сбившимся голубым одеялом. Ее маленькие круглые плечи отчетливо рисовались здоровой, матовой кожей на смятой белизне подушки. С каждым вздохом спящей женщины медленно, едва заметно приподнималась и опускалась высокая грудь, небрежно опоясанная кружевным узором рубашки.

Варламов смотрел на жену, и в нем, постепенно прогоняя остаток сонливости, нарастало привычное, властное желание.

— Леночка! — сказал он негромко, задерживая дыхание. — Спишь?..

Веки зашевелились, дыхание на секунду остановилось и вылилось в полном, глубоком вздохе. Варламов повернулся на бок и слегка обнял жену за плечи. Елена открыла глаза и, еще не совсем проснувшись, оставила на муже бессознательный, недовольный взгляд.

— Ну, что? — протянула она, сладко зевая, и прибавила: — Сплю... Ведь видишь.

— Леночка, — заговорил Варламов умильным, просящим голосом. — Вставать надо... а? Дорогая моя женочка...

Он сладко улыбнулся и поцеловал молодую женщину в теплые, темные завитки волос между шеей и маленьким точеным ухом. Елена закрыла глаза и прежним капризным голосом протянула:

— Оставь, Гриша! Ну, оставь же... Я спать хочу! Оставь, Гриша, ну же!

Она решительно повернулась к нему спиной.

В окнах пестрел зелеными отблесками светлый утренний воздух; слабый, задумчивый ветерок наполнял комнату запахом влажной земли, зелени полевых трав. Елена повернула голову, глядя широко открытыми, проснувшимися глазами в какую-то воздушную точку, погруженная в ленивую расслабленность и приятный утренний бездумный покой. За ширмой, скрипя стулом, ворочался муж. Елена безотчетно представила себе его аккуратную, прямую фигуру с заспанным румяным лицом и пушистыми рыжими усами. Он скрипит ботинками, щелкает пряжками подтяжек, фыркает и стучит умывальником; вот, кажется, надевает чесунчиковый пиджак.

Все это он делает молча, быть может, сердится за ее холодность. Не разбуди он ее, пожалуй, можно было бы отнестись снисходительнее к его нежности, но почему надо будить? Как будто нельзя встать и одеться без нее, напиться чаю и идти там по разным своим скучным делам. Утром так сладко спится. Хочется бесконечно блаженно дремать, не думая о разных надоедливых и тошных обязанностях домашней жизни.

— Ленуся, спишь?.. — осторожно спросил Варламов, подойдя к ней. — Моя маленькая ленивица!..

Он взял ее голую, теплую руку и сочно поцеловал в кисть. Жена нравилась ему всегда, и он не без удовольствия думал о возможной зависти знакомых. Одетая и причесанная, она казалась слегка чужой, особенно при посторонних, но нагота ее была доступна только ему, и тогда сознание, что эта женщина — его жена, собственность, было полнее и спокойнее.

— Я бы еще спала! — помолчав, зевнула Елена. — И даже сон видела... Сон... такой... ну, как тебе сказать? Будто я в цирке...

— Вот как? — почему-то удивился Варламов, думая о близкой плате поденщикам, работавшим на огороде. — В цирке... Ну... и?..

— Вот я забыла только, — озабоченно и серьезно произнесла Елена, — кем я была?.. Не то наездницей, не то из публики... просто... Я на лошади скакала, — засмеялась она. — Так быстро, быстро, все кругом, кругом, даже дух захватило. А вся публика кричит: «браво! браво!» И мне хочется скакать все быстрее, быст-

рее, а сердце так сладко замирает... Страшно и приятно...

— Значит, когда я тебя разбудил, то снял с лошади,— рассеянно сказал Варламов.— Иначе бы ты упала и разбилась... Леночка, я пойду в столовую. А ты?

— Я скоро, иди...— сказала Елена и, заметив, что муж хочет поцеловать ее в шею, быстро прибавила: — не тронь!.. Я сегодня стеклянная.

Варламов прошел в большую, светлую столовую, где на круглом белоснежном столе слабо шипел, попискивая и замирая, серебряный самовар. Аккуратно расставленная посуда, ножи и ложки сияли холодной чистотой сытой жизни, а на краю стола, там, где всегда садился Варламов, лежала столичная газета.

Дверь на террасу была открыта, и старые пышные деревья сада ровной толпой уходили вдаль, сливая в зеленой глубине серые изгибы дорожек, запятнанных солнцем, черные стволы и яркие точки цветущих клумб. Щебетали птицы, со двора неслись ленивые выкрики. Над террасой стояло июльское солнце, золотило комнатный воздух и сотнями микроскопических солнц блестело в вымытой белизне посуды.

Варламов прошелся взад и вперед, потирая руки, свистнул, радуясь хорошему дню, сел на плетеный стул и развернул газету. Газет он вообще не любил и выписывал их единственно из убеждения, что следить за политикой необходимо для культурного человека. Ему хотелось есть и пить чай, но он терпеливо ждал прихода жены. Мысль о том, что можно налить чаю самому, даже не приходила ему в голову. Кроме того, он не любил пить или есть без жены и всегда с бессознательным чувством спокойного благополучия следил за неторопливыми движениями рук Елены, наливающей суп или чай. За столом он мог совсем не говорить и не испытывал от этого никакой неловкости. Если жена рассказывала что-нибудь, Варламов слушал и кивал головой; если молчала или читала, он, также молча, с удовольствием следил за ней глазами и добродушно улыбался, когда она, подымая голову, взглядывала на него.

— Здравствуй! — сказала Елена, входя и привычным движением нагибаясь для обычного утреннего поцелуя.— Ты поедешь сегодня?..

— Мы, собственно говоря, проспали,— ответил Варламов, нетерпеливо глотая слюну.— Теперь я опоздал на десятичасовой. Можешь представить, когда я вернусь? Вечером... А отчего у тебя круги под глазами. Смотри, какие синие...

— Круги? — равнодушно переспросила Елена, открывая сахарницу.— Вот уж, право, мне совершенно все равно...

— Ну, да... — улыбнулся Варламов.— Так я тебе и поверил. И личико бледное... Ты, я думаю, переспала... а?

Елена сердито звякнула ложкой.

— Я не переспала, а мало спала! — возразила она тем особенным, раздражающим голосом, который почти всегда служил для Варламова признаком неизбежной сцены.— Я же малокровная, ты это прекрасно знаешь, а притворяешься. В прошлый раз доктор, кажется, при тебе это говорил, Гриша... И что мне нужно больше спать...

— Я хотел сказать... — запнулся Варламов, усиленно прихлебывая чай.— Впрочем, что же такое?.. Здесь деревня... гм... двенадцать часов... По-деревенски это...

Он примирительно кашлянул, но Елена молчала, притворяясь занятой намазыванием на хлеб икры. Варламов подождал немного и снова заговорил:

— Отчего ты сердишься? Я не люблю, Еленочка, когда ты начинаешь вот так сердиться без всякой причины. Ну, что такое, почему?

— Я не сержусь...

— Да как же нет, когда я прекрасно вижу, что ты не в духе и сердишься,— настаивал он, сам начиная ощущать тоскливое, жалобное раздражение.— Пожалуйста, не отпирайся!.. Сердишься. А почему, неизвестно...

Елена еще плотнее сжала губы.

— Да нет же, я совсем не сержусь...

Григорий Семеныч огорченно пожал плечами и развернул газету. Но через минуту помешал в стакане и, стараясь подавить мгновенную тонкую струйку обидного неудовольствия, сказал:

— У меня разные дела в городе. Прежде всего надо заказать стекол для парников... Потом с этими процентами... Да еще посмотреть Гущинский локомобиль,

но я думаю, что он врёт... Наверное, с починкой, очень уж дешево. А тебе... нужно что-нибудь?..

— Мне? — холодно спросила она. — Что же мне может быть нужно? Нет.

— Это уж тебе знать, — кротко заметил Варламов. — Что ты... такая странная? Это невесело.

— Ну и уезжай себе, если скучно! — раздраженно подхватила Елена. — Разве я держу тебя? Скучно — ну и уходи... Чини свои локомотивы и парники... Можешь также пойти в клуб и проиграть лишних двести рублей... мне... меня это не касается.

— Еленочка! — взмолился Григорий Семеныч, вставая и подходя к ней. — Детка моя! Ну, будет, брось... Я — дурак, доволен, Еленочка..

Он взял ее руку, потянул к себе и поцеловал маленькие, мягкие пальцы. Она не сопротивлялась, но в ее бледном, капризном лице по-прежнему лежала тень застывшего упрямства и скуки. Варламов опустил руку и тоскливо вздохнул.

— Ты, я вижу, ссориться хочешь, — сказал он печальным голосом, — но, ей-богу, я ни при чем... Ну, скажи, что я сделал, чем виноват?..

Елена сидела неподвижно, упорно рассматривая саомоварный кран круглыми, остановившимися глазами, и вдруг, неожиданно для себя самой, жалобно и горько заплакала, беспомощно всхлипывая трясущимся, побледневшим ртом. Крупные, медленные слезы падали на скатерть, расплываясь мокрыми пятнами. И так было странно, тяжело видеть молодую, хорошенькую женщину плачущей в уютной, светлой комнате, полной веселого утреннего солнца и зеленых теней, что Варламов растерялся и беспомощно стоял на одном месте с глупым, покрасневшим лицом, не зная, что делать. Но в следующее мгновение он встряхнулся и бросился к маленькой, вздрагивающей от плача фигурке. Он обнял ее за плечи, целуя в голову и бормоча смешным, детским голосом ласкательные слова:

— Крошка моя... Ну, деточка, ну, милая, ангельчик мой!.. Ну, что же ты, зачем, Еленочка?..

Прошло несколько томительных секунд, и, вдруг, плач прекратился так же внезапно, как и начался. Елена перестала всхлипывать, выпрямилась, с мокрым, блестящим от слез лицом попыталась улыбнуться, бро-

сила на Варламова просительный, ласковый взгляд и заговорила жалобным, но все еще сердитым, дрожащим голосом:

— Это нервы, Гриша... ты не обращай... ну, ей-богу же, просто нервы.. потом, я плохо спала .. голова болела, ну. . Вот видишь, я перестала, вот...

Она рассмеялась сквозь слезы и принялась усиленно тереть кулачками вспухшие, красные глаза. Варламов сел, взволнованно откашлялся и шумно передохнул.

— Ты просто пугаешь меня,— сказал он, успокаиваясь и крупными глотками допивая остывший чай.— Так вот... ни с того, ни с сего... Сегодня... на прошлой неделе тоже что-то такое было... К доктору, что ли, мне съездить, а? Еленочка?

— Как хочешь, все равно,— протянула Елена упавшим голосом — Но ведь я здорова, что же ему со мной делать?

— Доктора уж знают, что делать,— уверенно возразил Варламов.— Это мы не знаем, а они знают... Вот ты говоришь — нервы. Ну, значит, и будет лечить от нервности.

— Да-а... от нервности..— капризно подхватила Елена.— А вот если мне скучно, тогда как? А мне, Гриша, каждый день скучно, с самого утра .. Ходишь, ходишь, слоняешься, жарко... Мухи в рот лезут.

— Вот это и показывает, что у тебя расстроены нервы,— с убеждением сказал Варламов, расхаживая по комнате — Нервы — это... Здоровому человеку не скучно, и он, например, всегда интересуется жизнью... Или найдет себе какое-нибудь занятие...

Он чувствовал себя немного задетым и в словах жены нащупывал тайный, замаскированный укор себе, но так как он ее любил и был искренно огорчен ее заявлением, то и старался изо всех сил придумать что-нибудь, могущее, по его мнению, развлечь и развеселить Елену. Сам он никогда не скучал, вечно погруженный в хозяйство, и значение слова «скука» было известно ему так же, как зубная боль человеку с тридцатью двумя белыми, крепкими зубами.

— Да, господи! — говорил он, останавливаясь и пожимая плечами.— В твоих руках масса возможностей... Ну, хорошо... Гуляй, что ли... поезжай в город, в те-

атр... навести родных... ты, вон, цветы любишь, возишься с ними... Да мало ли что можно придумать?..

Елена рассеянно теребила салфетку, и нельзя было понять, о чем она думает. Варламов помолчал, но видя, что жена не возражает, снова заговорил довольным, рассудительным голосом.

— Вот в чем дело-то... Кстати, хочешь, приглашу погостить директоршу. Можно поехать в лес или к Лисьему загону, например...

— Гриша! — сказала Елена, поднимая голову, и голос ее вздрогнул капризной, тоскливой ноткой. — Гриша, мне скучно! Скучно мне!..

Варламов перестал ходить и с глубоким, искренним удивлением увидел большие темные глаза, полные слез. Он крикнул, тупо мигнул и вытащил руку из кармана брюк. Елена продолжала, стараясь не волноваться:

— Григорий! Я же не виновата, что я такая... Мне все надоело, решительно все, и сама я себе надоела... А чего мне хочется...

Она беспомощно развела руками и рассмеялась вздрагивающим, нервным смехом, покусывая губы. Потом закрыла глаза и грустно прибавила:

— Хоть бы ребеночка нам, право...

В другое время Варламов был бы растроган и умилен этим желанием, но теперь, когда все его соображения относительно скуки были встречены одним коротким, простым словом «скучно», тупое недоумение перед фактом разрослось в нем грустью и маленьким, обидчивым раздражением. Он даже не обратил внимания на последние слова Елены и сказал, стараясь говорить кротким, сдавленным голосом.

— Ну, Елена, я за тебя знать не могу. Но я крайне... крайне озадачен... Кажется, я все... Ты обеспечена... Я не стесняю... зачем же так? Я не виноват, Елена!

— Я и не обвиняю, — холодно возразила молодая женщина. — При чём тут ты?!

«Она нечаянно сказала правду, — подумал Варламов, вытаскивая золотые часы и прищуриваясь на циферблат. — При чём тут я? Хандрит... Пройдет!»

— Мне пора, — вздохнул он, подойдя к жене и целуя ее в мягкую, холодную щеку. — Я вернусь к одиннадцати, и ты еще успеешь стать пайнойкой... Знаешь, — он улыбнулся снисходительно и довольно, — когда че-

ловец расстроен, ему лучше побыть одному. А мое присутствие тебя раздражает.

— Меня все раздражает,— тихо процедила Елена.— Все... вот этот самовар, и тот... И солнце... чего оно лезет в глаза?..

— Иду, иду!..— деланно засмеялся Варламов, махая руками.— Ухожу. Глафира-а!..

Вошла белорусая, румяная горничная, и Варламов распорядился запретить в дрожки Пенелопу, маленькую, гнедую кобылу. Горничная ушла, мимоходом подобрав брошенный на пол окурок, а Варламов пошел в кабинет взять деньги и папиросы.

VII

Когда он уехал, Елена пошла к себе, села перед туалетным столиком и долго перебирала шпильки, внимательно рассматривая в холодной пустоте зеркала свое хорошенькое, скучающее лицо. Потом нашла, что у нее сегодня очень томный и интересный вид, вспомнила обиженное лицо мужа и самодовольно улыбнулась. Пускай чувствует, что такое супружеская жизнь.

На скотном дворе мычали телки, откуда-то падал в тишину ленивый стук топора. Елена кое-как собрала волосы, напевая сквозь зубы, потянулась, зевнула и, так как одеваться ей было лень, решила, что лиловый капот — самый легкий и удобный домашний костюм.

Жаркое летнее молчание дышало в окно безветренным, сухим воздухом, томило и дрожало. И тягучее, расслабленное настроение, овладевшее женщиной, напоминало почему-то ей серенькие годы уездного девчества, прогулки по тощему, высохшему бульвару, жидкий военный оркестр, игравший по воскресеньям марши и вальсы, чтение романов, беспричинные слезы и беспричинный смех, чаепитие под бузиной, сплетни и туманные, томительные мечты о «нем», далеком, неизвестном человеке, с приходом которого как-то странно соединялось представление о яркой, интересной жизни, возможной и желанной. Тогда казалось, что все еще впереди, и что настоящее, где каждый день до нелепости похож на другой, только неизбежная ступень к заманчивому, интересному будущему. О том, что такое это будущее, и что в нем хорошего, и почему это

хорошее должно наступить,— даже не думалось. А если и думалось, то с неясной, сладкой надеждой, и казалось, что, как ни думай, все же будет страшно приятно и хорошо.

Год замужества прошёл скоро и бестолково. Первые впечатления брачной жизни, новизна положения, взволнованность и острота ощущений тешили Елену, как новая, неожиданно купленная игрушка. Приезжала родня с острыми, истерически-любопытными глазами, ела, пила, ходила по усадьбе, рассматривая коров, овец, ярко выкрашенные новенькие машины, сеялки, веялки, молотилки, механические грабли, вздыхала и завидовала. И когда Елена, с сияющим, смущенным лицом, розовая и оживленная, болтала без умолку о своей новой и обеспеченной, завидной для всех жизни, поминутно взглядывая на торжественное, довольное лицо мужа,— жизнь казалась ей приятной и восхитительной, а Варламов — милым, добрым и умным человеком, к которому, кроме благодарности, нужно чувствовать и любовь. И хотя любви к нему она не испытывала, но была уверена, что спать с ним, принимать его подарки и ласки, а в холодные дни завязывать ему шарф — значит любить.

А потом, постепенно, с каждым новым днем, сытно ускользавшим в пространство, подошло и укрепилось сознание, что все самое лучшее уже было и ничего нового, неизвестного впереди нет. Были, правда, мечты о ребенке и возне с ним, но в мечтах этих муж не играл никакой роли и казался даже странно чужим, посторонним человеком, которого все, и она сама, будут называть «отец», «папа», и который в веселые минуты станет щекотать пальцем животик ребенка, вскидывать брови и говорить сладким, деревянным голосом: «Агу! Агу!»

Елена закрыла глаза и вслух, негромко, произнесла: «Гриша — отец». Но тут же ей стало смешно, потому что слово «отец» непонятным образом превратило лицо Григория Семеныча, мысленно представленное ею, в лицо ее собственного отца, дряхлого старика в поношенном военном сюртуке, страдающего параличом и одышкой. Елена нетерпеливо встряхнула головой, встала и вышла на террасу, захватив новенький переводной роман.

Увидев хозяйку, огромный черный водолаз Полкан приподнялся на передних лапах, выгнул шершавую спину, зажмурился и протяжно, громко зевнул, помахивая хвостом. Потом встал, встряхнулся и, мерно ступая мягкими, мохнатыми лапами, подошел к Елене, заглядывая ей в лицо умными, большими глазами.

— Полкан, здороваться! — строго прикрикнула она, протягивая руку.

Собака лениво потянула воздух влажным черным носом и медленно приподняла лапу, тяжело дыша разинутым от жары ртом.

— Дрянь собака, — притворно сердясь, сказала молодая женщина, оживленная ярким солнцем и бодрой, трепетной зеленью старых лип. — Бяка.. У-у!..

И так же притворно морда Полкана приняла огорченное, жалкое выражение. Он боком, высунув мокрый язык и опустив голову, смотрел на хозяйку, ожидая привычных ласковых слов.

— Ну, хорошая, ну, умная собака!.. — важно сказала Елена, кладя свою маленькую руку на огромную мохнатую голову. — Милый мой, добрый песик Полкан...

Полкан утвердительно гавкнул басом и бодро замотал хвостом. Они понимали друг друга. Елена задумалась, не отнимая руки и медленно вдыхая густой, сочный воздух. Ей захотелось пойти в какой-нибудь укромный, тенистый уголок, лечь на траву и читать, но также хотелось взять удочку и водить леской в тихой, прозрачной воде, разглядывая горбатые, темные спинки рыб, снующих над вязким, илистым дном.

Из-за угла дома вышла кухарка, длинная, сухопарая женщина с коричневым от загара лицом. Еще издали Елена услышала ее быстрый, певучий говор, при звуках которого почему-то сразу начинало пахнуть дровами, плитой и сырым мясом.

— Вас, барыня, ишу-то! — заговорила она, прикрываясь от солнца худым, желтым локтем. — На первое, значит, борщ барин вчера заказывал.. Я борщ-то собрала, только свеколки молодой нету, чисто беда...

Она подошла к террасе и остановилась, вытирая засаленные пальцы о синий холщовый передник.

— Жаркого не придумаю, какого бы ни на есть,— продолжала кухарка, озабоченно поджимая губы.— Ежели, например, баранину, так барин до баранины не очень охоч... Разве курицу с рисом, Елена Митревна?

— Все равно, хоть курицу,— сказала Елена.— Барин придет вечером, а мне все равно.

— Разве што курицу,— согласилась кухарка, обдумывая, какую курицу заколоть.— Я еще, как седни встала, так про курицу думала... Так курицу, барыня?..

— Две курицы!!.— рассердилась Елена.— Три, четыре, пять... сто куриц!.. Какая у тебя привычка спрашивать по десяти раз!..

Не вступая в дальнейшие объяснения, она подхватила подол платья и пустилась бегом по аллее, на ходу оборачиваясь и крича: — Полкан! Полкан!

Собака бросилась за Еленой большими, ленивыми прыжками, гавкая и припадая к земле. На повороте Полкан догнал отбившуюся от него хозяйку, положил ей лапы на грудь и тяжело задышал прямо в лицо, стараясь лизнуть Елену, но она вывернулась и снова пустилась бежать, не замечая, что Полкан отстает только из вежливости и, по-видимому, не особенно расположен бегать. У маленькой хмелевой беседки Елена остановилась, раздумывая, войти туда или нет, потом вошла и, запыхавшись, села на узенькую зеленую скамейку. Полкан завилял хвостом, зевнул и грузно опустился на пол к ее ногам, уткнув морду в вытянутые передние лапы.

Елена выпрямилась, изогнулась всем своим маленьким стройным телом, развернула книгу и принялась читать длинный фантастический роман, полный приключений и ужасов. Тянулась бесконечная интрига злодеев с добродетельными людьми, где, невзирая на усния автора, преступники и убийцы выходили почему-то живее и интереснее самых добрых и самых благородных людей. Впрочем, все они действовали с одинаковой жестокостью друг к другу, не давая спуска ни правому, ни виноватому.

Когда надоело читать, Елена закрыла глаза, стараясь вообразить себя пленницей, спрятанной в каком-нибудь пустынном и таинственном месте. Но вместо каменного угрюмого замка с башнями и подземными

ходами упорно рисовалась чистенькая веселая усадьба, амбары с хлебом и сеном, каретник, скотный двор, залитый навозной жижей, и приказчик Евсей, аккуратный, богомольный мужик, подстриженный в скобку. В ухе у него серебряная серьга, а сапоги — бутылками. А дальше, уходя к далекому, бледному от жары небу, тянулись волнистые хлебные поля, охваченные синими изгибами леса. И не было таинственного похитителя, а был муж, Гриша, безобидное, деловое существо с мягкими рыжими усами, скучное и ласковое.

Вдруг Полкан вскочил, гавкнул, прислушиваясь к чему-то, понятному и значительному только для него, оглушительно залаял и бросился со всех ног под уклон аллеи, прямо к пруду. Елена вздрогнула, встрепенулась и встала. Полкана уже не было возле, только его неистовый, раздраженный лай удалялся все быстрее и быстрее, наполняя июльскую тишину громкими гневными звуками.

— Полкан! Сумасшедший!.. — закричала она, пускаясь по аллее бегом. — Полкан! Иси, сюда!

Но Полкан не слышал. По-видимому, теперь он остановился, привлеченный чьим-то присутствием, и бурно, свирепо лаял, забыв все на свете, кроме предмета своего гнева. И когда Елена выбежала к пруду, с тревожным любопытством оглядываясь вокруг, то увидела неизвестного ей, слегка растерявшегося человека, и в трех шагах от него бешено лающего Полкана, сразу потерявшего сонную флегму добродушного пожилого пса.

IX

На следующий после нападения день Петунников вышел к лесной опушке. Глубокая, жадно вздрогнувшая радость блеснула в его измученном, посеревшем лице навстречу пышной желтизне полей и голубому воздуху, раскаленному полуденным зноем.

Когда после долгого, суточного блуждания в дремучей глуши перед ним неожиданно и далеко сверкнули крошечные голубые прорехи опушки, последний трепет возбуждения встряхнул его истомленное, ослабевшее тело и лихорадочно-быстрыми шагами направил туда, где меж тонких, частых стволов пестрела цветами сочная, мшистая луговина. Он выбрался на простор, запы-

хавшись, с тяжелой от жажды и бессонницы головой, сел на пенек и осмотрелся.

Перед ним, заливая холмистое поле, струился в потоках света золотистый бархат ржаных волн, разбегаясь от знойной, воздушной ласки беглыми сизыми переливами, а сверху, из голубой опрокинутой глубины сыпалось невидимое, неугомонное серебро птичьих песен. Там, на огромной, недосигаемой высоте, опьяненные летом и солнцем, страстно звенели жаворонки, и казалось, что поет сам воздух, хрустальный и звонкий. На межах пестрела белая и розовая кашка, лиловый клевер, темная, лаковая зелень придорожника. Вправо и влево, распахнув огромные хвойные крылья, тянулся и синел лес, разрезая бледное от жары небо диким, прихотливым узором.

Усадьба и разные хозяйственные постройки, разбросанные под косогором в полуверсте от Петунникова, показались ему ненужными и неприятными в этой мирной, солнечной тишине. Вид человеческого жилья сразу настроил его тревожно и подозрительно. Времени прошло слишком достаточно для того, чтобы по крайней мере на сто верст в окружности стало известно о вчерашнем. И не будет ничего удивительного, если первый же встречный взглянет на него косо, пойдёт к другим, расскажет о своей встрече и таким образом сделает массу неприятностей, из которых самая важная и самая непоправимая — смерть.

Он сидел мокрый от пота, злобно кусая потрескавшиеся губы, и злобно смотрел вдаль, где, загораясь угол хорошенькой, небольшой усадьбы, кудрявилась и толпилась в желтизне полей темная зелень сада. Оттуда, как стан ленивых, беспечных врагов, смотрели красные железные крыши сараев, изгороди, окна и трубы. Все это пестрой, солидной кучкой лезло в глаза Петунникову, как бы противопоставляя свою оседлость его риску и заброшенности.

А он сидел, затягиваясь последней папироской, и соображал, что поблизости должно быть село или деревня, а значит, и дорога, на которую нужно выбраться. Голод мучил его, молодой, едкий голод, и от этого слегка тошнило. Ноги распухли и, как обваренные, горели в узких, тяжелых сапогах. Дрожали руки, тяжесть усталости давила на ослабевший мозг, путала

мысли, и мучительно, с тоскливым, напряженным остервенением во всем теле хотелось пить и пить без конца блаженно-сладкую, хрустальную, ледяную воду.

Там, в усадьбе, вода, конечно, есть, и ее много. Ее так много, что это кажется даже издевательством. Она там везде: в глубоком, сыром колодце, в больших пожарных чанах, в водовозных бочках. На кухне — в крашенных, пахучих ведрах, в самоваре, в умывальнике. В граненом, светлом графине где-нибудь на чистом белом столе. В желудках людей, живущих там.

Петуников скрипнул зубами и ожесточенно сплюнул. Еще бы там не было всего этого! Какое полное, прекрасное наслаждение войти сейчас в чистую, солидную комнату, сесть за чистый, аппетитно убранный стол, потянуться к холодному, запотевшему графину с прозрачной водой, сдерживая из всех сил тоскливое, слепое желание пить прямо из горлышка, безобразно и жадно, как загнанная, вспотевшая лошадь. Да! Но удержаться, налить в стакан медленно, очень медленно и осторожно поднести к губам. Сделать маленький глоток, судорожно смеясь и вздрагивая от нестерпимой утоляемой жажды.

Тогда остановится время. Наступит светлая тишина, и мысли исчезнут, только холодная струйка, булькающая мерными, жадными глотками, устремится по пищеводу, медленно исцеляя жгучее раздражение внутренних органов. Напившись и передохнув, хорошо налить в белую гляцевитую тарелку горячих щей с крапивой и крутыми яйцами, отрезать хлеба, пахучего, теплого, свежее испеченного, с поджаристой коркой. Взять мяса с жиром и хрящиками. Есть без конца, полно и восторженно наслаждаясь едой; потом лечь в чистую, мягкую кровать, скинуть болезненно раздражающую одежду, вытянуться и замереть в сладком, глубоком забытьи.

— Тьфу!..

Петуников встал и выругался. Конечно, там живут сытые, обеспеченные люди, мелкие паразиты, сосущие неустанно и жадно крестьянский мир. Но что ему за дело до них, обывателей, погрязших в беркширских, йоркширских и прочих свинных культурах, в картах и двуспальных кроватях, в навозе и огородах! Он, загнанный, но свободный, далек от зависти. Разве не от них, не от сереньких, сытых будней ушел он в свобод-

ную страну мятежного человеческого духа, ради ценности и красоты единой, раз полученной, не повторяемой жизни?

Мысль эта, рожденная тревожной минутой слабости голодного, разбитого тела, неумолимо заявляющего о своем праве на жизнь, скользнула перед глазами Петунникова холодно и скупно, как чужая, прочитанная в книге, без малейшего прилива душевной бодрости и нервного подъема. По-прежнему острые, мучительные желания неотступно обращали его глаза туда, где жили чужие и, уже в силу своего положения, враждебные ему люди. Отогнав усилием воли призраки распаленного воображения, он встал и нерешительно двинулся вперед.

Усадьба, как магнит, притягивала его. Иступленное желание пить во что бы ни стало быстро убило всякие опасения, и он, шагая все торопливее, уже думал о том, что в саду, быть может, никого нет, и при некоторой осторожности можно, оставаясь незамеченным, найти какую-нибудь лейку или садовую дождевую кадку.

Но чем ближе подходил он к усадьбе, зорко разглядывая дорогу, тем сильнее овладевало им усталое безразличие и равнодушие к каким угодно встречам. Возможно, что это был результат впечатления, произведенного тихой и безлюдной местностью, но нестерпимая жажда, распаляемая ожиданием близкого удовлетворения, быстро превратила недавнюю осмотрительность в холодное и злое упрямство. Уверенно, как человек, знающий, чего он хочет, Петунников пересек широкую пыльную дорогу, отделявшую от него сад, перепрыгнул канаву, нырнул в затрещавшие кусты и чуть не вскрикнул: прямо перед ним за изгибом аллеи блестел маленький тенистый прудок, густо укрытый орешником и высокими липами.

Перебежать аллею, спуститься по обрывистому выступу заросшего осокой берега к доскам, положенным на вбитые в дно пруда колья, упасть на колени и жадно, до самых ушей, погрузить лицо в теплую, глинистую воду было для Петунникова делом нескольких секунд. Две-три минуты он пил, не отрываясь, тяжело дыша, захлебываясь, фыркая и не сознавая ничего в мире, кроме своего мучительно наслаждающегося те-

ла и воды, пресной, теплой, гниловатой, восхитительной жидкости...

Он пил, судорожно сжимая руками влажные, скользкие края досок, а над его головой чирикали воробьи, расстилалась жаркая, отдаленно звенящая тишина; в уровень глаза на поверхности расходящейся тихими кругами воды колыхалась зеленая, остроконечная травка. И когда невдалеке где-то раздался неожиданный, злобный собачий лай, Петунников уже напился. Он встал, сообразил, что бежать от собаки, если она лает на него, бессмысленно, потому что внушит прочные подозрения, надел шляпу и приготовился.

Х

— Вы не бойтесь! — сказала Елена, смущаясь и оттаптываясь. — Он не кусается... Полкан! Негодяй! Назад!..

Водолаз гавкнул еще раз, два, и с неудовольствием, оглядываясь на незнакомца, побежал к хозяйке. Петунников снял шляпу, вежливо кланяясь и чувствуя, что смущение неожиданно появившейся женщины не заражает его, а, наоборот, лишает той легкой растерянности, которую он испытал в первый момент. Пристально рассматривая Елену, молодой человек шагнул вперед и сказал:

— Извините меня, сударыня!.. Я неожиданно... Мне страшно хотелось пить...

— Он не кусается, — сдержанно повторила она, быстро оправляясь и, в свою очередь, меряя незнакомца острым любопытным взглядом. — На чужих он только лает, если заметит...

Желание спросить, кто он и зачем здесь, было так явно написано на ее лице, что Петунников почувствовал неловкость затягивать далее объяснение. Привычка лгать в критических моментах не изменила ему, под сказав и в этот момент нужные, похожие на правду слова. Он заговорил без всякого видимого усилия, спокойно и просто:

— Еще раз простите, сударыня!.. Я заблудился и целые сутки шатался здесь, вот в этом лесу. Моя фамилия Годунов. Я старший телеграфист на станции Курбатово, и вот... Воды в лесу не мог найти... Почти с ног валился от жажды... Потом выбрался, наконец,

увидел эту... вашу — если не ошибаюсь? — усадьбу и пустился со всех ног. А когда подошел ближе, то увидел пруд... терпенья не хватило, набрался смелости и... чему обязан теперь встречей с вами, сударыня!

Пруд не был виден снаружи, но Елена не заметила лжи и продолжала стоять, сильно заинтересованная. Петунников показался ей, никогда не ходившей в лесу более часа, человеком, ускользнувшим чуть ли не от смертельной опасности.

— Почему же обязаны? — спросила она довольным голосом, подходя ближе и доверчиво улыбаясь. — Но это возмутительно: пить эту гниль... Вы бы зашли в дом, как же так... Нет, вы несчастный человек. Целые сутки! Даже подумать страшно... Но как же вы спали?..

— Да никак! — усмехнулся Петунников, начиная приходить в хорошее расположение духа. — Зажег костер, сидел, думал, курил и размышлял о том, что меня, наверное, хватились и ищут... Да... Было сыро, холодно; ели меня комары, кусали мошки, какие-то зеленые лесные клопы лезли в нос... Плохо!..

— Вот удивительно! — протянула Елена, смотря на него широко открытыми глазами. — Значит, вы не боялись? Ведь у нас тут и медведи есть...

— Медведь на человека первый никогда не нападет, — возразил гость, и вспомнил, что хорошо бы узнать, известно здесь что-нибудь или нет. Но сделал он это, из осторожности, намеком, небрежно добавив:

— Самый опасный враг человеку — человек. А здесь, кажется, тихо, хулиганов не водится... Да и откуда?..

Он подождал немного, но Елена молчала, и только детское любопытство светилось в ее больших темных глазах. Значит, нет!

— Я, — продолжал Петунников, окончательно входя в роль, — в свободное время немного ботанизирую, собираю растения... Вот и вчера — пошел отыскивать одну разновидность... увлекся, незаметно наступил вечер, а ушел я далеко. Служу я здесь тоже недавно, месяц и местности не знаю... Так вот и вышло все...

— А вы, может быть... голодны?.. — нерешительно спросила Елена, конфузясь и лохматя голову Полкана. — Так пойдемте... позавтракать... И чай... Меня зовут Елена Дмитриевна... Пойдемте!..

— Да что же...— замялся Петунников, вздрогнув от удовольствия и каких-то неопределенных сомнений.— Я не знаю... боюсь, что ваше семейство... быть может... Я не так уж голоден, конечно... но... все же давно не ел...

— Вот именно...— расхохоталась Елена. Этот загорелый мужчина в синей тужурке и охотничьих сапогах начинал ей нравиться.— Вот именно, вы давно не ели, и потому-то вам не нужно церемониться. А что касается семейства, то оно все перед вами... Я совсем одна, а муж в городе... Пойдемте, пожалуйста!..

Смущение ее совсем прошло, и держалась она теперь так же лениво и просто, как всегда. Петунников испытывал легкое возбуждение и острое любопытство к самому себе, неожиданно попавшему гостем к незнакомым, так кстати подвернувшимся людям. И когда Елена, еще раз взглянув на него ободряющими, внимательными глазами, пошла вперед, он послушно тронулся вслед, кусая нервно улыбающиеся губы и напряженно обдумывая, какую выгоду можно извлечь из настоящего положения.

— Вы, пожалуй, очень далеко забрались от станции,— сказала Елена, нарушая короткое молчание.— Как вы теперь думаете?

— Да что же... как-нибудь. Тут, вероятно, верст десять... Дойду пешком.

— Десять?! — засмеялась она.— Верст тридцать, лучше скажите!.. Впрочем, вы можете с ближайшей на поезде. А вот розы,— прибавила она, с достоинством указывая на пышные кусты, алеющие нежными, бархатными цветами и бледными бутонами.— Я сама за ними ухаживаю... Только их очень мало, к сожалению... А если бы засадить целый сад, вроде как долина Казанлыка... знаете?.. Еще мыло такое есть... Вот это наш дом... Вы очень устали?

— Да, порядочно,— ответил Петунников, насили передвигая ноги.— Не столько я, пожалуй, даже устал, сколько вообще ошеломлен...

Он с любопытством и подмигивающим напряжением осматривался вокруг, зорко отмечая на всякий случай все аллеи и дорожки, стараясь сообразить и запомнить расположение места.

— Чем ошеломлены? — спросила Елена, щурясь от солнца и беглых, порывистых мыслей. — Ах, да, конечно, Полкан вас изрядно напугал. Но вы посмотрите зато, какой у него теперь виноватый вид. Ага, плутишка!

Она обернулась и погрозила пальцем Полкану, замыкавшему шествие с самым беспечным и ленивым выражением морды.

— У вас, должно быть, село есть поблизости, — сказал Петунников, соображая, что нужно воспользоваться случаем и ориентироваться. — Это я к тому говорю, что придется мне нанять мужика.

— Да, конечно, село... Медянка, — подхватила Елена. — Тут, под горой, версты четыре. От него и лес свое название получил... А там, — она махнула рукой в сторону, противоположную той, откуда пришел Петунников, — там станция, восемь верст отсюда... Кажется, соседняя с вами — Бутовка.

— Бутовка... Да... — рассеянно сказал он, с изумлением представляя пространство, пройденное им за эти сутки. Судя по расположению леса, огромным, синющим полукругом стянувшего горизонт, пространство это равнялось по крайней мере верстам шестидесяти... — Да, да... Бутовка.

— Путешествие кончено! — заявила Елена, встряхивая головой. — Вот, пожалуйста!

Дом показался Петунникову красивым и приветливым. Большая затянутая серой парусиной терраса бросала короткую тень на яркий песок дорожки. Тут же стояли кадки с олеандрами и плющом, прихотливо взбегавшим под навес крыши дикими, висячими узорами. Немного подалее пестрели длинные деревянные ящики, полные земли и цветущих растений. Все это было знакомо, видно сотни раз и слегка жутко. Неожиданно встреченная обыденность вместо сложных и тяжелых переживаний, которых Петунников был вправе ожидать для себя на каждом шагу, производила на него оупляющее и тревожное впечатление, хотя все вокруг дышало знойным деревенским покоем летнего дня.

ХІ

С наслаждением уселся он в мягкое плетеное кресло, глубоко вздохнул, и, когда Елена, извиняясь за свой капот, куда-то ушла, почувствовал себя так покойно

и просто, как если бы всегда жил здесь, сытно и рано обедал, пил в саду чай с вареньем и сливками, а по вечерам, захватив удочки, отправлялся на ближайшую речку и приходил назад голодный, довольный и грязный.

От усталости ли овладело им такое настроение, было ли это результатом сознания временной, но, по-видимому, прочной безопасности, только Петунникову было хорошо, слегка грустно и с удовольствием думалось о близкой и, вероятно, вкусной еде. По стенам большой, веселой комнаты с прочной желтой мебелью и резным дубовым буфетом висели гравюры с изображениями пейзажей, маленькие жанровые картины, а на китайских полочках в зеленом и белом стекле бокалов томилась левкой и гвоздика. Солнце ударяло в большие, настезь растворенные окна с белыми занавесками и двигало на полу трепетные тени листья. Озабоченно стучал маятник круглых стенных часов, лениво жужжали мухи, бороздя черными точками прохладную воздушную пустоту.

И снова показалось Петунникову, что ничего не было... Нет ни поезда, ни погони, ни тюрьмы, ни виселицы. И даже думать об этом смешно и странно здесь, в тихом захолустье уездной жизни. Револьвер, оттягивающий карман брюк и натирающий кожу, кажется единственным во всем мире, заряженным по ошибке и случайно купленным, как ненужная вещь... Там, в городе, волнуются и ждут... А быть может, уже знают, и даже наверное знают, чем кончилось все и что предстоит в будущем... Там жгут и прячут разные документы, уезжают, спешно меняют квартиры, фамилии...

Но вот идет кошка, лениво облизываясь и выгибая спину: садится, жмурится и плотоядно смотрит, как прыгают по дорожке пыльные, взъерошенные воробьи. Вот где-то кричат гнусливо и сонно: должно быть, зевают при этом, чешут подмышки и бранятся... За окном в просветах листы желтеет далекая рожь, и сейчас придет молодая, красивая женщина; будут есть и говорить, что попало, охотно и просто.

Он закрыл глаза, напряг мысль, но не было города. Так, в отдалении, маячило что-то большое, расплывчатое и сложное. А была усадьба и сладкие деревенские будни, полные мирного солнца и вкусных, раздражающих мыслей о близкой еде.

Петунников криво усмехнулся. Жизнь эта жестока и бессмысленна, неприятна и равнодушна. Медленно ползет в ней привычная скука, без воли, без ожидания. Ровное, тепленькое существование, согретое и освещенное солнцем, но не раскаленное, не воспламененное им. Комнаты, обстановка, денежные расчеты, хозяйство, «Нива» и выкройки.

Задумавшись и обрывками мысли стараясь проскользнуть в темное ближайшее будущее, он не заметил, как вошла Елена, и вздрогнул при звуках ее голоса. В сером изящном платье, обнажавшем полные белые руки, она показала ему серьезнее и сосредоточеннее. Но настроение ее было, очевидно, то же: оживление и желание быть интересной сквозило в больших ясных глазах, полных блеска и удовольствия.

— Вот и подадут сейчас,— мягко улыбнулась она, присаживаясь к столу.— Потерпите немножко... Ну, как вам нравится наше место?

— Я в восторге,— сказал Петунников, садясь на другой стул и не зная, что делать со своими огромными пыльными сапогами.— Особенно, сад... Говорят, нынче редко можно встретить хороший сад у помещиков... Все заброшено, запущено... Впрочем, сразу видно, что вы любите цветы и художница в этом отношении...

— Ах! — засмеялась она, краснея от удовольствия. Телеграфист был, по-видимому, воспитанный человек, говорил свободно и непринужденно, что ей очень нравилось.— Тут что... Так себе... одни тюльпаны да розы... Да, нынче многие разорились, поужезжали... Все беспорядки, пожары... Наш уезд, впрочем, спокойный... Мужики здесь зажиточные, так что... спокойно.

Петунников промолчал, ограничившись короткой улыбкой. В тоне и голосе собеседницы, когда она говорила о мужиках, ему послышалось обычное легкомысленное и глухое непонимание творящегося вокруг.

— А так... скучно здесь,— продолжала Елена, кокетливо морща свой гладкий розовый лоб.— Так как-то все идет... через пень колоду... Сидишь и думаешь иной раз: скоро ли день кончится? Я ведь сегодня страшно обрадовалась, что вы мне попались,— расхоталась она, поправляя прическу и вспоминая натянутое, неловкое выражение лица Петунникова в первый момент встречи.— А попались, так я уж вас не выпущу

так скоро... Вот и напугала вас... Все-таки хоть новый человек... А то, право, иной раз так даже думаешь: хоть бы мужики погром устроили... Такие лентяи! Все же хоть спастись бы пришлось или хоть струсить порядком... Хоть бы ригу подожгли!..

Петунников сидел, слушал, и казалось ему, что журчит маленький, беззаботный ручеек. Журчит себе и журчит...

— Так что же! — встряхнулся он, стараясь побороть слабость и оцепенение. — Погром, если хотите, можно устроить, и даже скоро. Стоит вам захотеть.

Он сказал это без улыбки, с серьезным лицом, и Елена сперва рассмеялась, а потом вздохнула, думая уже о другом:

— Я не робкая. Устраивайте себе... А я возьму ружье и буду стрелять... У нас есть, у Гриши. Гриша — это мой муж, — сообщила она, прищуриваясь и закусывая нижнюю губу. — Что же это она возится там? Глафира!

XII

Вошла белобрысая, здоровая женщина в затрапезном ситцевом платье и стала медленно накрывать стол, искоса бросая на Петунникова тупо-любопытные взгляды. Он, в свою очередь, внимательно посмотрел на Елену. Но хозяйка занялась возней около буфета, доставая оттуда соусники, закуски и, по-видимому, совсем не заботясь о том, что и как подумает прислуга о незнакомом загорелом человеке. Это понравилось Петунникову. Видно было, что хозяйка ветреная, своевольная женщина, и в то же время что-то неуловимое сближало ее в глазах революционера с женщинами его круга. Это был, конечно, психологический обман, но простота ее движений и жестов, соединенная с непринужденностью обращения, казалась бы вполне естественной среди его товарищей.

За завтраком Петунников ел много и основательно, всячески следя за собой и удерживая челюсти от жадных, торопливых движений. Все казалось ему необычайно вкусным, даже манная каша на молоке, к которой он раньше всегда чувствовал большое предубеждение. Занятый насыщением, он говорил мало, изредка роняя «да» или «нет», а Елена ~~охотно~~ и с большим оживлением рассказывала о разных пустяках, — ~~сначала~~

нотно перескакивая с предмета на предмет. Иногда казалось ему, что она жалуется на что-то, но лишь только он начинал схватывать нить ее мысли, она вдруг, без всякой связи с предыдущим, принималась рассказывать о каком-нибудь Петре, который третьего дня напился и попал в кадку с водой. Лицо ее смеялось и менялось ежеминутно; казалось, что оно, как цветок, живет своей особенной, занимательной жизнью, далекой от соображений садовника, бросившего в землю серые семена.

Беспокойная мысль о том, что надо встать, идти, обеспечить себя от роковых, возможных случайностей, вспыхивала в голове Петунникова и тотчас пропадала куда-то, словно проваливалась, растопленная утомлением и ленивой тяжестью одурманенного тела. Уже не было тревожного, нервного желания двигаться, чтобы заглушить болезненную настороженность души, а хотелось сидеть и не вставать, с полным желудком и рыхлыми, сонливыми мыслями, сидеть, пока не стемнеет и не засветятся в душной, прозрачной тьме дали маленькие, кроткие огоньки.

Тогда раздеться, свалиться в постель и уснуть.

— Вот и покушали,— сказала Елена, когда гость доел последний кусок и налил в стакан воды.— Ну, как чувствуете себя теперь?

— Как птица Рок,— усмехнулся он, смотря на молодую женщину неподвижным, тяжелым взглядом.— Большое вам спасибо. Знаете, есть в сказке птица Рок, весьма прожорливая... Несет, например, на себе какого-нибудь царевича и все кушать просит. А тот уж все мясо ей скормил. Видит, что дело плохо, давай себя на куски резать да ей в рот совать... Так и доехал к своей царевне: лечился потом...

— Какая же вы птица Рок? — серьезно возразила Елена.— Ведь я же не царевич и вы не меня кушали... А потом птица впроголодь была, а вы наелись...

— Верно,— согласился он, с трудом удерживаясь от зевоты.— Да я так болтаю. Голова тяжелая, а мысли вялые.

— Это оттого, что вы не спали ночью,— озабоченно сказала Елена.— Вы бы отдохнули у нас... А все-таки расскажите, как это вы там ходили? Лешего не видели? Мужики уверяют, что есть лешие.

— Леших я не видел...— начал Петунников, стараясь поддержать разговор,— но...

Послышался легкий скрип, и он оглянулся.

Дверь тихо отворилась, пропуская вспотевшее, румяное лицо горничной. Глафира широко улыбнулась, сверкнув крупными зубами, хмыкнула и сказала:

— Барыня! Туточки к вам из города приехали. Купец али подрядчик какой, здесь ни разу не бывал, только сказывают, что по делу к Григорию Семенычу... Я,— продолжала она, мельком бросая на Петунникова быстрый, остро-любопытный взгляд,— сказала им, что барин в городе, а вы одни... А они, говорят, желают, когда так, вас видеть...

— Ах, господи... Ну, проси в гостиную...— сказала Елена, неохотно вставая и рассеянно улыбаясь Петунникову.— А как его фамилия?

— Да... как его... Вроде... Барк... каб... Баканов, что ли?... Я скажу им!

Дверь закрылась. Петунников встал и выпрямился, чувствуя, как сразу исчезает спокойное равнодушие, сменяясь обычной нервной приподнятостью и ожиданием. Видеть подрядчика ему не хотелось; не хотелось, чтобы и он видел его. А это почти невозможно; из города на несколько минут сюда никто не поедет.

Подрядчик... Господа эти любопытны и страшно разговорчивы. Кроме того, пустой, невинный рассказ о каком-то заблудившемся человеке может поднять на ноги всю окрестную полицию. Он сдержал вздох и быстро-быстро стал соображать, как уйти теперь так, чтобы это было просто и естественно...

— Вот тебе и раз!— протянула Елена.— Что же мне с ним делать?

Петунников напряженно молчал. Возможно, что подрядчик, как городской человек, знает все, что произошло на небольшом расстоянии отсюда, верстах в пятнадцати. Даже удивительно, как здесь еще ничего неизвестно; и это — счастье. Нет, надо уйти, и уйти немедленно.

Он внутренне встряхнулся, с удовольствием чувствуя, как вспыхнул и загорелся инстинкт самосохранения, обостряя нервы резкой, напряженной тревогой. Сильное беспокойство, вызванное не столько настоящим моментом, сколько внезапным толчком болезнен-

но-яркого воображения, сразу показавшего Петунникову всю важность положения, всколыхнуло кровь и звонким криком ударило в голову. Да, он уходит, пора... Хорошо, что сыт: есть силы к дальнейшему.

— Эти подрядчики у меня вот где сидят,— недовольно говорила Елена, обдергивая рукава и машинально взглядывая на дверь.— Шатаются сюда каждую неделю и все говорят, что по делу... Это они нашу рошу хотят купить... А приедут — сидят, сидят, чай пьют, а потом: «Много благодарны!» — фюить, и нет его... Им, видите ли, дорого кажется, привыкли за бесценок... Гриша только раздражается... А я бы на его месте за сто рублей продала, хоть от гостей бы избавилась... Пойдемте в гостиную...

— Елена Дмитриевна! — сказал Петунников, натянуто улыбаясь и с раздражением чувствуя, что внезапный уход его для хозяйки будет нелеп и необъясним.— Я, в сущности... ведь... уже собрался... идти... У вас, кстати, гость... А мне пора...

— Да что вы сочиняете? — удивилась Елена, подходя к нему.— Вот мило с вашей стороны! Как можно? Зачем!.. Нет, вы уж не торопитесь, пожалуйста!.. Сейчас чай будем пить, а потом... если вы уж так торопитесь... вам запягут плетушку... Как же можно так?

— Да нет... — с усилием возразил Петунников, проклиная предупредительность хозяйки, делавшую его отказ еще более странным.— Не могу, право... Мне давно пора... дежурство там... Я, кажется, сегодня дежурный... и... все такое...

— Да что вы так вдруг? — с недоумением спросила Елена, внимательно, готовая улыбнуться, рассматривая бледное, осунувшееся лицо гостя.— Разве пешком вы скорее дойдете? У нас очень хорошая лошадь, уверяю вас...

— Да нет же,— нервно усмехнулся Петунников, волнуясь и еще более запутываясь.— Тут ведь... близко. Я, впрочем... в селе... да... найму мужика... вот, именно, я так и сделаю...

Его сбивчивый, но возбужденный и решительный тон как-то невольно отстранял всякие возражения, и Елена почувствовала это. Рассерженная, жалея, что не умеет заставить принять свое предложение, она по-

жала плечами, принужденно улыбнулась и протянула тихим, нерешительным голосом:

— До села ведь тоже не близко... Но — как хотите... Не буду настаивать... Так вы сейчас уходите?

— Да,— глухо сказал он, надевая шляпу и уже вздрагивая от нетерпения уйти, не видя чужих, спокойных, ничего не знающих людей.— Сейчас... Ну, до свидания!.. Всего хорошего вам... Спасибо!..

— Помилуйте! — засмеялась Елена.— Вот вам, действительно, я очень благодарна... Мне было так скучно... Очень, очень жалею...

Она протянула руку, и Петунников сдержанно пожал ее. Глаза их на мгновение встретились и остановились.

Один был недоумевающий, озабоченный взгляд женщины, от которой уходили порывисто и странно, совсем не так, как это делают все. В другом светились глубокое утомление, затаенная тревога и ровная, холодная тоска.

Уйдет он, и ничего не изменится... То, что для него, благодаря счастливой случайности, явилось сегодня запасом сил наблевшему, голодному телу, останется в памяти этого маленького, взбалмошного существа легким и забавным воспоминанием о каком-то телеграфисте, которому от невыносимой скуки дали поесть. Он развлек ее — и довольно. Сегодняшний день спасен. Есть тема для разговоров с Гришей и умиление перед собственной добротой... А завтра можно ожидать еще чего-нибудь: пьяной драки, сплетен, богомолки из свя-тых мест...

Все, что было сделано и подготовлено там, в городе, с неимоверной затратой сил, здоровья и самоотвержения, с бешеным упорством людей, решившихся умереть, опасность, страх смерти, сутки звериного шатания в лесу, — все это пережилось и выстрадалось для того, чтобы у пустынькой уездной помещицы стало меньше одним скучным, надоевшим днём...

Петунников выпустил руку Елены, и внутри его дрогнул холодный, жестокий смех. Всего несколько слов — и сразу исчезнет мнимая беззаботность этого птичьего гнезда... Несколько слов — и все хлынет сюда, в мирную тишину сытенькой двухспальной жизни: испуг, бешенство, злоба, бессонница и неуловимое, гроз-

ное дыхание смерти, следящей за ним, Петунниковым, как тень его собственного тела, неотступно и тихо...

Был момент, когда показалось ему, что он этого не сделает. Но тут же, задыхаясь и вздрагивая от злобной тоски и радостного предчувствия неожиданного удара беззаботному, глупенькому существу, олицетворившему в этот момент все многообразие тихой, предательски-тупой и бесконечно враждебной ему, Петунникову, жизни, он быстро шагнул к Елене и, уже не сдерживая мучительно сладкого желания отдаться во власть хлынувшего порыва, сказал высоким, глухим голосом:

— А ведь я не телеграфист... Я обманул вас, вот что... Я не телеграфист, а революционер... Я вчера вместе с другими... хотел ограбить поезд... И спасся. Поэтому ухожу... Да... Тороплюсь!

— Как,— растерялась Елена, пораженная не столько этими, дико-невероятными словами, сколько порывистым, напряженным волнением его взгляда и голоса.— Вы?... Как?!

— Да...— повторил Петунников, страшно возбуждаясь и чувствуя, как его бурный, сдавленный трепет заражает Елену,— в обморок, однако, не падайте... Я уйду и... более вас не побеспокою...

Елена с испуганным непониманием смотрела на него окаменевшими, расширенными глазами, и вдруг сильно побледневшее лицо Петунникова таинственной силой искренности сразу сказало ей, что его слова — правда.

В первый момент все ее существо всколыхнулось и замерло в тупой, бессильной растерянности. Потом, быстро возбуждаясь и бледнея, как он сам, Елена отступила назад, пытаясь улыбнуться и сказать что-то, но мысли с нелепой быстротой роились и падали, не останавливаясь и не оставляя в голове нужных, уместных слов. Это был не страх, а мгновенная удивительная перемена во всем окружающем, ставшем вдруг замкнутым и чужим, и казалось, что сам воздух молчит вокруг них, а не они, два сиова и внезапно столкнувшихся человека.

— Вы шутите! — с трудом произнесла Елена, жалко улыбаясь и часто, глубоко дыша.— Я вам не поверю... слышите?!

— Нет,— также теряясь, сказал Петунников, не

зная, что сказать дальше, и испытывая тоскливое мучительное желание уйти.— Да... Извините. Впрочем... не бойтесь... Я... до свидания!..

И тут, испуганно радуясь тому, что нашла и выяснила себе, как ей казалось, самое важное и страшное, Елена перевела дыхание, раскрыла еще шире темные, затуманенные волнением глаза и тихо, почти торжественно сказала то, что хлестнуло ее в мозг порывистой, содрогнувшейся жалостью к чужой, гонимой и непонятной жизни.

— Если правда... если правда... то как же вы? Вас поймают... и вот... казнят!

— А вам что? — грубо и неожиданно для самого себя, наслаждаясь этой грубостью, сказал Петунников, с нервной улыбкой отступая к дверям.— Не вас же повесят, я думаю! И вообще... чего вы волнуетесь?..

Сказав это, он почувствовал темную, тихую жалость к себе и выпрямился, бешеным усилием воли растаптывая нудную, тоскливую боль заброшенности и утомления. Говорить было уже нечего, и он понимал это, но продолжал стоять, как будто молчание, а не слова, могло разорвать внезапную тяжесть, ступившую твердой, жесткой ногой в напряженную тишину. И когда Петунников, механически направляясь к выходу, сказал коротко и тихо «прощайте!» — оглянулся на бледное лицо маленькой встревоженной женщины и вдруг решительно и быстро пошел вперед,—ему показалось, что не он, а кто-то другой сказал это последнее слово... Кто-то, ждавший ответа, простого и ясного, на мучительный приступ слабости, злобы и тоски...

Он шел почти бегом, не оглядываясь, все быстрее и быстрее, с тяжелым, больным озлоблением на всех и на себя самого, затравленного, беззащитного человека. Голубой полдень ткал вокруг жаркие сетки теней, провожая его с невысокой террасы неотступным, пристальным взглядом женщины.

— Погодите! — слабо закричала она, пытаясь что-то сообразить.— Постойте!..

Голос ее прозвучал высоким, неуверенным выкриком и стих, перехваченный солнечной тишиной. Торопливо и остро, как немой взволнованный человек, бесильный заговорить и порывистодвигающий всем телом, стучало сердце, зажигая тоскливое, темное раз-

дражение. Было томительное желание зачем-то нагнать, остановить этого, ставшего вдруг таинственным, жутким, кого-то обидевшим и кем-то обиженным человеком, тщательно рассмотреть его загорелое, обыкновенное лицо, казавшееся теперь хитрой, безжизненной маской, под которой скрыт особенный, редкий, пугающе-любопытный мир. Она даже задрожала вся от жгучего нетерпения и острого, мучительного беспокойства. Не было телеграфиста, а был и ушел кто-то невиданный, как дикий, тропический зверь, унося с собой свою тщательно огороженную, неизвестную жизнь, о которой вдруг неудержимо и страстно захотелось узнать все.

Смутные, бесформенные мысли громоздились одна на другую, сталкивались и бесследно таяли. Он был здесь, сидел, ел — и притворялся. Смотрел на нее — и притворялся. Говорил любезности — и притворялся. Все было в нем ложь: каждый шаг и жест, взгляд и дыхание. И думал он свое, особенное, был и здесь и не здесь, он и не он... Нет! был он, уставший от долгого шатанья в безлюдном лесу, неловкий и жадный, измученный и шуточный. И вдруг не стало его, а ушел кто-то другой, вспугнутый неожиданной, понятной только ему тревогой, странный и злой.

Елена растерянно смотрела в пустую зеленую глубину аллеи. Было жарко и тихо, но в этой тишине остались глухие, безыменные желания, и глубокое волнение женщины, заглянувшей испуганными большими глазами в огромную сложность жизни, недоступной и скрытой. И было, вместе с бессилием мысли, с грустным, тоскливым напряжением взволнованных нервов, неясное, молчаливое ожидание, словно кто-то обидел ее, как ребенка, грубо и беспричинно, не досказав яркую, страшную сказку...

Елена медленно повернулась и пошла назад в комнату, забыв о подрядчике и обо всем, усиливаясь вспомнить и уловить что-то, мгновенно показавшееся виданным вот теперь и еще когда-то раньше, давно... И вдруг тупое напряжение мысли разом исчезло: она вспомнила и облегченно вздохнула. Это было то, что так странно показалось ей перенесенным из минувшего в сегодняшней день.

...Уездный город, темная, душная улица... Отдаленная музыка, брошенная случайным ветром в теплую

воздушность летнего вечера... Да, сегодня нет музыки, и это было тогда. А тогда мгновенная грусть вспыхнула и угасла в сонной тишине мрака, зажигая желание пойти на бульвар, откуда долетел обрывок мелодии, сесть и прослушать до конца...

Петунников выбрался к лесу той же самой прямой, цветущей межой, перевел взволнованно дыхание и остановился.

Несколько минут он стоял и смотрел вниз в странном оцепенении, желая идти и не двигаясь, вспоминая и раздражаясь...

И казалось ему, что там, за далекими, такими маленькими отсюда, деревьями сада, у тихого пруда и в аллее, где солнце обжигает розовые кусты, и в комнате, где живет милая, беззаботная женщина, осталась живая боль его собственного, тоскливо загоревшегося желания спокойной, ласкающей жизни, без нервной издерганности и беспокойства, без вечного колебания между страхом тяжелой, циничной смерти и полузадушенным голосом молодого тела, властно требующего всего, что дает и протягивает человеку жизнь...

Петунников встrepенулcя, стиснул зубы и, повернувшись спиной к бархату хлебных полей, резко поймал свою мысль. Но даже наедине с самим собой, даже про себя он назвал ее только развинченностью и слабостью. Это бывает со всяким, а значит, и с ним. Особенно после сильного нервного потрясения.

А он — он прошел шестьдесят верст...

ОКНО В ЛЕСУ

I

Заблудившийся человек, охотник, встал на пригорок и тревожно осмотрелся вокруг. Повсюду, до самого леса, низко черневшего на горизонте, тянулась незнакомая, зловещая равнина, поросшая желтовато-белым, угрюмым мохом и редким осинником. Осенний ветер неистово гнул тоненькие деревца, с унылым свистом прорезая их судорожно трепещущую листву. Беспре-
станно, нагибаясь почти до самой земли, кланялись

они темнеющему, обложенному тучами небу, и холодный дух воздуха шумно рвался над ними к багровому, стынущему закату.

Мартышки носились над головой охотника с отчаянным, безумно-пронзительным воплем убиваемого существа. Обитатели маленьких болот, рассеянных по равнине, спрятались в камышах, зайцы исчезли, тяжеловесные вороны, обессиленные вихрем, спустились на землю. Свистящий плач ветра соединял небо с землей; все металось и гнулось; почерневшие облака бурно текли вдаль, причудливо изменяя очертания, клубясь, как дым невидимого пожара, разрываясь и сплющиваясь.

Охотник стоял, удерживая рукой шляпу. Сырой, резкий ветер стягивал кожу на покрасневшем лице; озябшие ноги нетерпеливо ежились; тоскливая пустота земли, поражаемой вихрем, сжимала сердце беспредметной боязнью. Члены, оцепеневшие от усталости, требовали покоя. Незаметно окрепший голод, из легкого, почти бессознательного желания есть превратился в жадный, беззвучный крик тела. Неизвестность местонахождения путала мысли, близость ночи пугала, сознание обесиливало, сменяясь инстинктивной потребностью идти, чтобы идти, в слепой надежде выбраться к знакомым местам, успокоиться и ориентироваться.

Охотник тронулся, придерживаясь прежде взятого направления. Он шел к лесу поспешными, большими шагами. Тысячи голосов сопровождали его; казалось, тысячи проклятых существ, превращенных в болотную поросль, плачут вокруг тонкими, пронзительными рыданиями, кричат и молят, задыхаясь от бессильного ужаса. Мартышки, чертя мгlistый воздух истерическими зигзагами, кидались то вправо, то влево, и расстроенное воображение человека превращало их в таинственных птиц, наделенных скрытыми силами. Как духи отчаяния, без усталости бросали они свой безобразный, отвратительно резкий крик, и лесной страх полз из темнеющего, взбаламученного пространства.

Охотник остановился, дрожа от холода. Черные углы туч заваливали меркнувший очаг запада; солнце спешило скрыться, чтобы не видеть земли, омраченной безумием. На бледной, чистой от облаков полосе неба металась разъяренные ветви, в ушах гудело, сырость ломила мускулы. Человек напряг легкие и крикнул; го-

лос его жалобно утонул в хаосе звуков, несущихся над землей. Он побрел снова, ощупью, с широко раскрытыми глазами, спотыкаясь о пни.

Медленное, неудержимое отчаяние захватывало душу охотника. Все ожило, все приняло грандиозные, пугающие размеры. Равнина казалась бесконечной; границы ее терялись в воображении; земля становилась местом невыразимой печали, заброшенности и проклятия. Взрослый превращался в ребенка; лицом к лицу с ночью, сбившийся и голодный, бессильный и беззащитный, он воскрешал древние предания, мысленно вызывая мохнатые образы лесных духов, судорожно улыбался в темноте, силясь сбросить овладевшие им представления, и шел, прислушиваясь с болезненным напряжением к малейшему треску сучка, вздрогнувшего под ногой.

Ночь свирепствовала подобно душе преступника. Охотник тяжело дышал; мысли его терялись в пространстве; одиночество обостряло чувства; ноги не замечали земли; живые невидимые ветви хватали за одежду, молча били в лицо и бешено выли за спиной, охваченной страхом. Охотник более не останавливался. Ускоряя шаг, он инстинктивно стремился к лесу, чтобы в его густой влажной сердцевине укрыться от разрушительного торжества бури.

Первый, шершавый ствол дерева, которого он коснулся в темноте вытянутой рукой, показался ему живым существом, другом, вышедшим навстречу измученному товарищу. С чувством тоскливого успокоения замечал он, пробираясь дальше, как затихает вой ветра, превращаясь в шумное движение хвойных вершин. Стонущий рокот, подобно невидимому водопаду, струился над его головой; медленно скрипели стволы, их дикий оркестр щемил сердце; полусгнившая хвоя мягко скользила под ногами, и черная сырость воздуха, пропитанного запахом леса, напрягала невидящие глаза, бросая в них искры, рожденные оцепеневшим мозгом.

И вот, в совершенной темноте, как маленький уголек, тлеющий на темной материи, вспыхнул свет. Человек не поверил свету; он протер кулаком глаза и пошел дальше. Красный уголек скрылся, заслоненный деревьями, мелькнул снова, погас и вновь одиноким, криком взглядом блеснул во тьме.

Тогда неудержимая радость овладела охотником. Тело его как будто переродилось, потеряло вес и усталость; бессознательная, блаженная улыбка растопила лицо; желание опередило тихий человеческий шаг и, сорвавшись, как обозленная лошадь, было уже там, где чувствовалось людское жилье.

С обостренной силой заворочался голод, и человек не сдерживал его, а возбуждал и радовался, предчувствуя близкое удовлетворение. Десятки виденных раньше, ночных, полных заманчивого уюта, окон всплыли в его воображении. Но этот свет — не был ли он просто костром?

II

Приблизившись, сжигаемый любопытством и нетерпением, охотник различил черный переплет рамы на фоне красноватых от огня стекол. Это было окно, это был дом, произведение человеческих рук, успокоение и находка.

В туманной глубине света, наполнявшего внутренность помещения, двигались неясные силуэты, желтые профили, беззвучно шевелящиеся губы и руки. Тени, мгновенно вырастая, перебежали с потолка на стены и гасли. Жизнь ночного окна, призрачная, странная, неизвестная смотрящему из темноты человеку, сосредоточивалась в неуклюжем, ясном четырехугольнике.

И, по свойственной человеку привычке подходить к своему ближнему с осторожностью большей, чем у диких зверей — друг к другу, — охотник медленными, крадущимися шагами пошел вперед, стараясь рассмотреть обитателей. Соблазнительные картины отдыха и горячих кушаний в кругу мирной, трудолюбивой семьи толкали его быстрее, чем хотел он, охотник, привыкший к осторожности и терпению. Мертвый сон под надежным кровом, под стоголосый шум ветра, бушующего извне, приветливые улыбки гостеприимных хозяев — разве не вправе был он ожидать этого?

С нервно бьющимся сердцем охотник прильнул к стеклу. Глаза его, утомленные мраком, не сразу различали предметы, но скоро, сосредоточив внимание, он рассмотрел всю обстановку и людей, живших за потным стеклом. По-видимому, он наткнулся на хижину лесника. В стене, противоположной окну, была дверь;

над нею висели ружья, веревочная сетка для ловли перепелов, дробовница, рог с порохом и пожелтевшие удилища. Вправо от двери, у маленькой, плохо выбеленной печи, висел красный полог кровати. На полках громоздилась глиняная посуда, разные предметы хозяйства; стены, увешанные картинками сказочного и божественного содержания, были черны от копоти. Налево от окна, в углу виднелся широкий, накрытый синей скатертью, стол, а на нем горела дешевая жестяная лампа.

Людей было трое. Они, по-видимому, уже поужинали, потому что на деревянной скамье лежала недоеденная краюха хлеба и желтел горшок, обложенный разбросанными в беспорядке ложками. У печи на низеньком табурете сидела маленькая, сгорбленная старуха; руки ее быстро перебирали вязальными спицами, а за столом, погруженные в какое-то, на первый взгляд, непонятное занятие, помещались — мальчик лет 11-ти и пожилой, коренастый мужик. Мальчик сидел, облокотившись на руку; его задумчивое, не по-крестьянски нежное лицо светилось веселой улыбкой. Иногда он встряхивал темными, подстриженными в кружок волосами и беззвучно для охотника хохотал, показывая ряд белых зубов. Мужик с расстегнутым воротом грязной, цветной рубахи, с обветренным, угрюмо-добродушным лицом и спутанной окладистой бородой, старательно выпячивал губы, моргал и весь был поглощен делом. Он неторопливо ловил что-то, бегающее по столу, задерживал на мгновение в своей широкой, заскорузлой ладони и отпускал.

Охотник посмотрел пристальнее и вздрогнул от отращения. По столу, трепыхая перебитым дробью крылом, бегал в судороге нестерпимого ужаса маленький болотный кулик. Его тоненький клюв непрерывно открывался и закрывался; черные, блестящие глазки выкатывались из орбит, перья, смоченные засохшей кровью, топорщились, как разорванная одежда. Быстро семеня длинными коричневыми ногами, пробегал он до края стола; мужик ловил его, сдавливал пальцами окровавленную головку и, методически, аккуратно целясь, протыкал птице череп толстой иглой. Кулик замирал; игла медленно, уродуя мозг, выходила наружу, и птица, отпущенная лесником, стремительно неслась прочь, бес-

сильная крикнуть, ошеломленная болью и предсмертной тоской, пока те же пальцы не схватывали ее вновь, протыкая в свежем месте маленькую, беззащитную голову.

Охотник перестал дышать. Лесник повернулся, его прищуренные глаза уперлись в то место окна, откуда из темноты ночи следил за ним неподвижный, усталый взгляд. Лесник не видел охотника; отвернувшись, он продолжал забаву. Куличок двигался все тише и тише, он часто падал, трепыхаясь всем телом; вскакивал, пытаясь взлететь, и, совершенно обезумев, стукался о стекло лампы.

Лес глухо гудел; сырой холод тьмы ронял капли дождя. Тоскливая, неизмеримая ярость подняла руку заблудившегося человека. Охваченный внезапным, жарким туманом, он вскинул ружье, прицелился, и оба ствола, грянув перекатистым эхом, разбили стекла.

Крик раненого и грохот падающей скамьи был ему ответом. Лес ожил; тысячи голосов разнеслись в нем, и внутренность дома, сразу соединенная с охотником острым узором раздробленного стекла, стала действительностью. Стоило протянуть руку, чтобы коснуться стола и всклокоченной головы, рухнувшей на смятую скатерть. Мальчик трясся от ужаса и что-то кричал: он был вне себя.

Охотник быстро уходил прочь, шатаясь, как пьяный. Стволы толкали его, бесстрастный глухой лес поглощал одинокого человека, а он все шел, дальше и дальше навстречу голодной, бессонной, полной зверями тьме.

ПРОИСШЕСТВИЕ В УЛИЦЕ ПСА

Похож на меня, и одного роста; а кажется выше на поголовы — мерзавец!

Из старинной комедии

I

Случилось, что Александр Гольц вышел из балагана и пришел к месту свидания ровно на полчаса раньше назначенного. В ожидании предмета своей любви он провожал глазами каждую юбку, семенившую поперек

улицы, и нетерпеливо колотил тросточкой о деревянную тумбу. Ждал он тоскливо и страстно, с темной уверенностью в конце. А иногда, улыбаясь прошлому, думал, что, может быть, все обойдется как нельзя лучше.

Наступил вечер; узенькая, как щель, улица Пса туманилась золотой пылью, из грязных окон струился кухонный чад, разнося в воздухе запах пригорелого кушанья и сырого белья. По мостовой бродили зеленщики и тряпичники, заявляя о себе хриплыми криками. Из дверей пивной то и дело вываливались медлительные в движениях люди; выйдя, они сперва искали точку опоры, потом вздыхали, нахлобучивали шляпу как можно ниже к переносице и шли, то с мрачным, то с блаженным выражением лиц, преувеличенно твердыми шагами.

— Здравствуй!

Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Она стояла перед ним в небрежной позе, точно остановилась мимоходом, на секунду, и тотчас уйдет. Ее смуглое, подвижное лицо с печальным взглядом и капризным изгибом бровей, избегало глаз Гольца; она рассматривала прохожих.

— Милая! — напряженно-ласковым голосом сказал Гольц и остановился.

Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пестрый галстук, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок. Он еще надеется на что-то; посмотрим.

— Я... — Гольц прошептал что-то и начал жевать губами. Потом сунул руку в карман, вытащил обрывок афиши и бросил. — Позволь мне... — Здесь его рука потрогала поля шляпы. — Итак, между нами все кончено?

— Все кончено, — как эхо, отозвалась женщина. — И зачем вы еще хотели видеть меня?

— Больше... ни за чем, — с усилием сказал Гольц. Голова его кружилась от горя. Он сделал шаг вперед, неожиданно для себя взял тонкую, презрительно-послушную руку и тотчас ее выпустил.

— Прощайте, — выдавил он тяжелое, как гора, слово. — Вы скоро уезжаете?

Теперь кто-то другой говорил за него, а он слушал, парализованный мучительным кошмаром.

— Завтра.

— У меня остался ваш зонтик.

— Я купила себе другой. Прощайте.

Она медленно кивнула ему и пошла. Тумба оказалась крепче тросточки Гольца; хрупкое роговое изделие сломалось в куски. Он пристально смотрел в затылок ушедшей девушке, но она ни разу не обернулась. Потом фигуру ее заслонил угольщик с огромной корзиной. Кусочек шляпы, мелькнувшей из-за угла,— это все.

II

Александр Гольц открыл двери ближайшего ресторана. Здесь было шумно илюдно; косые лучи солнца блестели в густом войске бутылок дразнящими переливами. Гольц сел к пустому столу и крикнул:

— Гарсон!

Безлично-почтительный человек в грязной манишке подбежал к Гольцу и смахнул пыль со столика. Гольц сказал:

— Бутылку водки.

Когда ему подали требуемое, он налил стаканчик, отпил и плюнул. Глаза его метали гневные искры, ноздри бешено раздувались.

— Гарсон! — заорал Гольц, — я требовал не воды, черт возьми! Возьмите эту жидкость, которой много в любой водосточной кадке, и дайте мне водки! Живо!

Все, даже самые флегматичные, повскакали с мест и кольцом окружили Гольца. Оторопевший слуга клялся, что в бутылке была самая настоящая водка. Среди общего смятения, когда каждый из посетителей отпивал немного воды, чтобы убедиться в правоте Гольца, принесли новую запечатанную бутылку. Хозяин трактира, с обиженным и надутым лицом человека, непроизвольно очутившегося в скверном, деусмысленном положении, вытащил пробку сам. Руки его бережно, трясаясь от волнения, налили в стакан жидкость. Из гордости он не хотел пробовать, но вдруг, охваченный сомнением, отпил глоток и плюнул: в стакане была вода.

Гольц развеселился и, тихо посмеиваясь, продолжал требовать водки. Поднялся неимоверный шум. Восковое от страха лицо хозяина поворачивалось из стороны в сторону, как бы прося защиты. Одни кричали, что ресторатор — жулик и что следует пригласить полицию; другие с ожесточением утверждали, что мошенник именно Гольц. Некоторые набожно вспоминали черта; ма-

ленькие мозги их, запуганные всей жизнью, отказывались дать объяснение, не связанное с преисподней.

Задышавшись от жары и волнения, хозяин сказал:

— Простите... честное слово, ума не приложу! Не знаю, ничего не знаю; оставьте меня в покое! Пресвятая мать божия! Двадцать лет торговал, двадцать лет!..

Гольц встал и ударил толстяка по плечу.

— Любезный,— заявил он, надевая шляпу,— я не в претензии. У вас бутылки, должно быть, из тюля,— немудрено, что спирт выдыхается. Прощайте!

И он вышел, не оборачиваясь, но зная, что за ним двигаются изумленные, раскрытые рты.

III

Историк (со слов которого записал я все выше- и нижеизложенное) с момента выхода Гольца на улицу сильно противоречит показаниям мясника. Мясник утверждал, что странный молодой человек направился в хлебопекарню и спросил фунт сухарей. Историк, имени которого я не назову по его просьбе, но лицо, во всяком случае, более почтенное, чем какой-то мясник, божится, что он стал торговать яйца у старухи на углу улицы Пса и переулка Слепых. Противоречие это, однако, не вносит существенного изменения в смысл происшедшего, и потому я останавливаюсь на хлебопекарне.

Открывая ее дверь, Гольц оглянулся и увидел толпу. Люди самых разнообразных профессий, старики, дети и женщины толкались за его спиной, сдержанно жестикулируя и указывая друг другу пальцем на странного человека, оскандалившего трактирщика. Истерическое любопытство, разбавленное темным испугом непонимания, тянуло их по пятам, как стаю собак. Гольц сморщился и пожал плечами, но тотчас расхохотался. Пусть ломают головы — это его последняя, причудливая забава.

И, подойдя к прилавку, потребовал фунт сахарных сухарей. Булочная наполнилась покупателями. Все, кому нужно и кому не нужно, спрашивали того, другого, жадно заглядывая в каменное, строгое лицо Гольца. Он как будто не замечал их.

Среди всеобщего напряжения раздался голос приказчицы:

— Сударь, да что же это?

Чашка весов, полная сухарями до коромысла, не перевешивала фунтовой гири. Девушка протянула руку и с силой потянула вниз цепочку весов, — как припечатанная, не шевельнувшись, стояла другая чашка.

Гольц рассмеялся и покачал головой, но смех его бросил последнюю каплю в чашу страха, овладевшего свидетелями. Толкаясь и вскрикивая, бросились они прочь. Мальчишки, стиснутые в дверях, кричали, как зарезанные. Растерянная, багровая от испуга, стояла девушка-продащица.

Опять Гольц вышел, хлопнув дверьми так, что зазвенели стекла. Ему хотелось сломать что-нибудь, раздавить, ударить первого встречного. Пошатываясь, с бледным, воспаленным лицом, с шляпой, сдвинутой на ухо, он производил впечатление помешанного. Для старухи было бы лучше не попадаться ему на глаза. Он взял у нее с лотка яйцо, разбил его и вытащил из скорлупы золотую монету. «Ай!» — вскричала остолбеневшая женщина, и крик ее был подхвачен единодушным — «Ах!» — толпы, запрудившей улицу.

Гольц тотчас же отошел, шаря в кармане. Что он искал там?

Публика, окружившая старуху, вопила, захлебываясь кто смехом, кто бессмысленными ругательствами. Это было редкое зрелище. Дряхлые, жадные руки с безумной торопливостью били яйцо за яйцом; содержимое их текло на мостовую и свертывалось в пыли скользкими пятнами. Но не было больше ни в одном яйце золота, и плаксиво шамкал беззубый рот, изрыгая старческие проклятия; кругом же, хватаясь за животы, стонали от смеха люди.

Подойдя к площади, Гольц вынул из кармана ни больше, ни меньше, как пистолет, и преспокойно поднес дуло к виску. Светлое перо шляпки, скрывшейся за углом, преследовало его. Он нажал спуск, гулкий звук выстрела оттолкнул вечернюю тишину, и на землю упал труп, теплый и вздрагивающий.

От живого держались на почтительном расстоянии, к мертвому бежали, сломя голову. Так это человек просто? Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась. Из-за юбки? Тьфу! Человек, встревоживший целую улицу,

человек, бросивший одних в наивный восторг, других — в яростное негодование, напугавший детей и женщин, вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит, — этот человек умер из-за одной юбки?! Ха-ха! Чему же еще удивляться?!

Надгробные речи над трупом Гольца были произнесены тут же, на улице, ресторатором и старухой. Последняя, радостно взвизгивая, кричала:

— Шарлатан!

Ресторатор же злобно и сладко бросил:

— Так!

Обыватели расходились под ручку с женами и любовницами. Редкий из них не любил в этот момент свою подругу и не стискивал крепче ее руки. У них было то, чего не было у умершего, — своя талия. В глазах их он был бессилен и жалок — черт ли в том, что он наделен какими-то особыми качествами; ведь он был же несчастен все-таки, — как это приятно, как это приятно, как это невыразимо приятно!

Не сомневайтесь — все были рады. И, подобно тому, как в деревянном строении затаптывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль: «А может быть... может быть — ему было нужно что-нибудь еще?»

ОСТРОВ РЕНО

Внимай только тому голосу, который говорит без звука.

(Древнеиндусское писание)

I

ОДНОГО НЕТ

Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымила в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей растопленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения.

Лучей становилось все меньше, они гасли, касаясь воды, по мере того, как полудиск превращался в узкий, красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились в черной, как тихая смола, воде рейда, и Южный Крест рассыпался на небесном бархате крупными, светлыми брильянтами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилием и погас.

Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние; черная громада берега казалась совсем близкой; клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега прямой духотой и сыростью береговой чащи; там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных, хитрых врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря.

Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук в двести, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных три часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.

— В самом деле,— пробормотал лейтенант,— парни не торопятся.

Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой, черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:

— Наши не возвращаются.

— Да; и вам следовало бы знать об этом больше,

чем мне,— сухо сказал офицер.— Четыре часа; как вам это нравится, господин боцман?

Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:

— Так что же?

— Приедут,— сказал боцман,— ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин.

— Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть.

— Пять человек, господин лейтенант?

— Хотя бы и пять. Не забывайте также, что здесь есть звери.

— Пять ружей,— пробормотал боцман,— это шутки для зверей... плохие шутки... да...

Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да... в самом деле... возможно... может быть...»

Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство; клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.

— Что вы там слышите? — спросил офицер.— Лучше позаботились бы вперед отпустить не шатунов, а служака. Что?

— Весла,— кратко ответил боцман, сдвигая брови.— Вот послушайте,— добавил он, помолчав.— Это ворочает Буль. А вот хлопает негодяй Рантэй. Он никогда не научится грести, господин лейтенант, будьте спокойны.

Лейтенант прислушался, но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.

— Едут! — процедил он, сочно выплевывая табак.— Рантэй, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В том-то и весь секрет... А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной... Да...

— Старина,— перебил лейтенант,— неужели вы слышите что-нибудь?

— Я? — Боцман неторопливо вздохнул и хитро

улыбнулся.— Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милую, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно, так, господин лейтенант, хоть будь полный штиль.

— Да,— сказал лейтенант,— теперь и я, пожалуй, начинаю различать что-то.

Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрип уключин; шлюпка вошла в полумрак корабельного света; лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:

— Канальи!..

Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим подымались наверх матросы и выстроились на шканцах, лицом к морю.

Лейтенант стал считать:

— Один, два, три... и... Пойдите, Матью, сколько их было?

— Было-то их пять, господин лейтенант. Вот задача!

— Ну,— нетерпеливо спросил офицер,— где же пятый?

— Пятый? — сказал крайний матрос.— Пятый был Тарт.

И, помолчав, нерешительно объяснил:

— Он пропал... Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет.

Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не находя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:

— То есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантэй говорит: — «Надо ехать». А я говорю: — «Пойдите, как же так? У Тарта нет шлюпки... Да,— говорю я,— шлюпки у него нет...»

Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышлял, шевеля сморщенными губами.

— Пойдите,— сказал лейтенант унылым голосом,— как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром, и Тарт валяется где-нибудь под деревом?

Матрос заволновался от желания передать подробно-

сти и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантэй не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказывал все.

В его изображении дело было так: никто не заметил, как Тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое-кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать.

Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Бойдман сплевывал табачную жвачку и хмурился.

Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубашки и вспотевшим одутловатым лицом, он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные седеющие усы. Изредка поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливал на нем рассеянноподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:

— Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Куда запропастилась семерка, черт ее побери?

Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:

— Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело.

Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:

— Завтра, чуть свет, пошлите шесть человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар. Он с юга?

— Не знаю,— сказал лейтенант,— впрочем...

— Конечно,— перебил капитан, пронизательно сощуривая глаза,— дело ясное. Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет десятый. Впрочем, что долго толковать; если он умер — черт с ним, а если жив — сотню линьков в спину!

Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв в фараон четверть годового жалованья, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала, возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение.

Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там бродит заблудившийся Тарт, а может быть, лежит мертвый с желтым, заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.

«Все умрем», — подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блестит песок, вымытый солнцем.

II

ЧТО ГОВОРIT ЛЕС

Когда пять матросов высадились на берег и прежде, чем наполнять бочки, решили поразмять ноги, выпустив пару-другую зарядов в пернатое население, — Тарт отделился от товарищей и шел, пробираясь сквозь цветущие заросли, без определенного направления, радуясь, как ребенок, великолепным новинкам леса. Чужая, прихотливо-дикая чаща окружала его. Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава. Не было имен этому миру, и Тарт молча принимал его. Широко раскрытыми, внимательными глазами щупал он дикую красоту. Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами — все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на

сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово-розовые, синие — они утомляли зрение, дразнили и восхищали.

Тарт шел, как пьяный, захмелев от сырого, пряного воздуха и невиданной щедрости земли. Буковые леса его родины по сравнению с островом казались головой лысого перед черными женскими кудрями. С любопытством и счастливым недоумением смотрел он, закинув голову, как стая обезьян, размахивая хвостами и раскачиваясь вниз головой на попутных сучках, промчалась с треском и свистом, распугав птиц. Зверьки скрылись из виду, певучая тишина леса монотонно звенела в ушах, а он стоял, держа палец на спуске ружья и сосредоточенно улыбаясь. Потом медленно, смутно почувствовав на лице чужой взгляд, вздохнул и бессознательно осмотрелся.

Но никого не было. Так же, как и минуту назад, свисая над головой, громоздилась, загораживая небо, живая ткань зелени; перепархивали птицы; желтели созревшие большие плоды, усеянные колючками. Тарт перевел взгляд на ближайшие сплетения вогнутых, как зубчатые чашки, листьев и заметил маленькое, зеленоватое нечто, похожее на незрелую сливу. Присутствие напряженной, внимательной силы сказывалось именно здесь, в трех шагах от него. Слива чуть-чуть покачивалась на невидимом стебле; матрос беспокойно зашевелился, бессильный объяснить свою собственную тревогу, центром которой сделался этот, почти незаметный, плод. Он протянул руку и быстро, с внезапной гадливой дрожью во всем теле, отдернул пальцы назад: маленькая, блестящая, как жидкий металл, змея, прорезав приплюснутой головой воздух, задвигалась в листьях. Тарт нахмурил брови и ударил ее стволом штуцера. Животное увало в траву, издав легкий свист; Тарт отпрыгнул и торопливо ушел подальше.

Откуда-то издалека донесся звук выстрела, за ним другой: товарищи Тарта охотились, по-видимому, серьезно. Матрос задумчиво остановился. Еще один отдаленный выстрел всколыхнул тишину, и Тарт вдруг сообразил, что он ушел дальше, чем следовало. Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета. Иногда казалось ему, что он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу, с широко открытыми глазами; что нет уже ни океана, ни клипера и что не жил он никогда в мире людей, а всегда бродил тут, слушая музыку тишины, свое дыхание и голос отдаленных предчувствий, смутных, как детский сон.

Лес становился темнее, ближе придвигались стволы, теснее сплетались над головой Тарта зеленые зонтики, ноги проваливались в пышном ковре, затихли голоса птиц. Расплывчатые видения носились в сумеречных объятиях леса и жили мимолетным существованием. Бесчисленные глаза их, невидимые для Тарта, роились в воздухе, роняли на его руки слезы цветов, сверкали зеленоватыми искрами насекомых и прятались, полные сосредоточенной думы, печали нежной, как грустное воспоминание. Все дальше и дальше шел Тарт, погруженный в тревожное оцепенение и тоску.

И, наконец, идти стало некуда. Глухая дичь окружала его, почти совершенная темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью. Протягивая вокруг руки, он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки. Задыхаясь от духоты, тревоги и необъяснимого, томительного волнения, Тарт зажег восковую спичку, осветив зеленый склеп. Он был, как в ящике. Со всех сторон громоздились зеленые вороха, стволы тупо смотрели сквозь них, покрытые влажным блеском.

Тарт бросил спичку и, оглушенный темнотой, кинулся напролом. Это было отчаянное сражение человека с лесом, желания — с препятствием, живого тела — с цепкой, почти непролазной стеной. Он брал приступом каждый шаг, каждое движение ног. Тысячи могучих пружин хлестали его в грудь и лицо, резали кожу, ушибали руки, молчаливые бешеные объятия откидывали его назад.

Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся, Тарт рвался вперед, останавливался, набирал воздуха и снова, как солдат, стиснутый неприятелем, шел шаг за шагом сквозь темную глушь.

Свет наступил неожиданно, в то время, когда Тарт всего менее ожидал этого. Измученный, но довольный, вытирая рукавом блузы исцарапанное, вспотевшее лицо, он выпрямился, открыл глаза и, вздрогнув, снова закрыл их. С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решился поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окружающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза.

Перед ним был овальный лесной луг, сплошь покрытый густой, сочной зеленью. Трава достигала половины человеческого роста; яркий, но мягкий цвет ее поража́л глаз необычайной чистотой тона, блеском и свежестью. Шагах в тридцати от Тарта, закрывая ближайшие деревья, тянулись скалы из темно-розового гранита; оборванный круг их напоминал неправильную подкову, концы которой были обращены к Тарту. В очертаниях их не было массивности и тупости; остроконечные, легкие, словно вылепленные тонкими пальцами из красного воска, они сверкали по краям изумрудной поляны коралловым ожерельем, брошенным на зеленый шелк. Радужная пыль водопадов дымилась у их вершин: в глубоком музыкальном однообразии падали вниз и стояли, словно застыв в воздухе, паутинно-тонкие струи.

Их было много. То рядом, теснясь друг к другу, лилась вниз их серебряная, неудержимая ткань, то группами, по два и по три, тихо свергались они с влажного каменного ложа в невидимый водоем; то одинокий каскад, ныряя в уступах, прыгал с высокого гребня и сеял в воздухе прозрачное, жидкое серебро; то ровная стеклянная полоса шумела, разбиваясь о камни, и пылила сверкающим градом брызг. Тропическое солнце миллиардами золотых атомов ликовало в игре воды. И все падали, падали вниз бисерным полукругом тонкие, тихие водопады.

Тарт глубоко вздохнул и засмеялся; тихая улыбка осталась в его лице, полном напряженного восхищения. Деревья, выросшие вокруг луга, также поразили его. Темно-зеленые широкие листья их светлели, приближа-

ясь к стволу, бледнели, прозрачно золотились и в самой глубине горели розовым жаром, тоненькие и розовые, как маленькая заря. Раскидистые, приподнятые над землей корни держали на весу ствол.

Снова Тарт перешел глазами на луг, так он был свеж, бархатно-зелен и радостен. Светлая пустота переливалась вдали, у скал, дрожью воздушных течений, однозвучную мелодию твердили тонкие водопады. И розовые горны темно-зеленых куп открывали солнечному потоку первобытную прелесть земли.

Инстинктивно трепеща от вспыхнувшей любви к миру, Тарт протянул руку и мысленно коснулся ею скалистых вершин. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному торжеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание, полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света, пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами: голос его летел к водопадам, бился в каменные уступы и, трижды повторенный эхом, перешел в песню, вызванную внезапным, мучительным потрясением, страстную и простую.

Кто спит на вахте у руля,
Не размыкая глаз?
Угрюмо плещут лиселя,
Качается компас,
И ждет уснувшая земля
Гостей веселых — нас.
Слабеет сонная рука,
Умолк, застыл штурвал;
А ночь — угроза моряка —
Таит зловеший шквал;
Он мчится к нам издалека,
Вскипел — и в тьме пропал.
Пучина ужасов полна,
А мы глядим вперед,
Туда, где знойная страна
Красотками цветет.
Не спи, матрос! Стокан вина,
И в руки — мокрый шкот!
Мы в гавань с песней хоровой
Ворвемся, как враги,
Как барабан — по мостовой
Веселые шаги!
Проснись угрюмый рулевой,
Темно; кругом — ни зги!

Мелодия захватила его, долго еще, без слов, звучал его голос, повторяя энергичный грустный напев матросской песни. Без желаний, без дум, растроганный воспо-

минаниями о том, что было в его жизни так же прекрасно и неожиданно, как маленький рай дикого острова, стоял он на краю луга, восхищенный внезапной потерей памяти о тяжести жизни и ее трудах, о темных периодах существования, когда душа изнашивает прежнюю оболочку и спит, подобно гусенице, прежде чем сверкнуть взмахом крыльев. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасностей и удач. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем, увидел себя таким, как в часы мечтаний, на склоне пустынных холмов, перед лицом вечерней зари.

Он снял ружье, лег на траву и с ужасом подумал о завтрашнем неизбежном дне: часть жизни, отданная другим...

Запах цветов кружил голову. От утомления дрожали руки и ноги, лицо горело, и розовый туман плыл в закрытых глазах.

Он не сопротивлялся. Глубокое, сонное оцепенение приласкало его и медленно погрузило в душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком. Тарт спал, а когда проснулся — была ночь и темная, звездная тишина.

III

БЛЕМЕР НАХОДИТ ТАРТА

Тарт сидел у огня, поджав ноги, прислушиваясь и размышляя. Он не спал ночь: тяжелая задумчивая тревога собирала морщины на его лице, а руки, крошившие табак, двигались невпопад, рассеянно подбирая прыгающие из-под ножа срезки. Уверенность в том, что никто не подсматривает, придавала лицу Тарта ту особенную, непринужденную выразительность, где каждый мускул и взгляд человека рассказывает его настроение так же бегло, как четко переписанное письмо. Огонь вяло потрескивал, шипел, змеился в гладкой стали ружья и бледным жаром падал в глаза Тарта. Кругом, в духоте полдня, дремал лес; глухой шум невидимой жизни трепетал в нем, беря душу странным очарованием безлюдья, гигантской силы и тишины.

Матрос встал, ссыпал нарезанный табак в маленькую

жестяную коробку, поднял ружье и долго молча стоял так, слушая голоса птиц. Иногда, на мгновение, прихотливый узор листвы вспыхивал перед ним обманчивым силуэтом зверя, и рука Тарта бессознательно вздрагивала, колебля дуло ружья. Зеленые свет и мрак чередовались в глубине леса. Мысль тревожно летела к ним, отыскивая живое молчаливое существо с глазами из черной влаги, рогатое и стройное.

В певучем, томительном забытии окружал человека лес, насыщенный болотными испарениями, запахом гниющих растений и дикой, сказочной красотой. То ближе, то дальше трещал кустарник, невиданные, неизвестные существа двигались там, прислушиваясь друг к другу, и образы их, созданные воображением Тарта, принимали чудовищные, волнующие размеры или, наоборот, бледнели и съеживались, когда умолкал треск.

Резкий шарахнувшийся крик птицы вывел его из глубокого, торжественного оцепенения. Он поднял глаза вверх, но тотчас же инстинктивно опустил их, взвел курок и насторожился, раздвигая взглядом светлую рябь листвы.

Сначала было трудно определить, что это: маленькая застывшая тень или пятно шерсти; чье-то пытлиное, осторожное присутствие сказывалось не дальше, как в десяти шагах и путало мысли, убивая все, кроме жестокого, огненного желания встретить глаза зверя. Тарт тихо шагнул вперед и хотел крикнуть, чтобы животное выскочило из кустов, но вдруг, в самой глубине зеленой сети растений, поймал черный блеск глаза, выпрямился и вздрогнул от неожиданности. Штуцер нервно заколебался в его руках, дыхание стало глуше, и два-три мгновенья Тарт не решался выстрелить — столько безграничного удивленья, наивности и любопытства сверкало в маленьком блестящем зрачке.

Глаз продолжал рассматривать человека, зашевелился, придвинулся ближе, к нему присоединился другой, и жадный, требовательный взгляд их стал надоедать Тарту. Казалось, его спрашивали: кто ты? Он поднял ружье, прицелился и опустил руку одновременно с запыхавшимся криком шумно обрадованного человека: — Тарт, сто чертей, здравствуй!

С тяжелым холодом в сердце Тарт повернулся к матросу. В кустах бешено затрещало, испуганно мельк-

нули и скрылись низкие, сильно закрученные рога. По щекам Блемера градом катил пот. Глаза, покрасневшие от утомления и жары, тревожно ощупывали лицо Тарта, а полные губы морщились, удерживая смех. Он снял фуражку, вытер рукавом блузы вспотевший лоб и заорал снова всей ширью здоровеннейших морских легких: — И ты мог заблудиться, чучело! Три мили длины и три ширины! Это дно от стакана, а не остров. Конечно, есть острова, где можно ходить порядочным людям. Цейлон, например, Зеландия, а не эта, с позволения сказать, корзина травы! Вообще мы решили, что ты съеден орангутангом или повесился. Но я искренне, дружище, чертовски рад, что это не так!

Он схватил руку Тарта и стал ворочать ее, ломая пальцы. Тарт пытливо смотрел на Блемера. Конечно, этот выдаст его — думать иначе было бы страшно легкомысленно. Прост и глуп, добр и жесток. Ко всему этому болтлив, не прочь выслужиться. И он уже смотрит на него, Тарта, с видом собственника, облизывается и мысленно потирает руки, предвкушая пущенную сквозь зубы похвалу капитана.

Матрос снял ружье, облегченно повел плечами и безудержно заговорил снова, ободряя себя. Молчаливая неподвижность Тарта смущала его. Он громко болтал, не решаясь сказать прямо: «Пойдем!» — сбивался, потел и в десятый раз принимался рассказывать о тревоге, общем недоумении и поисках. Все неувереннее звучал его голос, и все рассеянное слушал его Тарт, то улыбаясь, то хмурясь. Казалось, что был он здесь и не здесь, свой знакомый и в то же время чужой, замкнутый и враждебный.

— Превратились мы в настоящих собак, — захлебывался Блемер. — Чувствую я, что смок, как яблоко в сиропе. Уйти без тебя мы, понятное дело, не могли, нам приказали отыскать тебя мертвого или живого, вырыть из-под земли, вырезать из брюха пантеры, поймать в воздухе... Кок по ошибке вместо виски хватил уксусной эссенции, лежит и стонет, а завтра выдача жалованья настоящим золотом за четыре месяца! Сильвестр делится на мой кошелек, я должен ему с Гонконга четырнадцать кругляков, но пусть он сперва их выиграет, черт возьми! Кто, как не я, отдал ему в макао две совсем новенькие суконные блузы! А ты, Тарт, знаешь... вооб-

ще говорят... только ты, пожалуйста, не сердись... верно это или нет?

— Что? — сказал Тарт, ворочая шомполом в дуле ружья.

— Да вот... ну, не притворяйся, пожалуйста... Только если это неверно — все равно...

Блемер понизил голос, и лицо его выразило пугливое уважение. Тарт возился с ружьем; достав пых, он медленно перевернул штуцер прикладом вверх, и на землю из ствола выкатились маленькие, блестящие картечины.

Блемер нетерпеливо ждал и, когда смуглая рука Тарта начала забивать пулю, звонко ударяя шомполом в ее невидимую поверхность, заметил:

— Ты испортил боевой заряд, к тому же какая теперь охота? Пора обедать.

Тарт вынул шомпол и поднял усталые, ввалившиеся глаза, но Блемер не различил в них волнения непоколебимой решимости. Ему казалось, что Тарт хочет поговорить с ним, и он, вздыхая, ждал удовлетворительного ответа. Но Тарт, по-видимому, не торопился.

Блемер сказал:

— Так вот... Ну, как — это правда?

— Что правда? — вдруг закричал Тарт, и глаза его вспыхнули такой злобой, что матрос бессознательно отступил назад. — Что еще болтают там обо мне ваши косноязычные тюлени? Что? Ну!

— Тарт, что с тобой? Ничего, клянусь честью, ей-богу, ничего! — заторопился матрос, бледнея от неожиданности, — просто... просто говорят, что ты...

— Ну что же, Блемер, — проговорил Тарт, сдерживаясь и глубоко вздыхая. — В чем дело?

— Да вот... — Блемер развел руками и с усилием освободил голос. — Что ты знаешь заговоры и... это... видел дьявола... понимаешь? Оттого, говорят, ты всегда и молчишь, ну... А я думаю — неправда, я сам своими глазами видел у тебя церковный молитвенник.

Матрос взволнованно замолчал; он сам верил этому. Живая тишина леса томительно напряглась; Блемеру вдруг сделалось безотчетно жутко, как будто все зеленое и дикое превратилось в слух, шепчется и глядит на него тысячами воздушных глаз.

Тарт сморщился; досадливая, но мягкая улыбка изменила его лицо.

— Блемер,— сказал он,— ступай обедать. Я сыт, и, кроме того, мне немного не по себе.

— Как,— удивился Блемер,— тебя ждут, понимаешь?

— Я приду после.

— После?

— Ну да, сейчас мне идти не хочется.

Матрос нерешительно рассмеялся; он не понимал Тарта.

— Блемер,— вдруг быстро и решительно заговорил Тарт, смотря в сторону.— Ступай и скажи всем, что я назад не приду. Понял? Так и скажи: Тарт остался на острове. Он не хочет более ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу. Скажи так: я уговаривал его, просил, грозил, все было напрасно. Скажи, что Тарт поклялся тебя застрелить, если ты не оставишь его в покое.

Тарт перевел дыхание, поправил кожаный пояс и быстро мельком скользнул глазами в лицо матроса. Он видел, как вздулись жилы на висках Блемера, как правая рука его, сделав неопределенное движение, затерла воротник блузы, а глаза, ставшие растерянными и круглыми, блуждали, не находя ответа. Наступило молчание.

— Ты шутишь,— застывшим голосом выдавил Блемер,— охота тебе говорить глупости. Кстати, если мы двинемся теперь же, то можем захватить на берегу наших, вдвоем трудно грести.

— Блемер,— Тарт покраснел от досады и даже топнул ногой.— Блемер, возвращайся один. Я не уйду. Это не шутка, тебе пора бы уж знать меня. Так пойди и скажи: люди перестали существовать для Тарта. Он искренно извиняется перед ними, но решил пожить один. Понял?

Матрос перестал дышать и любопытными, испуганными глазами нашупывал тень улыбки в сосредоточенном лице Тарта. Сошел с ума! Говорят, в здешних болотах есть такие цветы, что к ним не следует прикасаться. А Тарт их наверное рвал — он такой... Вот чудо!

— Прощай,— сказал Тарт.— Увидишь наших, поклонись им.

Он коротко вздохнул, взял штуцер наперевес и стал удаляться. Блемер смотрел на его раскачивающуюся фи-

гуру и все еще не верил, но, когда Тарт, согнувшись, нырнул в пеструю зелень опушки,— матрос не выдержал. Задыхнувшись от внезапного гнева и страха упустить беглеца, Блемер перебежал поляну, на ходу взвел курок и крикнул в ту сторону, где гнулись и трещали кусты:

— Я убью тебя! Эй! Стой!

Голос его беспомощно утонул в зеленой глуши. Он подождал секунду и вдруг, мстительно торопясь, выстрелил. Пуля протяжно свистнула, фыркнув раздробленными по пути листьями. Птицы умолкли; гнетущая тишина охватила часть леса.

— Стой! — снова заорал Блемер, бросаясь вдогонку.— Каналья! Дезертир!

Спотыкаясь, взволнованно размахивая ружьем, он пробежал с десятков шагов, снова увидел Тарта и почувствовал, что возбуждение его вдруг упало,— Тарт целился ему в грудь, держа палец на спуске.

Инстинктивно, защищаясь от выстрела, матрос отступил назад и, медленно двигая руками, приложился сам. Волнение мешало ему, он не сразу отыскал мушку, злобно выругался и замер, ожидая выстрела. Тарт поднял голову. Блемер внутренне подался назад, вспотел, нажал спуск, и в тот же момент ответный выстрел Тарта пробил его насквозь, как игла холст.

То, что было Блемером, село, потом вытянулось, раскинуло ноги и замерло. Воздух хрипел в его простреленных легких, обнаженная голова вздрагивала, стараясь подняться и взглядом защитить себя от нового выстрела. Тарт, болезненно улыбаясь, присел возле матроса и вытащил из его стиснутых пальцев судорожно вырванную траву. Далее он не знал, что делать, и стоял на коленях, сраженный молчаливой тревогой.

Блемер повернул голову, глотая подступающую кровь, и выругался. Тарт казался ему страшным чудовищем, чуть ли не людоедом. Он посмотрел вверх и, увидев жаркую синеву неба, вспомнил о смерти.

— Подлец ты, подлец! — застонал Блемер.— За что?

— Перестань болтать глупости,— возразил Тарт, отдирая подол блузы.— Ты охотился за мной, как за зверем, но звери научились стрелять. Не ты, так я лежал бы теперь, это было необходимо.

Он свернул импровизированный бинт, расстегнул куртку Блемера и попытался удержать кровь. Липкая горячая жидкость просачивалась сквозь пальцы, и было слышно, как стучит слабое от испуга сердце. Тарт нажал сильнее, Блемер беспокойно вздрогнул и сморщился.

— Адская боль,— процедил он, хрипло дыша.— Брось, ничего не выйдет. Дыра насквозь, и я скоро подохну. Ты смеешься, сволочь, убийца!..

— Я не смеюсь,— с серьезной улыбкой возразил Тарт.— А мне тяжело. Прости мою невольную пулю.

Не отрываясь, смотрел он в осунувшееся лицо матроса. Вокруг глаз легли синеватые тени; широкий, давно небритый подбородок упрямо торчал вверх.

— Трава сырая,— простонал Блемер, бессильно двигаясь телом,— я умру, понимаешь ли ты? Зачем?

Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли.

— Блемер,— сказал Тарт,— ты шел в этом лесу, отыскивая меня. Твое желание исполнилось. Но если я не хотел идти с тобой, как мог ты подумать, что силой можно сломить силу без риска проиграть свою собственную карту?

— К черту! — застонал Блемер, отплевывая розовую слюну.— Ты просто изменник и негодяй! — Он смолк, но скоро застонал снова и так громко, что Тарт вздрогнул. Раненый сделал последнее отчаянное усилие поднять голову; глаза его подернулись влагой смерти, и был он похож на рыжего раздавленного муравья.

— Ты очень мучаешься? — спросил Тарт.

— Мучаюсь ли я? Ого-го-го! — закричал Блемер.— Тарт, ты дезертир и мерзавец, но вспомни, умоляю тебя, что на «Авроре» есть госпиталь!.. Сбегай туда... скажи, что я умираю!..

Тарт отрицательно покачал головой. Блемер вытягивался, то опираясь головой в землю и размахивая руками, то снова припадая спиной к влажной земле. По внезапно исхудавшему, тусклому лицу его пробегала быстрая судорога. Он ругался. Сначала тихое, потом громкое бормотанье вылилось сложным арсеналом отвратительных бранных фраз. Тарт смотрел, ждал и,

когда глаза Блемера задержались пленкой,— стал заряжать ружье.

— Потерпи еще малость, Блемер,— сказал он.— Сейчас все кончится.

Блемер не отвечал. Сквозь до крови закушенную губу матроса Тарт чувствовал легион криков, скованных бешенством и страданием. Он отошел в сторону, чтобы случайно Блемер не угадал его мысли, прицелился в затылок и выстрелил.

Раненый затрепетал, вздохнул и затих.

Теперь он был мертв. Сильное, цветущее тело его обступила маленькая зеленая армия лесной травы и, колыхаясь, заглянула в лицо.

IV

«ГАРНАШ, УЛИЦА ПЕТУХА»

На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинского дерева, стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом. Она не запирается; это международная почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу — европейскую.

Клипер приговаривался к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат полз из воды, таща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тиной и раковинами. Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили по накаленной смоле палубы, закрепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант клипера, выскочив на песок, подошел к бочке. Откинув брезент, он вынул из нее несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.

Потом все уехали и скоро превратились в маленькое, черное пятно, машущее крошечными веслами. Клипер преображался. От рей до рей, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. Корабль стал похожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь — напряжение и полет, нетерпение и сдержанное усилие.

Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулем полдневную бледную от жары синеву рейда. Теперь оно походило на человека, повернувшегося спиной к случайному, покидаемому ночлегу. Пеннистая, ровная линия тянулась за кормой — клипер взял ход.

Его контуры становились меньше, воздушнее и светлее. Двигался он, как низко летящий альбатрос, слегка накренив стройную белизну очертаний. А за ним с берега цветущего острова следил человек — Тарт.

Он равнодушно ждал исчезновения клипера. Корабль увозил с собой земляков, привычное однообразие дисциплины, грошовое жалованье и более ничего. Все остальное было при нем. Он мог ходить как угодно, двигаться как угодно, есть и пить в любое время, делать, что хочется, и не заботиться ни о чем. Он страшился с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина», не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего.

Тарт смотрел вслед уходящему клиперу, ни капли не сомневаясь в том, что именно его считают убийцей Блемера. Почему прекратили поиски? Почему не более как через шесть дней после ухода Тарта клипер направился в Австралию? Может быть, решили, что он мертв? Но в глазах экипажа остров был не настолько велик, чтобы потерять надежду отыскать человека или хотя бы его кости. Поведение «Авроры» немного раздражало Тарта; он чувствовал себя лично обиженным. Человек крайне самолюбивый, бесстрашный и стремительный, он привык, чтобы с ним и его поступками враги считались так же, как с неприятелем на войне. Но ведь не бежит же от него клипер, в самом деле!

Он вспомнил свое убежище — скалистый овраг, с гладким, как паркет, дном и кровлей из цветущих кустов. Ничего нет удивительного, что клипер ушел ни с чем. В глазах их Тарт мог только утонуть; к тому же — кто особенно дорожил жизнью Блемера? На клипере сто матросов; двумя больше, двумя меньше — не все ли равно? Время горячее, китайские пираты выются по архипелагу, как осы. Военное судно, несущее разведочную службу, не может долго оставаться в бездействии.

Тарт медленно шел вдоль берега, опустив голову. Собственное его положение казалось ему ясным до чрезвычайности: потянет в другое место — он будет караулить, высматривая проходящих купцов. И ночной сигнальный костер даст ему короткий приют на чужой палубе. Куда он поедет, зачем и ради чего?

Но он не думал об этом. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо теплым муссоном и жаркой влагой истомленных зноем растений. Это был отчаянный экстаз игрока, бросившего на карту все и получившего больше ставки. Выигравший не думает о том, на что он употребит деньги, он далек от всяких расчетов, музыка золота наполняет его с ног и до головы дразнящим вихрем возможностей, прекрасных в неосуществимости своей желаний и бешеным стуком сердца. Может быть, не дальше, как завтра, судьба отнимет все, выигранное сегодня, но ведь этого еще нет?

Да здравствует прекрасная неизвестность!

Медленно, повинуюсь любопытству, смешанному с предчувствием, Тарт откинул брезент и, став на камни, положенные под основание бочки, открыл ее. На дне серели пакеты. Их было много, штук двадцать, и Тарт тщательно пересмотрел все.

Ему доставляло странное удовольствие держать в руках вещественные следы ушедших людей, мысленно говорить с ними, в то время, когда они даже и не подозревают этого. Стоит захотеть, и он узнает их мысли, будет возражать им, без риска быть пойманным, и они не услышат его. Матросские письма особенно заинтересовали Тарта. Он пристально рассматривал неуклюжие, косые буквы, смутно догадываясь, что здесь, может быть, написано и о нем. Взволнованный этим предположением, Тарт бережно отложил несколько конвертов, на которых были надписаны имена местностей, близких к месту его рождения. Он искал самого тесного, кровного земляка, рылся дрожащими от нетерпения пальцами, раскладывая по песку серые четырехугольники, и вдруг прочел:

«Гарнаш, улица Петуха».

Гарнаш! Не далее как в десяти милях от этого городка родился Тарт. Он помнит еще возы с зеленью, пыльную дорогу, по которой бегал мальчишкой, и держит пари, что пишет не кто иной, как толстяк Риль!

Да, вот его имя, написанное маленькими печатными буквами. Тарт вынул нож и разрезал толстую бумагу пакета. Риль писал много, четыре больших листа сплошь пестрели каракулями, сообщая подробности плавания, события, свидетелем которых был Риль, и длинные, неуклюжие нежности, адресованные жене. Тарт торопливо разбирал строки. Пальцы его дрожали все сильнее, лицо потускнело; взволнованный, с блестящим остановившимся взглядом, он бросил бумагу и инстинктивно схватил ружье.

Кругом было по-прежнему пусто, легкий прибой шевелил маленькие, круглые голыши и тихо шумел засохшими водорослями. В голове, как отпечатанные, стояли строки письма, скомканного и брошенного рукой Тарта: «...если бы он провалился, туда ему и дорога. А наши думают, что он жив. Мы вернемся через четыре дня, за это время должны его поймать непременно, потому что он будет ходить свободно. Шестерым с одним справиться — что плюнуть. Толкуют, прости меня, господа, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно».

— Надо уйти! — сказал Тарт, с трудом возвращая самообладание. Небывалым, невозможным казалось ему только что прочитанное. Все вдруг изменило окраску, притаилось и замерло, как молчаливая, испуганная толпа. Солнце потеряло свой зной, ноги отяжелели, и Тарт двигался медленно, напряженно, словно окаменев в припадке безвыходного, глухого гнева. Мысль утратила гибкость, сосредоточиваясь на пристальном, болезненном ощущении невидимых, враждебных людей. И немое отвращение к тайной опасности подымалось со дна души, вместе с нестерпимым желанием открытого, решительного исхода.

— Шесть? — сказал Тарт, останавливаясь. — Так вас шесть, да?

Кровь бросилась ему в голову и ослепила. Почти не сознавая, что он делает, он вызывающе поднял штудер и нажал спуск. Выстрел пронесся в тишине дробным эхом, и тотчас Тарт зарядил разряженный, еще дымящийся ствол, быстро, не делая ни одного лишнего движения.

По-прежнему царствовала тишина, жуткая, полуденная тишина безлюдного острова. Матрос прислушался, молчание раздражало его. Он потряс кулаком и

разразился градом язвительных оскорблений. Обессиленный припадком тяжелой злобы, он шел вперед, ломая кусты, сбивая ударом приклада плотные, сочные листья. Сознавая, что все пути отрезаны, что выстрел кем-нибудь да услышан, Тарт чувствовал злобное, веселое равнодушие и огромную силу дерзости. Уверенность возвращалась к нему по мере того, как шли минуты, и зеленый хоровод леса тянулся выше, одевая пахучим сумраком лицо Тарта. Он шел, а сзади, догоняя его, бежали шестеро, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к неясному шороху движений затравленного человека.

— Тарт! — задыхаясь от бега, крикнул на ходу высокий черноволосый матрос. — Тарт, подожди малость, эй!

И за ним повторяли все жадными, требовательными голосами:

— Тарт!

— Эй, Тарт!

— Тарт! Тарт!

Тарт обернулся почти с облегчением, с радостью воина, отражающего первый удар. И тотчас остановились все.

— Мы ищем тебя, — сказал черноволосый, — да это ведь ты и есть, а? Не так ли? Здравствуй, приятель. Может быть, отпуск твой кончился, и ты пойдешь с нами?

— Завтра, — сказал Тарт, вертя прикладом. — Вы не нужны мне. И я — зачем я вам? Оставьте меня, гончие. Какая вам польза от того, что я буду на клипере? Решительно никакой. Я хочу жить здесь, и basta! Этим сказано все. Мне нечего больше говорить с вами.

— Тарт! — испуганно крикнул худенький, голубоглазый крестьянин. — Ты погиб. Тебе, я вижу, все равно, ты отчаянный человек. А мы служим родине! Нам приказано разыскать тебя!

— Какое дело мне до твоей родины, — презрительно сказал Тарт. — Ты, молокосос, растяпа, может быть, скажешь, что это и моя родина? Я три года болтался на вашей плавучей скорлупе. Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов, подобных тебе? Каждый за себя, братец!

— Тарт,— сказал третий матрос, с круглым, тупым лицом,— дело ясное, не сопротивляйся. Мы можем ведь и убить тебя, если...

Он не договорил. Одновременно с клубком дыма тело его свалилось в кусты и закачалось на упругих ветвях, разбросав ноги. Тарт снова прицелился, невольное движение растерянности со стороны матросов обеспечило ему новый удачный выстрел... Черноволосый матрос опустился на четвереньки и судорожно открыл рот, глотая воздух.

И все потемнело в глазах Тарта.

Спокойно встретил он ответные выстрелы, пистолет дрогнул в его руке, пробитый насквозь, и выпал. Другою рукой Тарт поднял его и выстрелил в чье-то белое, перекошенное страхом лицо.

Падая, он мучительно долго не мог сообразить, почему сверкают еще красные огоньки выстрелов и новая тупая боль удар за ударом бьет тело, лежащее навзничь. И все перешло в сон. Сверкнули тонкие водопады; розовый гранит, блестя влагой, отразил их падение; бархатная прелесть луга протянулась к черным корням раскаленных, как маленькие горны, деревьев — и стремительная тишина закрыла глаза того, кто был — Тарт.

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

Н. Быховскому

I

На улице зеленели весенние солнечные тени, а в третьем этаже старинного каменного дома три человека готовились умереть неожиданной, насильственной смертью. Весна не волновала их, напротив, они плохо сознавали даже, грезят или живут. А внимание каждого, острое до боли, сосредоточивалось на своем оружии и на том, что делается внизу, на каменном, веселом, солнечном тротуаре.

В обыкновенное время они, конечно, поразились бы тем, что вся улица, от вокзала до рынка, погружена в

страшную, удушливую тишину, как это бывает во сне... Ни людей, ни собак. Везде наглухо закрытые испуганные окна, и фасады домов прислушиваются, как замкнутые, чужие лица. Немые деревья стелют сетки теней. Недвижна пыль мостовой, спит воздух.

И обратили бы еще они свое внимание на то, что тихая пустота улицы обрывается как раз у каменного старинного дома, обрывается с обеих сторон аккуратно, как по линейке, там, где на серых солнечных плитах шевелятся белые, строгие солдатские рубашки с красными погонами и, падая гулким эхом от веселых, солнечных стен, бухают торопливо и резко ружейные выстрелы.

Три человека не думали этого. Теперь казалось, что так и надо, что иначе и не бывает. И не слышали они тишины, а только выстрелы. Каждый выстрел летел в уши, как удар ветра, и кричал, кричал на весь мир.

Так страшно еще не было никогда. Раньше, думая о смерти и, с подмывающей радостью, с легким хохотком крепкого, живого тела оглядываясь вокруг, они говорили: «Э! Двум смертям не бывать!» Или: «От смерти не уйдешь!» Или: «Человек смертен». Говорили и не верили. Теперь з н а л и, и знание это стоило жизни.

Знали. Комната, где были они, служила жизни. Все кругом приспособлено для жизни: стол, накрытый скатертью, с неубранной, веселой в солнечном свете посудой; маленькие, потемневшие картины, уютная мебель. А жизнь неудержимо уходит из пустых комнат. Под ногами валяется портсигар, растоптанные папиросы, лежит сорванная, смятая занавеска. И много, очень много пустых медных патронов. Они везде: на ковре, на стульях. Хрустит обувь, встречая обломки стекол, визгливо-хрупкие, скрежещущие. Стекла в рамах торчат зубцами. Они разбиты.

Дым туманом наполняет комнату, скользит в окно, страшно медленный, и удушливо, невкусно пахнет. Трах-трах!.. Выглянуть опасно. Ежеминутно чмокают пули, кирпич брызжет во все стороны красной пылью. Там, внизу, мало разговаривают и, должно быть, сердятся. Кто-то кричит возбужденно, коротко; наступает молчание и снова: «трах-трах!..»

После каждого выстрела жутко подступает мгновенная беспощадная тишина. И тянется она скучно, как столетие.

Три человека, засевшие в третьем этаже, не знали друг друга. Случайно сошлись они, преследуемые правительственным отрядом, в квартире одного знакомого, заперли двери, окна; мельком, с безразличием страха, осмотрели друг друга, бросили несколько проклятий и стали отстреливаться.

Сознание того, что стрельба эта бесполезна, что умереть все равно придется, что выходы заняты полицией, у них было, и по временам закипало в душе бессильными, протестующими взрывами ужаса. Но ожидать конца, суетясь, волнуясь и сопротивляясь, было все-таки легче, чем немая покорность неизбежному, — и они стреляли.

Два карабина было у них, два дальнобойных, охотничьих карабина с тонкой резьбой лож и витыми дамасскими стволами. Раньше они висели на стене среди другого оружия — живое воспоминание веселых, безопасных охот. А третий стрелял из револьвера, наудачу посылая пули, пока не свалился сам, раненный в ключицу, и не затих. Лежал он смирно, полный тоски, боясь шевельнуть отнявшейся рукой, чтобы не вскрикнуть. Видел высокий лепной потолок, ноги товарищей и думал о чуде.

Те двое стреляли из карабинов, бегая от окна к окну и прячась за подоконниками. Их резкие выстрелы звучали неуверенно, но били почти без промаха, и после каждого выстрела одна из белых, веселых рубаш с красными погонями, — такая маленькая, если смотреть сверху, — оживлялась, кружилась и, приседая, падала, звякнув штыком. А те двое стреляли, и каждый раз с тупой, радостной дрожью смотрели на дело своих рук.

Первого звали «Мистер», потому что он был в Англии и привез оттуда замкнутую сдержанность островитянина. Был он высокого роста, печальный и смуглый. Второй — плотный мужчина с окладистой бородой и кроткими глазами — называл себя «Сурком», потому что так называли его другие. А третий, раненный, носил кличку «Барон».

Каменное молчание пропитывало все этажи, кроме третьего. Казалось, что никогда никто, кроме мышей, не жил и не будет жить в этом доме, и что самый дом — огромное, сплошное недоразумение с каменными стенами, полными страха и тоски.

III

Отстреливались и судорожно, беспокойно думали. Растерянно думал Мистер. Наяву грезил Барон. Тяжело и сосредоточенно думал Сурок.

Там, за чертой города, среди полей и шоссе-ных дорог — его жена. Любимая, славная. И девочка — пухленькая, смешная, всегда смеется. Белый домик, кудрявый плющ. Блестящая медная посуда, тихие вечера. Никогда не увидеть? Это чудовищно! В сущности говоря, нет ничего нелепее жизни. А если пойти туда, вниз, где смеется веселая улица и стреляют солдаты, выйти и сказать им: «Вот я, сдаюсь! Я больше не инсургент. Пожалейте меня! Пожалейте мою жизнь, как я жалею ее! Я ненавидел тишину жизни — теперь благословляю ее! Прежде думал: пойду туда, где люди смелее орлов. Скажу: вот я, берите меня! Я раньше боялся грозы — теперь благословляю ее!.. О, как страшно, как тяжело умирать!.. Я больше не коснусь политики, сожгу все книги, отдам все имущество вам, солдаты!.. Господин офицер, жальтесь! Отведите в тюрьму, сошлите на каторгу!..»

Нет, это не поможет. Веселые белые рубахи станут еще веселее, грубый хохот покроет его слова. Поставят к стене, отсчитают пятнадцать, — или сколько там?.. — шагов. Убьют слюнявого, жалкого, когда мог бы умереть с честью.

Значит, теперь уже все равно? Так кричим же!

И Сурок крикнул глухим, перехваченным тоской голосом:

— Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Как бы говоря сам с собой, ответил Мистер:

— Вот история!.. Кажется, придется сдохнуть.

Он в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько, за что: за централизованную или федеративную республику. Так как-то сложилось все наспех, без уверенности в победе, среди жизни, полной борьбы за существование и политической агитации. Думать теперь, собственно говоря, не к чему: остается умереть. Воспоминание о том, что оружие случайно попало ему в руки, ему, желавшему бороться только с помощью газетных статей, — теперь тоже, конечно, ни к чему. Все брали. Сломали витрину и брали,

дрались, хватали жадно, наперебой. Потом многие бросили тут же, едва отойдя несколько шагов, великолепные ружья и сабли, взятые ими неизвестно для чего.

Стиснув зубы, закурить дрожащими пальцами папиросу и стрелять — это последнее.

И Мистер зачем-то спросил:

— Как вы думаете, который теперь час?

— Час? — Сурок посмотрел на него блуждающим, испуганным взглядом. — Я думаю, что этого не следует знать. Все равно.

И крикнул с остервенением, нажимая курок:

— Свобода! Ура-а!..

Звонкая, светлая тишина.

— Они окружают дом, — говорит Мистер, вздыхая. — И уморят нас.

— Они побоятся войти.

— Почему вы это думаете?

— Я чувствую... Привезут пушку и разнесут нас, как мышей.

— А-а! — удивленно говорит Барон, инстинктивно прижимаясь к стене. Пуля ударила в потолок, раздробила лепное украшение, и кусок гипса, с полфунта весом, упал рядом с его головой.

— А я думал, что спрятался!..

Мистер смотрит на него взглядом, выражающим представление о себе самом, раненном и лежащем враспашку так же, как этот костлявый, длинный юноша с голубыми глазами. Барон улыбается, закрывает глаза и сейчас же открывает их. Смотреть легче и не так страшно. Скоро ли спасут их? Несомненно, несомненно спасут, но кто? И когда? Вот этого-то никак нельзя понять.

Трах-та-тах! Бах!..

Как будто с налета воздушный молоток вбивает гвозди и падает вниз, оставляя на потолке и на стенах маленькие, глубокие дырки. Они, верно, еще теплые, если потрогать их.

— Досадно то... — начинает Барон.

Он ждет, но его не спрашивают, что досадно. Те двое отскакивают, прячась за подоконниками, и, трепеща от возбуждения, стреляют вниз. Глухие, смятенные звуки вырываются из горла. «Бах! Бах!» Должно быть, пришли еще солдаты.

А где же те, жившие здесь? Комнаты пусты, и от этого еще огромное, еще скучнее. Как Барон не заметил ухода квартирантов? Странно! Когда прибежали они трое, с белыми, перекошенными лицами,— оживленный шум смолк, кто-то заплакал горько, навзрыд, и вдруг стало пусто. Потом хлопнули двери, упало что-то и — тишина. Вот стакан с недопитым желтым чаем. Сейчас придут, расстреляют... Как досадно, что...

— Я не могу стрелять,— вслух доканчивает Барон начатую фразу.

Стрелять — это значит убивать тех, кто там, внизу, где солнце и теплый ветер. Но ведь и его могут ранить, убить, и опять он растянется тут, дрожа от жгучей, нарастающей боли. Значит, зачем стрелять?

Чепуха лезет в голову. А если притвориться мертвым и, когда ворвутся солдаты, затаить дыхание?

Детская, наивная радость пьянит голову Барона. Вот оно спасение, чудо!.. Его возьмут, бросят на фургон, отвезут в манеж. Но ведь его схватят за раздробленную руку. Разве он не закричит, как сумасшедший, лающим, страшным голосом?

— Да, черт побери, да! Все равно...

Слабость и туман, и жар. Чем-то колотят в голову: Бух! Бух!..

IV

— Товарищи! — говорит Сурок тонким, осекающимся голосом.— Час смерти настал!

Барон с усилием открывает глаза. Сурок присел на корточки и смотрит на юношу, пугливо улыбаясь собственным невероятным словам.

— А-а...— говорит Барон.— Да-а...

— Настал,— строго повторяет Сурок и, проглотив что-то, добавляет вполголоса: — Пушка.

— Ага! — сразу страшно возбуждаясь и цепenea, неистовым, не то веселым, не то молящим голосом подхватывает Барон.— Ага! Вот...

Неприятный, клокочущий крик заглушает его голос. Сурок удивленно оборачивается нервным, коротким движением корпуса. Впрочем, это Мистер запел «Марсельезу». Вероятно, он никогда не пел, потому что сейчас страшно фальшивит. Он увидел пушку и запел. А по временам, останавливаясь, кричит:

— О, храбрецы! Эй, вы! Моя грудь — вот! Грудь моя!..

Белая волосатая грудь. Барон морщится. Зачем кричать? Так тяжело, гадко.

— Перестаньте, прошу вас! Пожалуйста!..

Глубокая, светлая тишина. Шатаясь, подходит Мистер. Он потрясен, изумлен. Значит, все кончено?

— Все кончено,— говорит Сурок.— Зачем вы плачете?

— Как? — поражается Барон.— Я плачу? Чудак!..

V

Коснувшись щеки здоровой рукой, Барон убеждается, однако, что она мокра от слез. И начинает жалостно тихо рыдать, взвизгивая, как брошенный щенок.

Глубокая, нестерпимая жалость к себе сотрясает тело. А спасение, а жизнь, полная красивых случайностей? Пушка. Ведь это же смешное слово. Что-то кургузое, с мелкими старинными украшениями. Медный неповоротливый чурбан, позеленевший чурбан.

Тоскливый грохот внизу, там, за окном. Щелкнули, переступив, копыта. А они сидят здесь, трое, прижавшись к стене. Бесплезная стрельба кончена.

— Устанавливают орудие,— говорит Мистер.— Теперь держись!

Орудие — да, это не пушка, правда. Длинное, блестящее, отполированное, с круглым отверстием. Дальнотбойная машина. Барон поднимает голову.

— Отчего я должен умереть? А! Отчего?..

— Оттого, что вы хнычете! — злобно обрывает Мистер.— А? А отчего вы хнычете? А? Отчего?..

Барон вздрагивает и затихает, всхлипывая. Еще есть время. Молчать страшно. Надо говорить, говорить много, хорошо, проникновенно. Рассказать им свою жизнь, скудную, бедную жизнь, без любви, без ласки. Развернуть опустошенную душу, заглянуть туда самому и понять, как все это вышло.

Революция — какое могучее слово! Конечно, он взялся за нее не потому, чтобы верил в спасительность республиканского строя. Нет! Люди везде скоты. Но ведь в ней так много жизни, движения, подъема. О

смерти, разумеется, не было и мысли; напротив, мысли все были веселые, полные жизни, сладкие, поэтические мысли. Как все это запутано, сложно! Если бы он не хотел жить, не томился по яркой, интересной, сложной жизни, разве сделался бы он революционером? Да нет же, нет!.. И как сделать, чтобы жить, не умирая, всегда?

Сурок встал, подошел к окну, выглянул в него и присел, почти упал. Сейчас все кончится. Прямо на него снизу уставились немигающим, слепым взглядом черные дула. Показал пальцем и сказал что-то солдату солдат. Но ведь там, дальше, за морем разноцветных крыш, где клубится дорожная пыль, стоит маленький белый домик, вьется плющ; у окна сидит женщина и держит на коленях пухленькую забавницу. Значит, совершенно непоправимо?

Кончено! О, как тяжело, смертельно тяжело там, внутри! Ну, все равно!

На столе, среди посуды и газет, лежит ненужный, остывший карабин. Патронов нет. Да здравствует веселое безумие! Да здравствует родина!

Должно быть, последние слова он выкрикнул, потому что их повторил Мистер отчетливым, звонким криком. А если отдать родину, отдать все за маленький белый домик?

— Слушайте! Слушайте! — напрягает слабый голос Барон, дрожа от бессильной жалости и тоски. — Товарищи!..

— Будем бесстрашны, — говорит Сурок. — Мистер! Мы умрем, как честные граждане!..

— Конечно, — шепчет Мистер. — Руку!..

Они жмут друг другу холодные, сырые руки, бешено сдавливая пальцы. Глаза их встречаются. Каждый понимает другого. Но ведь никто не узнает ни мыслей их, ни тоски. Правда не поможет, а маленький, невинный обман — кому от него плохо? А смерть, от которой не увернешься, скрасится хриплым, отчаянным криком, хвалой свободе.

— Да здравствует родина!..

— О, они найдут только наши трупы, — говорит Мистер, — но мы не умрем! В уме и сердце грядущих поколений наше будущее!

Бледная, тоскливая улыбка искажает его лицо. Так

когда-то начинались его статьи, или приблизительно так. Все равно.

Барон подымается на локте. Торжественный, страшный миг — смерть, и эти два глупца хотят уверить себя, что смерть их кому-то нужна? И вот сейчас же, сейчас отравить их торжественное безумие нелепостью своей жизни, ненужной самому себе политики и отчаянным, животным страхом! Как будто они не боятся! Не хотят жить?! Лгуны, трусы!..

Мгновение злорадного колебания, и вдруг истина души человеческой, острая, как лезвие бритвы, пронизывает мозг Барона:

Да... для чего кипятиться? Разве ему это поможет?

На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса. Вот-вот... может быть, уже целят. Все равно!

Трусы они или нет, кто знает? Жизнь их ему неизвестна. А слова их — красивые, стальные щиты, которых не пробить истерическим криком и не добраться до сердца. Замирает оно от страха или стучит ровно, не все ли равно? Есть щиты, легкие, звонкие щиты, пусть!

И он умрет все равно, сейчас. А если, умирая, крикнет те же слова, что они, кто узнает мысли его, Барона, его отчаяние, страх и тоску? Никто! Он плакал? Да! Но плакал просто от боли.

— Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Три голоса слились вместе. И души, полные агонией смерти, в тоске о жизни и счастье судорожно забились, скованные короткими, хрипыми словами.

А на улице опрокинулся огромный железом нагруженный воз, громыхнули, содрогнувшись, стены, и дымные, уродливые бреши, вместе с тучами кирпичей и пыли, зазияли в простенках третьего этажа.

МАЛЕНЬКИЙ КОМИТЕТ

I

Геник приехал поздно вечером и с вокзала отправился прямо на явочную квартиру.

Его интересовала мысль: получено ли письмо о его приезде? Правда, он чуть-чуть поторопился, но в крайнем случае некоторые сакраментальные слова должны

были выручить из затруднения. Вообще формалистику долой! Дело, дело и дело!

Этот большой город, сквозивший разноцветными огнями, шумный, пышущий неостывшим жаром каменных стен, взволновал его и наполнил боевым, трепетным настроением. Правда, это значило только, что Генику двадцать лет, что он верит в свои организаторские таланты и готов померяться силами даже с Плехановым. А романтическое и серьезное положение «нелегального» заставляло его еще плотнее сжимать беззубые губы и насильно морщить гладкий розовый лоб. Кто думает, что он, Геник, еще «зеленый», тот ошибается самым роковым образом. Люди вообще имеют скверную привычку считать возраст признаком, определяющим опытность человека. Но здесь этого быть не может. Раз он приехал с специальными поручениями укрепить и поправить дело, подкошенное частыми провалами, ясно, что на лице его лежит некоторая глубокомысленная тень. Тень эта скажет сама за себя, коротко и ясно: «Опытен, отважен, хотя и молод. Зачем вам усы? И без усов все будет прекрасно...»

Такие и похожие на них мысли прекратились вместе со стуком извозничьих дрожек, доставивших Геника туда, куда ему нужно было попасть. Он вынул тощий кошелек, заплатил вознице и, поднявшись в третий этаж, нажал кнопку звонка.

Дверь отпер молодой человек с угрюмым и непроницаемым выражением лица. Не глядя на Геника, он повернулся к нему боком и, смотря в пол, холодно ответил на вопрос приезжего:

— Да, Варвара Михайловна живет здесь. Вот идите сюда, направо... еще... потом... и — вот сюда!

Он провел Геника по коридорчику и распахнул двери небольшой темной комнаты.

— А где же она? — сказал Геник, с недоумением смотря в темноту и не решаясь войти. — Быть может, скоро придет?

Юноша ничего не ответил на это, но, видя затруднение Геника, прошел вперед, зажег лампу на маленьком столике у стены и, по-прежнему боком, не глядя на посетителя, двинулся к выходу. Геник нерешительно спросил:

— Может быть, она... по делу ушла, товарищ?

Свирепый и подозрительный взгляд, исподлобья брошенный юношей, ясно дал почувствовать Генику неловкость своего вопроса. В самом деле, разве он знает, кто такой Геник? Оставшись один, приезжий с наслаждением растянулся на коротком диванчике и стал разглядывать комнату.

Здесь стояло два стола, один круглый, с цветной скатертью,— у дивана, другой, письменный,— у стены. На нем лежали книги, брошюры, разный бумажный хлам, блокноты, «нелегальщина». На светлых обоях смотрели прищипленные булавами Бакунин, Лавров, террористы и Надсон. В углу, у шкафа, белела кровать снежной чистоты, закрытая пикейным одеялом. Нигде ни пылинки, все прибрано и аккуратно.

— Вот явочная квартира,— сказал себе, усмехаясь, Геник.— Идиоты! Они совсем потеряли голову из-за провалов. Явочная квартира у комнатного жильца — что может быть нелепее? Как только познакомлюсь с местным комитетом, сейчас же обращу на это внимание. Явка должна быть там, где ходит много народа. Например: зубной врач, адвокат, библиотека... Эх! И отчего это мне так хочется есть?

Он внимательно обвел взглядом комнату, но нигде не было даже малейших признаков съестного. Это еще более разожгло в Генике желание съесть что-нибудь и во что бы то ни стало. Он поднялся, порывшись на окнах, в столе, но там не оказалось даже крошек.

— Если бы она была кисейная барышня,— сказал себе Геник,— то и тогда не могла бы питаться лунным светом. Сказано: «ищите и обрящите»!

Он походил немного взад и вперед, грызя ногти, потом решительно отворил нижнее отделение шкафа и вздрогнул от удовольствия: там лежали четыре яйца в бумажном мешочке, грецкие орехи, две груши. Груши исчезли, как сладкое воспоминание, но яйца оказались сырыми, и поэтому Геник сперва поморщился, а потом решительно разбил их и выпил, без соли, в один момент. Голод, однако, продолжал еще глухо ворочаться и брюзжать в желудке. Недовольный Геник уселся на полу и стал дробить орехи, ущемляя их дверцей шкафа.

— Конечно,— рассуждал он вслух,— я совершаю некоторое преступление. Но что такое частная собственность?

II

Треск раскалываемых орехов заглушил шаги девушки, вошедшей в комнату. Сначала она сконфуженно остановилась, затем покраснела и сказала:

— Ах, кушайте, пожалуйста! Я терпеть не могу орехов!

Геник вскочил с полным ртом, побагровел от мучительного усилия проглотить ореховую кашу и поклонился. Существо, стоявшее перед ним, ободрительно улыбнулось и сняло шляпу с маленькой русой головы. Геник протянул руку, бормоча:

— «Поклон от Карла-Амалии Грингмута».

— И вам «от князя Мещерского»,— ответила девушка.— Да вы садитесь, пожалуйста! Конечно, не на пол,— рассмеялась она,— а вот сюда хоть, что ли! Вы давно приехали?

Говоря это, она прошла по комнате, бросила взгляд на письменный стол, села против Геника и устремила на приезжего утомленные голубые глаза. Геник окинул взглядом ее маленькую, хрупкую фигурку и решил, что надо «взять тон».

— Приехал я недавно, сейчас,— сказал он протяжно, подымая брови, точь-в-точь так, как один из его знакомых «генералов».— Но прежде всего простите меня за то, что я съел у вас яйца и груши: я был голоден, как сто извозчиков.

— Ну, что за пустяки!— проводя рукой по лицу и глубоко вздыхая, сказала девушка.— Вот я вас попозже отправлю ночевать к одному товарищу из сочувствующих. Он богатый и угостит вас отличным ужином.

— Я приехал сейчас, с вечерним поездом,— продолжал Геник.— А что, в комитете получено письмо обо мне?

— Да, я получила это письмо,— задумчиво произнесла девушка.— Вы, значит, приехали устраивать?

— Да,— важно сказал Геник, вспомнив слова одного областника,— знаете, периферия всегда должна звучать в унисон с центром. А здесь, как нам писали, нехватка работников. Поэтому-то я и поторопился к вам, в надежде, что вы меня сегодня же сведете с каким-нибудь членом комитета, и мы выясним положение. Так нельзя, господа! Это не игра в бирюльки.

Он уже совершенно оправился от смущения и взял небрежно-деловую интонацию. Девушка улыбнулась.

— Вы давно работаете?

Геник вспыхнул. Проклятые усы, и когда они вырастут?

— Я думаю, что это не относится к делу,— нахмурился он.— Итак, как же мы будем с членом комитета?

— Ах, простите,— застенчиво извинилась девушка, кусая улыбающиеся губки,— я вас спросила совсем не потому, что... а просто так. А с членом комитета — уж и не знаю. Они ведь все в тюрьме.

Геник подскочил от удивления и опешил. Этого он ни в каком случае не ожидал.

— Как — в тюрьме? — растерянно пробормотал он.— А я думал...

— Да уж так,— грустно сказала девушка.— Вот уже три недели. А я прямо каким-то чудом уцелела. И, представьте, одно за другим: типография, потом архив, потом комитет.

— Но что же, что же осталось? — допытывался Геник.

— Что осталось? Осталась печать... и потом — гектограф. Кружки рабочие остались.

В ее усталых больших глазах светились раздумье и нетерпение. Утомление, как видно, настолько одолевало ее, что она не могла сидеть прямо и полулежала на столе, подпирая голову рукой. Геник смутился и взволновался. Ему показалось, что эта крошка смеется над ним или, в лучшем случае, желает отделаться от не внушающего доверия «устроивателя». Но, поглядев пристальнее в голубую чистоту мягких глаз девушки, он быстро успокоился, чувствуя как-то внутренне, что его опасения излишни.

— Так что же,— спросил он, закуривая папироску и снова невольно приосаниваясь,— вы, значит, не работаете, товарищ?

Девушка шире открыла глаза, очевидно, не поняв вопроса, и встряхнула головой, с трудом удерживаясь от зевоты.

— Я страшно устала,— тихо, как бы извиняясь, сказала она,— и больше не могу. Поэтому-то я и написала вам. У меня ведь адреса были... и все. Ожидая обысков, мне передали.

— Я ничего не понимаю,— с отчаянием простонал Геник, ероша волосы и чувствуя, что потеет.— Мы получили письмо от комитета здешнего...

— Да, да!— с живостью воскликнула девушка.— Это же я и написала, как будто от комитета; разве вы не понимаете? Ведь комитета же нет!

Геник облегченно вздохнул. Он понял, но тем не менее продолжал сидеть с вытаращенными глазами. И, наконец, через минуту, улыбаясь, спросил:

— И печать приложили?

— И печать приложила. Я, может, виновата, знаете, во всем, но иначе я не могла, уверяю вас, я не вру... Ведь они мне ничего не давали, ну, понимаете, решительно ничего не давали... А я все на побегушках да разная этакая маленькая чепуха... А когда они сели...

Она оживилась и выпрямилась. Теперь глаза ее блестели и сияло лицо, как у ребенка, довольного своей хитростью.

— Когда они и сели, я была как пьяная... и долго... пока не устала. С утра до вечера вертисься, вертисься, вертисься... Восемь кружков, ну, я их разделила по одному в неделю и... мы очень хорошо и приятно разговаривали... А потом, понимаете, чтобы полиция не возгордилась, что вот, мол, мы всех переловили, я стала на гектографе... А теперь я уж не могу. Ночью вскакиваю, кричу отчаянным голосом... Господи, если бы я была мужчиной!

Она вздохнула, и печальная тень легла на ее светлое лицо. Потом смешные и милые морщинки досады выступили между тонких бровей. Геник смотрел на нее и чувствовал, что лицо его неудержимо расплывается в заботливую улыбку. Помолчав немного, он спросил:

— А потом написали в «центр»?

— Да... Ну, конечно, вы понимаете, не могла же я уж сама, кто меня знает? А когда получается письмо от комитета, это совсем другое дело...

Но Геник уже не слушал ее. Он хохотал, как одержимый, закрывая руками прыгающий рот, хохотал всем нутром, всем заразительным весельем молодости. Минуту спустя в комнате было уже двое хохочущих людей, позабывших усталость, опасности и темное, жуткое

будущее... И один был серебристый и ясный смех, а другой — бурный и неистовый.

Потом усталость и заботы взяли свое. Девушка сидела молча; голубой взгляд ее скрашивал черную ночь, стоявшую за окном. Геник поборолся еще немного с сонливостью и сказал:

— Так вы отведете меня к буржую?

— Нет, — встрепенулась она. — Я расскажу вам. Вы найдете сами. Я не могу, простите... Я разбита, вся разбита, как ломовая лошадь.

На другой день вечером Геник сел писать подробнейшую реляцию в «центр». Между прочим, там было написано и следующее:

«Комитет ходит в юбке. Ему девятнадцать лет, у него русые волосы и голубые глаза. Очень маленький комитет».

У Геника, видите ли, была юмористическая жилка.

КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР

Подобно моряку,
Плывущему через Юрский пролив,
Не знаю, куда приду я
Через глубины любви.

Иоситада, японец.

I

Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрятала его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кружочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; безветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорослями и солью.

— Шесть тысяч тонн, — сказал Дрибб, опуская свой палец. — Пальмовое и черное дерево. Скажи, Гупи, нуждаешься ты в черном дереве?

— Нет, — возразил фермер, введенный в обман серьезным тоном Дрибба. — Это мне не подходит.

— Ну, — в атласной пальмовой жердочке, из которой ты мог бы сделать дубинку для своего будущего

наследника, если только спина его окажется пригодной для этой цели?

— Отстань,— сказал Гупи.— Я не нуждаюсь ни в каком дереве. И будь там пестрое или малиновое дерево,— мне одинаково безразлично.

— Дрибб,— проговорил третий колонист,— вы, кажется, хотели что-то сказать?

— Я? Да ничего особенного. Просто мне показалось странным, что барок, груз которого совершенно не нужен для нашего высокочтимого Гупи,— бросил якорь. Как вы думаете, Астис?

Астис задумчиво потянул носом, словно в запахе моря скрывалось нужное объяснение.

— Небольшой, но все-таки крюк,— сказал он.— Путь этого голландца лежал южнее. А впрочем, его дело. Возможно, что он потерпел аварию. Допускаю также, что капитан имеет особые причины поступать странно.

— Держу пари,— сказал Дрибб,— что его маленько потрепало в Архипелаге. Если же не так, то здесь открывается мебельная фабрика. Вот мое мнение.

— Пари это вы проиграете,— возразил Астис.— Месяц, как не было ни одного шторма.

— Я, видите ли, по мелочам не держу,— сказал, помолчав, Дрибб,— и меньше десяти фунтов не стану мараться.

— Согласен.

— Что же вы утверждаете?

— Ничего. Я говорю только, что вы ошибаетесь.

— Никогда, Астис.

— Сейчас, Дрибб, сейчас.

— Вот моя рука.

— А вот моя.

— Гупи,— сказал Дрибб,— вы будете свидетелем. Но есть затруднение: как нам удостовериться в моей правоте?

— Какая самоуверенность! — насмешливо отозвался Астис.— Скажите лучше, как доказать, что вы ошиблись?

Наступило короткое молчание. Дрибб заявил:

— В конце концов, нет ничего проще. Мы сами поведем на барок.

— Теперь?

— Да.

— Стойте! — вскричал Гупи. — Или мне послышалось, или гребут. Помолчите одну минуту.

В глубокой сосредоточенной тишине слышались протяжные всплески, звук их усиливался, равномерно отлетая в бархатную пропасть моря.

Дрибб встрепенулся. Его любопытство было сильно возбуждено. Он топтался на самом обрыве и тщетно силился рассмотреть что-либо.

Астис, не выдержав, закричал:

— Эй, шлюпка, эй!

— Вы несносный человек, — обиделся Гупи. — Вы почему-то думаете, что умнее всех. Один бог знает, кто из нас умнее.

— Они близко, — сказал Дрибб.

Действительно, шлюпка подошла настолько, что можно было различить хлюпанье водяных брызг, падающих с весла. Зашуршал гравий, послышались медленные шаги и разговор вполголоса. Кто-то взбирался по тропинке, ведущей с отмели на обрыв спуска. Дрибб крикнул:

— Эй, на шлюпке!

— Есть! — ответили внизу с сильным иностранным акцентом. — Говорите.

— Лодка с голландца?

Колонист не успел получить ответа, как незнакомый, плотную раздавший голос спросил его в свою очередь:

— Это вы так кричите, приятель? Я удовлетворю ваше законное любопытство: шлюпка с голландца, да.

Дрибб повернулся, слегка оторопев, и вытаращил глаза на черный силуэт человека, стоявшего рядом. В темноте можно было заметить, что неизвестный плечист, среднего роста и с бородой.

— Кто вы? — спросил он. — Разве вы оттуда приехали?

— Оттуда, — сказал силуэт, кладя на землю порядочный узел. — Четыре матроса и я.

Манера говорить не торопясь, произнося каждое слово отчетливым, хлестким голосом, произвела впечатление. Все трое ждали, молча рассматривая неподвижно черневшую фигуру. Наконец Дрибб, озабоченный исходом пари, спросил:



«ТРЕТИЙ ЭТАЖ»



«НА СКЛОНЕ ХОЛМОВ»

— Один вопрос, сударь. Барок потерпел аварию?

— Ничего подобного,— сказал неизвестный,— он свеж и крепок, как мы с вами, надеюсь. При первом ветре он снимается и идет дальше.

— Я доволен,— радостно заявил Астис.— Дрибб, платите проигрыш.

— Я ничего не понимаю! — вскричал Дрибб, которого радость Астиса болезненно резнула по сердцу.— Гром и молния! Барок не увеселительная яхта, чтобы тыкаться во все дыры... Что ему здесь надо, я спрашиваю?..

— Извольте. Я уговорил капитана высадить меня здесь.

Астис недоверчиво пожал плечами.

— Сказки! — полувопросительно бросил он, подходя ближе.— Это не так легко, как вы думаете. Путь в Европу лежит южнее миль на сто.

— Знаю,— нетерпеливо сказал приезжий.— Лгать я не стану.

— Может быть, капитан — ваш родственник? — спросил Гупи.

— Капитан — голландец, уже поэтому ему трудно быть моим родственником.

— А ваше имя?

— Горн.

— Удивительно! — сказал Дрибб.— И он согласился на вашу просьбу?

— Как видите.

В его тоне слышалась скорее усталость, чем самоуверенность. На языке Дрибба вертелись сотни вопросов, но он сдерживал их, инстинктом чувствуя, что удовлетворению любопытства наступили границы. Астис сказал:

— Здесь нет гостиницы, но у Сабо вы найдете ночлег и еду по очень сходной цене. Хотите, я провожу вас?

— Я в этом нуждаюсь.

— Дрибб... — начал Астис.

— Хорошо,— раздраженно перебил Дрибб,— вы получите 10 фунтов завтра, в восемь часов утра. До свидания, господин Горн. Желаю вам устроиться наилучшим образом. Пойдем, Гупи.

Он повернулся и зашагал прочь, сопровождаемый свиноводом.

— Теперь я держу пари, что с Дрибба получить придется только с помощью увесистой ругани. Господин Горн, я к вашим услугам.

Астис протянул руку, повернулся и удивленно прищелкнул языком. Он был один.

— Горн! — позвал Астис.

Никого не было.

II

Цветущие, низкорослые заросли южных холмов дымилась тонкими испарениями. Расплавленный диск солнца стоял над лесом. Небо казалось голубой, необъятной внутренностью огромного шара, наполненного хрустальной жидкостью. В темной зелени блестела роса, причудливые голоса птиц звучали как бы из-под земли; в переливах их слышалось томное, ленивое пробуждение.

Горн шагал к западу, стремясь обойти цепь оврагов, заполнявших пространство между колонией и северной частью леса. Старый кольтовский штуцер покачивался за его спиной. Костюм был помят — следы ночи, проведенной в лесу. Шел он ровными, большими шагами, тщательно осматриваясь, разглядывая расстояние и почву с видом хозяина, долго пробывшего в отсутствии.

Юное тропическое утро охватывало Горна густым дыханием сочной, мясистой зелени. Почти веселый, он думал, что жить здесь представляет особую прелесть дикости и уединения, отдыха потревоженных, невозможного там, где каждая пядь земли захватана тысячами и сотнями тысяч глаз.

Он миновал овраги, гряды базальтовых скал, похожих на огромные кучи каменного угля, извилистый перелесок, опоясывающий холмы, и вышел к озеру. Места, только что виденные, не удовлетворяли его. Здесь не было концентрации, необходимого и гармонического соединения пространства с лесом, гористостью и водой. Его тянуло к уютности, полноте, гостеприимству природы, к тенистым, прихотливым углам. С тех пор, как

будущее перестало существовать для него, он сделался строг к настоящему.

Зной усиливался. Тишина пустыни прислушивалась к идущему человеку; в спокойном обаянии дня мысли Горна медленно уступали одна другой, и он, словно читая книгу, следил за ними, полный сосредоточенной грусти и несокрушимой готовности жить молча, в самом себе. Теперь, как никогда, чувствовал он полную свою оторванность от всего видимого; иногда, погруженный в думы и резко пробужденный к сознанию голосом обезьяны или шорохом пробежавшей лирохвостки, Горн подымал голову с тоскливым любопытством, — как попавший на другую планету, — рассматривая самые обыкновенные предметы: камень, кусок дерева, яму, наполненную водой. Он не замечал усталости, ноги ступали механически и деревенели с каждым ударом подошвы о жесткую почву. И к тому времени, когда солнце, осилив последнюю высоту, сожгло все тени, затопив землю болезненным, нестерпимым жаром зенита, достиг озера.

Мохнатые, разбухшие стволы, увенчанные гигантскими, перистыми пучками, соединялись в сквозные арки, свесившие гирлянды ползучих растений до узловатых корней, сведенных, как пальцы гнома, подземной судорогой, и папоротников, с их нежным, изящным кружевом резных листьев. Вокруг стволов, вскидываясь, как снопы зеленых ракет, склонялись веера, зонтики, заостренные овалы, иглы. Дальше, к воде, коленчатые стволы бамбука переплетались, подобно соломе, рассматриваемой в увеличительную трубу. В просветах, наполненных темно-зеленой густой тенью и золотыми пятнами солнца, сверкали крошечные, голубые кусочки озера.

Раздвигая тростник, Горн выбрался к отмели. Прямо перед ним узкой, затуманенной полосой тянулся противоположный берег; голубая, стального оттенка поверхность озера дымилась, как бы закутанная тончайшим газом. Справа и слева берег переходил в обрывистые холмы; место, где находился Горн, было миниатюрной долиной, покрытой лесом.

Сравнивая и размышляя, Горн бросил на песок кожаную сумку и сел на нее, отдавшись рассеянному покою. Место это казалось ему подходящим, к тому же нетерпение приступить к работе решило вопрос в пользу берега. Он видел квадратную, расчищенную площад-

ку и легкое здание, скрытое со стороны озера стеной бамбука. С помощью одного топора, посредством крайнего напряжения воли, он надеялся создать угол, свободный от нестерпимого соседства людей и липких, чужих взглядов, после которых хочется принять ванну.

Посреди этих размышлений, стирая картины предстоящей работы, вспыхнула старая, на время притупленная боль, увлекая воображение к титаническим городам севера. Тысячемильные расстояния сокращались, как лопнувшая резина; с раздражающей отчетливостью, обхватив колена красными от загара руками, Горн видел сцены и события, центром которых была его воспаленная, запятанная душа. Остановившимся, потемневшим взором смотрел он на застывшие в определенном выражении черты лиц, матовый лоск паркета, занавеси окна, вздуваемые ветром, и тысячи неодушевленных предметов, напоминающих о страдании глубже, чем самая причина его. Светлый, бронзовый канделябр с оплывающими свечами горел перед ним, похищая у темноты маленькую, окаймленную кружевом руку, протянутую к огню, и снова, как несколько лет назад, слышался стук в дверь — громкое и в то же время немое требование...

Горн встряхнул головой. На одно мгновение он сделался противен себе, напоминая ампутированного, сдерживающего повязку, чтобы взглянуть на омертвевший разрез. Томительная тишина берега походила на тишину больничных палат, вызывающую в нервных людях потребность кричать и двигаться. Чтобы развлечься, он приступил к работе. Он чувствовал настоящую мускульную тоску, желание утомляться, подымать тяжести, рубить, вколачивать.

И с первым же ударом синеватой английской стали в упругий ствол бамбука Горн загорелся пароксизмом энергии, неистовством напряжения, жаждущего подчинять материю непрерывным градом усилий, следующих одно за другим в возрастающем сладострастии изнеможения. Не переставая, валил он ствол за стволом, обрубал листья, ломал, отмеривал, копал ямы, вбивал колья; с глазами, полными зеленой пестроты леса, с душой, как бы оцепеневшей в звуках, производимых его собственными движениями, он погружался в хаос

физических ощущений. Грудь ломило от учащенного дыхания, едкий пот зудил кожу, ладони рук горели и покрывались водяными мозолями, ноги наливались отяжелевшей венозной кровью, острая боль в спине мешала выпрямиться, все тело дрожало, загнанное лихорадочной жаждой убить мысль. Это было опьянение, оргия изнурения, иступление торопливости, наслаждение насилием. Голод, подавленный усталостью, действовал, как наркотик. Изредка, мучаясь жаждой, Горн бросал топор и пил холодную солоноватую воду озера.

Когда легли тени и вечерняя суматоха обезьян возвестила о приближении ночи, маленькая, дикая коза, пришедшая к водопою, забилась в камыше, подстреленная пулей Горна. Огонь был поваром. Дымящиеся, полусожженные куски мяса пахли травой и кровавым соком. Горн ел много, работая складным ножом с такой же ловкостью, как когда-то десертной ложкой.

Насыщаясь, охваченный растущей темнотой, пронизанной красным отблеском тускнеющих, сизоватых углей костра, Горн вспомнил барок. С корабельного борта его дальнейшее существование казалось ему загадочной сменой дней, полных неизвестности и однообразия, растительным ожиданием смерти, сменяемым изредка приступами тяжелой тоски. Он как бы видел себя самого, маленькую человеческую точку, с огромным, заключенным внутри миром,— точку, окрашивающую своим настроением все, схваченное сознанием.

Пряная сырость сгушалась в воздухе, мелодия лесных шорохов плела тонкое кружево насторожившейся тишины, прелый, сладковатый запах оранжереи поддерживал возбуждение. Мысли бродили вокруг начатой постройки, возвращаясь и к океану и к отрывочным представлениям прошлого, утратившего свою остроту в чувстве полной разбитости. Приближался тяжелый, мертвый сон, веяние его касалось ресниц, путало мысли и невидимой тяжестью проникало в члены.

Последний уголь, потрескивая, разгорелся на одно мгновение, приняв цвет раскаленного железа, осветив ближайшие, свернувшиеся от жары стебли, и померк. И вместе с ним отлетел в бархатную черноту дух Огня, веселый, прыгающий дух пламени.

Крик рыси тревожно прозвучал на холме, стих и, снова усиливаясь, раздался жалобной, протяжной угро-

зой. Горн не слышал его, он спал глубоким, похожим на смерть, сном — истинное счастье земли, царства пыток.

Через пять дней на ровной четырехугольной площадке, гладко утрамбованной и обнесенной изгородью, стоял небольшой дом с односкатной крышей из тростника и окном без стекол, выходящим на озеро. Устойчивая, самодельная мебель состояла из койки, стола и скамеек. В углу высился земляной массивный очаг.

Кончив работу, согнувшийся и похудевший Горн, пошатываясь от изнурения, пробрался узкой полосой отмели к подножию холма, достиг вершины и осмотрелся.

На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расщелинами и пятнами худосочных кустарников. На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей в город, по краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся издали крошечными, как побеги салата. На западе, облегая изрытую оврагами и холмами равнину, тянулась синяя, сверкающая белыми искрами гладь далекого океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо рассаженной зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер.

III

Туземная двухколесная тележка переехала дорогу под самым носом Гупи. Миновав облако едкой пыли, Гупи увидел незнакомого человека, шагавшего навстречу, и невольно остановился. Этого человека он не помнил, но в то же время как будто встречал его. Смутное воспоминание о голландском бароке подстрекнуло природное любопытство Гупи, он снял шляпу и поклонился.

— Э! — сказал Гупи, прищуриваясь. — Вы из города?

— Еще не был в городе, — возразил Горн, сдержав шаг, — и едва ли пойду туда.

— Ну да, ну да! — осклабился Гупи. — Я так и думал. Я узнал вас по голосу. Неделю назад вы высадились в маленькой бухте, так ведь?

— Я высадился в маленькой бухте, это верно, — проговорил, соображая, Горн, — но я не думаю, чтобы встречался с вами.

Гупи захохотал, подмигивая.

— Астис и Дрибб держали пари, — сказал он, успокаиваясь. — Я ушел с Дриббом, Астис уверял всех, что вы провалились сквозь землю. Сыграли вы шутку с ним, черт побери!

— Теперь я, кажется, припоминаю, — сказал Горн. — Да, я несомненно чувствовал ваше присутствие в темноте.

— Вот, вот! — закивал Гупи, потя от удовольствия поболтать. — А почему вы не пошли с Астисом?

— Скажу правду, — улыбнулся Горн, — откровенно говоря, мне было совестно затруднять столь почтенных людей. Другой солгал бы вам и сказал, что все вы показались ему глупыми, болтливыми и чересчур любопытными, но я — другое дело. Чувствуя расположение к вам, я не хочу лгать.

Он произнес это с совершенно спокойным выражением лица, и Гупи, приняв за чистую монету замаскированное оскорбление, расплылся в самодовольной улыбке.

— Ну, ну, — снисходительно возразил он, — велика важность! А вы, честное слово, хороший парень, вы мне нравитесь. Моя ферма в полумиле отсюда; кусок жареной свинины и стакан пива, а? Что вы на это скажете?

— Пойдемте, — согласился, помолчав, Горн. Самоуверенные манеры колониста забавляли его, он спросил: — Сколько у вас жителей?

— Много, — пропыхтел Гупи, взмахивая рукой. — С тех пор, как пароходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепечивают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отвыкнуть.

Лабиринт зеленых изгородей, полный сухой пыли, змеился по отлогому возвышению. Ноги Горна по ши-

колотку увязали в красноватом песке; пыль щекотала ноздри. Гупи рассказывал:

— Женщин здесь встретите реже, чем змей. В прошлом году на прачку, выехавшую сюда за сто миль, устроили настоящий аукцион. Посмотрели бы вы, как она, подбоченившись, стояла на прилавке «Зеленой раковины»! Три человека переманивали ее друг у друга и в конце концов пошли на уступки: одного разыскали в колодце... а двое так и живут с ней.

Гупи перевел дух и продолжал далее. По его словам, не более половины жителей имели семейства и жили с белыми женщинами, остальные довольствовались туземками, соблазненными перспективой безделья и цветной тряпкой, в то время как отцы их валялись рядом с бутылками, оставленными сметливым женихом.

Пришлое население, почти все бывшие ссыльные или дети их, дезертиры из отдаленных колоний, люди, стыдившиеся прежнего имени, проворовавшиеся служащие — вот что сгрудилось в количестве ста дымовых труб около первоначального крошечного поселка, основанного двумя бывшими каторжниками. Один умер, другой еще таскал из дома в дом свое изможденное пороками дряхлое тело, здесь ужиная, там обедая и везде хныкая об имуществе, проигранном в течение одной ночи более удачливому мерзавцу.

— Вот дом,— сказал Гупи, протягивая негнущуюся ладонь фермера к высокому, напоминающему башню строению.— Это мой дом,— прибавил он. В лице его легла тень тупой важности.— Хороший дом, крепкий. Хотя бы для губернатора.

Высокая изгородь тянулась от двух углов здания, охватывая кольцом невидимое снаружи пространство. Заложив руки в карманы и задрав голову, Гупи прошел в ворота.

Горн осмотрелся, пораженный своеобразным величием свиного корыта, царствовавшего в этом углу. Раскаленная духота двора дышала нестерпимым зловонием, мириады лоснящихся мух толклись в воздухе; зеленая навозная жижа липла к подошвам, визг, торопливое хрюканье, острый запах свиных туш — все это разило трепетом грязного живого мяса, скученного на пространстве одного акра. Толстые, желтые туловища двигались во всех направлениях, трясясь от собственной

тяжести. Двор кишел ими; огромные, с черной щетиной, борова, нескладные, вихляющиеся подростки, розовые, чумазые поросята, беременные, вспухшие самки, изнемогающие от молока, стиснутого в уродливо отвисших сосцах, — тысячи крысиных хвостов, рыла, сверкающие клыками, разноголосый, режущий визг, шорох трущихся тел — все это пробуждало тоску по мылу и холодной воде. Гупи сказал:

— А вот это мои свинки! Каково?

— Недурно, — ответил Горн.

— Каждый месяц продаю дюжины две, — оживился Гупи, с наслаждением раздувая ноздри. — Это самые спокойные животные. И возни почти никакой. Иногда, впрочем, они пожирают маленьких — и тут уже смотри в оба. Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножко пообчистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится.

— Свиньи красивы, — сказал Горн.

Гупи потер лоб и сморщился. Горн раздражал его, у этого человека был такой вид, как будто он много раз видел свиней и Гупи.

— Я собирался уйти, — заговорил Горн, — но вспомнил, что хочу пить. Если у вас есть вино — хорошо, нет — не надо.

— Есть туземное пиво, «сахха». — Гупи дернулся по направлению к дому. — Из саго. Не пили? Попробуйте. Вскружит голову, как Эстер.

Неуютная, почти голая комната, куда вошел Горн, смягчалась ослепительным блеском неба, врывавшегося в окно; на его синем четырехугольнике толпились остроконечные листья и перистые верхушки рощи. Гупи схватил палку и громко треснул ею об стол.

Полуголое существо, с прической, напоминающей папские тиары, вышло из боковой двери. Это была женщина. Плечи ее прикрывал бумажный платок. Темное лицо с выпуклыми, как бы припухшими губами неподвижно осматривало мужчин.

— Дай пива, — коротко бросил Гупи, усаживаясь за стол.

Горн сел рядом. Женщина с темным телом внесла кувшин, кружки и не уходила. Продолговатые быстрые глаза ее скользили по рукам Горна, костюму и голове.

Она была не старше восемнадцати лет; грубую милость ее приплюснутого лица сильно портила блестящая жестяная дужка, продетая в ухо.

— Не торчи здесь,— сказал Гупи.— Уйди.

Верхняя губа девушки чуть-чуть приподнялась, блеснув полоской зубов. Она вышла, сонно передвигая ногами.

— Я с ней живу,— объяснил Гупи, высасывая стакан.— Идиотка. Они все идиоты, хуже негров.

— Я думал, что у вас нет... женщины,— сказал Горн.

— Женщины у меня нет,— подтвердил Гупи.— Я не женат и любовниц не завожу.

— Здесь только что была женщина.— Горн пристально посмотрел на Гупи.— А может быть, я ошибся...

Гупи расхохотался.

— Женщинами я называю белых,— гордо возразил он, поуспокоившись и принимая несколько презрительный тон.— А это... так. Я не старик... понимаете?

— Да,— сказал Горн.

Он сидел без мыслей, рассеянный; все окружающее казалось ему острым и кислым, как вкус «сахха». Гупи боролся с отрыжкой, смешно оттопыривая щеки и выкатывая глаза.

Пиво кружило голову, холодной тяжестью наливаясь в желудок. Синий квадрат неба веял грустью. Горн сказал:

— Кружит голову, как Эстер... Вы, кажется, так выжили.

— Вот именно,— кивнул Гупи.— Только Эстер не выпьешь, как эту кружку. Дочь Астиса. Несчастье здешних парней. Когда молодой Дрибб женится, у него будет врагов больше, чем у нас с вами. Сегодня пятница, и она придет. Если увидите, не делайте глупое лицо, как все прочие, это ей не в диковину.

— Я посмотрю,— сказал Горн.— Люди мне еще интересны.

— Вот вы,— Гупи посмотрел сбоку на Горна,— вы мне нравитесь. Но вы все молчите, черт побери! Как вы думаете жить?

Горн медленно допил кружку.

— В лесах много еды,— улыбнулся он, рассматривая переносицу собеседника.— Жить-то я буду.

— А все-таки,— продолжил Гупи.— Возиться с ружьем и местными лихорадками... Клянусь боровом, вы исхудаете за один месяц.

Горн нетерпеливо пожал плечами.

— Это неинтересно,— сказал он,— к тому же мне пора трогаться. Кофе и порох ждут меня, а я засиделся.

— Не торопитесь! — вскричал Гупи, краснея от замешательства при мысли, что Горн так-таки и остался нем.— Разве вам одному веселее?

Горн не успел ответить; Гупи, скорчив любезнейшую гримасу, повернулся к стукнувшей двери с выражением нетерпеливого ожидания.

— Повернитесь, Горн,— сказал он, блестя маленькими глазами.— Пришла кружительница голов,— да ну же, какой вы неповоротливый!

Ироническая улыбка Горна растаяла, и он, с серьезным лицом, с кровью, медленно отхлынувшей к сердцу, рассматривал девушку. Мысль о красоте даже не пришла ему в голову. Он испытывал тяжелое, болезненное волнение, как раньше, когда музыка дарила его неожиданными мелодиями, после которых хотелось молчать весь день или напиться.

— Гупи, вам нужно подождать,— сказала Эстер, взглядывая на Горна. Посторонний смущал ее, заставляя придавать голосу бессознательный оттенок высокомерия.— У отца нет денег.

Гупи позеленел.

— Шути, моя красавица! — прошипел он, неестественно улыбаясь.— Клади-ка то, что спрятала там... ну!

— Мне шутить некогда.— Эстер подошла к столу и уперлась ладонями о его край.— Нет и нет! Вам нужно подождать с месяц.

И в тот короткий момент, когда Гупи набирал воздуха, чтобы выругаться или закричать, девушка улыбнулась. Это было последней каплей.

— Радуйся! — закричал Гупи, вскакивая и бегая.— Ты смеешься! А даст ли мне твой отец хоть грош, когда я буду околевать с голода? Я роздал тысячи и должен теперь ждать! Клянусь головой бабушки, мне надоело! Я подаю в суд, слышишь, вертушка?

Горн встал.

— Я не хочу мешать,— сказал он.

— Эстер,— заговорил Гупи,— вот человек из страны честных людей,— спроси-ка его, можно ли не держать слова?

Девушка пристально посмотрела в лицо Горна. Смущенный, он повернул голову; эти матовые, черные глаза как будто приближались к нему. Гупи ерошил волосы.

— Прощайте,— сказал Горн, протягивая руку.

— Приходите,— проворчал Гупи,— но вы меня беспокоите. Ах, деньги, деньги! — Он сделал усилие и продолжал: — Надеюсь, вы сделаетесь поразговорчивее. Если бы вы взяли участок!

Горн вышел во двор и, остановившись, прислушался. Сверху доносились возбужденные голоса. Он тронулся, попадая в лужи воды и слякоть, истыканную ногами.

Торопливое дыхание заставило его обернуться. Эстер шла рядом, слегка придерживая короткую полосатую юбку и оживленно размахивая свободной рукой. Горн молчал, подыскивая слова, но она предупредила его.

— Вы тот самый, что высадился неделю назад?

У нее был чистый и медлительный голос, звуки которого, казалось, пронизывали все ее тело, выражая лицом и взглядом то же, что говорит рот.

— Тот самый,— подтвердил Горн.— А вы — дочь Астиса?

— Да.— Эстер поправила косы, сбившиеся под остроконечной туземной шляпой.— Но жить здесь вам не придется.

Горн улыбнулся так, как улыбаются взрослые, слушая умных детей.

— Почему?

— Здесь работают.— Высокие брови девушки задумчиво напряглись.— У вас руки, как у меня.

Она вытянула свои украшенные кольцами руки, смуглые и маленькие, и тотчас же их опустила. Она сравнивала этого человека с дюжими молодцами ферм.

— Вам нечего делать здесь,— решительно сказала она.— Вы из города и кажетесь господином. Здесь нет ничего хорошего.

— Есть,— серьезно возразил Горн.— Озеро. И мой дом там.

Она даже остановилась.

— Дом? Там жили пять лет назад, но все выгорело.

— Эстер,— сказал Горн,— теперь вы видите, что и я умею работать. Я создал его в шесть дней, как бог — небо и землю.

Они вышли за изгородь, напутствуемые оглушительным хрюканьем, и шли рядом, погружая ноги в горячий красноватый песок. Эстер засмеялась медленным, как и ее голос, смехом.

— Горожане любят шутить.

— Нет, я не вру.— Горн повернул голову и коротко посмотрел в яркое лицо девушки.— Да, я буду здесь жить. Без дела.

Он видел ее полураскрытый от уважения рот, удивленные глаза и чувствовал, что ему не скучно. Наступило молчание.

Клуб пыли, сверкающий босыми пятками и бронзовым телом, мчался наперерез. Горн задержал шаги. Пыль улеглась; что-то невообразимо грязное и изодранное топталось перед ним, размахивая длинными, как у обезьяны, руками. Эти странные телодвижения сопровождалось сильными выкриками и вздохами, похожими на рыдания.

— Бекеко,— сказала девушка.— Не бойтесь, это Бекеко. Он дурачок, смирный парень... Бекеко, ты что?

Разбухшая, с плешинами, голова тыкалась в юбку девушки. Бекеко радовался, по временам прекращая свои ласки и прилипая к Горну неподвижными белесоватыми глазами. Он был противен и возбуждал холодное сожаление. Горн отошел к изгороди.

— Бекеко, иди домой, тварь! — вскричала Эстер, заметив, что дурак старается уцепиться за ее руку.

Идиот выпрямился, смеясь и повизгивая, как собака.

— Эстер,— сказал он, не переставая топтаться,— я хочу набрать много полосатых юбок и все принесу тебе. У меня все колет за щекой!

Эстер сделала испуганное лицо.

— Огонь! — вскричала она.— Бекеко, огонь!

Впечатление этих слов было убийственно. Скорчив-

шись, Бекеко упал, охватив голову руками и вздрагивая. Спина его тяжело вздымалась и опускалась.

— Зачем это? — спросил Горн, рассматривая упавшего.

— Так, — сказала Эстер. — С ним нельзя. Он привяжется, как собака, и будет ходить за вами, пока не скажешь одно слово: «огонь». Его кормил брат, но как-то сгорел, пьяный. Дурак боится огня больше побоев. Я вижу его редко, он больше слоняется по болотам и ест неизвестно что.

Горн закурил трубку.

— Я знал, что вы существуете, — сказал он, вдавливая пепел, — раньше, чем вы пришли.

Девушка блеснула улыбкой.

— От Гупи, — протянула она. — Он говорит: это кружильница голов.

— Да, — повторил Горн, — вы — кружильница голов.

Он снова посмотрел на нее: ни тени смущения. Лицо ее не выражало ни кокетства, ни благодарности, и он сам испытал некоторое замешательство, затянувшись табаком глубже, чем обыкновенно.

— Я живу там, — сказала девушка, показывая налево, — где желтая крыша. Отец любит гостей. Вам куда?

— Кофе, табак и порох, — сказал Горн, загибая три пальца. — Я иду к ним.

— К Сабо, — поправила девушка. — У вас штуцер?

— Да.

Эстер кивнула глазами.

— У меня карабин, — сказала она. — Но здесь трудно достать патроны, мы ездим в город. Я целюсь снизу и попадаю без промаха.

— Вы хотите сказать, что не уверены в том же относительно меня, — произнес Горн. — Но я не застенчив. Отойдите вправо.

Он вынул револьвер и, смеясь, поклонился девушке.

— Ведь вам в ту сторону? Шагах в тридцати отсюда вы видите тоненький ствол? Идя мимо, остановитесь, и если в нем отыщете пулю — обернитесь.

Теперь он видел спину Эстер, удаляющийся черноволосый затылок и, прицелившись, едва не чихнул от солнца, заигравшего на отполированной стали револь-

вера. Удар выстрела опустил его руку. Эстер шла, тихо-хонько покачиваясь, и остановилась у дерева.

Обернувшись, она весело махнула рукой, и снова Горну почудилось, что глаза ее, отделившись, плывут в воздухе.

IV

Никто не будил Горна, он поднялся сам, внезапно с полной отчетливостью сознания, без сонной вялости тела, без зевоты, как будто не спал, а ждал, лежа с закрытыми глазами.

Спокойный, слегка недоумевающий, он попытался дать себе представление о причинах, так бесследно вернувших его к сознанию. Розовый хмель утра дышал в окно влажным туманом, солоноватой прелью отмелей и молчаньем шорохов, неуловимых, как шаг мысли засыпающего человека. Озеро дымилось. Колеблющиеся испарения устилали поверхность, обнажая у берегов светлые, голубые лужицы заснувшей воды.

Горн стоял у окна, растворившись в мелодичной тишине спящего воздуха. На ясном, с закрытыми глазами, лице рассвета плавился блестящий край диска; облачные холмы плыли за горизонт, паутинная резьба леса затягивала другой берег, и Горн подумал, что это могли быть толпы зеленых рыцарей, спящих стоя. Копья, на которые они опирались, были украшены неподвижными зелеными перьями.

Вдруг все изменилось, бесчисленные лучи градом золотых монет рассыпались по земле; вода заблестела ими, некоторые легли у ног Горна, прозрачные, кованные из света и воздуха. Зелень, стеклянная от росы, сохла на глазах Горна. Комочки побуревших цветов бухли и наливались красками, распрямляясь, как вздрагивающие пальцы ребенка, протянутые к игрушке. Густой запах земли щекотал ноздри. Зеленые, голубые, коричневые и розовые оттенки облили стволы бамбука, трепеща в тканях листвы спутанными тенями, и где-то невдалеке горло лесной птицы бросило низкий свист, неуверенный и оборванный, как звук настраиваемого инструмента.

Горн стоял, налитый до макушки, подобно пустой бутылке, зеленым вином земли, потягивающейся от сна.

Молоко, брызжащее из нежной, переполненной груди невидимой женщины, невидимо падало на его губы, и он представлял ее, ловил ее посланную небу улыбку и шурился от золотой паутины, заткавшей мир. Душа его раздвоилась, он мог бы засмеяться, но не хотел, готов был поверить зеленым рыцарям, но делал усилие и перебивал их тихие голоса настойчивыми воспоминаниями.

Спор Горна с Горном оборвался так же быстро и резко, как резко скрипнула дверь, медленно открываемая снаружи. Щель увеличивалась, человек, тянувший ее, стоял ближе к углу и не был виден.

Горн ждал, неуверенный, что там кто-нибудь есть. Дверь отворялась сама и раньше; это происходило от небольшой кривизны петель. Инстинктивно, больше из любопытства, чем осторожности, он устремил взгляд на ту точку, где скорее всего мог ожидать встретить человеческие глаза.

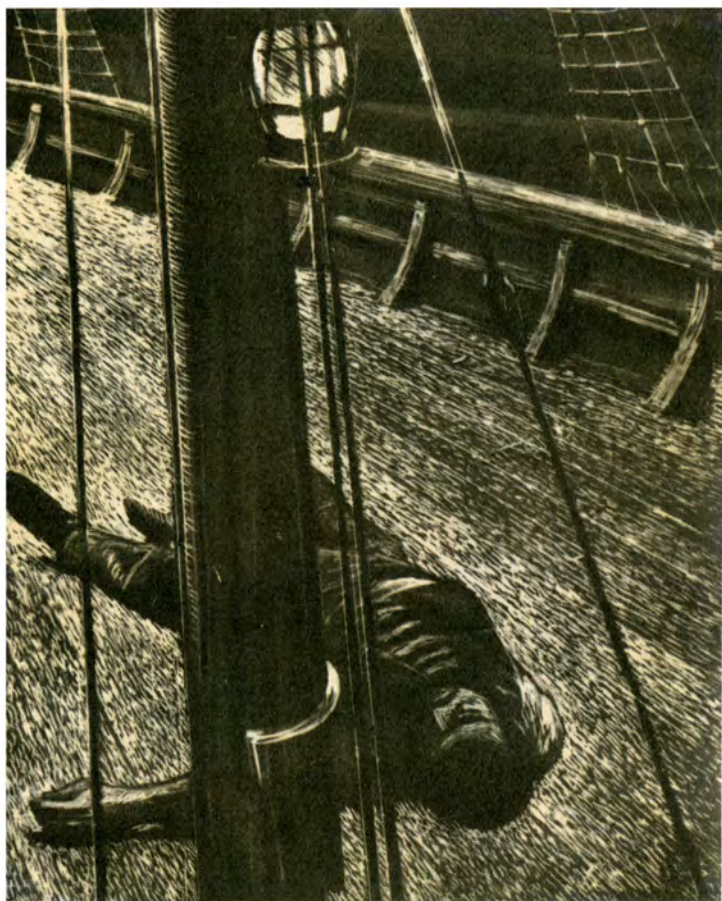
Но следующий момент заставил его взглянуть ниже. Глаз и часть лба, опутанного белыми волосами, появились на уровне четырех футов снизу; кто-то заглядывал, согнувшись, юркнул за дверь и почти тотчас же показался вновь.

Человек этот, покачнувшись, прошел в дверь, притворил ее и, неуклюже мотнув головой, уставился в лицо Горна глазами, пестрыми от морщин и красных жилок. По-видимому, он был пьян.

Прямой, как жердь, с тупым, неподвижным блеском выцветших глаз, в лохмотьях и босиком, он мог бы отлично сойти за черта, прикинувшегося нищим. В нескольких шагах расстояния руки его казались синими, как у мертвеца, но, подойдя вплотную, можно было рассмотреть сплошной рисунок татуировки, покрывавшей все тело, от шеи до пояса. Змеи, японские драконы, флаги, корабли, надписи, неприличные сцены, цинические изображения теснились друг к другу на груди и руках, мешаясь с белесоватыми рубцами шрамов. На шее мотался шарф, превращенный грязью и временем в кусок веревки. Рваная тулья шляпы прикрывала остроконечные, как у волка, уши и лицо цвета позеленевшей бронзы. Нос, перебитый палочным ударом, хмуро кривился вниз. Куртка, лишенная рукавов, открывала голую грудь. От всей этой фигуры веяло подозритель-



«ЖИЗНЬ ГНОРА»



«ПРОЛИВ БУРЬ»

ным прошлым, темными закоулками сердца, притонами, блеском ножей, хриплой злобой и человеческой шерстью, иногда более жуткой, чем мех тигра. Старик, что называется, пожил.

— Что скажете? — спросил Горн. Он был несколько озадачен. Фигура эта не внушала ему доверия. Странная, как обрывок сна, она переминалась с ноги на ногу.

— Что скажете? — пробормотал оборванец, подмигивая и слясь держаться прямо. — Если вы спросите меня — кто я? — я вам отвечу честно и откровенно. Как хотите, а любопытно взглянуть на человека, живущего вроде вас. Я сам так жил... сам... лет тридцать тому назад я прятался на безлюдном атолле от дьявольски любопытных кэпи. Они, правда, взяли свое... потом... о! — спустя много времени.

Старик брызгал слюной, и в его высохшем, словно передавленном горле катался желвак. Горн спросил:

— Как вас зовут?

— Ланфиер, — захрипел гость, — Ланфиер, если вам это будет угодно.

Горн сосредоточенно кивнул головой. Старик показался ему забавным, важность, с которой он называл себя, таила неискреннее и хитрое ожидание. Горн сказал:

— А я — Горн.

Ланфиер сильно расхохотался.

— Горн? — переспросил он, подмигивая левым глазом, в то время как правый тускнел, поблескивая зрачком. — Ну, да — Горн, конечно, кем же вы можете еще быть.

Горн нахмурился, развязность каторжника пробудила в нем легкое нетерпение.

— Я, — сказал он, — могу быть еще другим. Человеком, который не привык вставать рано. А вы, кроме того, что вы Ланфиер, можете быть еще человеком, только случайно заставшим меня так, как я есть, — не спящим.

Ланфиер молча оскалил зубы. Он не ответил, его пьяные мысли, ползающие на четвереньках, сбивались в желание щегольнуть явной бесцеремонностью и апломбом.

— Я первый стал жить в этой дыре, — вызывающе произнес он, усаживаясь на жесткое ложе Горна. — Черт и зверь проклинали колонию раньше, чем мой первый

удар заступа прогрыз слой земли. Я хочу с вами познакомиться. Про меня много болтают, но, клянусь честью, я был осужден невинно!

Горн молчал.

— Я всегда уважал труд,— сказал Ланфиер с видимым отвращением к тому, что выговаривали его губы.— Вы мне не верите! Пожили бы вы со мной лет сорок назад...

Двусмысленная улыбка прорезала его сухой рот.

— Смерть люблю молодых,— продолжал каторжник.— Вы приехали, устроили себе угол, как независимый человек, никого не спрашивая и не советуясь. Вы — сам по себе. Таких я и уважаю; да, я хлопнул бы вас по плечу, если бы знал, что вы не рассердитесь. Держу пари, что вы способны кулаком проломить череп и не дадите себя в обиду. Здесь иначе и нельзя, имейте это в виду... Если кто из колонии не нюхал крови, так это я, безобидный и, даю слово, самый порядочный человек в мире.

— К делу,— сказал Горн, теряя терпение.— Если вам нужно что-нибудь — говорите.

Зрочки Ланфиера съезжились и потухли. Он что-то соображал. Проспиритованный мозг его искал хотя бы маленького, но цепкого крючочка чужой души.

— Я,— хмуро заговорил он,— ничего не имею, если даже вы меня и выгоните. Несчастному одна дорога — презрение. Клянусь огнем и водой, я чувствую к вам расположение и зашел узнать, как ваше здоровье. Я ведь не полисмен, черт возьми, чтобы строгать вас расспросами, не оставили ли вы за собой чей-нибудь косой взгляд... там, за этой лужицей соленой воды. Мне все равно. Всякий живет по-своему. Я только хочу вас предупредить, чтобы вы были поосторожнее. О вас, видите ли, говорят много. Отбросив болтовню дураков, получим следующее летучее мнение: «Приехал не с пустыми руками». Видите ли, когда покупают кофе или табак, пластырь, порох,— следует платить серебром. Лучше всего менять деньги на родине. Здесь горячее солнце, и кровь закипает быстро, гораздо скорее, чем масло на сковороде. О! Я не хочу вас пугать, нисколько, но здесь очень добрые люди и половина их лишена предрассудков. Что делать? Не всякий получает достаточно приличное воспитание.

Глаза Горна прямо и неподвижно упирались в лицо каторжника. Покачиваясь, дребезжащим, неторопливым голосом Ланфиер выпускал фразу за фразой, и они, правильно разделенные невидимыми знаками препинания, таяли в воздухе, подобно клубам дыма, методически выбрасываемым заматерелым курильщиком. Взгляд его, направленный в сторону, блуждал и прыгал, беспокойно ощупывая предметы, но внутренний, другой взгляд все время невидимыми клещами держал Горна в состоянии нетерпеливого раздражения. Он спросил: — Почему вы не вошли сразу?

Старик открыто посмотрел на хозяина.

— Боялся разбудить вас,— внушительно произнес он,— а дверь чертовски тугая. Застав вас спящим, я тотчас же удался бы поспать в окрестностях, пока вам не надоест спать.

Лицо его приняло неожиданно плаксивое выражение.

— Боже мой! — простонал он, усиленно мигая сухими веками,— жизнь обратилась в пытку. Никакого уважения, никто из местных балбесов не хочет помнить, что я, отверженный и презренный, положил начало всей этой трудолюбивой жизни. Кто знает, может быть, здесь впоследствии вырастет город, а мои кости, обглоданные собаками, будут валяться в грязи, и никто не скажет: вот кости старика Ланфиера, безвинно осужденного судом человеческим.

— Я бы стыдился,— сухо проговорил Горн,— вспоминать о том, что благодаря вашему случайному посещению этих мест полуостров загажен расплодившимся человеком. Мне теперь неприятно говорить с вами. Я предпочел бы, чтобы здесь никогда не было ни вас, ни крыш, ни плантаций. Что же касается добрых людей, получивших скверное воспитание,— передайте им, что всякая неожиданная любезность с их стороны встретит надлежащий прием.

— Речь волка,— сказал каторжник.— Для первого знакомства недурно. Вы меня презираете, а мне нужно, чтобы здесь жило много людей. У меня со всеми есть счеты. Относительно одних, видите ли, у меня очень хорошая память — выгодная струна. Другие — как бы вам сказать — туповаты и мирно пасутся в своих полях. Этих я стригу мирно,— ну, пустяки,— хлеб, табак, иногда мелочь на выпивку. И есть еще чрезвычайно дерзкие

невежи — те, которые могут пустить кровь, облизываясь, как мальчуган, съевший ложку варенья. Все они говорят тихо и рассудительно, ступают медленно, и у них постоянно раздуваются ноздри...

Ланфиер понизил голос и, согнувшись, словно у него заболел живот, широко улыбнулся ртом, в то время как глаза его совершенно утратили подвижность и щурились.

— Лодка! — вскричал он. — Откуда лодка?

Горн посмотрел в окно. Сияющее, прозрачное озеро, наполненное тонувшими облаками, было так явно безлюдно, что в тот же момент он еще быстрее, с заколовшимся сердцем, повернулся к вскочившему каторжнику. Неверный удар ножа распорол блузу. Горн сунул руку в карман и мгновенно протянул к бескровному, мечущемуся лицу Ланфиера дуло револьвера.

Старик прижался к стене, охватив голову сморщенными руками, затем с растерянной быстротой движений очутился у подоконника, выпрыгнул и нырнул в чашу. Три пули Горна защекали в листьях. Нервно смеясь, он жадно прислушался к затрещавшему камышу и выстрелил еще раз. Внезапно наступившая тишина наполнилась шумом крови, ударившей в виски. Ноги утратили гибкость, мысли завертелись и понеслись, как щепки, брошенные в поток. Утро, обольстившее Горна, вдруг показалось ему дешевой, отталкивающей олеографией.

В раздумье, не выпуская револьвера, он сел на плохо сколоченную скамейку, чувствуя, как никогда, полную темноту будущего и хрупкость покоя, тянувшегося четырнадцать дней. Его жизнь приближалась к напряженному существованию осторожных четвероногих, превращаемых в слух и зрение подозрительной тишиной дебрей, и сам он должен был стать каким-то мыслящим волком. В сознании необходимости этого таилась тяжесть и, отчасти, грустная радость человека, которому не оставили выбора.

Теперь он страстно хотел, чтобы женщина с мягким лицом, выкрывшая его душу по своему желанию, как платье, идущее ей к лицу, прошла мимо холмов, и леса, и его взгляда, погружая дорогие ботинки в мягкий ил берега, заблудилась и постучала в дверь его дома. Неясно, обрывками, Горн видел ее утренний туалет в соседстве глинистых муравьиных куч, и это нелепое соче-

тание казалось ему возможным. Его представления о жизни допускали все, кроме чуда, к которому он питал инстинктивное отвращение, считая желание сверхъестественного признаком слабости.

Худая, высоко занесенная рука Ланфиера мелькнула перед глазами, бросив в дрожь Горна. Колония, неизвестно почему названная именем человека, только что охотившегося за ним, представилась ему заштопанным оборванцем, выглядывающим из-за изгороди. Выходя, он тщательно запер дверь.

V

Шагая к равнине, на самой опушке леса Горн был достигнут быстрым аллюром маленькой серой лошади. Эстер сидела верхом; ее сосредоточенное, спокойно-веселое лицо взглянуло на Горна сверху, из-под тенистых полей шляпы. Горн оживился и с довольной улыбкой ждал, пока девушка спрыгивала на землю, а затем, молча оборачиваясь к нему, поправляла седло. Одиночество не тяготило его, но отпускало поводья самым бешеным взрывом тоски, и теперь, когда явился громоотвод в образе человека, Горн был чрезвычайно рад ухватиться за возможность поговорить. Они пошли рядом, и маленькая серая лошадь, медленно шевеля ушами, как будто прислушиваясь, вытягивала на ходу морду за спиной девушки.

— Я рад видеть вас,— сказал Горн.— Мы так забавно расстались с вами тогда, что я и теперь смеюсь, вспоминая о своем выстреле.

Эстер подняла брови.

— Почему забавно? — подозрительно спросила она.— Здесь часто стреляют в цель, и я также.

Горн не ответил.

— Отец послал к вам,— сказала девушка, вглядываясь в линию горизонта.— Он сказал: «Поди съезди. Этого человека давно не видно, бывают лихорадки, а змей — пропасть».

— Благодарю,— сказал удивленный Горн.— Он видел меня раз, ночью. Странно, что он заботится обо мне, я тронут.

— Заботится! — насмешливо произнесла девушка.— Он — заботится! Он не заботится ни о ком. Вы просто

не даете ему покоя. Да о вас все говорят, куда ни пойдешь. Кто-то на прошлой неделе утверждал, что вы просто-напросто дезертир с материка. Но вас никто не спросит, будьте уверены. Здесь так живут.

Горн сердито повел плечами.

— Так бывает,— холодно сказал он.— Когда человек не просит ничего у других и не желает их видеть, он — преступник. С полгоря, если его ненавидят, могут избить и выругать.

Эстер повернулась и внимательно осмотрела фигуру Горна, как бы соображая, даст ли этот человек избить себя.

— Нет, не вас,— решительно сказала она.— Вы, кажется, сильны, даром, что бледноваты немного. Здесь скоро будете смуглым, как все.

— Надеюсь! — сказал Горн.

Он помолчал и сморщился, вспомнив нападение Ланфьера. Рассказывать ему не хотелось, он смутно угадывал, что это происшествие может подогреть басни о его якобы припрятанном золоте. Эстер что-то вспомнила; остановив лошадь, она подошла к седлу и вынула из кожаного мешка нечто колющее и круглое, как яблоко, утыканное гвоздями.

— Ешьте,— предложила Эстер.— Это здешние дурианги, они подгнили, но от этого только еще вкуснее.

Оба стояли на невысоком плато, окруженном шероховатыми уступами. Горн, смущенный отталкивающим запахом прогнившего чеснока, нерешительно повертел плод в руках.

— Привыкнете,— беззаботно сказала девушка.— Зажмите нос, это, честное слово, не так плохо.

Горн отковырнул твердую кожицу дурианга и увидел белую киселеобразную мякоть. Попробовав ее, он остановился на одно мгновение и затем съел дочиста этот удивительный плод. Его нежный, непередаваемо сложный вкус тянул есть без конца. Эстер озабоченно следила за Горном, бессознательно шевеля губами, как бы подражая жующему рту.

— Каково? — спросила она.

— Замечательно,— сказал Горн.

— Я дам вам еще.— Она повернулась к лошади и проворно сунула в карман Горна несколько штук.— Их здесь много, вы сами можете собирать.

Она подумала, раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но остановилась и исподлобья, по-детски скользнула по лицу Горна неммым вопросом.

— Вы хотели меня спросить,— сказал он.— Что же? Спрашивайте.

— Ничего,— поспешно возразила Эстер — Я хотела спросить, это верно, но почему вам это известно? Я хотела спросить, не скучно ли вам со мной? Я не умею разговаривать. Мы все здесь, знаете, грубоваты. Там вам, конечно, лучше жилось.

— Там?

— Ну да, там, откуда вы родом. Там, говорят, много всякой всячины.

Она повела рукой, как бы стараясь нагляднее представить себе сверкающую громаду города.

— Ни там, ни здесь,— сдержанно сказал Горн.— Если хорошо — хорошо везде, плохо — везде плохо.

— Значит, вам плохо! — торжествующе вскричала она. Расскажите.

— Рассказать? — удивленно протянул Горн.

Он только теперь вполне ясно представил и ощутил, какое нестерпимое, хотя и обуздываемое, любопытство должен возбуждать в ней. Неизгладимый отпечаток культуры, стертый, обезображенный полудиким существованием, рельеф сложного мира души сквозил в нем и, как монета, изъеденная кислотой, все же, хотя бы и призрачно, говорил о своей ценности. Он размышлял. Ее требование было законно и в прямоте своей являлось простым желанием знать, с кем ты имеешь дело. Но он готов был вознегодовать при одной мысли вывернуться наизнанку перед этой простой девушкой. Солгать не пришлось в голову; в замешательстве, не зная, как переменить разговор, он посмотрел вверх, на дальнюю синеву воздуха.

И пустота неба легла в его душу холодной тоской свободы, отныне признанной за ним каждым придорожным листом. Резкое лицо прошлого светилось насмешливой гримасой, и ревнивая деликатность Горна по отношению к той показалась ему странной и даже лишней самолюбия навязчивостью на расстоянии. Прошлое вежливо освободило его от всяческих обязательств.

И он ощутил желание взглянуть на себя со стороны, прислушиваясь к словам собственного рассказа, прове-

рить тысячи раз выверенный счет жизни. Девушка могла истолковать его иначе, но ведь ей важно знать только канву, остальное скользнет мимо ее ушей, как смутные голоса леса.

— Моя жизнь,— сказал Горн,— очень простая. Я учился; неудачные спекуляции разорили моего отца. Он застрелился и переехал на кладбище. Двоюродный брат дал мне место, где я прослужил три года. Сядемте, Эстер. Путаться в оврагах не представляет особенного удовольствия.

Девушка быстро села, не выпуская повод, на том месте, где ее застали слова Горна. Он сделал по инерции шаг вперед, вернулся и сел рядом, покусывая сорванный стебелек.

— Три года,— повторила она.

— Потом,— продолжал Горн, стараясь говорить как можно проще,— я стал бродягой оттого, что надоело сидеть на одном месте; к тому же мне не везло: хозяева предприятия, где я служил, умерли от чумы. Ну, вот... я переезжал из города в город, и мне наконец это понравилось. И совсем недавно у меня умер друг, которого я любил больше всего на свете

— У меня нет друзей,— медленно произнесла Эстер.— Друг; это хорошо.

Горн улыбнулся.

— Да,— сказал он,— это был милейший товарищ, и умереть с его стороны было большим свинством. Он жил так: любил женщину, которая его, пожалуй, тоже любила. До сих пор это осталось невыясненным. Он избрал ее из всех людей и верил в нее, то есть считал ее самым лучшим человеческим существом. Женщина эта была в его глазах совершеннейшим созданием бога.

Пришли дни, когда перед ней поставлен был выбор — идти рука об руку с моим другом, все имущество которого заключалось в четырех стенах его небольшой комнаты, или жить, подобно реке в весеннем разливе, красиво и плавно, удовлетворяя самые неожиданные желания. Она была в это время немного грустна и задумчива, и глаза ее вспыхивали особенным блеском. Наконец между ними произошло объяснение.

Тогда стало ясно моему другу, что жадная душа этой женщины ненасытна и хочет всего. А он был для нее только частью, и не самой большой.

Но и он был из той же породы хищников с бархатными когтями, трепещущих от голосов жизни, от вида ее сверкающих пьедесталов. Вся разница между ними была в том, что одна хотела все для себя, а другой — все для нее.

Он думал заключить с нею союз на всю жизнь, но ошибся. Женщина эта шла навстречу готовому, протянутому ей другим человеком. Готовое было — деньги.

Он понял ее, себя, но сгорел в несколько дней и сделался молодым стариком. Удар был чересчур силен, не всякому по плечу. Все продолжало идти своим порядком, и через месяц, собираясь уехать, он написал этой женщине, жене другого — письмо. Он просил в нем сказать ему последний мучительный раз, что все же ее любовь — с ним.

Ответа он не дождался. Тоска выгнала его на улицу, и незаметно, не в силах сдержать желания, он пришел к ее дому. О нем доложили под вымышленным им именем.

Он проходил ряд комнат, двигаясь как во сне, охваченный мучительной нежностью, рыдающей тоской прошлого, с влажным и покорным лицом.

Их встреча произошла в будуаре. Она казалась встревоженной. Лицо ее было чужим, слабо напоминающим то, которое принадлежало ему.

— Если вы любите меня, — сказала эта женщина, — вы ни одной минуты не останетесь здесь. Уйдите!

— Ваш муж? — спросил он.

— Да, — сказала она, — мой муж. Он должен сейчас прийти.

Мой друг подошел к лампе и потушил ее. Упал мрак. Она испуганно вскрикнула, опасаясь смерти.

— Не бойтесь, — шепнул он. — Ваш муж войдет и не увидит меня. Здесь толстый ковер, в темноте я выйду спокойно и безопасно для вас. Теперь скажите то, о чем я просил в письме.

— Люблю, — прошептал мрак. И он, не расслышав, как было произнесено это слово, стал маленьким, как ребенок, целовал ее ноги и бился о ковер у ее ног, но она отталкивала его.

— Уйдите, — сказала она, досадуя и тревожась, — уйдите!

Он не уходил. Тогда женщина встала, зажгла свечу и, вынув из ящика письмо моего друга, сожгла его. Он смотрел, как окаменелый, не зная, что это — оскорбление или каприз? Она сказала:

— Прощайте для меня то же, что этот пепел. Мне не восстановить его. Прощайте.

Последнее ее слово сопровождал громкий стук в дверь. Свеча погасла. Дверь открылась, темный силуэт загоразивал ее светлый четырехугольник. Мой друг и муж этой женщины столкнулись лицом к лицу. Наступило ненарушимое молчание, то, когда только одно произнесенное слово губит жизнь. Мой друг вышел, а на другой день был уже на палубе парохода. Через месяц он застрелился.

А я приехал сюда на торговом голландском судне. Я решил жить здесь, подальше от людей, среди которых погиб мой друг. Я потрясен его смертью и проживу здесь год, а может и больше.

Пока Горн рассказывал, лицо девушки сохраняло непоколебимую серьезность и напряжение. Некоторые выражения остались непонятными ею, но сдержанное волнение Горна затронуло инстинкт женщины.

— Вы любите ту! — вскричала она, проворно вскакивая, когда Горн умолк. — Меня не обманете. Да и друга у вас пожалуй что не было. Но это мне ведь одинаково.

Глаза ее слегка заблестели. За исключением этого, нельзя было решить, произвел ли рассказ какое-нибудь впечатление на ее устойчивый мозг. Горн ответил не сразу.

— Нет, это был мой приятель, — сказал он.

— Меня обманывать незачем, — сердито возразила Эстер. — Зачем рассказывали?

— Я или не я, — сказал Горн, пожимая плечами, — забудем это. Сегодняшний день исключителен по числу людей и животных. Вон — еще едет кто-то.

— Молодой Дрибб, — сказала Эстер. — Дрибб, что случилось?

— Ничего! — крикнул гигант, сдерживая гнемую кобылу перед самым лицом Горна. — Я упражнялся в отыскании следов и случайно попал на твой. Все-таки я могу, значит. А этот человек кто?

Горна он как будто не видел, хотя последний стоял не далее метра от стремени. Горн с любопытством рас-

сматривал огромное нескладное туловище, увенчанное маленькой головой, с круглым, словно выкованным из коричневого железа лицом; белая с розовыми полосками блуза открывала волосатую вспотевшую грудь. Все вместе взятое походило на мужика и разбойника; добродушный оскал зубов настроил Горна если не дружелюбно, то, во всяком случае, безразлично.

— Подумать что ты ничего не знаешь,—насмешливо сказала Эстер.

— А! — Великан шумно вздохнул. — Ты едешь? Эстер села в седло.

— Прощайте, сударь,— сказал Дрибб Горну, неловко останавливая на нем круглые глаза и дергая подбородком.

— Горн,— сказала Эстер,— не ходите в болота, а если пойдете, выпейте больше водки. А то можете проваляться месяца два.

Верхом, гибко колеблясь на волнующейся спине лошади, она бессознательно бросала в глаза Горна свою резкую красоту. Он, может быть, в первый раз посмотрел взглядом мужчины на ее безукоризненную фигуру и лицо, полное жизни. Эта пара, удалявшаяся верхом, кольнула его чем-то похожим на досадливое удивление.

— Галло! Гоп! Гоп! — заорал Дрибб, устремляясь вперед и тяжело подскакивая в седле.

— До свидания, Эстер! — громко сказал Горн.

Она быстро повернулась; лицо ее, смягченное мгновенной улыбкой, выразило что-то еще.

Бледное отражение молодости проснулось в душе Горна, он снял шляпу и, низко поклонившись, бросил ее вслед удаляющимся фигурам. Эстер, молча улыбаясь, кивнула и исчезла в кустах. Великан ни разу не обернулся, и когда, вместе с Эстер, скрылась его широченная сутуловатая спина, Горн подумал, что молодой Дрибб невежлив более, чем это необходимо для дикаря.

День развернулся, пылая голубым зноем; духота, пропитанная смолистыми испарениями, кружила голову. И снова чувство глубокого равнодушия поднялось в Горне; рассеянно поглаживая рукой ложе ружья, он пришел к выводу, что девственная земля утратила свое обаяние для сложного аппарата души, вскормленной мыслью. Слишком могучая и сочная земля утомляла нервы, как яркий свет — зрение. Расчищенная и дис-

циплинированная, не более, как приятное зрелище, — она могла бы стать дивным комфортом, любовницей, не изнуряющей ласками, душистой ванной больных, мерзнувших при одной мысли о просторе реки.

— А я? — спросил Горн у неба и у земли. — Я? — Он вспомнил свои охоты и трепет звериных тел, самообладание в опасности, темный полет ночи, заспанные глаза зари, угрюмую негу леса — и торжествующе выпрямился. В природе он не был еще ни мертвецом, ни кастратом, ни нищим в чужом саду. Его равнодушие стояло на фундаменте созерцания. Он был сам — Горн.

Тучный человек умирающим голосом произносил «пuff» всякий раз, когда, визжа блоком, распаивалась входная дверь, и горячий столб света бросался на земляной пол трактирчика. Как хозяин он благословлял посетителей, как человек — ненавидел их всеми своими помыслами.

Но посетители хотели видеть в тучном человеке только хозяина, безжалостно требуя персиковой настойки, пива, рому и пальмового вина. Тучный человек, страдая, лазил в погреб, взбирался по лесенкам и снова, мокрый от пота, садился на высокий, плетеный стул.

В углу шла игра, облака табачного дыма плавали над кучкой широкополых шляп; характерный треск костей мешался с ругательствами и шелканьем кошельков. Сравнительно было тихо; стены сарая, носившего имя «Зеленой раковины», видали настоящие сражения, кровь и такую игру ножей, от которой в выигрыше оставалась одна смерть. Изредка появлялись неизвестные молодцы с тугими кожаными поясами, подозрительной чистотой рук и кучей брелоков; они хладнокровно и вежливо играли на какие угодно суммы, в результате чего колонисты привыкли чесать затылки и сплевывать.

Ланфиер вошел незаметно, его костлявое тело, казалось, могло пролезть в щель. Еще пьянее, чем утром, с трубкой в зубах, он подвалился к столу играющих и залялся беззвучным смехом. На мгновение кости перестали ударяться о стол; рассеянное недоумение лиц было обращено к пришедшему.

— Вот штука, так штука! — захрипел каторжник, кончив смеяться, лишь только почувствовал, что терпе-

ние игроков лопаются.— Он сказал правду: ну и молодчага же, надо сказать!

— Кто? — осведомился тучный человек на стуле.

— Новый хозяин озера.— Ланфиер понизил голос и стал говорить медленно.— Я ведь сегодня у него был, вы знаете. Он окончательно порядочный человек. «Будь я губернатором,— сказал он,— я эту колонию подожгу бы с середины и с четырех концов. Там,— говорит,— одни скоты и мошенники, а кто получше, глупы, как тысяча крокодилов».

— Вы мастер сочинять басни,— сказал, посапывая, кофейный плантатор.— Вы врете!

Ланфиер угрюмо блеснул глазами.

— Я был бы теперь мертв,— закричал он,— будь глаз у этого человека повернее на толщину волоса! Я упрекнул его в заносчивости, он бросил в меня пулю так хладнокровно, как будто это был катышек из мякиша. Я выскочил в окно проворнее ящерицы.

— Сознайтесь, что вы соврали,— зевнул хозяин.

Старик молчал. За сморщенными щеками его прыгали желваки. Играющие вернулись к игре. Ланфиеру не верили, но каждый сложил где-то в темном кусочке мозга «глупых, как крокодилы, людей, мошенников и скотов».

VI

Бекеко, задрав голову, смотрел вверх. Обезьяна раскачивалась на хвосте под самым небом; ее круглые, старчески-детские глаза быстро ощупывали фигуру идиота, иногда отвлекаясь и соображая расстояние до ближайшего дерева.

Бекеко дружелюбно кивал, подмаргивал и знаками приглашал зверя спуститься вниз, но опытный капуцин посвистывал недоверчиво и тревожно, по временам строя отвратительные гримасы. Бекеко смеялся. Болезненное, беспричинно радостное чувство распирало его маленькое шелудивое тело, и он захлебывался нелепым восторгом, дрожа от нестерпимого возбуждения. Капуцина, как все живое, он ставил выше себя и с вежливой настойчивостью, боясь оскорбить мохнатого акробата, продолжал свои приглашения.

Потом, взглядевшись пристальнее в сморщенное ли-

цо, он вздрогнул и съжился; смутное опасение поколебало его веселость. Нельзя было ошибиться: капуцин готовился разгрызть череп Бекеко и, может быть, выпить-ся зубами в его тощий желудок.

— Ну... ну... — испуганно проворчал расстроенный человек, отходя в сторону.

Теперь он не в силах был посмотреть вверх и, волнуясь, осматривался кругом, в надежде найти сук, годный для обороны. Под небом висел зверь огромной величины, на время прикинувшийся маленьким, но теперь Бекеко знал все: на него устроили ловушку, и он попался самым глупейшим образом. Еще не зная, с какой стороны, кроме хвостатого старика, грозит опасность, он стал пятиться, спотыкаясь и вздрагивая от страха. Враги не отставали; невидимые, они бесшумно ползли в траве, покалывая босые ноги Бекеко колючками, больно обжигавшими кожу. Внезапное подозрение, что сзади притаилась засада, бросило его в пот. Колеблясь, он топтался на месте, боясь тронуться, полный безумного ужаса перед томительной тишиной леса и зелеными, закрывающими лицо, гигантами.

Когда показался враг, пытливо рассматривая тщедушную фигуру Бекеко, идиот вскрикнул, запустил в неприятеля тяжелым желтым комком и присел, замирая в тоскливом ожидании смерти. Горн медлил. Почти испуганный, но не призраками, он вертел в руках брошенный Бекеко комочек. Сильное возбуждение охватило его; с глазами, заблестевшими от неожиданности, с пересохшим от внезапного волнения горлом, охотник механически подбрасывал рукой тусклый, грязноватый кусок, забыв о Бекеко, лесе и времени.

Капуцин продолжал раскачиваться; оттопырив щеки, он сердито вытянул морду и, разглядев ружье, гневно скрипнул зубами. Потом с шумом перепрыгнул на соседнее дерево, зацыкал, пустил в Горна большим орехом и стремглав кинулся прочь, ныряя в чащу.

Горн осмотрелся. Он был бледен, сосредоточен и плохо справлялся с мыслями. Помимо его воли, они разлетались быстрее пуль, выброшенных из митралезы. Неясное кипение души требовало исхода, движения; лес должен был наполниться звуками, способными заглушить кричащую тишину. Но прежнее ленивое великолепие дремало вокруг, равнодушно заключая в свои

торжественные объятия растерянного побледневшего человека.

— Бекеко! — сказал Горн. — Бекеко!

Идиот боязливо высунул голову из-за ствола дерева. Горн смягчил голос, почти проникнутый нежностью к загнанному уродцу, внимательно рассматривая это странное существо, напоминавшее гномов.

— Бекеко, — сказал Горн, — ты не узнал меня?

Идиот поднял глаза, не решаясь произнести слово. Охотник слегка тронул его рукой, но тотчас же отдернул ее: пронзительный визг огласил лес. Бекеко напоминал испуганного ежа, свернувшегося комком.

— Ну, хорошо, — как бы соглашаясь в чем-то с Бекеко, продолжал Горн, — я ведь тебе не враг. Я тотчас уеду, только скажи мне, милый звереныш, где ты нашел этот блестящий шарик? Он мне нужен, понимаешь? Мне и Эстер. Нам нужно порядочно таких шариков. Если ты не будешь упрямиться и скажешь, Эстер даст тебе сахару.

Он вытянул руку и тотчас же сжал пальцы, как будто тусклый блеск золота обжигал кожу.

— Эстер... — нерешительно пробормотал идиот, приподымая голову. — Даст сахару!

Он жалобно замигал и снова погрузился в туманную пустоту безумия. Горн нетерпеливо вздохнул.

— Эстер, — тихо повторил он, наклоняясь к Бекеко. — Ты понял, что ли? Эстер!

Лицо Бекеко вытянулось, шевеля плоскими оттопыренными губами. Тяжелая работа ассоциации совершилась в нем. Темный мозг силился связать в одно целое сахар, имя, человека с ружьем и женский образ, плававший неопределенным, ярким пятном. И вдруг Бекеко расцвел почти осмысленной гримасой плаксивого судорожного смеха.

— Эстер, — медленно произнес он, исподлобья рассматривая охотника.

— Да. — Горн вздохнул. Все тело его рвалось прочь, к лихорадочному опьянению поисками. — Эстер нуждается в таких шариках. Где ты нашел их?

— Там! — взмахивая рукой и, видно, приходя в себя, крикнул Бекеко. — Маленькая голубая река.

— Ручей? — спросил Горн.

— Вода. — Идиот утвердительно кивнул головой.

— Вода,— настойчиво повторил Горн.

— Вода,— как эхо, отозвался Бекеко.

Горн молчал. Север, маленькая голубая река. И маленький, не более пули, кусочек золота.

— Бекеко,— сказал он, удаляясь,— помни: Эстер даст сахару.

Он был уже далеко от места, где, скорчившись, сидел испуганный получеловек, и сам не заметил этого. Он шел спешными, большими шагами, проникнутый нестерпимой тревогой, словно боялся опоздать, упустить нечто невероятной важности. Все, начиная с Бекеко и кончая ночью этого дня, вспоминалось им после, как торопливо промчавшийся, смутно восстановленный сон, полный беззвучной музыки. Чувство фантастичности жизни охватило его; отрывками вспоминая прошлое, похожее на сон облачных стай, и связывая его с настоящим, он испытывал восторг мореплавателя, прозревающего в тумане девственный берег неведомого материка, и волнение перед неизвестным, подстерегающим человека. Тело его окрепло и утратило тяжесть; лицо, смягченное грезами, задумывалось и улыбалось, словно он читал интересную, нравящуюся книгу, где были переплетены в тонком узоре грусть и восторг, юмор и нежность. Стволы, толщиной с хорошую будку, колоннами уходили в небо, и он чувствовал себя маленьким, вверенным надежному, таинственному покровительству леса, зеленой глубине чащи, напоминающей тревожные сумерки комнат, охваченных глубоким безмолвием. Маленькая голубая река текла перед его глазами. и в ее мокром песке невинно дремало золото, юное, как побеги травы, целомудренное могущество, не знавшее дрожи человеческих пальцев и похотливых взглядов мещан, алчущих без конца. Он шел в одном направлении, жалея о каждом шаге, сделанном в сторону, когда приходилось огибать ствол и холмик. Постепенно, хмурясь и улыбаясь, достиг он сияющих дебрей воображения, гущины грез, делающих человека пьяным, не хуже вина. Он походил на засыпающего в тот момент, когда голоса людей из соседней комнаты мешаются с расцветом сказочных происшествий, начинающих в освобожденном мозгу свои дикие прологи. Это было все и ничто, сомнение в удаче и яростная уверенность в ней, чувство узника, с голыми руками покинувшего тюрьму и нашедшего семизарядный

револьвер, стремительный бег желаний; запыхавшаяся душа его торопилась осязать будущее, в то время как тело, нечувствительное к усталости, ускоряло шаги.

Был тот час дня, когда, лениво раздумывая, вечер приближает к земле внимательные глаза, и цикады звенят тише, чувствуя осторожный взгляд Невидимого, удлиняющего тени стволов. Лес редел, глубокие просветы заканчивались пурпуром скал, блестящих в крови солнца, раненного Дианой. Обломки кварца, следы бывших землетрясений желтели отраженным светом зари, короткое бормотание какаду звучало сердитым удовлетворением и строптивостью. Горн шел, механически ступая ногами.

Через полчаса он увидел воду. Конечно, это была та самая маленькая голубая река, узкий ручей с небом на дне и блеском песчаных отмелей, чистых, как серый фаянс. Издали она казалась голубой лентой в зеленой косе нимфы. Ее линия, перерезанная раскидистыми вершинами отдельных древесных групп, уходила в скалистый грот, черный от ползучих растений, заткавших щели и выступы складками зеленых ковров, падающих к воде. Горн, с трудом передвигая ноги в сырой гуще цепкой травы, выбрался к голубой ленте и остановился, вдыхая сладкий, прелый запах водорослей.

Здесь ему впервые пришло в голову, что жажда неотступно мучает его тело, и он почти упал на колени, зачерпывая ладонью теплую как остывший кипяток жидкость. Прозрачные капли дождем стекали по его подбородку и пальцам. Он пил много, переводя дух, отдыхал и снова погружал руки в теплую глубину.

Удовлетворение наполнило его слабостью, наступившей внезапно, тяжелой ленью всех членов, нежеланием двигаться. Он посмотрел на дно, но его глазам сделалось больно от солнца, игравшего в подводном песке. Всмотревшись пристальнее, Горн приблизил лицо к самой поверхности воды, почти касаясь ее ресницами. В таком положении он пробыл минуты две; тело его вздрагивало мгновенной, неуловимой дрожью, и кровь прилиwała к побледневшим щекам быстрее облачной тени, охватывающей равнину.

Желтые искры, тлея смягченным водой блеском, пестрили чистое дно ручья, и чем больше смотрел Горн, тем труднее становилось ему отличить гальку от золота. Оно таинственно покоилось в глубине, от его матовых

зерен били в зрачки Горна невидимые, звонкие фонтанчики, звеня в ушах беглым приливом крови. Он засмеялся и громко крикнул. Дрожащий звук голоса отозвался в лесных недрах слабым гулом и стих. Горн встал.

И все показалось ему невыразимо прекрасным, проникнутым торжеством радости. Воздушный мост, брошенный на берег будущего, вел его в сияющие ворота жизни, отныне доступной там, где раньше стояли крепости, несокрушимые для желаний. Земной шар как будто уменьшился в объеме и стал похожим на большой глобус, на верхней точке которого стоял взволнованный человек с пылающими щеками. И прежде всего Горн подумал о силе золота, способного возвратить женщину. Он ехал к ней в тысяче поездов, их колеса сливались в сплошные круги, и рельсы вздрагивали от массы железа, проносающего Горна. Он говорил ей все, что может сказать человек, и был с ней.

Потом он услышал воображенное им самим слово «нет», но уже почувствовал себя не оскорбленным, а мстителем, и с мрачной жадностью набросал сцены расчетливой деловой жестокости, обширный круг разорений, увлекающий в свою крутящуюся воронку благополучие человека, постучавшего в дверь. Горн выбрасывал на мировой рынок товары дешевле их стоимости. И с каждым днем тускнело лицо женщины, потому что умолкали, одна за другой, фабрики ее мужа, и паутина свивала затхлое гнездо там, где громыхали машины.

Прошло не более двух минут, но в течение их Горн пережил с болезненной отчетливостью несколько лет. Осунувшийся от возбуждения, он посмотрел вокруг. Солнце ушло за скалы, светлые вечерние тени кутали остывающую землю, молчаливо поблескивала река.

Он вырезал кусок дерна и, придав ему наклонное положение, бросил на зеленую поверхность самодельного вашгерда несколько пригоршней берегового песка. Потом срезал кусок коры и, устроив из него нечто вроде ковша, зачерпнул воды.

Это был первый момент работы, взволновавший охотника более, чем песок дна. Он все лил и лил воду, пока в траве дерна не заблестел тонкий, тяжелый слой золота. Силы временно оставили Горна, он сел возле добычи, положив руку на мокрую поверхность станка,

и тотчас бешеный хоровод мыслей покинул его утомленный мозг, оставив оцепенение, похожее на восторг и тоску.

VII

Горн вернулся без рубашки и блузы, с кожаной сумкой, полной маленьких узелков, сделанных из упомянутых вещей и оттянувших его плечи так, что было больно двигать руками. Полуголый, обожженный солнцем, он принес к озеру запах лесных болот и сладкое, назойливое изнеможение.

Новое ощущение поразило его, когда он подходил к дому, — ощущение своего тела, как будто он щупал его слабыми от жары руками, и беспричинная, судорожная зевота. Затворив дверь, он вырыл в земляном полу яму и тщательно замуровал туда слежавшиеся тяжелые узелки. Их было много, и ни один не выглядел худощавым.

Опустившись на высохшую траву постели, он долго сидел понурясь и не мог объяснить себе внезапного, то-скливого равнодушия к свежеутоптанной земле хижины. Сжав левую руку у кисти, он слушал глухую возню крови, и зубы его быстро стучали, отбивая дробь маленьких барабанов, а тело ежилось, словно на его потной коже таяли хлопья снега, падающего с потолка.

Горн лег и лежал с широко открытыми глазами, не раздеваясь, в сладострастной истоме, прерываемой периодическим сотрясением тела, после чего обильный пот стекал по лицу. Убедившись, что болен, он стал высчитывать, на сколько дней придется остановить работу и сколько он потеряет от этого. Болотная лихорадка могла обойтись ему в цену хорошего поместья, потому что, как он слышал и знал, болезнь эта редко покидает ранее десяти дней.

Кладя челюстями и корчась, он постепенно пришел в хорошее настроение — признак, что жар усилился. Озноб оставил его, и он насмешливо улыбался голым стенам дома, скрывающим то, из-за чего Ланфиер способен был бы нанести удар спереди, без военных хитростей полководца, устраивающего ложную диверсию.

Горн пролежал до заката солнца, когда жар временно оставляет человека, чтобы возвратиться на другой день в строго определенный час, с аккуратностью немца, завтракающего в пятьдесят шесть минут первого. Сла-

бый, с закружившейся головой и револьвером в кармане, Горн надел новую блузу и вышел на воздух. Мысли его приняли спокойное направление, он тщательно взвесил шансы на достижение и убедился, что не было никакой ошибки, за исключением случайностей, рассеянных в мире в немного большем количестве, чем это необходимо. Освеженный холодным воздухом, он долго рассматривал звездный атлас неба и Южный Крест, сияющий величавым презрением к делам земных обитателей. Но это не подавляло Горна, потому что глаза его, в свою очередь, напоминали пару хороших звезд — так они блеснули навстречу мраку, и он не чувствовал себя ни жалким, ни одиноким, так как не был мертвой материей планет.

Пахнул ветер и замер, оборвав слабый, долетевший издали, топот лошади. Горн машинально прислушался, через минуту он мог уже сказать, что в этот момент подкова встретила камень, а в тот — рыхлую почву. Тогда он вернулся к себе и зажег маленькую лампу, купленную в колонии. Колеблющийся свет лег через окно в ближайшие стволы бамбука. Горн отворил дверь и стал за ее порогом, слабо освещенный с одного бока.

Неизвестный продолжал путь, он ехал немного тише, из чего Горн заключил, что едут к нему, так как не было смысла лететь галопом к озеру и задерживать шаг ради удовольствия вернуться обратно. Он ждал, пока фыркание лошади не раздалось возле его ушей.

— Кто вы? — спросил Горн, играя револьвером. — Эстер! — помолчав и отступая от удивления, сказал он. — Так вы не спите еще?

— А вы? — спросила она с веселым смехом, запыхавшись от быстрой езды. — Главное, что вы еще живы.

— Жив, — сказал Горн, почувствовав оживление при звуках этого голоса, громкого, как звон небольшого колокола. — Ваш отец должен теперь совершенно успокоиться.

Она не ответила и, молча пройдя к столу, села на табурет. Выражение ее лица непрерывно менялось, словно в ней шел мысленный разговор с кем-то, известным одной ей. Горн сказал:

— Вы видите, как я живу. У меня нет ничего, что я мог бы предложить вам в качестве угощения. Обычно я уничтожаю остатки пищи, они быстро портятся.

— Вы говорите так потому, что не знаете, зачем я пришла,— сказала Эстер, и голос ее звучал на полтона ниже.— Сегодня, видите ли, праздник. Мужчины с раннего утра на ногах, но теперь уже плохо на них держатся. Все спиртные напитки проданы. Везде горят факелы, наш дом украшен фонариками. Это очень красиво. Кто не жалеет пороху, те ходят кучками и стреляют холостыми зарядами. В «Зеленой Раковине» убрали все столы и скамейки, танцуют без перерыва.

Она выжидательно посмотрела в лицо Горна. Тогда он заметил, что на Эстер желтое шелковое платье и голубая косынка, а смуглая шея украшена жемчужными бусами.

— Я поотстала немного, когда проходили мимо маленькой бухты, и вспомнила вас, а потом видела, как молодой Дрибб обернулся, отыскивая меня глазами. Кинг поскакал быстро, я угощала его каблуками без жалости. Конечно, вам будет весело. Нельзя сидеть долго наедине со своими мыслями, а через полчаса мы будем уже там. Хорошо?

— Эстер,— сказал Горн,— почему праздник?

— День основания колонии.— Эстер раскраснелась, молчаливая улыбка приоткрывала ее свежий рот, влажный от возбуждения.— О, как хорошо, Горн, подумайте! Мы будем вместе, и вы расскажете, так ли у вас празднуют какое-нибудь событие.

— Эстер,— сказал сильно тронутый Горн,— спасибо. Я, может быть, не пойду, но, во всяком случае, я как будто уже был там.

— Постойте одну минуту.— Девушка лукаво посмотрела на охотника, и голос ее стал протяжным, как утренний рожок пастуха.— Бекеко все просит сахара.

— Бекеко! — повторил сильно озадаченный Горн.— Просит сахара?

И, вспомнив, насторожился. Ему пришло в голову, что всем известно о маленькой голубой реке. Неприятное волнение стеснило грудную клетку, он встал и прошелся, прежде чем возобновить разговор.

— Он лез ко мне и говорил страшно много непонятных вещей,— продолжала девушка, смотря в окно.— Я ничего не поняла, только одно: «Твой человек (это он называет вас моим человеком) сказал, что ему и Эстер нужно множество желтых камней». После чего будто бы

вы обещали ему от моего имени сахару. О, я уверена, что он ничего не понял из ваших слов. Я дала ему, по крайней мере, пригоршню.

Горн слушал, стараясь не проронить ни одного слова. Лицо его то бледнело, то розовело и, наконец, приняло натуральный цвет. Девушка была далека от всякого понимания.

— Да,— сказал он,— я встретил дурачка в припадке панического, необъяснимого ужаса. С вами он, должно быть, словоохотливее. Я успокоил его, не выжав из него ни одного слова. Желтые камни! Только мозг сумасшедшего может сплести бред с действительностью. А сахар — да, но вы ведь не сердитесь?

— Нисколько! — Эстер задумчиво посмотрела вниз. — «Это нужно мне и Эстер», — говорил он. — Она рассмеялась. — Нужно ли вам то, что мне? Пора идти, Горн. Я много думала об этих словах, а вы, вероятно, мало. Но вы не знали, что они дойдут до меня.

Ее учащенное дыхание касалось души Горна, и он, как будто проснувшись, но не решаясь понимать истину, остановился с замершим на губах криком растерянного удивления.

— Эстер, — с тоскою сказал он, — подымите голову, а то я боюсь, что не так понимаю вас.

Эстер прямо взглянула ему в глаза, и ни смущения, ни застенчивости не было в ее тонких чертах, захваченных неожиданным для нее самой волнением женщины. Она встала, пространство менее трех футов разделяло ее от Горна, но он уже чувствовал невидимую стену, опустившуюся к его ногам. Он был один, присутствие девушки наполняло его смятением и тревогой, похожей на сожаление.

— Я могла бы быть вашей женой, Горн, — медленно сказала Эстер, все еще улыбаясь ртом, хотя глаза ее уже стали напряженно серьезными, как будто тень легла на верхнюю часть лица. — Вы, может быть, долго еще не сказали бы прямых слов мужчины. А вы мне уже дороги, Горн. И я не оскорблю вас, как т а.

Горн подошел к ней и крепко сжал ее опущенную вниз руку. Тяжесть давила его, и ему страшно хотелось, чтобы его голос сказал больше жалких человеческих слов. И, чувствуя, что в этот момент не может быть ни-

чего оскорбительнее молчания, он произнес громко и ласково:

— Эстер! Если бы я мог сейчас умереть, мне было бы легче. Я не люблю вас так, как вы, может быть, ожидаете. Выкиньте меня из вашей гордой головы, быть вашим мужем, превратить жизнь в сплошную работу — я не хочу, потому что хочу другой жизни, быть может, неосуществимой, но одна мысль о ней кружит мне голову. Вы слушаете меня? Я говорю честно, как вы.

Девушка закинула голову и стала бледнее снега. Горн выпустил ее руку. Эстер пошевелила пальцами, как бы стряхивая недавнее прикосновение.

— Ну, да,— жестко, с полным самообладанием сказала она.— Если вы не понимаете шуток, тем хуже для вас. Впрочем, вы, вероятно, ищете богатых невест. Я всегда думала, что мужчина сам добывает деньги.

Каждое ее слово болезненно ударило Горна. Казалось, в ее руках была плоть, и она била его.

— Эстер,— сказал Горн,— пожалейте меня. Не я виноват, а жизнь крутит нами обоими. Хотели бы вы, чтобы я притворился любящим и взял ваше тело, потому что оно прекрасно и, скажу правду,— влечет меня? А потом разошелся с вами?

— Прощайте,— сказала девушка.

Все тело ее, казалось, дышало только что нанесенным оскорблением и вздрагивало от ненависти. Горн бросился к ней, острая, нежная жалость наполняла его.

— Эстер! — мягко, почти умоляюще сказал он.— Милая девушка, прости меня!

— Прощаю! — задыхаясь от гневных слез, кркнула Эстер, и, действительно, она прощала его взглядом, полным непередаваемой гордости.— Но никогда, слышите, Горн, никогда Эстер не раскаивается в своих ошибках! Я не из той породы!

Горн подошел к окну, пошатываясь от слабости. У дверей тихо заржала лошадь.— «Кинг! — спокойно позвала девушка. Она садилась в седло, шелестя шелковой юбкой. Горн слушал.— Кинг! — сказала снова Эстер,— ты простишь мне удары каблуком в бок? Этого больше не будет».

Легкий галоп Кинга наполнил темноту мерным замирающим топотом.

Думать о собаках не было никакого смысла. Маленькая голубая река никогда не видала их, а если и видала, то это было очень давно, гораздо раньше, чем первый локомотив прорезал равнину в двухстах милях от того места, где Горн, стоя на коленях, пил воду и золотой блеск.

Но он, стряхивая на платок пригоршню металла, добычу трехчасового усилия, неожиданно поймал себя на мысли о всевозможных собаках, виденных раньше. Он, как оказывалось, думал о догах больше, чем о левретках, и о гончих упорнее, чем о мопсах. Затем он кончил коротким вздохом; лицо его приняло сосредоточенное выражение, и Горн выпрямился, устремив взгляд к зеленым провалам леса, окутанного сиянием.

Звуки были так слабы, что лишь бессознательно могли повернуть мысль от золота к домашним четвероногим. Они скорее напоминали эхо ударов по дереву, чем лай, заглушенный чащей и расстоянием. И их было совсем мало, гораздо меньше, чем восклицательных знаков на протяжении двух страниц драмы.

Время, пока они усилились, приобрели характерные оттенки собачьего голоса и сердитую уверенность пса, запыхавшегося от продолжительных поисков, было для Горна временем рассеянной задумчивости и холодной тревоги. Он ждал приближения человека, теша себя надеждой, что путь собаки лежит в сторону. Долина реки избавила его от этого заблуждения. Она тянулась вогнутой к лесу кривой линией, и с каждой точки опушки можно было заметить Горна. Думать, что неизвестный вернется назад, не было никаких оснований.

Горн торопливо спрятал отяжелевший платок в карман, сбросил в воду куски дерна, служившего вашгердом, и, держа штуцер наперевес, отошел шагов на сто от места, где мыл песок. Сдержанный, хриплый лай гулко летел к нему из близлежащих кустов.

Горн встал за дерево, напряженно прислушиваясь. Невидимый, он видел маленькую на отдалении верховую фигуру, пересекавшую луг крупной рысью, в то время, как небольшая ищейка вертелась под копытами лошади, зигзагами ныряя в траве. Слегка разгневанный, Горн вышел навстречу. Ему казалось недостойным прятаться

от одного человека, с какой бы целью тот ни приближался к нему. Он был сердит за помеху и за то, что искали его, Горна.

В этом уже не оставалось сомнения. Собака сделала две петли на месте, только что покинутом Горном, и, заскулив, бросилась к охотнику, прыгая чуть не до его головы, с визгом, выражавшим недоумение. Она могла залаять и укусить, все зависело от поведения самого хозяина. Но ее хозяин не выказал никакого волнения, только глаза его на расстоянии трех аршин показались Горну пристальными и острыми.

Горн стоял, держа ружье, заряженное на оба ствола, под мышкой, как зонтик, о котором в хорошую погоду хочется позабыть. Молодой Дрибб сдержал лошадь. Его винтовка лежала поперек седла, вздрагивая от нетерпеливых движений лошади, ударявшей копытом. Нелепое молчание фермера согнало кровь с лица Горна, он первый приподнял шляпу и поклонился.

— Здравствуйте, господин Горн,— сказал гигант, шумно вздохнув.— Очень жарко. Моя лошадь в мыле, мне, знаете ли, пришлось-таки порядком попутешествовать.

— Я очень жалею лошадь,— мягко сказал Горн.— У вас были, конечно, серьезные причины для путешествия.

— Важнее, чем смерть матери,— тихо сказал Дрибб — Вы уж извините меня, пожалуйста, за беспокойство,— без улыбки прибавил он, разглядывая подстриженную холку лошади.— Я охотнее заговорил бы с вами у вас, чем мешать вам в ваших прогулках. Но вас не было три дня, вот в чем дело.

— Три дня,— повторил Горн.

Дрибб откашлялся, вытерев рукой рот, хотя он был сух, как начальница пансиона. Глазки его смотрели тревожно и воспаленно. Горн ждал.

— Видите ли,— заговорил Дрибб, с усилием произнося каждое слово,— я сразу не могу объяснить вам, я начну по порядку, как все оно вышло сначала и дошло до сегодняшнего дня.

Было одно мгновение, когда Горн хотел остановить его.— «Я знаю; и вот что,— хотел сказать он.— За чем? — ответила другая половина души.— Если он ошибается, не надо тревожить Дрибба».

Собака отбежала в сторону и, высунув язык, села в тени чернильного орешника. Дрибб нерешительно пошевелил губами, казалось, ему было невыразимо тяжело. Наконец, он начал, смотря в сторону.

— Вы молчите, хотя, конечно, я вас еще ни о чем не спрашивал.— Он громко засопел от волнения.— Дней пять назад, сударь, то есть эдак суток через семь или восемь после нашего праздника, я был у Астиса.— «Эстер! — сказал я, и только в шутку сказал, потому что она все молчала.— Эстер,— говорю я,— ты нынче, как зимородок». И так как она мне не ответила, я набил трубку, потому что если женщина не в духе, не следует раздражать ее. Вечером встретился я с ней на площади.— «Ты не пройдешь сквозь меня,— сказал я,— или ты думаешь, что я воздух?» Тогда только она остановилась, а то мы столкнулись бы лбами.— «Прости,— говорит она,— я задумалась».— Так как я торопился, то поцеловал ее и пошел дальше. Она догнала меня.— «Дрибб,— говорит,— и мне и тебе больно, но лучше сразу. Свадьбы не будет».

Он передохнул, и в его горле как будто проскочило большое яблоко. Горн молча смотрел в его осунувшееся лицо, глаза Дрибба были устремлены к скалам, словно он жаловался им и небу.

— Здесь,— продолжал он,— я стал смеяться, думая, что это шутка.— «Дрибб,— говорит она,— от твоего смеха ничего не выйдет. Можешь ли ты меня забыть? И если не можешь, то употреби все усилия, чтобы забыть».— «Эстер,— сказал я с горем в душе, потому что она была бледна, как мука,— разве ты не любишь меня больше?» — Она долго молчала, сударь. Ей было меня жаль.— «Нет»,— говорит она. И меня как будто разрезали пополам. Она уходила, не оборачиваясь. И я заревел, как маленький. Такой девушки не сыщешь на всей земле.

Гигант дышал, как паровая машина, и был весь в поту. Расстроенный собственным рассказом, он неподвижно смотрел на Горна.

— Дальше,— сказал Горн.

Рука Дрибба судорожно легла на ствол ружья.

— И вот,— продолжал он,— вы знаете, что водка бодрит в таких случаях. Я выпил четыре бутылки, но этого оказалось мало. Он был тоже пьяный, старик.

— Ланфиер,— наудачу сказал Горн.

— Да, хотя мы его зовем Красный Отец, потому что он проливал кровь, сударь. Он все смотрел на меня и подсмеивался. У него это выходит противно, так что я занес уже руку, но он сказал: — «Дрибб, куда ездят девушки ночью?». — «Если ты знаешь, скажи», — возразил я. — «Послушай,— говорит он,— не трудись долго ломать голову. Равнина была покрыта тьмой, я караулил человека, поселившегося на озере, тогда, в ночь праздника. Если он любопытен,— сказал я себе,— он придет нынче в колонию. Я обвязал дуло ружья белой тряпкой, чтобы не промахнуться, и сидел на корточках. Через полчаса из колонии выехала женщина, я не мог рассмотреть ее, но в стуке копыт было что-то знакомое». — Сердце у меня сжалось, сударь, когда я слушал его. — «Я чуть не заснул,— говорит он,— поджидая ее обратно. Назад она ехала шагом, это было не позже, как через час. — Эстер! — крикнул я. — Она выпрямилась и ускакала. Не она ли это была, голубчик?» — сказал он.

Горн хмуро закусил губу.

— Дальше — и оканчивайте!

— И вот,— клокотал Дрибб, причем грудь его колыхалась, подобно палубе под муссоном,— я не знал, почему не было Эстер возле меня и не было долго... тогда. Я думал, что ей понадобилось быть дома. Очередь за вами, господин Горн. Если она вас любит, станемте шагах в десяти и предоставим судьбе выкроить из этого что ей угодно. Я пошел к вам на другой день, вас не было. Я объехал все лесные тропинки, морской берег и все те места, где легче двигаться. Затем жил два дня в вашем доме, но вы не приходили. Тогда я взял с собой Зигму, это очень хорошая собака, сударь, она водила меня немного более четырех часов.

— Так что же,— решительно сказал Горн,— все правда, Дрибб. Эстер была у меня. И не буду вам лгать, это, может быть, будет для вас полезно. Она хотела, чтобы я стал ее мужем. Но я не люблю ее и сказал ей это так же, как говорю вам.

Гигант согнулся, словно его придавило крышей. Лицо его сделалось грязно-белым. Задышавшись от гнева и тоски, он неуклюже прыгнул на землю и, пошатываясь, стиснул зубы.

— Вы не подумали обо мне,— закричал он,— когда увлекли девушку. И если вы врете, тем хуже для вас самих!

— Нет, Дрибб,— тихо произнес Горн, улыбаясь безразличной улыбкой, овладевшего собой человека,— вы ошибаетесь. Я думал, правда, не о вас собственно, но по поводу вас. Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы этот прекрасный лес сверкал тенистыми каналами с цветущими берегами, и стройные бамбуковые дома стояли на берегах, полные бездумного счастья, напоминающего облако в небе. И еще мне хотелось населить лес смуглыми кроткими людьми, прекрасными, как Эстер, с глазами оленей и членами, не оскверненными грязным трудом. Как и чем жили бы эти люди? Не знаю. Но я хотел бы увидеть именно их, а не нескладные туловища, вроде вашего, Дрибб, замызганного рабочим потом и украшенного пуговкой вместо носа.

— Скажите еще одно слово! — Дрибб с угрожающим видом шагнул к Горну.— Тогда я убью вас на месте. Вы будете качаться на этом каучуковом дереве — подлец!

— О! Довольно! — побледнел Горн. Он трясся от гнева. Равнина и лес на мгновение слились перед его глазами в один зеленый сплошной круг.— Не я или вы, Дрибб, а я. Я убью вас, запомните это хорошенько, потом будет поздно убедиться, что я не лгу.

— Десять шагов,— отрывисто, хриплым голосом сказал Дрибб.

Горн повернулся и отсчитал десять, держа палец на спуске. Небольшой кусок травы разделял их. Глаза их притягивались друг к другу. Горн вскинул ружье.

— Без команды,— сказал он.— Стреляйте, как вам вздумается.

Одновременно с окончанием слова «вздумается», он быстро повернулся боком к Дриббу, и вовремя, потому что тот нажимал спуск. Пуля, скользя, разорвала кожу на груди Горна и щелкнулась в дерево.

Не потерявшись, он коснулся прицелом середины волосатой груди фермера и выстрелил без колебания. Новый патрон магазинки Дрибба застрял на пути к дулу, он быстро попятился, раскрыл рот и упал боком, не отрывая от Горна взгляда круглых тупых глаз.

Горн подошел к раненому. Дрибб протяжно хрипел, подергиваясь огромным, неловко лежащим телом. Глаза его были закрыты. Горн отошел, вздрагивая, вид умирающего был ему неприятен, как всякое разрушение. Лошадь, отбежавшая в сторону, беспокойно заржала. Он посмотрел на нее, на собаку, визжавшую около Дрибба, и удалился, вкладывая на ходу свежий патрон. Мысли его прыгали, он вдруг почувствовал глубокое утомление и слабость. Кожа на груди, разорванная выстрелом Дрибба, вспухла, сочась густой кровью, стекавшей по животу горячими каплями. Присев, он разорвал рубашку на несколько широких полос и, сделав из них нечто вроде бинта, туго обмотал ребра. Повязка быстро намокла и стала красной, но больше ничего не было.

Пока он возился, Дрибб, лежавший без движения с простреленной навывлет грудью, открыл глаза и выплюнул густой сверток крови. Близкая смерть приводила его в отчаяние. Он пошевелил телом, оно двигалось, как мешок, наполненное острой болью и слабостью. Дрибб пополз к лошади, со стоном тыкаясь в сырую траву, как щенок, потерявший свой ящик. Лошадь стояла неподвижно, повернув голову. Путь в четыре сажени показался Дриббу тысячелетним. Захлебываясь кровью, он подполз к стремени.

Зигма, вертясь и прыгая, смотрела на усилия человека, пытавшегося сесть в седло, потеряв половину крови. Он обрывался пять раз, в шестой он сделал это удачнее, но от невероятного напряжения лес и небо заплясали перед его глазами быстрее, чем мухи на падали. Он сидел, охватив руками шею лошади, одна нога его выскользнула из стремени, и он не пытался вставить ее на место. Лошадь, встряхнув гривой, пошла рысью.

Горн, услышав топот, стремглав кинулся к месту, где упал Дрибб. Кровяная дорожка шла по направлению к лесу, — красное на зеленом, словно жидкие, рассыпанные кораллы.

— Поздно, — сказал Горн, бледнея от неожиданности.

Охваченный тревогой, он вошел в лес и двинулся по направлению к озеру так быстро, как только мог. Исчезли золотистые просветы, ровная предвечерняя тень лежала на стволах и на земле, грудь ныла, как от палоч-

ного удара. Почти бегом, торопливо перескакивая сваленные бурей стволы, Горн подвигался вперед и видел труп Дрибба, падающий с загнанной лошади среди толпы колонистов.

«Если труп найдет силы произнести только одно слово, я буду иметь дело со всеми»,— подумал Горн.

Он уже бежал, задыхаясь от нервного напряжения. Лес, как толпа бессильных друзей, задумчиво расступился перед ним, открывая тенистые провалы, полные шума крови и прихотливых зеленых волн.

IX

Дверь, укрепленная изнутри, вздрагивала от нетерпеливых ударов, но стойко держалась на своем месте. Горн быстро переводил взгляд с незащищенного окна на нее и обратно, внешне спокойный, полный глухого бешенства и тревоги. Это был момент, когда подошва жизни скользит в темноте над пропастью.

Он был в центре толпы, спешившейся, щадя лошадей. Животные ржали поблизости, тревожно пофыркивая в предчувствии близкой схватки. Земля, взрытая на середине пола, зияла небольшой ямкой, по краям ее лежали грязные узелки и самодельные кожаные мешочки, пухлые от наполнявшего их мелкого золота. Тусклое, завернутое в сырую, еще пахнущую вяленным мясом кожу, оно было так же непривлекательно, как красный, живой комок в руках акушерки, зевающей от бессонной ночи. Но его было довольно, чтобы человек средней силы, взвалив на спину все мешочки и узелки, не смог пройти ста шагов.

Горн думал о нем не меньше, чем о себе, стиснутом в четырех стенах. Все зависело от того, как повернутся события. Он почти страдал при мысли, что случайный уклон пули может положить его рядом с неожиданным подарком судьбы, лежавшим у его ног.

Свежие удары прикладом в дверь забарабанили так часто и увесисто, что Горн невольно протянул руку, ожидая ее падения. Кто-то сказал:

— Если вы не цените вежливости, мы поступим, как вздумается. Что вы скажете, например, о...

— Ничего,— перебил Горн, не повышая голоса, потому что тонкие стены отчетливо пропускали слова.—

Будь вас хоть тысяча, вы можете убить только одного. А я — многих.

Одновременно с треском выстрела пуля пробила дверь и ударилась в верхнюю часть окна. Горн переменил место.

— Право, — сказал он, — я не буду разговаривать, потому что, целясь по слуху, вы можете прострелить мне голосовые связки. Пока же вы ошиблись только на полсажени.

Он повернулся к окну, разрядил штуцер в чью-то мелькнувшую голову и всунул новый патрон.

— Подумайте, — произнес тот же голос, подчеркивая некоторые слова ударом приклада, — что смерть под открытым небом приятнее гибели в мышеловке.

— Дрибб умер, — сказал Горн. — Ничто не может воскресить его. Он был горяч и заносчив, следовало остудить парня. Я предупредителен, пока это не грозит смертью самому мне. Умер, что делать?! Собака Зигма виновата в этом больше меня: опасно иметь тонкое обоняние.

Глухой рев и треск досок, пробитых новыми пулями, остановил его.

— Какая настойчивость! — сказал Горн. Холодное веселье отчаянья толкало его к злым шуткам. — Вы мне надоели. Надо иметь терпение ангела, чтобы выслушивать ваши нескладные угрозы.

За стеной разговаривали. Сдержанные восклицания и топот шагов то замирали, то начинали снова колесить вокруг дома, ближе и дальше, ближе и дальше, вместе и врассыпную. Стеклянная пыль месяца падала у окна тусклым четырехугольником, упорно трещал камыш, словно там укладывался спать и все не мог приспособиться большой зверь. Горн плохо чувствовал свое тело, дрожавшее от чрезмерного возбуждения; превращенный в слух, он машинально поворачивал голову во все стороны, держа на взводе курки и ежесекундно вспоминая о револьвере, оттягивавшем карман.

Вдруг треснул залп, от которого вздрогнули руки Горна и зазвенело в ушах. Множество мелких щеп, выбитых пулями, ударили его в лицо и шею, кой-где расцарапав кожу.

После мгновенной тишины голос за дверью сухо осведомился:

— Вы живы?

Горн выстрелил из обоих стволов, целясь на голос. За дверью, вздрогнувшей от удара пули, шлепнулось что-то мягкое.

— Жив, — сказал он, щелкая горячим затвором. — А ваше здоровье?

Ответом ему были ругательства и взрыв новых ударов. Другой голос, отрывистый, крикнул из-за угла дома:

— Охота вам тратить пули!

— Для развлечения, — сказал Горн, посылая новый заряд.

Шум усилился.

— Эй, вы! — закричал кто-то. — Клянусь вашей печеню, которую я увижу сегодня собственными глазами, — бесполезно сопротивляться. Мы только повесим вас, это совсем не страшно, гораздо лучше, чем сгореть! Подумайте насчет этого!

Слова эти звучали бы совсем добродушно, не будь мертвой тишины пауз, разделявших фразу от фразы. Горн улыбнулся с ненавистью в душе; компания, собиравшаяся поджарить его, вызывала в нем настойчивое желание разmozжить головы поочередно всем нападающим. Он не испытывал страха, для этого было слишком темно под крышей и слишком похоже на сон его одиночество перед разговаривающими стенами.

— Вы не узнали меня, — продолжал отрывистый голос. — Меня зовут Дрибб. Я так до сих пор и не видел вашей физиономии; вы слишком горды, чтобы прийти под чужую крышу. А тогда, в бухте было слишком темно. Но терпению бывает конец

— Жалею, что это вы, — сухо возразил Горн. — Из чувства беспристрастия вам не следовало являться сюда. Что вам сказал сын, падая с лошади?

— Падая с лошади? Но вас не было при этом, надеюсь. Он сказал — «Го...» и захлебнулся. Вот что сказал он, и вы мне ответите за этот обрывок слова.

— Отнеситесь к жизни с философским спокойствием, — насмешливо сказал Горн. — Я не отвечаю за поступки молодых верблюдов. Конечно, мне следовало целиться в лоб, тогда он умер бы в твердой уверенности, что я убит его первым выстрелом. А нет ли здесь Гупи?

— Здесь! — прозвучал хриплый голос. Он раздался далее того места, где, по предположению Горна, стоял Дрибб.

— Гупи, — сказал, помолчав, Горн, — напейтесь идо-
ложерственной свиной крови!

Щеки его подергивались от нервного смеха. Визгливая брань колониста режущим скрипом застряла в его ушах. Он продолжал, как бы рассуждая с собой:

— Гупи — человек добрый.

Неожиданная, грустная радость выпрямила спину охотника; он уже сожалел о ней, потому что радость эта протягивала две руки и, давая одной, отнимала другой. Но выхода не было. Нелепая смерть возмущала его до глубины души, он решился.

— Пойдите! — вскричал Горн, — одну минуту! — Быстро, несколькими ударами топора он вырубил верхнюю часть доски в самом углу двери и отскочил, опасаясь выстрела. Но звуки железа, врубающегося в дерево, казалось, несколько успокоили нападающих, — человек мирно рубил доску. В зазубренной дыре чернел кусок мглистого неба.

— Гупи, — сказал Горн, переводя дух и настораживаясь. — Гупи, подойдите ближе, с какой вам хочется стороны. Я не выстрелю, клянусь честью. Мне нужно что-то сказать вам.

Человек, поставленный у окна, выглянул и, торопливо приложившись, выстрелил в темноту помещения. Горн отшатнулся, пуля обожгла ему щеку. Охваченный припадком тяжелой злобы затравленного, Горн несколько секунд стоял молча, устремив дуло к окну, и все в нем дрожало, как корпус фабрики на полном ходу, — от гнева и ярости.

Овладев собой, он подумал, что Гупи уже подошел на нужное расстояние. Тогда, взяв узелок с песком, весом около двух или трех фунтов, он выбросил его в дыру двери.

— Это вам, — громко сказал Горн. — И вот еще... и еще.

Почти не сознавая, что делает, он с лихорадочной быстротой швырял золото в темноту, тупо прислушиваясь к глухому стуку мешочков, мерно падающих за дверь. Слезы душили его. Маленькая голубая река невинно скользила перед глазами.

Беглый, смешанный разговор вспыхнул за дверью, отдельные голоса звучали то торопливо, то глухо, как сонное бормотание. Горн слушал, смотря в окно.

- Погодите, Гупи!
- Да что вам нужно?
- Положите!
- Оставьте!
- Эй, куда вы?
- Как,— и вы? Тысяча чертей!
- А вам какое дело до этого?
- Где он взял?
- Много!
- Я оторву вам руки!
- Во-первых, вы глупы!

Характерный звук пощечины пререзал напряжение Горна. На мгновение шум стих и разразился с удесятеленной силой. Топот, быстрые восклицания, брань, гневный крик Дрибба, тяжелое дыхание борющихся скрещивалось и заглушалось одно другим, переходя в стонущий рев. Почти испуганный, не веря себе, Горн хрипло дышал, прислонившись головой к двери. Он чувствовал смятение, переходящее в драку, внезапное движение алчности, увеличивающей воображением то, что есть, до грандиозных размеров, резкий поворот настроения.

Продолжительный, звонкий крик вырвался из общего гула. И вдруг грянул выстрел после которого показалось Горну, что где-то в стороне от его дома густая толпа мечется в огромной кадрили, без музыки и огней. Он выбил, один за другим, колья, укреплявшие дверь, тихо приотворил ее, и разом исчезла мысль, оставив инстинктивное, бессознательное полусоображение животного, загнанного в тупик.

Шум доносился справа, из-за угла. Людей не было видно, они спешили покончить свои расчеты. Не следовало ожидать, чтобы они бросились поджигать дом в надежде найти там больше, чем было брошено Горном. Жестокие, нетерпеливые, как дети, они предпочитали пока видимое невидимому. Горн вышел за дверь.

Тени, отбрасываемые луной, казались черными бархатными кусками, брошенными на траву, залитую молоком. Воздух неподвижно дымился светом, густым, как

известковая пыль. Мрак, застрявший в опушке леса, пестрил ее черно-зелеными вырезами.

Горн постоял немного, слушая биение сердца ночи, беззвучное, как мысленно исполняемая мелодия, и вдруг, согнувшись, пустился бежать к лесу. В ушах засвистел воздух, от быстрых движений разом заныло тело, все потеряло неподвижность и стремглав бросилось бежать вместе с ним, задыхающееся, оглушительно звонкое, как вода в ушах человека, нырнувшего с высоты. Лошадь, привязанная у опушки, казалось, неслась к нему сама, боком, как стояла, лениво перебирая ногами. Он ухватился за гриву; седло медленно качнулось под ним. Торопливо разрезав привязь ножом почти в то время, как открывал его, Горн выпустил из револьвера все шесть пуль в трех или четырех ближайших, метнувшихся от выстрелов лошадей и понесся галопом, и мгла невидимым ливнем воздуха устремилась ему навстречу.

И где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла в песок, рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку.

Горн скакал, не останавливаясь, около десяти верст. Он пересек равнину, спустился к кустарниковым зарослям морского плато и выехал на городскую дорогу.

Здесь он приостановился, сберегая силы животного для вероятной погони. Слева, из глубокой пропасти ночи, со стороны озера, слышалось неопределенное тиканье, словно кто-то барабанил пальцами по столу, сбиваясь и снова переходя в такт. Горн прислушался, вздрогнул и сильно ударил лошадь.

Он был погружен в механическое, стремительное ощущение скачки, где грива, темная, ночная земля, убегающие силуэты холмов и ритмическое сотрясение всего тела смешивались в подмывающем осязании пространства и головокружительного движения. За ним гнались, он ясно сознавал это и качался от слабости. Утомление захватывало его. Согнувшись, он мчался без тревоги и опасения, с болезненным спокойствием человека, механически исполняющего то, что делается в подобных случаях другими сознательно; спасение жизни казалось ему пустым, страшно утомительным делом.

И в этот момент, когда, изнуренный всем пережитым, он был готов бросить поводья, предоставив лошади идти, как ей вздумается, Горн ясно увидел в воздухе бледный огонь свечи и маленькую, обведенную кружевом руку. Это было похоже на отражение в темном стекле окна. Он улыбнулся,— умереть среди дороги становилось забавным, чудовищной несправедливостью, смертью от жажды.

Задумчивое лицо Эстер мелькнуло где-то в углу сознания и побледнело, стерлось вместе с рукой в кружеве, как будто была невидимая, крепкая связь между девушкой из колонии и женщиной с капризным лицом, ради которой — все.

— Алло! — сказал Горн, приподымаясь в седле.— Бедняга затрепыхался!

И он спрыгнул в сторону прежде, чем падающая лошадь успела придавить его бешено дышащими боками.

Затем, успокоенный тишиной, он постоял немного, бросив последний взгляд в ту сторону, где ненужная ему жизнь протягивала объятия, и двинулся дальше.

ПРОЛИВ БУРЬ

ПРОЛИВ БУРЬ

I

В полдень, как и всегда, Матиссен Пэд удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг о друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца.

С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка: он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела, любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей — этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек.

Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только «Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи — песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле нагретыми спиртными парами, Пэд приходил в неистовое, возбужденное состояние, близкое к опьянению.

Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно

принадлежало частной акционерной компании и называлось «Регина»; Пэд, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем «Фитиль на порохе».

Жгучий вар солнца кипятил землю, бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым, сухим блеском. Пэд расстегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, т. е. опорожнил бутылку, держа ее дном вверх.

Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, сдобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление; его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго: до ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоянных на имбирных семечках.

Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посуды, Пэд почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны, небо роняло на голову горячие плиты, каждый удар их звенел в ушах, подобно большому гонгу; невидимые пружины начали развертываться в мозгу, плававшем от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты; далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэд, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти.

Почти пьяный, Пэд одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сену. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжащую ноту.

Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, старик повернул багровое мохнатое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер, вился дымок, нежный, как голубая вуаль; грязный борт шхуны пестрел выве-

шенным для просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря.

Веселый, пошатывающийся, распаренный, как хмель в кадке, Пэд тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления: воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий, немой мрак потопил все.

Пэд тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара.

«Плохие игрушки!» — сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэд сочно хрипел, и это были последние пары. Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра: лицо Пэда было черно, как чугун, даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей.

— Отчалил! — вскричал длинноволосый Родэк, суетясь около Пэда. — Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги. Что, не поднять? Ну, говорил же я, что в нем по крайней мере десять пудов!

— Родэк, — сказал Дженнер, взволнованно почесывая за ухом, — поди, принеси две палки и ведро воды. Может, он жив еще. Если же действительно капитан отчалил — мы его донесем на палках до катера.

— Как это не вовремя, — проворчал Сигби. — На завтра готовились плыть. Я недоволен. Потому что ребята передерутся. И это всегда так, — закончил он, с яростью топнув ногой, — когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиться по способу, назначенному самим чертом: сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку!

II

— Аян, мальчик, — сказал кок, проходя мимо камбуза, — тебе следовало бы тоже там быть: все разгорячены, и теперь держи ухо востро. Полезно слушать, что говорят ребята, это может относиться ведь и к тебе.

Аян улыбнулся.

— Мое время еще не наступило, — тихо проговорил он, раскачивая руками ванты и следя, как выбленки, вздрагивая от сотрясения, успокаиваются под салингом. — Я подожду.

— Положим,— сказал кок, хлопая по плечу юношу,— ты не так уж зелен, красивый мошенник, чтобы быть здесь совсем в загоне. Ступай, сокровище палача, в кубрик, там все. Я тоже направляюсь туда по одному делу, которое, откровенно говоря, ставит меня в тупик. Скажи, Ай, видано ли, чтобы от кока требовали знать бухгалтерию? С меня требуют хозяйственный отчет — вещь неслыханная! Это позор, Аян, для настоящих грабителей и так же мелко, как сухой берег. Когда я путался с Гарлеем Рупором (он отчалил шесть лет назад, простреленный картечью навывлет) — не было ничего подобного: каждый, кто хотел, шел в трюм, где, бывало, десятками стояли хорошие фермерские быки, разряжал револьвер в любое животное и брал тот кусок, который ему нравился. Иди, Ай, ведь это же в самом деле будет любопытно!

— Пойдем,— равнодушно сказал Аян,— но ты знаешь, я не люблю шума.

— А ты на них цыкни,— насмешливо возразил повар.— Вот и все.

Была ночь, океан тихо ворочался у бортов, темное от туч небо казалось низким, как потолок погреба. Повар и Аян подошли к люку, светлому от горящих внизу свеч; его полукруглая пасть извергала туман табачного дыма, выкрики и душную теплоту людской массы.

Когда оба спустились, глазам их представилась следующая картина.

На верхних и нижних койках, болтая ногами, покуривая и смеясь, сидела команда «Фитиля» — тридцать шесть хищных морских птиц. Согласно торжественности момента, многие сменили брезентовые бушлаки на шелковые щегольские блузы. Кой-кто побрился, некоторые, в знак траура, обмотали левую руку у кисти черной материей. В углу, у бочки с водой, на чистом столе громоздилось пока еще нетронутое угощение: масса булок, окорока, белые сухари и небольшой мешочек с изюмом.

Посредине кубрика, на длинном обеденном столе, покрытом ковром, лежал капитан Пэд. Упорно не закрывавшиеся глаза его были обращены к потолку, словно там, в просмоленных пазах скрывалось объяснение столь неожиданной смерти. Лицо стало еще чернее, распухло, лишилось всякого выражения. Труп был одет в парадный морской мундир, с галунами и блестящими

пуговицами; прямая американская сабля, добытая с китового судна, лежала между ног Пэда. Вспухшие кисти рук скрещивались на высокой груди.

Но смерть, столько раз хлопавшая по плечу всех присутствовавших, производила и теперь слабое впечатление: держались развязно, спорили, бились о заклад — пропахнет ли Пэд к утру или удержится. Смешанное настроение кабака, кладбища и подозрительного общества отозвалось в сердце Аяна неожиданным возбуждением: предчувствие важных событий наполнило его молодые глаза беспокойным блеском зрачков рыси, вышедшей на охоту. Он стал в углу, улыбаясь своей странной улыбкой, похожей на неопределенный жест человека, колеблющегося между приветствием и угрозой.

Едва Аян занял свое место, как на койку взгромоздился Редж, правая рука Пэда; теперь просто рука, потому что туловище о т ч а л и о. Квадратное, надменное лицо Реджа без устали скользило глазами по лицам присутствующих. Наступила относительная тишина.

— Ребята! — сказал Редж. — Случилось то, что случилось. Вот, — он протянул руку к голове трупа, — вы видите. Пэд страшно пил, как вам всем известно и без меня, но кто посмел бы его упрекнуть в этом?

— Хорошо сказано, — подхватил сосредоточенный бас Дженнера. — Валяйте, лейтенант, дальше, и да поможет вам небо благополучно бросить оба якоря в гавани.

— Всякому будет свое время упражняться в красноречии, — перебил Редж, с неудовольствием взглянув на матроса. — Ребята! Что толковать — мы не какое-нибудь военное судно, где выдают чарку виски в полдень и перед ужином. Меня разбирает смех, когда я об этом думаю. Да, Пэд твердо помнил свою позицию, и память погубила его. Сколько у меня в бороде волос, столько раз брал я его за рукав, когда он, нагрузив пазуху и карманы, шел на этот роковой холм. Он ругался. Он страшно ругался и твердил, что должен напиться хоть раз в день. Исправить этот несчастный случай — то же, что подковать на бегу лошадь. Мы здесь бессильны и, если бы могли плакать, труп Пэда плавал бы теперь в наших слезах, как тростинка в большой реке. Благодаря тебе, Пэд, — повысив голос, обратился

Редж к трупам,— из шершавых волчат выросли настоящие волки. Аминь.

Он смолк и трагически поднял брови, стараясь уловить, какое впечатление произвела его речь. Раздались сдержанные рукоплескания.

— Теперь,— сказал Редж,— мы, как живые, должны озаботиться насущными, неотложными делами. Нужно привести все в порядок, чтобы тот, кого вы выберете капитаном,— здесь Редж приостановился, но в тот же момент лица всех сделались непроницаемыми, а некоторые даже потупились,— чтобы новый начальник видел все ясно, как на стекле. Сейчас выступит повар Сэт Алль и даст отчет в имеющемся продовольствии. Затем я— в общем приходе и расходе, и, наконец, штурман Гарвей приведет в известность всех относительно оружия, корабельных материалов и остального инвентаря. Потом, не откладывая в долгий ящик, произведем выборы капитана, так как вы знаете, что отсутствие дисциплины на судне пагубнее, чем присутствие женщины. Я кончил.

Загорелый, шишковатый лоб Реджа покрылся испариной. Он перевел дух и отошел в сторону, а на его место стал повар. Манеры Сэта явно показывали глубокое презрение к роли, в которой ему приходилось выступить: он демонстративно покачивался и ежеминутно засовывал в карманы руки, снова извлекая их, когда требовалось сделать какой-нибудь небрежно-шикарный жест.

— Ну, что же,— начал повар,— вы, конечно, меня все хорошо знаете. К чему эта глупая комедия? Будем объясняться начистоту. Я обокрал вас, джентльмены,— в течение этих трех лет я нажил огромное состояние на пустых ящиках из-под риса, перца и вываренных костях. Я еще и теперь продаю их акулам, из тех, что победнее,— три пейни за штуку— будь я Иродом, если не так. Только вот беда: денег не платят.

Яростный взрыв хохота сопровождал эту незамысловатую шутку. Сэт вытер усы, лукаво подмигивая натянутой физиономии Реджа, и стал внезапно серьезен, только в самой глубине его вертлявых зрачков вспыхивали насмешливые огоньки.

— Я все записал,— сказал он, доставая засаленную бумажку.— Вот слушайте: осталось у нас: галет 1-го и

2-го сорта сорок мешков, муки — шесть больших бочек, каждая, вероятно, в полтонны; соленой свинины — две бочки, кроме того, имеются два почти издохших быка... Относительно быков: пасти мне, что ли, их здесь? Я завтра пристрелю обоих. Ты что обеспокоился, Сигби? Не протухнут, есть ледники и селитра. Что же еще есть у нас? Да — кофе, прессованные овощи...

И он тщательно, упираясь пальцем в бумажку, перечислил всю наличность провизии. Выходило, что в этой, спрятанной от чужих глаз, бухте можно просидеть с месяц, не беспокоясь о том, что есть.

Сэт ретировался под дружный гул одобрений. Наступила очередь штурмана. Этот даже не потрудился встать с койки, где между ним и боцманом стояла бутылка в обществе оловянных стаканов. Аян видел из своего угла, как острое, серьезное лицо штурмана высунилось из-за пиллерса, быстро швыряя в толпу увесистые, короткие фразы, прерываемые характерным звуком жующих челюстей.

— Все благополучно, — сказал Гарвей. — Судно в исправности, не мешало бы почистить обшивку форштевня под ватерлинией: тамросло ракушек и всякой дряни. Старая течь, наконец, открыта: вода сочилась под килем, у третьего тимберса от кормы, слева. Поставили заплату. Все материалы налицо, от железных скобок до запасного кливера. Пороху хватит до следующих дождей; при желании бомбардировать луну хватило бы, по крайней мере, на месяц, и это при непрерывной канонаде. Арсенал состоит из сорока двух запасных собак, пяти- и шестизарядных; Когана — двадцать, Мортимера — шесть, Смита и Вессона — семнадцать, Скотта — девять. Два орудия — блестящие, нежненькие, без одной царапины. Снаряды: картечи — два ящика, гранат — три, кроме того, — две дюжины стальных ядер, с обшивками Леверсона. Двадцать американских топоров, два гарпуна, одиннадцать сабель, восемьдесят каталонских ножей. Винтовки: одиннадцать Кентуккнйских, пять Бердана, десять Новотни. Штуцера: тридцать четыре — Пристлея, один — Джексона. Патроны в полном комплекте.

Гарвей умолк так же неожиданно, как и заговорил. Отвернувшись, он продолжал чокаться с боцманом.

Между тем шум усилился, по рукам ходили бутылки, многие стояли, прислонившись спиной к столу, на котором лежал Пэд, и, размахивая локтями, толкали покойника. Аян подошел к Гарвею.

— Штурман,— сказал он, чуть-чуть нахмурившись,— вы слышите? Голос каждого звучит совсем иначе, чем когда был жив капитан Пэд. Я чувствую тревогу. Что будет?

— Ты много стал понимать, Ай,— произнес штурман.— Молчи, ты моложе всех, не твое дело.

— Я чувствую,— повторил юноша,— что произойдут важные события. Меня никогда не обманывают предчувствия, вы увидите.

— Постой! — крикнул Родэк, приподымаясь, чтобы взглянуть на вышедшего вперед Реджа.— Он хочет сказать что-то!

Аян повернулся. Редж, тоже слегка пьяный, махал рукой, приглашая команду слушать. Образовался кружок, лейтенант встал у труп, упираясь рукой в край стола. Казалось, что он схватил покойника за руку, ища поддержки.

— Эти три месяца,— почти закричал Редж,— дали нам одиннадцать тысяч наличными и две — за проданный транспорт индиго. Деньги переведены в банк «Приятелю». Есть расписки. Проверкой документов займется тот, кто будет новым начальником. Слушайте, ребята,— с новой силой закричал он,— объявите ваши симпатии! Пусть каждый назовет, кого хочет, здесь все свободны!

Разом наступила глубокая тишина, как будто вдруг опустел кубрик и в нем остался один Редж. Началось немое, но выразительное переглядывание, глаза каждого искали опоры в лицах товарищей. Немногие могли похвастаться тем, что сердца их забились в этот момент сильнее, большинство знало, что их имена останутся непроизнесенными. Кой-где в углах кубрика блеснули кривые улыбки интриганов, сдержанный шепот вырос и полз со всех сторон, как первое пробуждение ночного прилива.

Аян молча стоял у койки; его озаренные изнутри глаза отражали общее сдержанное возбуждение, заражавшее желанием неожиданно возвысить голос и произнести неизвестное ему самому слово, целую речь, после

которой все стало бы ясно, как на ладони. Между тем, спроси его кто-нибудь в это мгновение: — «Ай, кто достойнейший?» — он ответил бы обычной улыбкой, жуткой в своей замкнутости. Наконец боцман сказал:

— Штурман Гарвей, ребята, и никто больше!

При полном молчании матросов штурман пожал плечами, как бы удивляясь столь длинной паузе, но, в общем, остался спокоен. Боцман продолжал:

— Я вам говорю, не кобеньтесь. Гарвей знает все, все видел, все испытал. Он строг, верно, но за порядок при нем я ручаюсь своей кровью. Ну, что же, умерли вы? Берите Гарвея и кончено! Все будет как следует!

— Гарвей! Гарвей! — закричали некоторые, делая вид, что с ними кричат все остальные. — Он! Он!

Сторонники штурмана тесным кольцом окружили своего кандидата, остальные стали около Реджа. Старик, пыхая трубками и сплевывая, доставали револьверы: опытность говорила в них, старый инстинкт хищников, предусмотрительных даже во сне. Раздались крики:

— Долой барина Гарвея!

— Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!

— Выбирайте! За бортом много воды!

— Спросите-ка сперва Пэда!

— Полдюжины огородных чучел против настоящего моряка! Bravo, Гарвей!

— Лижите пятки у Реджа!

— Долой Гарвея!

— Плохое вы дело затеяли там, у бочки! Гарвей зажмет вам рты быстрее Пэда.

— Редж! Хотим Реджа! Редж!

Кровь хлынула к бледному лицу Реджа. Он быстро поворачивался во все стороны, судорожно смеясь, когда противная сторона бросала ему ругательства. Рука Аяна бессознательно поползла к поясу, где висел нож, он весь трепетал, погруженный в головокружительную музыку угроз и бешенства.

Шум усилился, на мгновение все смешалось в одно пестрое, стонущее пятно, и снова выделились отдельные голоса:

— Редж!

— Гарвей!

— Редж!

- Гарвей!
- Долой Реджа!
- Долой Гарвея!
- Бросить их в воду!
- С боцманом!
- И с сундуками!
- И с оловянными кружками!
- Подумаешь, что все мы без головы.

— Джентльмены! — орал Сигби, сам еще не решивший, кого он хочет. — Каждый из нас мог бы быть капитаном не хуже патентованных бородачей Ост-Индской компании, потому что — кто, в сущности, здесь матросы? Все более или менее знают море. Я, Дженнер и Жип — подскиперы, Лауссон — бывший боцман флота, Энери служил лоцманом... у всех в мозгу мозоли от фордевиндов и галсов, а что касается храбрости, то, кажется, убиты все трусы! Ну, чего вам?

— Дженнер! — закричали в углу. — Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!

Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост: глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притоптывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.

Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрагивали от волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающие находились от него по крайней мере за милю:

— Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!

Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбород-

ком, оглядываясь; громко захохотал Сигби — еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимой уверенностью; момент был великолепен. Боцман сказал:

— Ай, насмешись еще!

Он посмотрел на юношу, но травленный взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла невозмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.

— Повтори-ка, что ты сказал! — крикнул Редж.

— Я предлагаю, — не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, — разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!

— Дело! — сказал Сигби, грызя ногти. — Как скоро растут мальчики!

— Да, — продолжал Аян, — нехорошо, если польется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья — по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.

Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолк. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.

— Аян, — произнес Кристоф, когда все успокоилось, — через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?

— Прямо, — сказал Аян. — Море не терпит раздоров, — прибавил он, — а завтра все будет кончено.

— Ай, — сказал Сигби, — ну, ей-богу же, ты простак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»

К пробитию четырех склянок все выстроились на шанцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт — и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая пустынную тишину земли резкими, удлинненными выкриками. Гарвей подошел к трупу, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, представляя солнцу накаливать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.

Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевирая слова. Потом рука его заслонила море, он приглашал слушать.

— Ребята, — сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки, — пока море не расступилось. Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.

— С миром! — как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.

— Мы тебя не забудем, — продолжал Гарвей. — Ты ушел от виселицы, а мы — неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.

Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.

— Бу-бух! — всплескивая, сказала вода.

Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять — прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».

Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.

— Ребята, — сказал Гарвей, — не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой — есть завещание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.

Тогда расцвели самые угрюмые лица: завешание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех — он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.

В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынуженное, по-видимому, из пакета.

Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.

«11 июля 18...9 года,— прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись.— Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в споре, поэтому завещаю:

1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску,— всем поровну и без исключения».

Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.

— Гу-у! — пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.

— «Второй пункт,— сказал штурман.— Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».

Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.

— Ты будешь на них спать, Ай,— сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.

— Тише! — зашипел Редж...

Гарвей продолжал:

— «Портрет, который я запечатаваю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».

Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «...не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.

Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипе подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:

— Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!

Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чуждое кривым улыбкам изображение женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.

Раздались возгласы:

— Э! Послушайте! Это невежливо!

— Дайте же и нам, наконец!

— Суньте-ка сюда эту бабу без лака!

— Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..

— Хо-хо!..

Гарвей протянул руку, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустёртая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в лицах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен Редж презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.

— Взгляни-ка сюда, Ай,— сказал, приосанившись, молодой Пильчер,— это получше твоих ковров.

Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полустёртых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, незаразительным смехом. Пильчер сказал:

— А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.

— Этого не может быть,— твердо сказал Аян.— Нет такой женщины.

— Почему? — ввернул Сигби.

— Я не видел,— коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: — Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенько. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.

— Оставьте пустяки! — крикнул Редж, довольный, что Гарвей замолчал и он может овладеть общим вниманием.— Кто поедет?

— Я не хочу,— сказал Дженнер после того, как молчанье стало общим.— Чего ради?

Остальные переминались. Уехать во время междоусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или, в лучшем случае, увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:

— Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!

Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.

— Неблагодарная сволочь! — закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных.— Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызывать вас по жребию и первому отказавшемуся размоzzить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?

Это «кто» лягнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержанные ругательства; никто не ответил вызовом — правота чувствовалась на стороне спрашивающего.

— Второй раз! — закричал взбешенный Гарвей.— Кто?

Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.

— Подле... — хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.

Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.

— Кто? — по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом.— Ай, ты?

- Я.
- Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.
- Хорошо.
- Сегодня вечером.
- Да.
- Не надо терять времени.
- Я еду, Гарвей.

IV

Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.

Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее поверхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.

Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньг чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании — последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.

Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился — безветренная тишина моря, по-видимому, обещала спокойствие, — но вел шлюпку держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка — в проливе.

Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный

прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и киллю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.

Взяв направление, Аян стал грести ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полуосвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в черной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защемив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спугнуло мысль. Он встрепенулся; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.

Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обыкновенные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских иарвалах, скаках, отвратительных, как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он

положил весла, придвинул фонарь и вынул портрет женщины.

Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все — шляпка, весла, фонарь, ружье спрятанное в корме, — показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И, как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе — сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с.. шу-с-с.. шу-с-с...» — загудел воздух; шляпка, поплескивая, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.

— Почему тихо? — громко сказал он, смеясь самому себе. — Море, кричи!

Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу:

— Я еду, еду! Один!

Шляпка придвинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:

— Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!

Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй насильника.

V

— Я тотчас вернусь, — сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним. — Подождите.

— Разве это не все равно? — возразил Аян. — Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.

Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.

— Если вы не смеетесь,— сказал он,— а просто рассеяны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас — тем лучше.

— Я плохо понимаю эти вещи,— улыбнулся Аян.— Идите, если это необходимо, но мне некогда.

Он выдержал еще один выстрел изумленных, отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.

Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающихся по голубому фону остроконечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настежь распахнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.

Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компании, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкатулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикованные к портьеру, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.

Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения суетились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшийся доложить о нем,— не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть.

удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, сообщение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места: он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать — кто он такой?

Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было бы для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидал залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.

Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти. Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте; взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливались для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами; костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучнодвигающийся человек, и так они стояли два-три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены — щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку — это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.

Он двинулся почти бегом — все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комна-

ту, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.

Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задыхаясь, с внезапно упавшим сердцем.

VI

Комната, в которую он так стремительно ворвался, с револьвером в одной руке и тяжеловесным пакетом в другой, отличалась необыкновенной жизнерадостностью. Бело-розовый полосатый штоф покрывал стены, придавая помещению сходство с внутренностью огромного чемодана; стены на солнечной стороне не было, ее заменял от пола до потолка ряд стекол в зеленых шестиугольных рамах,— это походило на разрез пчелиного сота, с той разницей, что вместо меда сочился золотой свет. Комната была полна им, он заливал все. Жирандоли с вьющимися растениями закрывали низ стеклянной стены; спутанные тропические цветы свешивались с потолка, завитки их дрожали, как маленькие невинные щупальца. В углу, над бамбуковой качалкой, раскачивался в тонком кольце хохлатый маленький попугай. Посредине — стол, окруженный пухлыми белоснежными креслами; серебряный кофейный прибор отливал солнцем.

Аян не различал ничего этого — он видел, что в рамке из света и зелени поднялось живое лицо портрета; женщина шагнула к нему, испуганная и бледная. Но в следующий же момент спокойное удивление выразилось в ее чертах: привычка владеть собой. Она стояла прямо, не шевелясь, в упор рассматривая Аяна серыми большими глазами.

— Это вы,— с усилием произнес Аян.— Я вас узнал по портрету. Там был человек, он сказал, что пойдет к вам и скажет вам про меня. Я думаю, что это предатель. Я прошел много комнат, прежде чем нашел вас.

— Спрячьте револьвер,— сказала девушка.

Он посмотрел на свою правую руку, занятую оружием, и сунул Вессон за пояс.

— Я вынул его на всякий случай,— произнес он,— мы не доверяемся тишине. Вас зовут Стелла, извините, если я ошибаюсь, но так сказал мне бритый старик, приславший что-то в этом свертке. Что там — мне неизвестно. Вот он. Может быть, я вас испугал, барышня?

Молодая девушка насмешливо посмотрела на посетителя.

— Я, может, и испугалась бы, если бы вы пришли ночью, но теперь день. Садитесь и расскажите, чему я обязана вашим стремительным посещением.

— Пэд умер,— сказал сильно смущенный Аян. Душевное равновесие было им совершенно утеряно—девушка ослепила его. Он смотрел и не мог отвести взгляда от ее лица. Она была значительно моложе, чем на портрете; волосы пепельного оттенка, заплетенные в один пышный жгут, спускались ниже бедер. Платье, серое с голубым, плотно закрывало шею и руки, блестящие олеиными глазами под тонкими, высоко выведенными бровями казались воплощением гордости. Когда она спрашивала, спрашивало все лицо, а правая рука слегка приподымалась нетерпеливым, резким движением.

— Пэд умер,— повторил Аян.— Никто не хотел ехать, так как наступил беспорядок. Если вы ничего не знаете, я расскажу по порядку. Капитан Пэд оставил завещание и в нем просил кого-нибудь отвезти по адресу ваш портрет.

— Вы сумасшедший! — сказала Стелла, расширяя глаза.— К какому капитану мог попасть мой портрет, голубчик?

Аян вспыхнул и побледнел. Сумасшедший! В лице его пробежала судорога страдания. Но он оправился прежде, чем девушка протянула руку, как бы приглашая его успокоиться. Когда он стал говорить далее, голос его сорвался несколько раз прежде, чем он произнес дюжину слов.

— Я говорю, что было; я сам знаю не больше вашего, — тихо сказал он. — Вы не можете на меня сердиться. Я приехал и отыскал бритого старика, который, я не знаю — почему, смотрел на меня так, как будто я хватил его ножом в горло. Он передал мне вот это, оно завязано так же, как было, и указал ваш дом. Я не думаю, чтобы я сломал что-нибудь у вас в больших комнатах: я держался посредине.

— Если это мне, дайте, — удивленно произнесла Стелла. — Но я решительно ничего не понимаю.

— Вот ваш портрет. — Аян протянул маленькую овальную дощечку. — Я берег его от воды и грязи, — прибавил он.

Полунежная, полугрозная улыбка прорезала его смуглые черты. Он плохо понимал себя в эти минуты; происходящее казалось ему сном. Стелла взяла портрет.

И больше не было в ее лице тревожного внимательного недоумения. Она резко повернулась; пепельный жгут вздрогнул и захлестнул ее руку, разом опустившуюся, словно по ней ударили. Когда она снова взглянула на Аяна, лицо ее было совсем белым, губы нервно дрожали.

— Это для меня новость. — Каждое слово ее отдельно ложилось в солнечную тишину комнаты. — Не смотрите на меня круглыми глазами — это не ваше дело. Надеюсь, вы поняли? Дайте сюда пакет.

Пальцы Стеллы беспомощно скользили по нему, пеньковая бечевка крепко стягивала узлы.

— Вот нож. — Аян протянул кортик с роговой ручкой.

Девушка приняла помощь без взгляда и благодарности — внимание ее было поглощено свертком. Нож казался в ее руках детской жестяной саблей, тем не менее острое лезвие вспорол холст и веревки с быстротой молнии. Аян, охваченный любопытством, стоял рядом, думая, что его руки сделали бы то же самое, только быстрее.

Внутри был большой, темный деревянный ящик, ключ торчал в скважине и щелкнул, казалось, прежде, чем девушка схватила его. В тот же момент толстая бумажная пачка подтолкнула крышку ящика, и град пожелтевших писем разлетелся под ногами Аяна.

Аян нагнулся, подхватил несколько листов и выпря-

мился, желая передать их девушке, но Стелла торопливо читала первое, что попало под руку.

— Стелла,— нерешительно сказал он,— я соберу все!

Она, казалось, не слышала. Комкая, разрывая конверты, пробежала она то бисерные, женские, то неуклюжие мужские строки, почти на каждом из писем стояли разные штемпеля, как будто пишущих бросало из одного конца света в другой. Прочсть все у нее, однако, не хватило терпения; впрочем, прочитанного было вполне достаточно.

Некоторое время она стояла, опустив голову, роняя письма одно за другим в шкатулку, как будто желая освоиться с фактом, прежде чем снова поднять лицо. Неуловимые, как вечерние тени, разнообразные чувства скользили в ее глазах, устремленных на пол, усеянный остатками прошлого. Встревоженный, расстроенный не меньше ее, Аян подошел к Стелле.

— Там есть еще что-то в ящике,— совсем тихо, почти шепотом, сказал он.— Взгляните.

Не отвечая, девушка взяла шкатулку, положила ее на стол и опрокинула нетерпеливым движением, почти сейчас же раскаявшись в этом, так как, одновременно с глухим стуком дерева, скатерть вспыхнула огнем алмазного слоя, карбункулов, жемчугов и опалов. Зеленые глаза изумрудов перекатились сверху и утонули в радужном, белоснежном блеске; большинство были алмазы.

Это было последним, но уже сладким ударом, и Стелла не выдержала. Крупные, неожиданные для нее самой слезы женского восхищения брызнули из ее глаз, лицо горело румянцем. В состоянии близком к экстазу водила она вздрагивающими пальцами по холодным камням, как бы усиливаясь передать их равнодушному великолепию всю бесконечную нежность свою к могуществу драгоценностей и торжеству роскоши. Вздолтанная до глубины души, не меньше, чем любая женщина в первый сладкий и острый момент объятий избранника, Стелла вскрикнула; звонкий, счастливый смех ее рассыпался в комнате, стих и молчаливой улыбкой тронул лицо Аяна.

Она подняла глаза: совсем близко, четверть часа назад посторонний и подозрительный, стоял дикий, заго-

рель, безусый юноша. Счастливое недоумение искрилось в его темных глазах, заботливо устремленных на девушку. Теперь он любил Пэда больше, чем когда бы то ни было; умерший казался ему чем-то вроде благодетельного колдуна.

Стелла не сдерживалась. Если бы она не заговорила, ей стало бы тяжело от подавленной, непреодолимой потребности разрядиться.

— Кто был мой отец? — спросила она. — Вы должны знать Пэда — это его имя; но кто он был?

— Пэд?! — Аян отступил несколько шагов назад. — Пэд — ваш отец?!

— Как будто вы не знали этого. — Стелла погрузила руки в сокровища. — Бросим игру в прятки. Вы ехали сюда, в ваших руках был портрет моей матери. Перестаньте же лгать. Итак... Пэд?!

— Вашей матери? — повторил Аян. — Как мог знать я это? Вы оглушили меня, поверьте, я не лгал никогда в жизни. У меня в голове теперь что-то вроде лесного кустарника. Я не знал.

Глаза его встретились с серыми, надменными глазами, но он не опустил голову. Он сам искал объяснения, как будто за ним было уже право на это и камни Пэда связали их. Аян ждал.

— Вы... наивны, — помолчав, произнесла Стелла. — Теперь вы, надеюсь, знаете?

— Да, вы сказали.

Она снова повернулась к столу, там был магнит, поворачивавший ее голову. Попугай резко вскрикнул, его грубый возглас, казалось, оторвал девушку от спутанных размышлений. Решение, что осталось досказать, в сущности, немного и что это, во всяком случае, лучше, чем хоть какая-нибудь лазейка для сплетен, показалось ей дельным.

— Моя мать была танцовщицей, — сухо произнесла она, не поворачиваясь к Аяну, — танцовщицей в Рио-Жанейро; вы знаете, там разнообразное общество.

Аян кивнул головой.

— Пэд был с ней знаком. Если вы любопытны и это недостаточно для вас ясно — спрашивайте.

— Мне нечего спрашивать.

— Надеюсь. Вы сели бы.

Аян сел. Девушка продолжала стоять, касаясь рукой стола. Раз оказав доверие, она не считала себя вправе остановиться.

— Ее звали так же, как и меня. Она вышла замуж. Дом этот — моего отчима, он чаоторговец, зовет меня дочерью. Кто Пэд?

— Пэд был капитан, — сказал Аян, погруженный в водоворот чувств, откуда ему казалось, что все почему-то обязаны знать то же, что он. — Он умер.

— Я это уже знаю.

— «Фитиль на порохе» — не торговая шхуна, — коротко усмехнулся Аян. — Мы останавливаем иногда китоловов, но с ними много возни; Пэд предпочитал почту.

Стелла выпрямилась.

— Это слишком щедро для одного дня, — сказала она, с любопытством рассматривая Аяна. — Вы... грабите?

— Мы берем самое подходящее, — помолчав, возразил Аян. — Деньги попадают не так часто, но шелковые и чайные транспорты тоже выгодны.

— Молчите! — крикнула Стелла, расхаживая по комнате. — А вооруженные суда... военные?

— Сила на их стороне, — вздохнул Аян. — Мы также теряем людей, — прибавил он, — не думайте, что все сдаются, как зайцы в силке.

— Так, значит, там, на столе... — Стелла подошла к ящику. — Вы не думаете, что они стали темнее после вами рассказанного?

— Пэд очень любил вас, — возразил Аян.

— Вы это знаете?

— Да.

— Он вам говорил обо мне?

— Ни разу.

— Почему же вы это знаете?

— Стелла, — сказал Аян, — он мог не любить вас?

Девушка улыбнулась. Перед ней, в огне солнца, такие же, как четверть часа назад, сверкали алмазы, и не были они ни темней, ни хуже. Их прошлое сгорело в костре собственного их блеска.

Наконец созерцание утомило девушку, она встала перед Аяном.

- Как вас зовут?
- Ай, еще — Аян.
- Кто вы?
- Матрос.
- Аян, расскажите о вашем судне и о моем... Пэде.

VII

Сбивчивыми, спутанными словами, запинаящимися друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.

Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга — упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзрачной, как простая контузия; о починке бегучего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знойный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и килевая качка, ночные сигналы, рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, — все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажимая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва — газетный лист...

Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в груды алмазов. Девушка подошла к сто-

лу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкающая драгоценностями, с разгоревшимся, преображенным лицом.

— Все здесь,— громко сказала Стелла.— Все, о чем вы рассказали,— на мне.

Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимся от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с собой была выше его сил — он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напомнил укус.

Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.

— Мальчик,— произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостиной, среди общества,— я нравлюсь тебе?

— Я целовал портрет,— глухо сказал Аян.— Я думал, что это ты.

Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее же мгновение все по-прежнему твердо стало на своем месте. Она вырвалась.

Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольцо. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:

— Уйдите сейчас же! Прочь!

Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.

Он поднял глаза, полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.

— Аян,— мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь.— Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я — нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайте образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова — вы придите. Больше я ничего не скажу вам.

И тотчас улыбка радости ответила ее словам — так было немного нужно, чтобы воспламенить порох.

— Я уже думал об этом,— тихо сказал Аян.— Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.

Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.

— О! — только сказал он.

— Идите же! Идите!

Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:

— Я — приду!

VIII

От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде маисовой лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.

Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад — тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солн-

цепеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любовной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестящими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.

Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные валы с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.

Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.

Встревоженный матрос перестал грести. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что по крайней мере на полумиллю тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность прищипывала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был приседать, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был шторм.

Прошло несколько времени, и ветер переменил фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встряхивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянело; пароксизм ярости сотрясал пу-

чину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, буйным ревом помешанного.

Лодку стремительно несло в сторону. Валы, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощупью. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, — ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасывало. Соленые, бьющие в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штормом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шляпка приобрела легкость испуганного, травмированного человека, мечущегося во все стороны.

Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась — удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный огонь молний зажмурил глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шляпку, бросил, вырвал одно весло — Аян вздрогнул.

Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.

Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шляпки. Бороться дальше он счел бы для себя унижением, смешной попыткой обуздать стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его — напротив, обезору-

женный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:

— Жри! Подавись! Собака! Цепная собака!

Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорблениями, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.

— Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь, Иуда!

Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шлюпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шлюпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.

— Жри же! — с презрением повторил Аян.

Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти беспрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извивы трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонялся над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.

И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках — теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф движется на него скачками, подымаясь и опускаясь.

Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударилось в риф, Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и ринулась в темноту.

— Стелла! — крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним

дальше — он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то — быть может, он — двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни... шум леса, мокрый песок. Бессилие...

IX

Аян протер глаза в пустынной тишине утра, мокрый, хмельной и слабый от недавнего утомления. Плечи опухли, ныли; сознание бродило в тумане, словно невидимая рука все время пыталась заслонить от его взгляда тихий прибой, голубой проход бухты, где стоял «Фитиль на порохе», и яркое, живое лицо прошлых суток.

Аян встал, разулся, походил немного взад и вперед, нежа натруженные подошвы в согретом песке берега, размялся и совершенно воскрес. Невдалеке чернела залитая водой, обнажившая киль шлюпка; волнение качало ее, как будто море в раздумье остановилось над лодкой, не зная что делать с этим неуклюжим предметом. Пролив казался спокойными ангельскими глазами изменившей жены; он стих, замер и просветлел, поглаживая серебристыми языками желтый песок, как рассудительная, степенная кошка, совершающая утренний туалет котят.

Матрос ревниво осмотрел шлюпку: дыры не было. Штуцер вместе с уцелевшим веслом валялся на дне, опутанный набухшим причалом; ствол ружья был полон песку и ила. Аян вынул патрон, промыл ствол и вывел шлюпку на глубину — он торопился; вместе с ним, ни на секунду не оставляя его, ходила по колена в воде высокая городская девушка.

Она следила за ним. Он подымал глаза и улыбался сырому, сверкающему морскому воздуху; пустота казалась ему только что опущенным, немым взглядом. Взгляд принадлежал ей; и требование и обещанная чудесная награда были в этих оленьих, полных до краев жизнью глазах, скрытых далеким берегом. Человек, рискнувший на попытку поколебать веру Аяна, был бы убит тут же, на месте, как рука расплющивает комара.

Шлюпка, точно проснувшись, закачалась под его ногами; Аян греб стоя, одним веслом. Рифы остались сза-

ди, впереди лежал океан, слева — меловые утесы, похожие на кучки белых овец, скрывали бухту. Он плыл с ясным лицом, уверенно отгребая воду, грозившую не так давно смертью, и не было в этот момент предела силе его желания кинуться в битву душ, в продолжительные скитания, где с каждым часом и днем росло бы в его молодом сердце железо власти, а слово звучало непоколебимой песнью, с силой, удесятеренной вниманием. Он подплывал к шхуне повелителем в грабеже и удали, молодой, нетерпеливый, с душой, сожженной беззвучной музыкой, воспоминанием и надеждой.

Аян кипел; солнце кипело в небе; вскипая и расходясь, плескалась вода. — Го-го! — крикнул матрос, когда расстояние между ним и шхуной, стоявшей на прежнем месте, сократилось до одного кабельтова. Он часто дышал, потому что гребля одним веслом штука нелегкая, и крикнул должно быть слабее, чем следовало, так как никто не вышел на палубу. Аян набрал воздуха, и снова веселый, нетерпеливый крик огласил бухту:

— Эгей! Спусти трап! Свои!..

Шлюпка подошла вплотную; грязный, продырявленный старыми выстрелами борт шхуны мирно дремал; дремали мачты, штаги, сонно блестили стекла иллюминатора; ленивая, поскрипывающая тишина старого корабля дышала грустным спокойствием, одиночеством путника, отдыхающего в запущенном столетнем саду, где сломанные скамейки поросли мохом и желтый мрамор Венер тонет в кустарнике. Аян кричал:

— Эй, на шхуне! Гарвей! Сигби! Родэк! Кто-нибудь, спустите же трап! Ребята!

Тень легла на его лицо, он сказал тихо, как бы обращаясь к себе:

— Они спят. Я забыл, что парни без дела.

Взобраться на палубу при помощи обыкновенной железной кошки было для него пустяком. Он поднялся, укрепил причал шлюпки, чтобы лодку не отнесло прочь, и подошел к кубрику. У трапа он приостановился, сообщая, чем удовлетворить законное любопытство товарищей, и вспомнил грязную контору бритого старика, о котором говорил Стелле.

— Да, — мысленно произнес он, — я имел дело со стариком, ее не было. Старик взял портрет, я вернулся.

Заранее улыбаясь возгласам и расспросам, Аян спустился в кубрик. Сначала, в сумраке помещения, он не поверил себе, прищуриваясь и оглядываясь широко раскрытыми, встревоженными глазами, но тотчас убедился, что людей нет. Кубрик потерял жилой вид. Койки, лишенные одеял, сиротливо тянулись перед Аяном; на полу сор, веревки, тряпки, огарки свеч, пустые жестянки; исчезли мешки с имуществом, одежда, висевшая по стенам, оружие. Немая заброшенность и тоска смотрели из каждой щели, настезь раскрытых ящиков, тускло освещенного люка...

Пораженный, Аян силился понять что-нибудь и не мог. Одно-два мгновения он рассеянно потирал руки; блуждающая улыбка кривила губы. Это было мгновенное, тревожное оцепенение, где нет места ни рассуждению, ни догадкам — он потерялся. Слегка испуганный, Аян вышел на палубу: по-прежнему здесь не было ни души. Он поспешил к каютам, в надежде отыскать Реджа или Гарвея, по дороге заглянул в кухню — здесь все валялось неубранное; высохшие помои пестрили пол, холодное железо плиты обожгло его руку мертвым прикосновением; разлагалось и кишело мухами мясо, тронутое жарой. Передник Сэта висел на гвоздике, как будто повар только что ушел, вернется и вкусно застучит по доске острым ножом.

Первое, что остановило Аяна, как вкопанного, и потянуло к револьверу, — был труп Реджа. Мертвый лежал под бизанью и, по-видимому, начинал разлагаться, так как противный, сладкий запах шел от его лица, к которому нагнулся Аян. Шея, простреленная ружейной пулей, вспухла багровыми волдырями; левый прищуренный глаз тускло белел; пальцы, скрюченные агонией, казались вывихнутыми. Он был без шапки, полуодетый.

Аян медленно отошел, закрывая лицо. Он двигался тихо; тупая, жесткая боль росла в нем, наполняя отчаянием. Матрос прошел на корму: спуститься в каюты казалось ему риском — увидеть смерть в полном разгуле, ряды трупов, брошенных на полу. Он осмотрелся; голубая тишина бухты несколько ободрила его.

Прислушиваясь на каждом шагу, Аян оставил последнюю ступень трапа и двинулся к каюте Гарвея. Дверь не была закрыта; он тихо открыл ее, окаменел,

шаря глазами, и вздрогнул от радости: с койки, как бы не узнавая его, смотрели тяжелые, стальные глаза штурмана.

— Гарвей! — шепнул юноша, подходя ближе. — Гарвей!

Штурман открыл рот и пошевелил губами. Первая попытка заговорить была неудачна. Потом, и было видно, что это стоит ему огромного напряжения, Гарвей прохрипел:

— Мальчик!.. Ай... В два слова: ушли все. Ядохну, ранен близ сердца... Собственно говоря, я был дурак... я и Редж... мы враги... но не...

Он двинул рукой, почесал подбородок об одеяло и продолжал:

— Шакалы разбежались, Аян. Я и Редж воспротивились; знаешь, в нашем ремесле поздно искать другого пристанища. И то сказать — Пэд умер... Никак не могли выбрать новую глотку... стадо!.. В тот день, что ты уехал, уже сцепились... Кристоф пошел к Пэду... его застрелил Дженнер. Я не могу рассказывать, Ай, — меня все что-то держит за горло... и стреляет в спину... Но вот... Ты поймешь все... решили делиться, подбил Сигби. Шхуна пуста, Ай... Ушли... Все ушли...

Гарвей смолк, его резкие, осунувшиеся черты выражали невероятное бешенство.

— Дай воды! — коротко сказал он.

Аян подал оловянную кружку, раненый пролил половину на одеяло; горло его подергивалось судорогой. Аян спросил:

— Когда это, Гарвей?

— Вчера вечером. Они все... соберутся... Один... к «Приятелю»... Понял?

— Да.

— Расскажи... — захрипел Гарвей. — Впрочем...

Он задохнулся, закрыл глаза и не шевелился. Аян сел, положил голову на руки; плечи и шея его тяжело вздрагивали; это были беззвучные, сухие рыдания. Гарвей, по-видимому, уснул. Усилия, сделанные им, отняли всю энергию угасающего, пробитого тела.

— Стелла, — сказал Аян тише, чем дыхание раненого. — Что дальше?

Прошло, может быть, полчаса; очнувшись, с горем в душе, он пристально рассматривал штурмана. Желание

быть выслушанным, передать часть тяжести хотя бы полуживому, страдающему наполняло его беглым огнем слов; он сказал:

— Гарвей, вы знаете, мне так же больно, как вам. Я... со мной случилось, но вы ничего не знаете... Я мог быть счастлив, Гарвей!..

Он смолк, ему ответила тишина.

— Гарвей,— сказал он, вставая,— я вам могу быть полезен. Я любил и вас также, Гарвей, но у меня не разбежались бы; это так. Я владел бы ими, как владеют стаей собак. Гарвей! Я нащиплю корпии и перевяжу вашу рану; кроме того, вы хотите, вероятно, поесть. Кто ранил вас?

Он протянул руку, коснувшись плеча штурмана. Гарвей молчал. Аян потолкал его, затем нагнулся и приложил ухо к груди — все кончилось.

— Прощайте, штурман! — сказал матрос.— Теперь я один живой здесь. Прощайте!..

Поднявшись на палубу, он отыскал немного провизии — сухарей, вяленой свинины и подошел к борту. Шлюпка, качаясь, стучала кормой в шхуну; Аян спустился, но вдруг, еще не коснувшись ногами дна лодки, вспомнил что-то, торопливо вылез обратно и прошел в крайс-камеру, где лежали бочонки с порохом.

Оставляя ее, он оставил за собой тонкий дымок фитиля.

— Ты оправдаешь свое название,— сердито, но уже владея собой, сказал он.— Порхай!..

На берегу, бросив лодку, Аян выпрямился. Дремлющий, одинокий корабль стройно чернел в лазури. Прошла минута — и небо дрогнуло от удара. Большая, взмыленная волна пришла к берегу, лизнула ноги Аяна и медленно, как кровь с побледневших щек, вернулась в родную глубину.

— Пролив обманул меня,— сказал юноша,— я спасся затем ли, чтобы повелевать трупами? Но этого быть не может.

Он засмеялся. Это был тот же страшный, горловой смех жизненного упорства.

— Я приду,— сказал он, посылая улыбку северу,— приду! У меня есть песня — моя песня.

И он тронулся к заселенным местам, напевая вполголоса:

Свет не клином сошелся на одном корабле:
Дай, хозяин, расчет!..
Кой-чему я учен в парусах и руле,
Как в звездах — звездочет!

С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат
На волне колыхали меня;
Я родня океану — он старший мой брат,
А игрушки мои — русленя!..

Он ушел.

Умирая, одинокий, он скажет те же, полные нежной
веры и грусти, твердые большие слова:

— Я — приду!..

Он счастлив — не мы.

СМЕРТЬ РОМЕЛИНКА

I

Ромелинк не был доволен своей жизнью; впрочем, постоянные путешествия и большой запас денег давали ему возможность по временам заглушать в себе холодную тоску духа, бывшую единственной и настоящей причиной бродячей жизни, которую он вел в продолжение нескольких лет, равнодушно и уже почти без всякого любопытства переезжая с места на место. Внимательные, глубокие, спокойные глаза Ромелинка останавливались на всем, запоминая каждую мелочь, интонацию голоса, но мир проходил под его взглядом своим, замкнутым для него существованием, как лес мимо стремительно бегущего паровоза.

Теперь, когда ему стукнуло сорок лет, пожалуй, было немного поздно верить в радостную катастрофу, необычайную, восхитительную перемену существования, и мысль о ней лежала где-то в архиве, среди других, полных в свое время жизни и силы, — мыслей. Ромелинк жил зрением, но смотрел он — не удивляясь и не завидуя, полный бессознательного доброжелательства решительно ко всему, что не нарушало его годами накопленного покоя. Это маленькое приобретение он тратил чрезвычайно расчетливо, заботливо уклоняясь от всяких

пертурбаций, психологических и иных, где можно оставить частицу себя без всякого за это вознаграждения.

Объехав Африку и Америку, Ромелинк вспомнил и об Австралии. Теперь он ехал туда на хорошем английском пароходе, испытывая сытую скуку от комфортабельного существования и от быстро примелькавшихся лиц людей, сходящихся за табльдотом, где шли нескончаемые споры о колониальной политике, биржевых ценах, где неумолчно звучали названия городов, разбросанных по всему свету, а земной шар становился похожим на колоссальную гостиницу, из номеров которой вышли и случайно собрались в одном коридоре несколько десятков людей. Большинство ехало с семьями: то были вновь назначенные чиновники и офицеры, два-три туриста с изнеженными европейскими лицами, несколько женщин.

Обыкновенно Ромелинк сидел у себя в каюте до вечера. Когда небо и океан остывали, и бархатная, прозрачная даль краснела в облаках, похожих на далекие снеговые горы, залитые водой,— он выходил на палубу, садился у борта, курил; звезды рождались на его глазах, потом таинственное молчание мрака наполняло пространство, и мысли, медлительные, как полет ночных птиц, беззвучно тянули пряжу, соединявшую душу Ромелинка с далекими берегами материков, где гасли отблески прошлого.

II

В пятницу пароход вышел из Бомбея, а в понедельник на юге показалась группа небольших островов.

— Коралловые рифы,— сказал капитан Ромелинку, когда тот остановил на них свое рассеянное внимание.— Мы идем по архипелагу, впереди будет еще много этих подков.

Он стал рассказывать о странной природе атоллов, тишине и лагунах, об острых зубцах кораллов, спрятанных в прозрачной воде, но Ромелинк, поблагодарив, отошел к юту. Он любил всегда и все узнавать сам.

Вечером снова пришла тоска, того странного молитвенного оттенка, что сопровождал Ромелинка везде в открытом пространстве, будь то океан или пустыня, степь или большая река. Легкий туман стлался над горизонтом, небольшое волнение покачивало пароход,

и солнце опустилось в глубину дали неярким багровым кругом. Профили пассажиров, разместившихся по бортам, рисовались на вечерней воде бледными, акварельными набросками.

Стемнело; волнение немного усилилось. Звезд было меньше, только самые крупные из них пробивались сквозь мглу ночного тумана тусклой, золотой рябью; Ромелинк поднялся с места, штурман и старший лейтенант прошли мимо него, раскланялись и пропали в полуозаренном фонарем мраке; они разговаривали; одно слово, вырвавшись, догнало Ромелинка, он машинально повторил его:

— Барометр.

На пороге каюты, подставляя лицо влажному, порывистому ветру, бьющему в незакрытый иллюминатор, Ромелинк испытал мгновенную потребность дать себе отчет в чем-то, что наполняло его в последнее время все чаще ощущением беспокойства. Душа не всколыхнулась глубоко, и в голове мелькнули слова, похожие на ряд цифр:

— Ромелинк, сорока лет. Работал, бывший табачный фабрикант, богат. Путешествую, скучно.

Он зажег свет, разделся и, прежде чем крепко, как всегда, уснуть, прочел главу из Леббока: о радости быть живым, чувствовать и смотреть.

III

Сон прерывался толчками, но тотчас одолевал их, не выпуская Ромелинка из состояния физического оцепенения. Смутно, и более телом, чем сознанием, ощущал он перемещение центра тяжести, ноги то приваливались к стене, то медленно потягивали вниз за собой туловище; руки сползали к коленям; иногда казалось, что весь он наполнен гирями, и они катаются в нем, придавливая к постели грудь, освобождая ее и снова начиная свою беззвучную, медленную игру. Раз его сильно встряхнуло, он проснулся совсем, сообразил, что пароход сильно качает, и вновь защитился сном.

Совсем и уже окончательно Ромелинк пришел в себя тогда, когда почувствовал, что летит вниз. Он судорожно взмахнул руками, но руки встретили воздух, сильный удар в голову оглушил его; вскочив, он широко расставил ноги, как это делают моряки во время кач-

ки, но не удержался и отлетел в угол. Стулья, чемоданы и другие предметы с грохотом носились вокруг, потолка — потолок, пол — по временам исчезали, каюта то опрокидывалась на Ромелинка, то на мгновение принимала прежнее положение. Оглушенный, испуганный, он делал невероятные усилия удержаться на одном месте, встать, сообщить членам непоколебимую устойчивость. Разбешенный океан лишал его связности движений, веса, возможности управлять телом. Он походил на игрушку — картонного паяца, взбрасывающего ноги и руки, мотающего головой, но роковым образом остающегося на одном месте.

Ромелинк, спотыкаясь и распластываясь, подполз к вешалке, где висело его платье. Одеться стоило ему таких же трудов, как трубочисту вылезть из трубы белым. Волнение океана передалось ему, он торопился на палубу; разбитый, оглушенный смятением, Ромелинк держался левой рукой за решетку койки, приводя правой в порядок все части костюма, которые требовали особенного внимания. С палубы летел смутный гул, стуки и дробь шагов, в открытый иллюминатор хлестали лохмотья волн, разносясь брызгами по каюте; пенистые лужи их переливались от стены к стене; наступало жестокое бешенство морской ночи, взвихренной ураганом. Ударяясь в обшивку узкого прохода между каютами, где хлопали, открываясь и закрываясь, двери, Ромелинк бросился к трапу, цепляясь за поручни, и через минуту стоял на палубе, ухватившись за рычаг крана.

В первый момент он не мог вздохнуть, — так силен был ветер, хлеставший палубу. Соленая пена гребней била его в лицо, пароход, проваливаясь, подымался, подскакивал, ложился с борта на борт; в сумрачных, трепещущих огнях фонарей бежали, цепляясь за борта, ванты, палубу, люки — темные силуэты и пропадали во тьме, выкрикивая неясные приказания, ругательства, вопросы, похожие на торопливые звуки охрипших рожков или стоны раненых. Идти не было никакой возможности. Ромелинк крикнул, никто не обратил на него никакого внимания.

По палубе металась испуганная, хватающаяся друг за друга, падающая, ползущая на четвереньках толпа. Все чувства, какие до сих пор приходилось испытывать Ромелинку, исчезли, новое, не похожее ни на что, смяте-

ние билось в его груди вместе с сердцем, ударявшим так часто и звонко, как будто оно было сделано из металла. Промокший насквозь, босой, без шляпы, он словно прирос к крану, руки его ныли от постоянных усилий, казалось, тьма из всех сил пытается разом оторвать кран от стиснутых пальцев и бросить Ромелинка на палубу.

Все остальное вспоминалось им после, как омерзительный, холодный кошмар воды, сырости, толчков, вихря и паники. Пароход взбросило, колена Ромелинка согнулись от внезапного сотрясения, глухое, словно изпод земли: «Г-ро-н-н»... пронизало судно; продолжительный треск, перекачиваясь от киля до мачт, заухал в трюмах, смолк, и палуба вдруг наклонилась почти отвесно, так что Ромелинк стукнулся подбородком в железо крана и несколько секунд лежал так, повиснув над бездной. Наверху, в реях, пронзительно гудел шторм, лихорадочная, непреодолимая слабость вдруг охватила Ромелинка, он был готов выпустить опору из рук, отдаться власти пьяного ужаса стихий, исчезнуть, — но крики, раздавшиеся вблизи, всколыхнули инстинкт самосохранения.

— Спустить шляпки! С топорами у талей! Женщин вперед!

Медленно, словно поднимающийся после тяжелой раны зверь, — пароход выпрямился. Ромелинк отпустил кран, упал и пополз вперед. Куча полуодетых женщин и мужчин теснилась перед ним, у борта; шляпка, выведенная за борт, раскачивалась из стороны в сторону. Он встал, схватился за балку и был в центре толпы, тут же заметив, что шляпка уже полна. В этот момент стало светло, как днем, удар грома соединил небо и воду, и Ромелинк, в нескольких саженьях от борта, увидел высокую, мокрую, покрытую сбегающими струями — стену. «Скала!» — решил он, и уже только во вновь наступившем после молнии мраке мгновенный холод тоски, похожий на ощущение падающего в пропасть, сковал его — это была волна.

Он не успел ни подготовиться, ни растеряться; окаменев, в течение одного момента Ромелинк мысленно пережил, до его наступления, удар двигающейся водяной горы, и переживание это стоило смерти. Затем бешеная масса воды сшибла его с ног, полузадушила, сделала легким, закричала в ушах и выбросила за борт.

Сначала Ромелинк закружился в глубокой воронке, образовавшейся вследствие вращательного движения отхлынувшей назад влаги; потом начал работать пятками и выбрался на поверхность. Волны перекачивались вокруг него с глухим шумом, дыбились под ним, держали, покачивая, на закругленных, пенистых спинах и сбрасывали в глубокие, жидкие ямы. Сохраняя, — насколько это было возможно, — самообладание, Ромелинк повернулся на спину, стараясь двигаться как можно меньше, чтобы избежать быстрого утомления, и несколько минут продержался так, но скоро подобное положение оказалось невыносимым — вода заливала рот и нос, и редкие, глубокие вздохи, которые удавалось делать Ромелинку, шли за счет обессиливающих задержек дыхания. Измученный, он перевернулся в воде и стал плыть, стараясь как можно более сохранить лицо от внезапных набегов волн и лохмотьев пены, срываемой ветром. Намокший костюм тянул вниз и сильно мешал плыть, но сбросить его не было никакой возможности: бесформенное, лишенное определенного темпа волнение бросало воду из стороны в сторону, грозя перевернуть Ромелинка при малейшей неосторожности, что могло стоить нескольких невольных глотков соленой воды. Изредка беглый небесный грохот потрясал мрак и бледный, яркий мертвенный свет молний обнажал взбешенную зеленоватую воду.

Эти моменты отчаянной, нелепо расчетливой борьбы за наверняка погибшую жизнь прошли для Ромелинка без страха; страх был бы слишком ничтожен, чтобы заставить его страдать; он испытал нечто большее — глаза Смерти. Они лишили его воли и отчетливого сознания. Сам он, душа его — отсутствовали в то время, оставалось тело, — с тупой покорностью Смерти, — борющееся за лишний вздох, лишнее движение пальца. Это был безнадежный торг человека с небытием, крови — с водой, инстинкта — со штормом, иссякающих сил — с пучиной. В нем не было ни отчаяния, ни веры в спасение, он был судорожно извивающимся автоматом с сердцем, полным тьмы и агонии.

И в то мгновение, когда силы покидали его, когда нестерпимая судорога стала сводить ноги и тысячи острых игл забегали в теле, а сам он сделался тяжелым,

как набухший мешок с мукой — еще раз грохнуло в небе и несколько светлых трещин упали вниз. Мелькнула доска, киль шлюпки, перевернутой ураганом, руки со страшной быстротой внезапно вспыхнувшего отчаяния выбросились из воды, застыли на мокром дереве, грудь ударилась в твердое, и несколько тоскливых минут длилось безумие последних, сверхъестественных усилий дышать и держаться до острой невыносимой ломоты в пальцах; боль эта казалась райским блаженством.

V

Очнувшись с тупой болью во всем теле, Ромелинк поднялся на ноги и закрыл глаза, ослепленный дневным светом. Он стоял у самой воды, на берегу небольшого, кораллового острова; лодка, перевернувшаяся вверх дном, валялась невдалеке. У кормы ее, на спине, лицом к Ромелинку, лежала полуодетая молодая женщина.

Он мог бы удивиться, обрадоваться присутствию еще, может быть, живого существа белой породы, но чувство животной радости по отношению к самому себе сделало его в первый момент бесчувственным. Машинально, еще пошатываясь от слабости, Ромелинк подошел к женщине, приподнял ее за плечи и прислушался. Она дышала, но слабо, плотно сжатые губы и необычайная бледность указывали на глубокий обморок, вызванный потрясением.

Усталый от этого небольшого усилия, Ромелинк присел на песок; с закружившейся головой, дрожащей от слабости, он пристально смотрел в лицо женщины. Он помнил ее: она ехала с братом и спаслась, вероятно, так же, как Ромелинк, держась за киль шлюпки. Может быть пальцы их переплетались в то время, когда, оглушенные штормом, они носились в воде.

Ромелинк поднял голову, голос спасенной жизни заговорил в нем, лицо неудержимо расплывалось в улыбку. Он стал смеяться судорожным мелким смешком, все громче, полный полубезумного восторга перед голубым небом, пальмами, пустыней моря. Он чувствовал себя, как человек, родившийся взрослым. Он смотрел на песок, и ему становилось необычайно приятно, следил за игрой волны и покатывался от душившего его счастливого хохота. Он был жив. Казалось, океан выстирал

его внутри и снаружи, всколыхнув ужасом смерти все притупленные человеческие инстинкты. Земля была для него в этот момент раем, а существование гусеницы гармоничным, как взгляд божества или полет фантазии. Он не был ни Ромелинком, ни меланхоликом, ни бывшим табачным фабрикантом, а новым, чудесным для самого себя человеком.

Женщина застонала. Ромелинк подошел к ней, нагнулся и употребил все усилия, чтобы привести ее в чувство. Это несколько удалось ему; она открыла глаза и снова закрыла их. Тогда он увидел, что женщина эта поразительно хороша, и странное, быстрое, как полет мысли, чувство бесконечной любви обожгло его душу; он протянул руки...

Что-то тяжелое и холодное разорвало его грудь, горло стянули судороги, странный шум во всем теле,— боль, темнота и смерть.

.
.
.

Шторм продолжался. Скорченное тело Ромелинка носилось в воде, перевортываясь, как пустая бутылка, и через некоторое время тихо пошло ко дну.

ДЬЯВОЛ ОРАНЖЕВЫХ ВОД

«Внимай мне,— дьявол мне сказал в
полночной тишине,— внимай! я расскажу
тебе о горестной стране...»

Э. По

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Ингер лежал в постели, кашляя более, чем следовало. Его правая рука, бессильно свешенная с кровати, изнуренно шевелила бледными пальцами, в полузакрытых глазах сверкал лихорадочный жар, а под мышкой, достаточен нагретый лампой, торчал максимальный термометр.

Этот, внушающий сострадание, вид заставил рассмеяться вошедшего в комнату сорокалетнего человека.

Движения вошедшего были резки, быстры и угловаты; лицо его, бледное и широкое, казалось бы незначительным, если бы не крутой изгиб высоко поставленных, дугообразных бровей. Он был одет в просторный, мешковатый костюм черного цвета и толстые башмаки, а в правой, унизанной старинными перстнями руке держал цилиндр.

— Это я, а не доктор,— сказал вошедший,— доктора с этим поездом не было. Так что вы, милый Ингер, можете нагреть термометр в другой раз.

Ингер усиленно заморгал, краснея и щурясь.

— Слушайте, Бангок,— сказал он,— если вы осмеливаетесь...

— Да,— перебил Бангок,— я осмелился. Я смотрел в замочную скважину. Я увидел прежде всего свою трубку, исчезнувшую непостижимым для меня образом. Трубка эта торчала у вас в зубах. Не умея курить, вы наполнили комнату дымом, уронили огонь на простыню и прожгли дырку. Дырка эта находится сейчас под мягкой частью вашего тела. Затем вы извлекли маленькое, гнусное, дешевое зеркало и пытались любоваться своим лицом, строя величественные гримасы. Потом вы совершили подлог с термометром и, наконец, услышав скрип двери, раскинулись в позе умирающего гладиатора.

— Если я выздоровею завтра,— с отчаянием сказал Ингер,— меня отошлют в город. Мы очень любим друг друга.

— Да? — Бангок упорно посмотрел на мальчика, чихнул и высморкался.— Это любопытно,— сказал он.— А где вы думаете жить после свадьбы?

— На Канарских или Молуккских островах.

— Настоящее дачное место,— заметил Бангок.— Как же вы видите?

— Она подходит к окну.

— Ингер,— сказал Бангок,— я не спрашиваю тебя о том, целуетесь вы или нет, я не спрашиваю также, съедаешь ли ты все сладкие пирожки, похищаемые для тебя твоей возлюбленной. Я спрашиваю — отдашь ли ты мне, маленький негодяй, трубку?

Ингер сунул руку под одеяло, извлек трубку и молча подал Бангоку.

— За это,— сказал он,— вы мне должны рассказать что-нибудь.

— Вот как! — заметил Бангкок. — Да, — прибавил он, как будто про себя. — Привычки бандита и Дон Жуана... далеко пойдет мальчик... Рассказать? — медленно переспросил Бангкок. — О чем же хочет слушать сын своей страны? Слушай, я расскажу тебе о перестройке здания морского училища.

— Не хочу, — сказал Ингер.

— О расширении избирательных прав низших сословий...

— То же.

— О законе против цыган...

— Еще бы!

— О налоге на роскошь...

— Не хочу.

— О раскопках старинного римского водопровода...

Ингер обиженно замолчал.

— Ну, — посмеиваясь, продолжал Бангкок, — что-нибудь о народном быте? О психологии рыжей и пегой лошади, историю уздечки, власть чернозема и деспотизм суглинка; о предродовых болях, ткацком станке и вареном картофеле? Ты вертишь головой? Ты ничего не хочешь об этом знать?

— Да, не хочу, — свирепо отрезал Ингер.

— В такие вот хмурые осенние дни, — сказал Бангкок, — и моряки любят болтнуть. Вспомнить о том, что было — приятно мне. О чем же рассказать тебе, странное существо, не интересующееся феминизмом и психологией общества? Чего ты хочешь?

— Я хочу того, что вы видели, — сказал Ингер. — О пропастях, пещерах, вулканах, циклонах, каннибалах... вы сами знаете. Помните, вы рассказывали о неграх, золоте, белой девушке и желтой лихорадке?

— Помню, — перестав улыбаться, сказал Бангкок.

— Так вот, в этом же роде.

— В этом же роде! Хорошо, слушай, Ингер: я расскажу тебе о дьяволе Оранжевых Вод.

Глаза Ингера блеснули жадным огнем.

— Это что-нибудь дух захватывающее? — вскричал он.

— Нет, это действительное происшествие, — сказал Бангкок.

— А дьявол?

— Слушай и суди сам.

ВСТРЕЧА С ДЬЯВОЛОМ

— Это было тогда, Ингер, когда я не только еще не командовал яхтой твоего отца, но даже не был моряком по профессии. Молодой, проворный и дерзкий, я смотрел на все дела под солнцем с точки зрения удачи и любопытства.

В 1892 году ехал я из Австралии в Китай на «Кассиопее» Фица и комп. Обладая прямым характером, я на все вопросы помощника капитана заявил сразу, что билета у меня нет. Разговор этот произошел спустя сутки после отплытия «Кассиопеи». До тех пор мне удавалось увильнуть от контроля. Я ехал, разумеется, в третьем классе. Разговор произошел вечером; зная, что меня ссадят в ближайшем порту, я перестал думать об этом, отошел к борту и закурил, рассматривая звездное небо.

Пока я стоял, размышляя, украсть ли мне бриллиантовые глаза Будды в Богоре, сделаться шулером или поступить в волонтеры, — человек, склонившийся через борт на некотором от меня расстоянии, выпрямился и подошел ко мне, говоря:

— Что же нам делать?

Не отвечая, я пристально осмотрел его с головы до ног, чтобы знать, с кем имею дело. Но в этот раз мои наблюдательность и опыт дали осечку: я, как был, так и остался в недоумении относительно личности незнакомца. Он был одет в грязнейший пиджачный костюм; вместо жилетки пестрела ситцевая рубаша, на ногах были высокие сапоги, а русые, цвета подгнившей пеньки, волосы прикрывала черная фетровая шляпа. Еще следует упомянуть, что ситцевая рубашка, выпущенная поверх брюк, была подпоясана шнурком с малиновыми кистями. Исхудалое, скуластое лицо этого человека, вздернутый, усеянный веснушками, нос, редкая борода, усики, глубоко запавшие бесцветные глаза — производили неизгладимое впечатление. Длинные, лоснящиеся волосы его, кое-как подстриженные сзади ушей, лежали веером на воротнике пиджака. Незнакомец был высок, тощ, сутул и обладал пронзительным голосом.

— Что делать *в а м?* — сказал я. — По всей вероятности, вам это известно лучше, чем мне. А относительно себя я придумаю что-нибудь.

— Нет,— торопливо заговорил он, жестикулируя и назойливо улыбаясь,— вы, вероятно, не поняли; я хочу сказать, что я тоже безбилетный, что мы, так сказать, товарищи. Вот я и предлагаю вам коллективно обсудить положение. Я, позвольте представиться, русский, Иван Баранов, эмигрант политический.

— Очень хорошо,— сказал я,— мое имя Бангкок, я — никто.

Он смигнул, приняв мой ответ за шутку, и рассмеялся.

— Нас высадят? — спросил, помолчав, Баранов.

— Конечно.

— Где?

— В первом порту.

Он замолчал; я не поддерживал разговор, и мы разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Я лег на товарных ящиках; у меня было спокойное, ровное и бодрое настроение; я знал, что рано или поздно жизнь попадет в мои цепкие лапы и я выжму из нее все, что смогу. Я заснул. Меня разбудило прикосновение к голове.— Подите к черту! — закричал спросонок. Кто-то сел возле меня на ящик, тяжело вздохнул и окончательно разбудил меня; я поднял голову.

В глубине океана блеснул слабый утренний свет, через несколько минут должно было взойти солнце. Раздосадованный, я грубо спросил:

— Что нужно?

— Послушайте... не сердитесь,— тихо заговорил Баранов,— мне стало тяжело, страшно, я не мог спать... потребность поговорить...

Он курил папиросу. Я с изумлением посмотрел на него. Лицо Баранова подергивалось, голос срывался, руки дрожали...

— Вы больны? — спросил я.

— Нет... то есть... это странное состояние. Сейчас мне захотелось подойти к борту и прыгнуть вниз.

— Почему?

— Слушайте,— быстро заговорил он,— разве вы не чувствуете? Вы плывете куда-то на большом, чужом пароходе, по чужому морю, кругом ночь, тишина, звезды, все спят. Понимаете? Человек трагически одинок. Никому нет ни до кого дела. Каждый занят своим. Сложная, огромная, таинственная, нелепая и жестокая

жизнь тянет вас — куда? Во имя чего? Для какой цели? Я это почувствовал сейчас в тишине спящего парохода. Зачем я? Кто я? Зачем жить?

Я слушал, совершенно не понимая, что нужно от меня этому человеку. Он же продолжал говорить, закуривая все новые и новые папиросы, — о человечестве, борьбе классов, идеализме, духе и материи, о религии и машинах, все в том же убийственно безнадежном тоне, и я заметил, что все его разглагольствования лишены центра, основной идеи и убеждения. Он говорил, как бы наслаждаясь звуками собственного голоса; смысл его речи можно было уложить в трех словах: уныние, недоумение, трепет. Равнодушный вначале, я слушал, изредка лишь роняя: «да», «нет», «возможно». Горячность Баранова даже рассмешила меня. Потом я испытал особый род нетерпения, выражавшегося в желании свистнуть, ударить кого-нибудь по уху или закричать; затем мне без всякого к тому повода стало грустно, и, наконец, заныло в спине. Я слушал, не будучи в силах прервать странное оцепенение, похожее на дремоту, навеваемую вампиром, дремоту сладкую и противную, как запах дурмана.

Баранов замолчал. Последние слова его были: — Да, кисло, противно все, ходишь как в воду опущенный.

Он встал. Я с ужасом ожидал продолжения.

— Мы поговорим еще, — в виде утешения произнес он, взял мою руку и вяло пожал ее. Я притворился уснувшим. Он ушел, а над горизонтом, вызолотив парокход и водяную рябь, сверкнул диск.

II

ТВЕРДАЯ ПОД НОГАМИ ЗЕМЛЯ

До высадки я его не видал. В 10 часов утра показался Порт-Мель — место, в котором, как объяснил мне матрос, будут выгружать рельсы для боковой ветки синнигамской дороги.

«Касснопя» подошла к берегу. На глинистой отмели стояла кучка туземцев и человек пять европейцев. Несколько свай, с наколоченными поверх них мостками, изображали пристань. Далее виднелась свеженаметенная насыпь, груды шпал и несколько дощатых строений.

Я, разумеется, не стал ждать, когда мне, с помощью более или менее грубых приемов, дадут понять, что путешествие мое морским путем кончено. Небрежно заложив большие пальцы своих праздных рук в верхние карманы жилета, я засвистал прощальную песнь моряков: «Будь проклят берег без воды и пищи»,— и сошел на твердую землю.

Ты еще молод, Ингер, чтобы знать, что такое чувство оторванности; а я, сойдя на берег, не знаю, в который раз, снова испытал его, оглянувшись на пароход. Он равнодушно дымил трубой. Я чувствовал себя слишком самостоятельным; чужим всему, что окружало меня. Я, так сказать, вышел в тираж. Мне следовало надеяться на собственную ловкость, удачу и сообразительность; денег же у меня было как раз столько, чтобы, сунув руку в карман, соорудить гримасу.

Было чрезвычайно и нестерпимо жарко. Обливаясь потом, я шел медленными шагами вдоль насыпи, решительно ни о чем не думая и проклиная Фультона, изобретателя первого парохода. В это время кто-то окликнул меня. Я обернулся и увидел Баранова.

Не знаю почему, но, осматривая нескладную, долговязую его фигуру, я испытал нечто вроде суеверной тревоги. Он быстро приближался, видимо торопясь и чему-то радуясь, так как тень кислой улыбки мелькала в его нервных глазах, и, нагнав меня, сказал:

— Вы куда?

— Дальше,— сухо ответил я.— Я ведь еще не в Шанхае.

— Слушайте,— принимая деловой вид, сказал русский,— нужно ведь что-нибудь придумать. Я рад, что нашел вас,— прибавил он, помолчав.

По рельсам, навстречу мне, шел человек в белой шляпе, голый до пояса и черный по-европейски, т. е. цвета жидкого кофе. Я остановил его, спрашивая, когда придет следующий пароход.

Человек, тщательно осмотрев меня, сказал несколько безутешных фраз. Пароход может прийти, а может и не прийти. Если же это случится, то не ранее, как через неделю. Путь еще не готов, хотя уже ставят на линию паровозы. Но мы, если хотим, можем пройти пешком пятьдесят верст до строящегося через реку железнодорожного моста, а там, сколотив плот, спуститься вниз

до города Сан-Риоля; в устье заходят пароходы по расписанию.

Мы постояли еще друг против друга, затем человек в белой шляпе кивнул головой и продолжал свой путь, не оглядываясь.

Я размышлял. Человек этот был так называемый дорожный мастер, и положение путей сообщения ему было, конечно, известно. Пароход ожидать не следовало. Ходить пешком мне тоже не улыбалось. С другой стороны, моя натура не выносит бездействия, я должен идти, хотя бы это был хорошо известный солдатам шаг на месте, это легче, чем сидеть сложа руки.

Итак, мое решение было составлено. Я посмотрел на Баранова. Рабочая сила двух человек, конечно, лучше одиночных усилий, а здоровые руки могли и очень могли понадобиться для устройства плота. К тому же в странном русском было что-то, возбуждающее глухую жалость. Я сказал, протягивая ему руку:

— Нас столкнул случай; мы, вероятно, нам понадобится друг другу, и я предлагаю вам совершить путь до Сан-Риоля вдвоем.

Мы стояли в опушке залитого жарой леса. Глубина его перекликалась певучими, резкими и отрывистыми голосами птиц; лицо Баранова, когда он поднял, в ответ на мои слова, голову, стало прислушивающимся, спокойным и безучастным; он смотрел на меня так, как будто мои слова навеяли на него скуку.

— Слушайте,— сказал он изменившимся, глухим голосом. Сняв шляпу, Баранов провел рукою по волосам, потупился и продолжал: — А я вам сделаю предложение иное.

Я молчал, ожидая, что он скажет.

III

ПЕРВОЕ ИСКУШЕНИЕ ДЬЯВОЛА

— Знаете,— начал русский, неопределенно улыбаясь в пространство,— я, пока вы говорили с туземцем, думал о следующем. В нашей стране, когда, например, политические преступники требуют каких-нибудь законных уступок со стороны тюремной администрации, а администрация этого исполнить не хочет,— объявляет-

ся так называемая голодовка. Люди отказываются принимать пищу, угрожая своей собственной голодной смертью. Администрации остается или уступить, или смотреть, как человек медленно умирает.

Об этом странном способе борьбы я действительно читал и слышал; поэтому, кивнув головой, сделал Баранову знак, что жду продолжения, хотя, клянусь ушами и подбородком, я не понимал, к чему клонит русский.

— Теперь, — он потер руки, как бы говоря перед аудиторией, — я обращаюсь к нашему положению и сравню жизнь с тюрьмой, а нас — с узниками.

Мы — арестанты жизни. Я — заезженный, разбитый интеллигент, оторванный от моей милой родины, человек без будущего, без денег, без привязанности, человек, не знающий, зачем он живет. А я хотел бы знать это. Я арестант и вы — тоже. Вы — бродяга, пасынок жизни. Она будет вас манить лживыми обещаниями, россыпями чужих богатств, красивой любовью, смелым размахом фантазии, всем тем, чем манит тюремное окно, обращенное к солнечной стороне и морю. Но это обман. У вас, как у всякого пролетария, один шанс «за» из многих миллионов «против», так как мир кишит пролетариями. Разве вы не чувствуете, что наше теперешнее положение с особенной болью звенит цепями, которыми мы скованы от рождения? Нас выбросили, как щенят, только потому, что у нас нет денег. Мы блуждаем в незнакомой стране. Жизнь хочет заставить нас сделать тысячи усилий: идти пешком, потом искать лодку, быть может, вязать плот, голодать, мокнуть под дождем, мучиться — и все затем, чтобы, приехав, куда нам хочется, спросить себя: «Да что же нас здесь ждало такое?» Вы, человек старой культурной расы, меня поймете. Мы — люди, люди от головы до ног, со всеми прирожденными человеку правами на жизнь, здоровье, любовь и пищу. А у нас — ничего, потому что мы — арестанты жизни. И вот здесь, под открытым небом, на опушке этого сказочно прелестного леса, в стенах этой роскошной тюрьмы, я предлагаю вам объявить голодовку — жизни. Мы ляжем, не тронемся с места и — будь что будет.

Я охотно постучал бы пальцем по его лбу, но в лице русского не было ни безумия, ни иронии. Глубоко зажавшими глазами смотрел пытливо на меня Баранов,

теребя бородку, и, по-видимому, ждал серьезного с моей стороны ответа.

Заинтересованный, даже взволнованный слегка горячностью его тона и диковинностью этого предложения, я сказал:

— Так, мы будем лежать. А дальше?

— Ничего,— просто, как бы говоря о самых обыкновенных вещах, возразил он.— День будет сменяться ночью, ночь — днем. Мы ослабеем. Болезненные голодные грезы посетят нас. Потом — или чудо, или же...

— Смерть,— сказал я.— Вы предлагаете смерть.

— Да.

Я молчал, обдумывая возможно более резкий, но не обидный ответ. И снова, как ночью на пароходе, когда приходил Баранов, испытал я противное, сладкое, дурманящее ощущение сонной одури и тревоги. Но тотчас же привычные мысли о делах текущего дня взяли верх, и Баранов стал мне противен, как скользкий гриб погребка, когда, протягивая руку за молоком, наталкиваешься пальцами на мокрую гриба шляпку. По-видимому, спутник мой считал меня тем же, чем был сам,— экземпляром редкостной чудаковатой породы людей.

— Вот что,— сказал я,— ложитесь и подышайте. Но я вижу нечто лучшее впереди: дрезину. Видите вы ее? Она стоит в тупике, около семафора. Теперь время отдыха, и на линии никого не видно. Что если мы сядем на дрезину и поедem к реке?

Признаюсь, гордость не позволила мне сделать это одному, оставив русского. Я хотел показать ему, как весело и бойко течет плохая жизнь в хороших руках.

— А относительно того, что вы говорили,— прибавил я,— то знайте, что я, Бангкок, возьму приз.

— А если нет? — оживленный, по-видимому, насмешливым моим тоном, возразил он.

— Только если подохну. Но пока жив...— И я вспомнил, что я действительно жив, а карты у меня в руках все.— Нет, милый,— прибавил я,— вы для меня только химическая реакция. Я начинаю шипеть. Идите.

Вяло улыбаясь, русский пошел за мной. Смазанная блестящая дрезина понравилась мне с первого взгляда. К тому же после сказанного отступать было поздно.

Я взялся за ручки, нажал их и, памятуя, что нужно удирать как можно скорее, вместе с Барановым, сидев-

шим, опустив голову, с грохотом пролетел по стыкам у семафора, прибавил ходу, а затем наш краденый экипаж, скользя по новеньким рельсам, обогнул закругление.

ВТОРОЕ ИСКУШЕНИЕ ДЬЯВОЛА

I

Я качал рычаги дрезины с такой яростью, что потерял шляпу. Ее сорвало воздухом, и она, слетев под откос, исчезла. Навстречу нам неслись рельсы, шпалы, синий горизонт лесистых холмов. Баранов встал. С тем выражением тупого равнодушия, какое было характерным для него в моменты, требовавшие наибольших усилий, русский, схватившись за вторую ручку, лицом ко мне, наклонил, как бык, голову и начал работать.

«Парень встряхнулся!» — подумал я. Он обнаружил недюжинную силу. Узловатые пальцы его крепко стискивали деревянный брус рычага. Мы качали с остервенением. Ни слова не было произнесено между нами. Площадка дрезины, дребезжа на стыках рельс, сотрясала все тело. Пот заливал глаза, и я был мокр, как рыба.

Вероятно, мы проехали верст тридцать, так как характер местности изменился на наших глазах несколько раз. Мы мчались теперь в долине, цветущей, как лицо деревенской красавицы, а впереди, разбросанный островами, бежал к нам навстречу дивный лес козерога, полный редких узоров и очертаний.

— Гудок! — сказал русский. Вытирая лицо ладонью, он вопросительно смотрел на меня, прислушиваясь. Я завертел головой, паровоз — спереди или сзади — безразлично — выкидывал нас с колен. Гудок повторился, эхо пронзительного его крика гулко огласило окрестность. Мы уже проехали в лес; страдая от жары, я вытащил из кармана платок и обвязал голову.

— Если локомотив нас нагоняет, а не встречает, — сказал я, — мы можем еще проехать с версту. Ну-ка, подбавь дров!

И мы начали качать так усердно, что плечам угрожал вывих. Рельсы шли на уклон, потом сделали громадное закругление, и наконец прямой, как игла, путь

открыл длинную, правильную аллею леса и насыпи. В конце аллеи, пыхая белыми барашками пара, чернел похожий на дымящуюся грудку углей далекий локомотив.

Мы пролетели мимо карьера, где, копая лопатами, сутились черные землекопы, с удивлением оборачиваясь на нас, и я, бросив качать, сказал:

— Тормоз!

Русский затормозил. Дрезина, заскрипев осью, пробежала еще сажень пятнадцать, остановилась, и мы, соскочив шагах в сорока от локомотива и изумленного лица машиниста, бросились бежать к лесу. Оглядываясь на ходу, я увидел ряд платформ с земляным балластом и тучи пара — поезд дал задний ход. Баранов, тяжело дыша, бежал сзади меня. Очень хорошо понимая, что нам грозит в случае поимки, я не жалел себя. Сырые, дикие заросли, сумрак и раскидистые кроны деревьев теснили нас; мой бег походил на драку в толпе, — невидимые враги били меня по лицу, рукам и всему телу мясистыми, зелеными узлами растительных канатов, острыми, как сабли, листьями и твердыми сучьями. С насыпи донесся заглушенный лесом хор восклицаний; тотчас же, прибавив ногам бодрости, хлопнули выстрелы магазинков, и пули, резко визжа, просекли над головой листву.

Шатаясь от изнеможения, я остановился. Баранов был тут же; бледный, как стекло, он прислонился плечом к стволу, закрыл глаза и опустил голову. Я сел, потом лег. Голова закружилась; сам я, лес и зелень казались мне огромным волчком, пущенным с убийственной быстротой. Но мы, вероятно, успели забежать далеко, так как полная, хмурая тишина окружала нас. Отлежавшись, я встал.

Баранов сидел у дерева, свертывая еще дрожащими от испуга пальцами папиросу.

— Мы, должно быть, недалеко от реки, — сказал я. — В конце концов, дерзость прошла нам благополучно. Вставайте, надо идти.

Он молча поднялся. По-видимому, даже с его фантастических точек зрения оставаться в лесу было нелепо. Простояв минуту на месте — отчасти для того, чтобы дать себе как следует отчет в происшедшем и в том, что предстоит, отчасти потому, что ноги еще плохо слушались, — я и русский пошли вперед, придерживая впра-

во, к полотну дороги, чтобы не сбиться, и минут через десять увидели в темных просветах стволов, спутанных кружевами ползучих стеблей, солнечную грядку насыпи.

Сколько мы шли — не помню. Не теряя из виду указывающих путь рельс, я, с Барановым в тылу, двигался механически, без раздражения и нетерпения. Я шел потому, что ничего другого не оставалось. Усталость сделала нас безмолвными; странные, великолепно разодетые птицы пролетали в воздухе, живое кольцо змеи, путаясь в траве, убегало, заслышав шум наших шагов; звуки, напоминающие сдавленный вопль, вздохи, глухой свист, отдаленный топот скользили по сторонам, в таинственных углублениях темнозеленых лесных ниш, а мы, оцепеневшие и разбитые, безучастно подвигались к реке, сухо отмечая утомленным вниманием торжественный, притаившийся праздник жизни лесных существ, полный очарования. Золотые локоны солнца, падая в тенистую глушь, блестели красноватым оттенком, растягивались и холодели — признак близкого вечера.

Время от времени, чувствуя голодный позыв, я курил, но это помогало и плохо и очень сомнительно: глотки дыма усиливали слабость. Ровная, настойчивая мысль о пище преследовала меня; вчерашний день прошел на диете, сегодняшний угрожал тем же. Кроме револьвера, оттягивавшего мой карман, у нас не было никакого оружия; рассчитывать же на удачную охоту с помощью семи пуль — забавно. Я спросил:

— Есть хочется?

— Да, — сказал Баранов, — и это хуже всего. Я обедал третьего дня, но очень легко, по-дамски.

Он остановился, держа руку козырьком у глаз, выражение уверенности блеснуло в его лице.

— Река, Бангкок, — спокойно произнес он. — Это река.

Повеселев, я посмотрел в направлении его взгляда. Мы стояли совсем близко от насыпи; за рельсами, в просветах противоположной стены леса, по-видимому, представлявшего собой лишь узкий мысок, в низком свете заката блестела вода.

Я облегченно вздохнул. Река — это прямой путь к населенным местам, городу, океану и пароходу.

Берег был низок, пуст, покрыт высокой травой, песком и раковинами. Посмотрев вниз по течению, я увидел, что лес то подходит к реке, то, втягиваясь полукругом, открывает песчаные мели, лужайки и змеевидные лужи. Дней пять назад кончилась пора ливней, и отяжелевшая влагой, полноводная Адара лениво кружила стрежи, темнея в спокойном блеске тонущими отражениями противоположного обрывистого лесного берега. Белоголовые хищники полоскали крыльями над водой, клюя влагу, и живое серебро рыб трепетало в их клювах, роняя светлые водяные капли.

— Если плыть,— сказал, присев на камень Баранов,— то нужна лодка. Или, как вы говорили,— плот.

Я, думая об этом сам, тщательно осматривал берег. Мой складной нож пригодился бы для постройки детской водяной мельницы, но, даже еще не вынутый, отказывался срубить дерево. Я рассчитывал на выброшенные рекой стволы подмытых и увлеченных течением деревьев, но их не было видно. Следовало поискать дальше, так как в лесных местностях это все же обычное явление.

Я хотел идти, но не мог: меня мучило от голода. Я мечтал о невозможных вещах — съедобном песке, прутьях из теста, о возможности найти хлеб. Разумеется, это дико. Баранов, посвистывая, жевал стебелек.

И вдруг, как бы согласуясь с нашим плохим настроением, река перестала блестеть. Солнце, готовясь уснуть, куталось в облака; огромные воздушные хризантемы их, налитые красным и розовым светом, причудливо громоздились на горизонте, а цвет воды стал серым и тусклым.

— Через полчаса,— сказал я,— упадет мрак. Позаботимся о ночлеге.

— А о пище? — устало спросил он.

— Обо всем. Собирайте хворост и палите костер, а я попытаю счастья.

Ослабевший, измученный голодом, я имел в виду семь пуль своего револьвера и случайно-неизбежную роковую судьбу какой-нибудь птицы. Баранов, подбирая сухие ветки, направился в одну сторону, я — в другую.

В полутемном, готовом погаснуть, засыпающем лесу я вынул револьвер, осмотрелся и взвел курок. Было тихо; изредка, на фоне синего по-вечернему неба, мелькала тень птицы; невидимый какаду бормотал в глуши, подобно монаху, читающему вечерние молитвы. Я осторожно, стараясь не спугнуть будущих жертв, подвигался среди кустарника. Мне не везло. Ничто живое не улавливали мои глаза; иногда, принимая узлы ветвей или лист странной формы за живое существо,— я останавливался с сильно бьющимся сердцем, протягивал револьвер и, сознав иллюзию, опускал руки. Вдруг я увидел птицу.

Она сидела совсем вблизи меж двух параллельно вытянутых ветвей и, мелодично посвистывая, блеснула круглым глазом повернутой боком ко мне головы. Обострившиеся глаза мои довольно хорошо рассмотрели ее. Она была величиной с курицу, грязно-жемчужного цвета, с серыми, переходящими в красное, крыльями и белым султаном на голове. Из хвоста, падая вниз, тянулось изогнутое перо.

Я протянул револьвер, прицелился и, установив мушку, выстрелил. Птица, взлетев, пересела на ветку выше. Волнуясь, я выстрелил второй раз и, опустив дрожащую руку, увидел, как изогнутое перо хвоста, мелькнув в листьях, слетело прочь. Птица, припав к земле, била крыльями; я бросился к ней, но в тот момент, когда мои руки готовились схватить добычу, она, шумно трепыхаясь, взлетела и скрылась.

Пробежав несколько шагов в направлении ее полета, я остановился, заметив белку. Белка, прильнув к стволу, согнулась, готовая взвиться на вершину дерева. Вздвигаясь ускользнувшей птицей, я стал расстреливать белку, не сходя с места; первая пуля заставила ее сделать растерянный винт кругом ствола,— головой вниз; вторая — винт вверх, и после третьей зверек, подобно стальной пружине, распластав по воздуху хвост, прыгнул на соседнее дерево. Он исчез. Я долго искал его, но ничего не мог рассмотреть.

У меня оставалось две пули. Тратить их я не смел. Они могли пригодиться для гораздо более важного случая, чем беличье фрикасе. Волнение мое и азарт исчезли, как только я осознал это. Мне хотелось упасть на землю и закричать, завывать долгим, протяжным воем.

Слезы бешенства подступили к горлу; стиснув в руке револьвер, я пошел к берегу. В проходе между двумя искривленными, как спутанный моток шерсти, высокими кустами я заметил висящие под каждым листом их грушевидные, черные ягоды и взял одну в рот. Было неудержимое желание проглотить эту штуку, не жуя; однако, боясь отравы, я медленно ворочал ягоду языком во рту; горький и затхлый вкус плода заставил выплюнуть эту гадость.

Солнце скрылось; упал мрак. Передо мной, изрезанный черными лапами ветвей, блеснул свет костра, разложенного Барановым. Я вышел из леса. По мелким лужам и влажному от росы глянцу песка тянулись отражения пламени; на фоне красного, колеблющегося огненного венца двигалась черная фигура моего спутника.

— Плохо,— сказал я, подходя к костру,— но делать нечего.

— Да-а...— протянул он, смотря на мои руки. В его лице появилось странное выражение удовлетворения и насмешки; он как будто радовался силе обстоятельств, поддерживающих его холодное отчаяние.

Тоска охватила меня. Я сел; перед лицом ночной реки, пустыни и молчания звездного неба хотелось встать, выпрямиться, поднять голову. Тишина давила меня. Баранов лег, закрыв глаза; свет костра, падая на исхудавшее его лицо, тенями глазных впадин и линий щек заострял черты; человек, лежавший передо мною, напоминал труп.

Я лег тоже, закрыл глаза, испытывая такое ощущение, как будто ухожу в землю, зарываюсь в самые недра ее — и уснул. Меня мучили голодные сны. Я видел пышущие теплом, свежеспеченные хлебы, куски жареного мяса, вазы с фруктами, пироги с дичью; изобильные роскошные закуски и вина. Я с неистовством каннибала поглощал все эти чудеса и не мог насытиться. На рассвете русский и я проснулись, стуча зубами от холода.

Костер потух. В сером песке слабо дымились черные головни. Белая от кисей испарений река медленно кружила стрежи, а за войском утренних облаков разгорался бледный огонь протирающего глаза солнца.

Я вскочил, переминаясь с ноги на ногу и размахивая руками, чтобы согреться. Русский, полулежа, сказал:

— Мы пропадем...

— Это неизвестно,— возразил я.

— Проклятый инстинкт жизни,— продолжал он, и я, внимательно посмотрев на него, видел лицо совершенно растерявшегося, близкого к иступлению человека. Он был даже не бледен, а иссиня-сер; широко раскрытые глаза нервно блестели.— Да, умереть... и нужно... а начинаешь страдать, и тело бунтует. Верите вы в бога? — неожиданно спросил он.

— Да, бога я признаю.

— Я — нет,— сказал русский.— Но мне, понимаете — мне нужно, чтобы был кто-нибудь выше, разумнее, сильнее и добрее меня. Я готов молиться... кому? Не знаю. Не о хлебе. Нет. О возвращении сил, о том, чтобы жизнь стала послушной... а вы?

Я удивлялся его способности говорить сразу все, что придет в голову. Мне было неловко. Я ожидал чего-нибудь вроде вчерашнего — этого своеобразного душевного обнажения, к которому сам не склонен. Так и вышло.

— Слушайте,— сказал русский, без улыбки, по-видимому, вполне проникнутый настроением, овладевшим им.— Нам будет, может быть, легче и веселее... Давайте молиться — без жестов, слов и поклонов. В крайнем случае — самовнушением...

— Оставьте,— перебил я.— Вы, неверующий,— молитесь, можете разбить себе лоб. А я, верующий, не стану. Надо уважать бога. Нельзя лезть к нему с видом побитой собаки лишь тогда, когда вас приперло к стене. Это смахивает на племянника, вспоминающего о богатом дяде только потому, что племянничек подмахнул фальшивый вексель. Ему также, наверное, неприятно видеть свое создание отупевшим от страха. Отношения мои к этим вещам расходятся с вашими; потому, дорогой мой, собирайте руки и ноги и... попытаемся закусить.

Он задумался; потом рассмеялся. Мы пошли рядом, и я заметил, что он искоса посматривает на меня, как бы стараясь понять нечто — так же, как, в свою очередь, я думал о складе его души — нелепой и женственной.

ТРЕТЬЕ ИСКУШЕНИЕ И ПУЛЯ — МИЛОСТЫНЯ

I

Походкой и движениями мы, вероятно, напоминали подгулявших мастеровых. Но нам было далеко не до смеха. Мы шли по берегу у воды. Я размышлял о необходимости есть, только это и было у меня в голове. Удрученный вид Баранова действовал мне на нервы. Я нарочно опередил его, чтобы не видеть растрепанного, волосатого своего спутника.

Миновав песчаные углубления берега, полные мутной воды, мы продолжали идти лесом. Он тянулся у самой воды и был сравнительно редок. Электрический удар внезапной надежды поразил меня; я согнулся, смотря исподлобья вверх, на дерево, с которого в меня полетели обломки сучьев и, решительно вынув револьвер, подошел к стволу, а Баранову сделал знак остановиться и не мешать.

На дереве, болтая хвостом, гримасничая, кокетничая и раздувая щеки, сидела порядочная обезьяна, швыряя в нас всякой дрянью. Я прицелился. Обезьяна, думая, что с ней шутят, испустила пронзительное ворчание, перепоясала ветку, на которой сидела, хвостом и бросилась головой вниз, раскачиваясь, подобно акробату перед трапеционным полетом. Я выстрелил и попал ей в лоб, хвост развязался, и мохнатое тело с красным задом полетело к моим ногам.

Я подошел к ней, опустился на корточки, раскрыл складным ножом стиснутые зубы животного и, запустив руку в защечные мешки, вытащил горсть плохо пережеванной ореховой каши. Это было проглочено мной тут же, без размышления. Подняв голову, я увидел нагнувшегося Баранова; радость и голодная тоска светились в его покрасневшем от волнения и нервного смеха лице. Он хихикал почти истерически, хватая обезьяну за лапы. Вынув платок, я разостлал его на земле, распорол шкуру животного и, торопливо накрошив, как попало, маленькими кусками, еще теплое, красное мясо, сложил его на платок.

Мы ели, ворча от наслаждения и болезненной жадности... Помню, что, торопясь клацать зубами, я укусил себе палец. В это время, озарив нас, нашу трапезу и

убитую обезьяну, взошло солнце; жгучий блеск испестрил лес дымными полосами лучей, и начался день. Ликующий набег омытого росой светила полонил землю и сделал ее любовницей, повеселевшей от ласк.

Чувствуя тяжесть в обнаглевшем желудке, я опустил руку с недоеденным куском и увидел, что русский смотрит на меня тяжелым, тупым взглядом обжеванного до отвращения человека. Таким же, вероятно, показался ему и я. Счастливо вздохнув, мы легли, вытянувшись и, что называется, занялись усердно пищеварением.

Силы медленно возвращались. Я начинал чувствовать плотность, вес и мускулатуру своего тела. Движения рук и пальцев приобрели живую упругость, ноги как бы очнулись от обморока, каждый орган, так сказать, облегченно вздохнул. И, только теперь, насытившись, стали мы перекидываться лениво-благодарными фразами о напитках и кушаньях.

— Вы любите бифштекс по-татарски? — спросил, ковыряя в зубах, Баранов.

— Что это такое?

— А... то, что мы сейчас ели. Сырое мясо.

— Да. Вкусно. Я люблю, — задумчиво прибавил я, — холодное земляничное желе и пирог с саго.

— А я — курицу с рисом. Жаль, что нечего выпить. Вот наша русская водка... это замечательная вещь.

Я знал чудесные качества этого действительно очаровательного напитка и облизнулся.

— Вставайте, — сказал я. — Мы еще ведь в дороге. — Он поднялся, я тоже; очарованный солнцем лес гудел мириадами лесных жизней, глубокое, синее небо дышало прелестью юного дня, и жить было недурно. Завязав остатки обезьяны в платок, прицепив узел к палке и положив палку на плечо, я быстро пошел вперед, осматривая берег.

Все в жизни пестро, Ингер, как тени листья в горном ключе, полном золотых блесков и разноцветных камней дна; горе и радость, несчастные и счастливые случаи бегут, улыбаясь и хмурясь, подобно шумной толпе, навстречу жадным глазам; истинная мудрость в том, чтобы не удивляться. Не удивлялся и я, когда после нескольких часов трудной лесной дороги увидел

в невысоком обрыве берега два покачивающихся на воде ствола. То были гигантские, унесенные разливом, деревья; корни их напоминали спутанные волосы ведьмы.

Работать пришлось главным образом мне. Баранов помогал вяло и несерьезно. Содрав штук сорок длинных полос коры, мы скрепили ими деревья; потом, набросив во всю длину их груды ветвей, иступили и наконец окончательно сломали нож, вырезав два, довольно неуклюжих, шеста. Пользуясь шестами, как рычагами, я и русский столкнули застрявшие в песке концы деревьев на воду, сели и оттолкнулись.

Плот сильно погрузился в воду, но невероятная толщина стволов обеспечивала сухое сиденье. И вот на этом узком, напоминающем затонувший стог сена сооружении мы, усевшись поближе к корням, раскинувшим над водой и в воде огромные свои лапы, тихо поплыли вниз. Сначала, как бы раздумывая, принять нас в свое течение, или нет, река двигала плот у берега; потом, повернувшись на быстром водовороте, плот плавно отошел к середине реки и двинулся по течению, покачиваясь, как спина лошади, идущей шагом.

II

Была ночь, тьма и молчание. Впереди, радуя сердце, опоясали тьму бесчисленные огни — то показался из-за мыса амфитеатр Сан-Риоля — город, битва людей.

Положив шесты, мы стояли плечом к плечу, смотря на приближающийся огненный узор мрака. Я был спокоен и тихо весел, даже раздражение мое против Баранова улеглось, сменившись теплым приятельским чувством — как-никак дорогу мы совершили вместе.

Я положил ему на плечо руку и сказал:

— Кажется, мы у цели. Ну вот, все идет хорошо.

— Мне грустно, — возразил он. — Ах, Бангкок, вы чем-то привязали меня к себе. Город пугает меня. Снова все то же: ночлеги на улицах, поиски куска хлеба, работы, усталость, жизнь впроголодь... одиночество. Как будто не в зачет прошли мои тридцать лет, словно только что начнешь бороться за жизнь... Скучно. Вернемтесь... — тихо прибавил он, — назад, в лес. Люди

страшны, человек бесчеловечен. Бесчисленные, жестокие шутники злой жизни ждут нас. Вернемтесь. Купим, или украдем ружья и, при первой возможности, уйдем от людей. В тихом одичании пройдут года, в памяти изгладятся те времена, когда мы были среди людей, боялись их, любили или ненавидели, и даже лица их забудутся нам. Мы будем всем тем, что окружает нас — травой, деревьями, цветами, зверями. В строгости мудрой природы легко почувствует себя освобожденная от людей душа, и небо благословит нас — чистое небо пустыни.

— Опять вы стали ребенком,— сказал я, тронутый его отчаянием.— Я — воин, драчун, человек упорный и петушистый. Нет. У меня руки чешутся. Отравленный воздух города возбуждает меня.

Мы перестали разговаривать, так как из тьмы выдвинулся небольшой остров. Я хотел обогнуть его и уже взялся за шест, чтобы дать плоту нужное направление, но вдруг пришла мне в голову полезная мысль.

— Ведь в городе нам ночевать негде,— сказал я,— высадимся на берег и переночуем.

Русский кивнул головой. Вскоре мы сидели перед костром, жарили на прутьях окорок обезьяны, курили и думали.

III

— Смотрите,— сказал русский,— обратите внимание на воду.

Костер, для которого мы не пожалели хвороста, далеко освещая реку, пылал, как горящий амбар. Красная, оранжевого цвета, вода окружала берег, свет костра, путаясь в полосах струй, чертил в них карминным и синим золотом переливающиеся, изменчивые узоры.

— Да, красиво,— сказал я.

— Не кажется ли вам,— заговорил русский, смотря на воду,— что я скоро уйду?

— Куда? — хладнокровно, привыкнув уже к странностям своего спутника, спросил я.

Он пристально посмотрел на меня, потом, закрыв глаза, продолжал:

— Мне кажется, что я не существую. Я, может быть — всего-навсего лишь сплетение теней и света этой стелющейся перед вами призрачно-красной водяной глади.

— Что вы хотите сказать этим?

— Дайте на минуту револьвер,— медленно произнес он.

Пожав плечами, я вынул из кармана оружие и подал ему. Оставалась всего лишь одна пуля, я вспомнил об этом, далекий от всякого подозрения, случайно.

Баранов, приставив дуло к виску и продолжая сидеть, отвернулся. Я увидел его затылок, внезапно задрожавшие плечи и, оцепенев, понял, в чем дело. Произошло это так неожиданно, что я несколько раз открывал рот, прежде чем крикнул:

— Что с вами?

— Устал я...— нагибаясь к земле, сказал он.— Все пустяки.

Закрыв лицо руками, я ожидал выстрела.

— Не могу,— с бешенством крикнул Баранов, хватая меня за руки,— лучше вы... пожалуйста!

Я долго смотрел в помертвевшее его лицо, обдумывая эту слишком серьезную просьбу и... Ингер... нашел, что так действительно для него лучше.

Мы подошли к обрыву. Я вел его за руку. И здесь, нащупав дулом мягкую кожу его лба, я, отвернувшись, исполнил то, о чем просил меня спутник, уставший идти.

Выстрел показался мне оглушительным. Тело русского, согнувшись, упало в воду и, шевеля освещенными костром бледными кистями рук, скрылось в глубине струй. Но долго еще казалось мне, стоящему с опущенной головой, что из красной, переливчатой, вспыхивающей отражениями огня ряби смотрит, успокоенно улыбаясь, его лицо.

* * *

Через два дня я поступил матросом на «Южный Крест» и поплыл в Шанхай.

Интересно, интересно жить, Ингер. Сколько страха и красоты! А от смеха иногда помираешь! Плакать же — стыдно.

А трубка, мой дорогой, потухла...

НА СКЛОНЕ ХОЛМОВ

I

— Вы очень любезны, но я не могу прихлебывать и в то же время рассказывать. Каждый глоток нарушает течение моих мыслей,— ибо не могут встретиться два течения без того, чтобы одно не потонуло в другом, а река вина сильнее слабых человеческих слов.

Отставляю я этот стакан в сторону и посмотрю на него сбоку. Так лучше. Из него отпито ровно столько, чтобы не развинтился язык, а мне хочется рассказать складно и ладно.

Вас это интересует, но посмотрю я, не скорчите ли вы кислую усмешку в конце. Потому что у нас разные характеры, и каждый представляет вещи по-своему. Я остановился на том, что к концу сентября Ивлет представлял опасную единицу и пакостил, так сказать, походя. Он надоел решительно всем, даже, пожалуй, репортерам, потому что редакторы гоняли их без зазрения совести, заставляя разузнавать о новых проделках Ивлета, а он задумывался над ними не более, чем псаломщик над библейскими текстами.

Если вы не видели никогда Ивлета, советую вам отыскать его в Горячей долине, где, по слухам, он сейчас бродит, и сделать хороший фотографический снимок. Лицо его — пылающий уголь, но волосами он бел, как снег, и делает пешком сорок миль в день, это проверено.

Он убежал с работ утром, когда солнце еще блестит в росе, сразу взял полный ход. Пока надзиратели стряхивали досадное, но неизбежное, в таких случаях, оцепенение, он прыгал уже с кочки на кочку среди болот и скрылся быстрее шубы в ломбарде, так что пропали даром восемь патронов, а земной шар сделался тяжелее на полфунта свинца. Но что было, то было, а когда человеку везет, он может смело броситься с церковного купола без всяких последствий. Ивлет удрал, и ни одна пуля не попала в него.

Все, кто не заплатил штрафа за это несколько дорогое развлечение, забыли о нем скоро и основательно, потому что побеги не большая редкость при наших порядках. Пошарили в окрестностях, и тем дело кончилось,

так как, рано или поздно, как бывало всегда, естественный ход вещей приводил каторжника обратно.

Ивлет был не из больших птиц, так, что-то вроде убийства жены или любовника. Люди с трезвым взглядом на дело попыхивая трубками, объявили, что он уже очахурился от лихорадки, а если нет — помер от голода. Но это то же самое, как если вы проиграли на фаворите. Ивлету, должно быть, на роду было написано лишиться сна праведников. И он сделал это умело, клянусь половинкой ребра Адама или чертовой перечницей! Он пустился во все тяжкие, этот мальчишка с серебряной головой; он сразу поставил ва-банк, и слава его загудела по округу, как большая муха в стекле.

Первый стал говорить пастух из колонии, когда Ивлет, после непродолжительного, но веского разговора, увел барана. Баран, само собой разумеется, был хороший, но для стада в пять тысяч голов это пустяк. Это уже все-таки не понравилось. Так, знаете, создалось такое особое настроение, когда в поле или в лесу человек начинает стрелять глазами во все стороны и невзначай наводит справки — нет ли по соседству бродяг. А что касается дальнейших событий — они все как-то так странно складывались, что Ивлета сперва ругали, затем проклинали, а потом получилось следующее положение: если за сто миль от спящего произносили слово «Ивлет», то со спящим делались судороги.

Легко представить, что оружие стали покупать чаще, чем обыкновенно, и не какие-нибудь кольты, а настоящие ридинги или маузеры. Ивлет действовал в одиночку, с азартом запойного игрока, и предпочитал фермеров всякой другой дичи. Никто не может пожаловаться на его грубость; в случае отказа он не ругался, а посылал пулю в голову — и делу конец; вообще он не любил разговаривать; видевшие его подтвердят, что во всех своих рискованных операциях он задумчив и сосредоточен, как голубь на вертеле или марабу на закате солнца, когда рыба прыгает по поверхности.

В то время его ловили, но это была, конечно, игра в открытую. Лес тянется на пятьсот миль к северу и востоку; пустыня, примыкающая к нему, — огромна. Естественно, что при таких условиях Ивлет мог на час, на два, без особой опасности для себя приближаться к большим дорогам в разных местах опушки.

Где он покупает порох, провизию и одежду — оставалось тайной. Правительство нервничало и, как почти всегда бывает в таких случаях, изо всех сил рекламировало Ивлета, посылая целые эскадры, наполнявшие окрестности звоном и грохотом, предупреждавшим Ивлета верней срочной депеши, что нужно подтянуться и совершить для развлечения маленькую прогулку вглубь страны.

II

Когда пришел мой черед взяться за это грязное дело, я приобрел пару ищеек, а из тюрьмы достал старую куртку Ивлета. Собаки нюхали ее долго и основательно, потому что в сукне накопилось запахов больше, чем в парфюмерной лавке, и разобрать, который из них принадлежит Ивлету, могли только собаки, уважающие честь носа. Шесть человек сопровождало меня. Первые три дня мы сильно смахивали на туристов в картинной галерее, расхаживая во все стороны, как попало. Собаки вели себя, пожалуй, не лучше, след не давался им, так как перед этим были дожди.

Постепенно мы становились задумчивы, молчаливы и на вечерних привалах все реже перекидывались словами, прислушиваясь к бесконечному шепоту дебрей. Это действие леса, сударь, и для человека, любящего поговорить, как я, — отравы, потому что ничего не может быть досаднее зрелища семерых ловких и не трусливых людей, вздыхающих от неизвестных причин. Мы двигались в сердце этого зеленого океана; его монотонный пульс кружил головы и высасывал мысли; без конца пестрели в глазах тени и свет, тени и свет, совершенно так, когда в комнате вспыхивает и гаснет и не может умереть пламя. Все мы сделали тихие, как церковные побирушки; я, откровенно говоря, не понимаю этого дьявольского очарования, но оно пропитывало меня насквозь.

Следствием всего этого было то, что рвение наше как бы охладело, и сам Ивлет казался по временам существующим где угодно, только не на земле. Время от времени я потчевал собак запахом старой куртки; они отрицательно вертели хвостами и гонялись за попугаями. Но к вечеру четвертого дня лай их вдруг стал тревожным и резким, и они стукнулись головами, обнюхивая одну и ту же непонятную для людей точку.

Я насчитал шесть улыбок, куда не прибавлю своей, потому что предпочитаю смеяться внутренне. Во мне все смеялось от радости, и дремотное, расслабленное оцепенение покинуло мою голову быстрее сна, убитого пушечным выстрелом. Физиономии рядовых напоминали розовые бутоны; им, как и мне, надоело слоняться без толку.

Мы двинулись, толкая друг друга в узких проходах, где умирал свет, и руки делались влажными от сырости паразитов, свивавших целые каскады листвы. Стволы, поваленные дряхлостью и циклонами, пересекали наш путь, деревья теснились ближе друг к другу, в полумраке их колонн сдавленный лай собак звучал робко, как голос высеченного.

Вдруг собаки остановились. Хвосты их усиленно двигались во всех направлениях, а ноздри трепетали, как паруса в рифах. Они топтались на месте, оглядывались, припадали к земле и всеми доступными для собак способами показывали, что дичь близко. Мы замерли, ошупывая затворы. В это мгновение у меня развернулись внутри все пружины, я побледнел и затрясся от нетерпения. Дикая мысль вспахала мой мозг, но я не сообщил ее никому и только приказал отвести собак.

Их оттащили в сторону, и посмотрели бы вы, как становилась дыбом слежавшаяся под ошейниками шерсть, в то время как руки солдат тащили их.

— Повремените немного,— сказал я.— Стойте на месте и предоставьте мне действовать. Но если я закричу, будьте развязнее, потому что полсекунды в нашем положении значит много.

Не думаю, чтобы я вызвал этим хотя маленькое удовольствие. Я двинулся в чащу, уклоняясь то вправо, то влево, потому что ежесекундно ожидал выстрела. Неприятное, тягостное чувство гвоздило меня, в предательском молчании леса треск сучьев под моими ногами казался грохотом. В горле что-то спирало, и был даже позорный миг, когда я остановился, глотая волнение маленькими кусочками, как лед в полдень. Выстрел, даже удачный, был бы для меня настоящим благодеянием.

Кусты, в которые я вламывался, как бык, кончились так неожиданно, что я невольно присел.

Но вокруг было пусто; небольшая лужайка пылала в прозрачном огне солнца, и вид ее был тих и радостен,

как привет друга. Только на противоположной стороне, в тени лиственных зонтиков, валялась небольшая серая шляпа.

Я недоверчиво подошел к ней, поднял ее и пристально осмотрелся. Ничто не угрожало моей особе, в глубине чащи невидимое, пернатое существо настраивало свой инструмент, повторяя с раздражающим самодовольством артиста: — «керр-р-чвик... чюи... керр». Я вслушался, и мне стало грустно. Я сразу устал, я почувствовал себя совершенно разбитым и напоминал пружину, раскрученную в воздухе, когда еще дрожат оба ее конца, не встретив сопротивления. Ружье, ставшее бесполезным, насмешливо блестело стволом.

Бумажка, пришпиленная изнутри к полям шляпы, зашелестела под пальцами, я с любопытством отделил ее и прочел следующее:

«Я, Ивлет, живу здесь и буду жить здесь. Ловите меня. Тот, кто задержит Ивлета, получит от него в подарок медный негритянский браслет. Прощайте».

Я разорвал бумажку так мелко, как только могли это сделать мои пальцы, вздрагивавшие от бешенства, и возвратился к своим.

III

Мы исколесили всю западную часть леса, примыкающую к реке. Здесь след обрывался. Собаки нюхали воду, прыгали и, останавливаясь в задумчивости, жалобно смотрели круглыми, рассеянными глазами на розоватое водяное плато. Наступал вечер. Природа дремала в благословении последних лучей, задумчивых, как пастух на холме. Ноги наши стонали от изнурения; липкие от дневного пота, мы жадно вдыхали прохладные водяные испарения, пахнувшие росистым утренним цветником.

— Сделаем плот,— сказал Гриль, размахивая топором с такой яростью, как будто хотел разрубить земной шар.— И несколько хороших шестов. Подлец удрал на тот берег, это ясно младенцу. Смотрите на песок.

Действительно, небольшие, воронкообразные ямки, расположенные зигзагом в мокром, засасывающем след песка, показывали, что здесь прошел человек.

Кое-кто еще возражал, предлагая возвратиться назад и попытать счастья посуху, но я взял у Гриля топор

и засадил его чуть не по обух в кору ближайшего дерева. Постепенно все принялись за дело.

И к ночи мы сотворили плот, на котором свободно могло бы переехать даже изнеженное сановное лицо, с кухней и со всем штатом прислуги. Переправа совершилась в полной темноте, собаки притихли и смиренно лежали у наших ног, вздрагивая от воды, плескавшей сквозь скрепы бревен. Течение вырывало шесты из рук: плот медленно, но безостановочно кружился слева направо, и держаться верного направления мы могли только с помощью компаса, поднося к нему зажженную спичку. Глухой толчок развеселил всех, плот, зацепившись за прибитые течением к берегу стволы, вырванные разливом, остановился, как вкопанный. Мы вышли.

Тогда, стучаясь в темноте лбами, мы стали карабкаться по склону крутого берега, то и дело спотыкаясь о теплые собачьи туловища, вертевшиеся под ногами. Запыхавшись, я шел последним; мечтой всех было уснуть, набив желудок печеным мясом и кофе. Мы шли в молчании, я руководился треском чащи, шумевшей под напором солдат.

И так как за день соображения наши постоянно вертелись вокруг Ивлета, мне в виде отдыха пришло в голову помурлыкать романс белокурой девчонки из кабачка, называвшегося театром в силу вежливости или по простоте души. Там говорится, что юбка на женщине прилична только для стариков. Распевая полтоном ниже, чем обыкновенно, я загрустил, потому что мне вдруг представился багровый нос капитана моей роты и сизый табачный дым; все вместе напоминало утреннюю зорю. Но лес требует внимания, сударь, не меньше, чем шахматы, или бильярдный удар. Не прошло и минуты, как я запнулся, в тот же момент моя голова взвыла от боли, огненные головастики запрыгали в темноте, и все исчезло.

IV

Знакомо ли вам состояние полусна, полудремоты, когда сознание возвращается мгновениями только затем, чтобы, скользя по душе обрывками действительности,—исчезнуть как молния в смоле ночи? Я чувствовал скрип, легкое безболезненное покачивание, тупую боль в

голове и, при первой попытке осветить свое положение разумом, лишался чувств. Так продолжалось довольно долго, иногда промежутки сознания были длиннее, иногда короче, но ничего нового не входило в них, за исключением песни, распеваемой невидимым для меня певцом где-то наверху. Голос его звучал рассеянno и утомленно. Когда я открывал глаза, было темно, как в брюхе черной кошки, ноги мои и руки лежали как деревянные. Я не в силах был пошевелить ими. Снова мое сознание заволокло туманом. Но это длилось теперь, вероятно, лишь несколько секунд, следующий момент заставил меня встрепенуться. Я различил плеск воды, такой слабый, что его можно было принять за шелканье языком. Мысль о том, что меня куда-то везут, показалась мне невероятно смешной, я тихонько захохотал, чем все и окончилось, потому что слабый, разбитый ударом мозг не выдержал усилия смеха. Наступило забвение, и сколько длилось оно, не знаю.

К полному, окончательно устойчивому сознанию меня вернул соленый запах моря и теплый ветер, полоскавший лицо сильными вздохами. Я осмотрелся. Была ночь; вверху, вспыхивая, мерцали звезды, и море было полно звезд; воздушная, прозрачная пустота ночи шумела под мной голосами прибоя, шуршал мокрый гравий и раковины, перебрасываемые узкой лентой волны, засыпающей с разбегу на побережье; движущаяся линия океана внизу блестела фосфорическим светом позолоченных подводным огнем волн. Тело мое тянуло вниз, из этого я заключил, что лежу вниз ногами, на плоскости, наклонной к морю. Я попытался встать и не мог, повернул голову и увидел за собой, выше, темные громады холмов. Одинокiй, я был слаб, как грудной младенец, но состояние моего духа, безразличное к настоящему, отличалось необыкновенной ясностью и покоем.

Постепенно я вспомнил лесной удар в голову. Далее был провал, пустота, слабо заполненная отрывочным плеском воды, пением и покачиванием. В это время сзади раздались медленные шаги, я повернул голову и увидел темный силуэт человека. В руках его было ружье. Он тихо сел подле меня, я пристально смотрел в его лицо, окутанное туманом ночи. Наконец он спросил:

— Ну, как?

— Кто вы? — спросил я, приподнимаясь на локте.

Он засмеялся сдержанным, мелодическим смехом. В темноте глаза его казались маленькими, блестящими пропастями. Я повторил вопрос.

— Вам небезынтересно будет узнать,— заговорил он, не отвечая на мои слова,— что произошло после досадной, но простительной с вашей стороны оплошности. У водопоя ставят часто такие ловушки? Зверь задевает веревку и сверху летит бревно. Вы спасли какое-то четвероногое от участи, постигшей вас самих. А я шел следом. Я постоянно был в затылке последнего человека из вашего отряда; конечно, ваши собаки шли там, где я прошел раньше. Это был единственный способ.

— Вы Ивлет,— сказал я, остолбенев в первое мгновение.

— Да,— мельком ответил он и продолжал: — я взял вас из любопытства. Что делать? В лесу нет развлечений, нет людей, а мне хотелось поговорить с вами и, кроме того, посмотреть, как вы будете себя вести. Вы безопаснее для меня теперь, чем для вас я.

Он помолчал и прибавил:

— Я привез вас на лодке. Вы были в бессознательном состоянии, иногда ругались. Первые полчаса я вез вас так, чтобы ваша голова, свесившись, болталась в речной воде. Как видите, это помогло.

В тоне его голоса не было ни обидного сожаления, ни мелочного торжества. Он говорил спокойно и добродушно, как человек, напоминающий другому то, что уже известно обоим. Тем не менее, слушая его, я волновался, как кипиток в закрытой кастрюле. Стиснув зубы, я крикнул:

— Вы арестованы!

— Ха! — кротко сказал он, вставая. — Подымитесь и попробуйте сесть. Волнение для вас вредно, нужно, чтобы кровь отлила к ногам. Сядьте.

Я чувствовал, что краснею от замешательства. Мой повелительный возглас бессильно утонул в темном пространстве, убитый коротким «ха». Я невыразимо страдал.

— Сядьте,— повторил он.

Сделав усилие, я сел. Чуть-чуть закружилась голова, но через мгновение я почувствовал себя крепче. Я мог соображать, спрашивать, давать ответы.

— Ивлет, — сказал я, — все это странно, что мы здесь вдвоем. Я безоружен, но будьте уверены, что я вас, рано или поздно, поймаю.

— Зачем? — спросил он.

— Вы смеетесь! — вскричал я, начиная приходить в раздражение. — Кто вы? Это ясно. И бросимте эту комедию.

— Пират, да, — сказал он с оттенком сухости. — Но, боже мой, я живу такой убогой, нескладной жизнью. Воровать овец, грабить фермеров и делать пакости береговой охране, клянусь вам, скучнее, чем быть писцом у нотариуса. Еще месяц такой жизни, и я повешусь от скуки. Но здесь, — он повел рукой в сторону моря, — в торжестве молчания, я вознаграждаю себя с избытком за ошибки правительства. Здесь вправе каждый прийти и сбросить с себя все, вплоть до своего имени. Послушайте тишину!

Он смолк, а я ждал в необъяснимой тревоге, потому что это говорил каторжник. Утомительно полная, украшенная ворчанием океана, тишина следила за нами.

— Итак, — заговорил он снова, — довольно выпустить раз в подлеца пулю, чтобы лишиться навсегда права дышать! Я беспокою окрестности, но иначе мне пришлось бы умереть с голоду. Молодой человек, я стою за то, чтобы были места, где люди могут встречаться спокойно душа с душой, без камня за пазухой и без имени, потому что Ивлетом можете быть и вы, как я мог сделаться вами. Я вправе был бы убить вас, потому что с этой же самой целью вы преследовали меня. Здесь мы равны, вопрос в силе. Но я не сделаю этого.

— Место, — сказал я, — почему это место?

— Не знаю, — ответил он. — Я давно отметил его, как бесплатную лечебницу. Покой вносит покой.

Он смолк. Я смотрел вниз, совершенно подавленный, встревоженный, с ворохом бессвязных утомительных мыслей. Слова, только что прозвучавшие в моих ушах, казалось, шли не от темной фигуры человека, а от тишины и невидимого, вспыхивающего фосфором океана, и печальных холмов, заснувших в оцепении. В ушах гудел слабый звон; под обрывом тихо шуршал гравий.

Тогда все закачалось, и вернувшаяся, прогнанная волнением слабость обрушилась на меня теплой волной.

Я лег, сердце билось неровно, толчками, сырая трава знобила спину и ноги.

Сильная рука встряхнула меня. Я закрыл глаза. Ивлет сказал:

— Дорога к реке идет влево. На самом гребне холмов встретите выщербленный ветром базальт, спуститесь, придерживаясь середины склона. А потом будет каменное ложе потока, которое приведет вас к небольшой бухте. Немного внимания, и вы там найдете мою пирогу. Прощайте. Вот сухари, вот свинина.

Что-то твердое шлепнулось около моей головы. Потом зашелестела трава и мелкий кустарник. Ивлет шел вниз, его темная, исчезающая по временам фигура, мягко подпрыгивая, опускалась ниже и ниже.

Я встал, покачнулся, но удержал равновесие и почувствовал, что могу двигаться. Снизу выделился неясный шум, и ветер донес обрывок негромкой песни, прозвучавшей жалобой и угрозой:

Ночью на западном берегу пролива
Мы ловили креветок и черепах,
Забыв о кораблях неприятеля!..

ТРАГЕДИЯ ПЛОСКОГОРЬЯ СУАН

Кто из вас приклонил к этому уху,
вникнул и выслушал это для будущего.

(Исаия, 42, 23)

I

ЧЕСТЬ ИМЕЮ ПРЕДСТАВИТЬ

В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разостлал тени под неуклюжей старинной мебелью.

Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сна боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем.

Вошедший не снял шляпы; свечка, которую он едва разыскал среди разных инструментов и книг, загромождавших большой стол, плохо освещала его фигуру в просторном, застегнутом на все пуговицы пальто; приподнятый воротник открывал между собой и нахлобученными полями шляпы полоску черных волос; лицо, укутанное снизу до рта темным шарфом, казалось нарисованным углем на пожелтевшей бумаге. Вошедший смотрел вниз, сжимая и разжимая губы; тот, кто проснулся, спросил:

— Все ли благополучно, Хейль?

— Нет, но не вздрагивайте. У меня простужено горло; ухо..

Два человека нагнулись одновременно друг к другу. Они могли бы говорить громко, но укоренившаяся привычка заставляла произносить слова шепотом. Хозяин комнаты время от времени кивал головой; Хейль говорил быстро, не вынимая рук из карманов; по тону его можно было судить, что он настойчиво убеждает.

Шепот, похожий на унылый шелест ночной аллеи, затих одновременно с появлением на лице Хейля мрачной улыбки; он глубоко вздохнул, заговорив внятным, но все еще пониженным голосом:

— Он спит?

— Да.

— Разбудите же его, Фирс, только без ужасных гримас. Он человек сообразительный.

— Пройдите сюда,— сказал Фирс, шлепая босыми ногами к двери соседней комнаты.— Тем хуже для него, если он не выпался.

Он захватил свечку и ступил на порог. Свет озарил койку, полосатое одеяло и лежавшего под ним, лицом вниз, человека в вязаной шерстяной фуфайке. Левая рука спящего, оголенная до плеча, была почти сплошь грубо татуирована изображениями якорей, флагов и голых женщин в самых вызывающих положениях. Мерное, отчетливое дыхание уходило в подушку.

— Блум,— глухо сказал Фирс, подходя к спящему и опуская на его голую руку свою, грязную от кислот.— Блум, надо встать.

Дыхание изменилось, стихло, но через мгновение снова наполнило тишину спокойным ритмом. Фирс

сильно встряхнул руку, она откинулась, машинально почесала небритую шею, и Блюм сел.

Заспанный, щурясь от света, он пристально смотрел на разбудивших его людей, переводя взгляд с одного на другого. Это был человек средних лет, с круглой, коротко остриженной головой и жилистой шеей. Он не был толстяком, но все в нем казалось круглым, он походил на рисунок человека, умеющего чертить только кривые линии. Круглые глаза, высокие, дугобразные брови, круглый и бледный рот, круглые уши и подбородок, полные, как у женщины, руки, покатый изгиб плеч — все это имело отдаленное сходство с филином, лишенным ушных кисточек.

— Блюм,— сказал Хейль,— чтобы не терять времени, я сообщу вам в двух словах: вам надо уехать.

— Зачем? — коротко зевая, спросил Блюм. Голос у него был тонкий и невыразительный, как у глухих. Не дожидаясь ответа, он потянулся к сапогам, лежавшим возле кровати.

— Мы получили сведения,— сказал Фирс,— что с часу на час дом будет оцеплен и обстрелян — в случае сопротивления.

— Я выйду последним,— заявил Хейль после короткого молчания, во время которого Блюм пристально исподлобья смотрел на него, слегка наклонив голову.— Мне нужно отыскать некоторые депеши. У вас каплет стearин, Фирс.

— Потому ли,— Блюм одевался с быстротой рабочего, разбуденного последним гудком,— потому ли произошло все это, что я был у сквера?

— Да,— сказал Хейль.

— Улица была пуста, Хейль.

— Полноте ребячиться. Улица видит все.

— Я не люблю ложных тревог,— ответил Блюм.— Если бы я вчера, убегая переулками, оглянулся, то, может быть, не поверил бы вам, но я не оглядывался и не знаю, видел ли меня кто-нибудь.

Хейль хрипло расхохотался.

— Я забыл принести вам газеты. Несколько искаженный, вы все же можете быть узнаны в их описаниях.

Он посмотрел на Фирса. Лицо последнего, принадлежащее к числу тех, которых мы забываем тысячами, вздрагивало от волнения.

— Торопитесь же,— вполголоса крикнул Хейль. Блюм завязывал галстук,— если вы не хотите получить второй, серого цвета и очень твердый.

— Я никогда не тороплюсь,— сказал Блюм,— даже убегая, я делаю это основательно и с полным расчетом. Вчера я убил двух. Осталась сырая, красная грязь. Как мастер—я, по крайней мере, доволен. Позвольте же мне спастись с некоторым комфортом и без усталости,— я заслужил это.

— Вы,— сказал Хейль,— я и он.

— Да, но я не держу вас. Идите — я могу выйти без посторонней помощи.

— До вокзала.— Хейль вынул небольшое письмо.— Вы слезете в городке Суан; там, в двух милях от городской черты, вас убаюкает безопасность. На конверте написан подробный адрес и все нужные указания. Вы любите тишину.

— Давайте это письмо,— сказал Блюм.— А вы?

— Мы увидимся.

— Хорошо. Я надел шляпу.

— Фирс,— Хейль обернулся и увидел вполне одетого Фирса, заряжавшего револьвер,— Фирс, уходите; ваш поезд в другую сторону.

Более он не оборачивался, но слышал, как хлопнула выходная дверь; вздохнул и быстро опустошил ящики письменного стола, сваливая на холодную золу камина вороха писем и тощих брошюр. Прежде, чем поджечь кучу, Хейль подошел к окну, осмотрел темный провал двора; затем сунул догорающую свечку в бумажный арсенал, вспыхнувший бледными языками света, вышел и два раза повернул ключ.

На улице Блюм остановился. Звезды бледнели; вверху, сквозь черную кнсею тьмы, виднелись контуры крыши и труб; холодный, сухой воздух колот щеки, умывая заспанные глаза. Блюм посмотрел на своего спутника; улымый рот Фирса внушал Блюму желание растянуть его пальцами до ушей. Он встрепенулся и зашагал быстрее. Фирс сказал:

— Вы едете?

— Да. И вы.

— Да. Возможно, что мы больше не встретимся.

— В лучшем мире,— захохотал Блюм. В смехе его

звучал оскорбительный, едва уловимый оттенок.— В лучшем мире.

— Я не думаю умирать,— сухо сказал Фирс.

— Не думаете? Напрасно. Ведь вы умрете.— Он потянул носом холодный воздух и с наслаждением повторил:— Вы умрете и сгниете по всем правилам химии.

Фирс молчал. Блюм повернулся к нему, заглядывая в лицо.

— Я, может быть, уеду в другую сторону,— сказал он тоном благосклонного обещания.— Вы и пироксилин мне,— как говорят в гостиных,— «не импонируете». Свернем влево.

— Вы шутите,— сердито ответил Фирс,— как фелетонист.

— А вы дуется, как бегемот. Кровавые ребятишки,— громко сказал Блюм, раздражаясь и начиная говорить более, чем хотел,— в вас мало едкости. Вы не настоящая серная кислота. Я кое-что обдумал на этот счет. В вас нет прелести и возвышенности совершенства. Согласитесь, что вы бьете дряблой рукой.

— В таком случае,— объяснитесь,— хмуро сказал Фирс,— нас немного, и мы спаяны общим доверием, колебать это доверие небезопасно.

— Милые шутки, Фирс. Для того, чтобы разрушить подъезд у заслужившего вашу немилость биржевика или убить каплуна в генеральском мундире, вы тратите время, деньги и жизнь. Нежно и добродушно говорю вам: вы — идиоты. Наблюдаю: лопаются красные пузырики, чинят мостовую, хлопочут стекольщики — и снова пыль и свет, и опоганенное чиханьем солнце, и убивающие злобу цветы, и сладкая каша влюбленных, и вот — опять настроено проклятое фортепиано.

Задыхающийся полусшепот Блюма оборвался на последнем слове невольным выкриком. Фирс усмехнулся.

— Я люблю жизнь,— уныло сказал он.— И я поражен, да, Блюм, вы действуете так же, как мы.

— Развлекаюсь. Я мечтаю о тех временах, Фирс, когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы.

Рассвет обнажал землю; тихий, холодный свет превращал город в ряды незнакомых домов на странных вымерших улицах. Блюм посмотрел на Фирса так, как будто видел этого человека в первый раз, замолчал и, обогнув площадь, увидел фасад вокзала.

— Прощайте,— сказал он, не подавая руки.— Отстаньте тихонько и незаметно.

Фирс кивнул головой, и они расстались как волки, встретившиеся на скрещенном следу коз. Блюм неторопливо купил билет; физиономия его, вплоть до отхода поезда, сохраняла мирное выражение зажиточного, многосемейного человека.

Когда запели колеса и плавный стук их перешел в однообразное содрогание летящих вагонов, Блюм почувствовал облегчение человека, вырытого из-под земляного обвала. Против него сидел смуглый пассажир в костюме охотника; человек этот, докурив сигару, встал и начал смотреть в окно. У него были задумчивые глаза, он тихо насвистывал простонародную песенку и смотрел.

Стены душили Блюма. Сильное возбуждение, результат минувшей опасности, прошло, но тоскливый осадок требовал движения или рассеяния. Охотник протирал глаз, стараясь удалить соринку, попавшую из паровозной трубы, лицо его болезненно морщилось. Блюм встал.

— Позвольте мне занять у окна ваше место,— сказал он,— я не здешний, и мне хочется посмотреть окрестности.

— Что вам угодно?

— Глоток свежего воздуха.

— Вы видите, что здесь стою я.

— Да, но вы засорили глаз и смотреть все равно не можете.

— Это правда,— охотник скользнул взглядом по лицу Блюма, сел и, улыбаясь, закрыл глаза. Улыбка не относилась к Блюму,— он помнил о нем только один миг, затем мысленно опередил поезд и ушел в себя.

Блюм смотрел. Равнина, дикая и великолепная, лениво дымилась перед ним, медленно кружась под светлой глубиной неба; серый бархат теней и пестрые цветные отливы расстилались у рельс высокой помятой ветром травой с яркими венчиками. Он повернул голову,

окинул круглыми замкнутыми глазами нежное лицо степи, вспомнил что-то свое, ухнувшее беззвучной темной массой к далекому горизонту, и плюнул в сияющую пустоту.

II ДЕРЕВЬЯ В ЦВЕТУ

У прохода колючей изгороди стоял негр с белыми волосами, белыми ресницами и белой небритой щетиной; голова его напоминала изображение головы в негативе. Босой, полуголый, в одних грязных штанах из бумажной цветной ткани, он курил трубку, смотрел старческими глазами на каменистую тропу, бегущую вверх, среди агавы и кактусов, пел и думал.

Отвесные лучи солнца плавили воздух. Пение, похожее на визг токарного резца по железу, обрывалось с каждой затяжкой, возобновляясь, когда свежий клуб дыма вылетал из сморщенных губ. Он думал, может быть, о болотах Африки, может быть, о сапогах Тинга, что валяются у входа на расстоянии двух аршин друг от друга,— их надо еще пойти и убрать, а прежде — покурить хорошенько.

Всадник, подъезжавший к изгороди, лишил негра спокойствия, песни и очередной затяжки. Крупная городская лошадь подвигалась неровной рысью; человек, сидевший на ней, подскакивал в седле более, чем принято у опытных ездоков. Негр молча снял шляпу, сверкая оскаленными зубами.

Приезжий натянул поводья, остановился и тяжело слез. Старик подошел к лошади. Блюм сказал:

— Это дом Тинга?

— Тинга,— подобострастно сказал негр,— но Тинг уехал, господин мой; он проедет через Суан. Я жду его, добрейший и превосходнейший господин. Тинг и жена Тинга.

— Все-таки возьми лошадь,— сказал Блюм.— Я буду ждать, так как я приехал по делу. А пока укажи вход.

— Я слушаю вас, великолепнейший господин; идите сюда. Тинг заедет в Суан, там жена Тинга. Он возьмет жену Тинга, и оба они приедут на одной лошади, потому что жена Тинга легкая, очень легкая жена, справедли-

вейший и высокочтимый господин мой, он носит ее одной рукой.

— Неужели? — насмешливо произнес Блюм. — Может быть, он носит ее в кармане, старик?

— Нет, — сказал негр, уродливо хохоча и кланяясь. — Тинг кладет в карман руки. Добрый — он кладет руки в карман; сердитый — он тоже кладет руки в карман; когда спит — он не кладет руки в карман.

Блюм шел за ним в полуденных, зеленых сумерках высоких деревьев по узкой тропе, изборожденной бугристыми узлами корней; свет падал на его сапоги, не трогая лица, и пятнами кропил землю. Негр болтал, не останавливаясь, всякий вздор; слушая его, можно было подумать, что он сердечно расположен к приезжему. Но черный морщинистый рот столько же отвечал, сколько и спрашивал. На протяжении десяти сажен старик внял, что Блюма зовут Гергес, что он издалека и Тингу не родственник. Это ему не помешало снова залиться соловьем о Тинге и «жене Тинга»; слово «Тинг» падало с его языка чаще чем «Иисус» с языка монаха.

— Тинг молодой, высокий. Тинг ходит и громко свистит; тогда Ассунта кладет ему в рот самый маленький палец, и он не свистит. Тинг ездит на охоту один. Тинг никогда не поет, он говорит только: «трум-трум», но губы его закрыты. Тинг не кричит: «Ассунта», но она слышит его и говорит: «Я пришла». Он сердитый и добрый, как захочет, а гостям дает одеяло.

Имя это, похожее на звон меди, он произносил: «Тсинг». Тень кончилась, блеснул свет; прямо из сверкающих груд темной листвы забелели осыпанные душистым снегом апельсиновые и персиковые деревья; глухой, томительный аромат их наполнял легкие сладким оцепенением. Полудикие дремлющие цветы пестрели в траве и никли, обожженные зноем.

Блюм осмотрелся. Невдалеке стоял дом — низкое, длинное здание с одноэтажной надстройкой и крышей из древесной коры, — дом, срубленный полстолетия назад руками переселенцев, — грубый выразительный след железных людей, избородивших пустыню с карабином за плечами. Старик отворил дверь; затем серебряная шерсть его накрылась шляпой и оставила приезжего в одиночестве, с кучей самых отборных пожеланий отдох-

нуть и не скучать, и не сердиться за то, что бедный старый негр пойдет убрать лошадь.

Блюм внимательно разглядывал помещение. Земляной пол, бревенчатые стены, отполированные тряпками и годами, убранные сухими листьями, похожими на лакированные зеленые веера; низкая кровать с подушкой и меховым одеялом; большой некрашеный стол; несколько книг, исписанная бумага, соломенные занавеси двух больших окон, жесткие стулья, два ружья, повешенные над изголовьем,— все это смотрело на Блюма убедительным, прихотливым сочетанием земли с кружевной наволочкой ружейного ствола — с печатной страницей, бревен — с туалетным зеркалом, дикости — с мыслью, грубой простоты — с присутствием женщины. Потолок, покрашенный желтой краской, казался освещенным снизу. Занавеси были спущены, и солнце боролось с ними, наполняя комнату красноватым туманом, прорезанным иглами лучей, нашедших щели.

Блюм потерял руки, сел на кровать, встал, приподнял занавесь и выглянул. Каменистая почва с разбросанной по ней шерстью жестких, колючих трав круто обрывалась шагах в тридцати от дома ломаным убегающим вправо и влево контуром; на фоне голубого провала покачивались сухие стебли — граница возвышенного плато, шестисотсаженного углубления земной коры, затянутого прозрачным туманом воздуха. Всмотревшись, Блюм различил внизу кусок светлой проволоки — это была река.

Он тоскливо зевнул и опустил занавесь, подергивая плечами, как связанный. Конечно, он был свободен, но где-то разминались руки, назначенные поймать Блюма; здоров, но с веревкой на шее; спокоен — жалким суррогатом спокойствия — привычкой к ровному страху. Он сел на кровать, обдумывая будущее, и думал не фразами, а отрывками представлений, взаимно стирающих друг о друга мгновенную свою яркость. Опустив голову, он видел лишь микроскопические, красные точки, медленно ползающие в туманных сетях улиц далекого города. И эта перспектива исчезла; мерное движение точек соединилось с однообразным стуком идущего к Суану поезда; воображаемые вагоны толклись на одном месте, но с быстротой паровоза близилась тревога и

ужас, взмахивая темными крыльями над девственной равниной, цепенеющей в остром зное.

Беспокойный толчок сердца заставил Блюма вскочить, сделать несколько шагов и сесть снова. Дьявольские видения преследовали его. В Суане стучат копыта рослых жандармских лошадей. Тупой звук подков. Блестящие прямые сабли. Белая пыль. Красные мундиры, однообразные лица — густой солнечный лак обливает все; отряд двигается уверенной, твердой рысью, вытягивается гуськом, толпится, делится на отдельных всадников. Копыта! Блюм видел их так же близко, как свои руки; они тупо щелкали перед самым его лицом; все ближе, с выцветшей шерстью лодыжек, покрытые трещинами, копыта равнодушных пожилых лошадей.

Он встал, не имея сил одолеть страх, вытер холодный пот и застонал от ярости. Красноватый свет занавесей пылил воздух. Блюм потрясал руками, стискивая кулаки, как будто надеялся поймать предательскую тишину, смять ее, разбить в тысячи кусков с блаженным, облегчающим грохотом. Припадок утомил его; вялый, осунувшийся, опустился он на кровать Тинга с злобным намерением уснуть наперекор страху. В продолжение нескольких минут состояние тяжелой дремоты обрывалось и рассеивалось, переходя в бесплодную работу сознания; наконец густой флер окутал глаза, и Блюм уснул.

Прошел час; голова негра показывалась в дверях, скалила зубы и исчезала. Лицо Блюма, багровое от духоты, металось на измятой подушке; изредка он стонал; странные кошмары, полные благоухающей зелени, гримас, цветов с глазами птиц, света, кровавых пятен, белых, точно замороженных губ душили его, мешаясь с полусознанием действительности. Вскрикивая, он открывал глаза, тупо встречал ими красноватые сумерки и цепенел снова в удушливом забытьи, — потный, разморенный зноем и тишиной.

Солнце торопилось к закату; ветер, налетая с обрыва, отдувал занавесь, и в мгновенную, опадающую щель ее виднелись широкие смолистые листья деревьев, росших за окнами. Блюм проснулся, вскочил, глубоко вдыхая онемевшими легкими спертый воздух, и осмотрелся. То же безмолвие окружало его; прежнее красноватое освещение лежало на всех предметах, но теперь стены и одурающий, пристальный свет штор, и мебель, и тиши-

на таили в себе зловещую, утонченную внимательность, остроту человеческих глаз. Блюм расстегнул воротник рубашки, вытер платком мокрую грудь, отвел рукой штору и выглянул. На черте обрыва маячили, покачиваясь, сухие стебли; глубокий туман пропасти и светлая проволока реки блестели оранжевыми тенями угасающего дня, и в этом тоже было что-то зловещее. Блюм вздрогнул, с отвращением опустил штору, надел шляпу и вышел.

За дверью никого не было. Он двинулся по тропам сада, в душистой прохладе осыпанных белзной цвета высоких крон; живой снег бесчисленных, в глубине розовых, венчиков гудел миллионами насекомых; каскады остроконечной, иглистой, круглой, гроздьеподобной, резной листвы свешивались над головой и впереди узорами таинственных светлых сумерек; в конце тропы, за изгородью, ослепительно белела вечерней пылью каменная, бегущая на холмы среди груд камней, дорога в Суан. Блюм вышел к ней, остановился, посмотрел влево и вправо: пустыня, поросшая кактусами. Потом резко повернул голову, прислушиваясь к ритмическим отголоскам, похожим на стук пальцами о крышку стола.

Через минуту Блюм мог с уверенностью различить твердую рысь лошади. Лицо его, обращенное к повороту дороги, еле намеченному кустами и выбоинами, осталось неподвижным, за исключением зрачков, сузившихся до объема маковых зерен. Сначала показалась голова лошади, затем шляпа и лицо всадника, а между плеч его — другое лицо. Женщина сидела впереди, откинув голову на грудь Тинга; левая рука его придерживала Ассунту спереди осторожным напряжением кисти, правая встряхивала поводья; он смотрел вниз и, по-видимому, говорил что-то, так как лицо женщины таинственно улыбалось.

Под гору лошадь шла шагом; верховая группа мерно колыбалась на глазах Блюма; на лицо Тинга и его жены падали отлогие, вечерние лучи солнца, тающего на горизонте. Блюм снял шляпу и поклонился, испытывая мгновенное, но тяжелое замешательство. Тинг натянул поводья.

— Ассунта, — сказал он, окидывая Блюма коротким взглядом, — иди в дом, я не задержусь здесь.

— Уйду, я устала,— она, по-видимому, торопилась и спрыгнула на землю; ухватившись руками за гриву лошади, она ни разу не подняла глаз на Блюма и, оставив седло, прошла мимо незнакомца, наклонив голову в ответ на его вторичный поклон. Он успел рассмотреть ее, но уже через минуту затруднился бы определить, темные у нее волосы или светлые: так быстро она скрылась. Лицо ее отражало ясность и чистоту молодости; небольшое стройное тело, избалованное выражение рта,— все в ней носило печать свободной простоты, не лишенной, однако, некоторой застенчивости. Тинг улыбнулся.

— Я тоже узнал вас,— сказал Блюм, ошибочно толкуя эту улыбку,— и должен извиниться. У меня много крови, я задыхаюсь в вагонах и буду задыхаться до тех пор, пока правительство не устроит для полнокровных какие-нибудь холодильники.

— Вы говорите,— удивленно произнес Тинг,— что вы тоже узнали меня. Но я, кажется, вас не видал раньше.

— Нет,— возразил Блюм,— сегодня утром в вагоне. Вы засорили глаз.

— Так.— Тинг рассеянно обернулся, ища глазами Ассунту.— Но что же вы имеете мне сказать?

— Пусть говорят другие,— вздохнул Блюм, вынимая письмо Хейля.— Это, кажется, ваш бывший или настоящий знакомец, Хейль. Прочтите, пожалуйста.

Тинг разорвал конверт. Пока он читал, Блюм чистил ногти иглой терновника — манера, заимствованная у Хейля,— поглядывая исподлобья на сосредоточенное лицо читающего. Темнело. Тинг сунул письмо в карман.

— Вы — господин Гергес,— а я — Тинг,— сказал он.— Здесь все к вашим услугам. Хейль пишет, что вам нужен приют дня на три. Оставайтесь. Кто вы сверх Гергеса, не мое дело. Пожалуйста. Тогда вот это письмо,— Тинг снял шляпу и вынул из нее небольшой пакет,— будет, конечно, вам; я получил его сегодня в Суане для передачи Гергесу.

Блюм с неудовольствием протянул руку; письмо это означало, что Хейль вовсе не намерен дать ему отдых.

Затем оба постояли с минуту, молча разглядывая друг друга; по неестественному напряжению лиц южный вечер прочел взаимную тягость и антипатию.

III

АССУНТА

Веранда, затянутая черным бархатом воздуха, напоминала освещенный плот в океане, ночью, когда волнение дремлет, а слух болезненно ловит малейший плеск влаги. На длинном столе горела медная старинная лампа, свет ее едва достигал ближайших ветвей, листья их тянулись из мрака призрачными посеребренными очертаниями. Негр собрал остатки ужина и ушел, шаркая кожаными сандалиями; благодаря цвету кожи, он исчез за чертой света мгновенно, точно растаял, и только секунду-другую можно было наблюдать, как белая посуда в его руках, потеряв вес, самостоятельно чертит воздух.

Тинг сидел лицом к саду и пил кларет. Блюм-Гергес помещался против него, глотая водку из плетеного охотничьего стакана. И совсем близко к Тингу, почти касаясь его головы закутанным шалью плечом, стояла, прислонившись к стене, Ассунта.

— Я был нотариусом,— придиричиво сказал Блюм. Охмелев, он чувствовал почти всегда непреодолимое желание ломать комедию или балансировать на канате осторожной, веселой дерзости.— Вы, честное слово, не удивляйтесь этому. Битый час мы говорили о новых постройках в Суане, и вы, пожалуй, могли принять меня за проворовавшегося подрядчика. Я был нотариусом. Жестокие наследники одного состояния строили, видите ли, козни против прелестнейшей из всех девушек в мире; а она, надо вам сказать, любила меня со всем пылом молодости. По закону все состояние — а состояние это равнялось десяти миллионам — должно было перейти к ней. Меня просили, мне грозили, требовали, чтобы я это завещание уничтожил, а я отказался. Тут ввязались министры, какие-то подставные лица, и я подвергся преследованию. Убедив, я сжег свой дом.

Он выкладывал эти бредни, не улыбаясь, с чувством сокрушения в голосе. Широко открытые глаза Ассунты смотрели на него с недоумением, замаскированным слабой улыбкой.

— Я знал Хейля,— сказал Тинг, стараясь переменить разговор,— он напечатал мою статью в прошлом году. Он ведь служит в редакции «Знамя Юга», а

вимою, во время последних восстаний, был военным корреспондентом.

— Политическую статью,— полуутвердительно кивнул Блюм.— Я знаю, вы требовали уничтожения налога на драгоценности. Эта мера правительства не по вкусу женщинам; да, я вас понимаю.

Невозможно было понять, смеется или серьезно говорит этот человек с круглым, дрожащим ртом, неподвижными глазами и жирным закруглением плеч.

— Тинг,— сказала Ассунта, и улыбка ее стала определеннее,— господин Гергес хочет сказать, конечно, что ты не занимаешься пустяками.

Блюм поднял голову; взгляд ее остановился на нем, спокойный, как всегда; взгляд, рождающий глухую тоску. Он почувствовал мягкий отпор и внутренне подобрался, намереваясь изменить тактику.

— Политика,— равнодушно произнес Тинг,— это не мое дело. Я человек свободный. Нет, Гергес, я написал о серебряных рудниках. Там много любопытного.

Он посмотрел в лицо Блюма; оно выражало преувеличенное внимание с расчетом на откровенность.

— Да,— продолжал Тинг,— вы, конечно, слышали об этих рудниках. Там составляются и проигрываются состояния, вспыхивает резня, разыгрываются уголовные драмы. Я описал все это. Хейль исправлял мою рукопись, но это неудивительно,— я учился писать в лесу, столом мне служило седло, а уроками — беззубая воркотня бродяги Хименса, когда он бывал в хорошем расположении духа.

— Тинг — сын леса,— сказала Ассунта,— он думает о нем постоянно.

— Бродячая жизнь, — торжественно произнес Блюм,— вы испытали ее?

— Я? — Тинг рассмеялся.— Вы знаете, я здесь живу только ради Ассунты.— Он посмотрел на жену, как бы спрашивая: так ли это? На что она ответила кивком головы.— Родителей я не помню, меня воспитывал и таскал за собой Хименс. В засуху мы охотились, в дожди — тоже; охотились на юге и севере, западе и востоке. А раз я был в партии золотонскателей и не совсем несчастливо. Я жил так до двадцати четырех лет.

— Придет время,— угрюмо произнес Блюм,— когда

исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу. Она лжет.

— Или говорит правду, смотря по ушам, в которых гудит лесной ветер,— возразил Тинг, инстинктивно угадывая, что чем-то задел Гергеса. От лица гостя веяло непонятым, тяжелым сопротивлением. Тинг продолжал с некоторым задором:

— Вот моя жизнь, если это вам интересно. Я иногда пописываю, но смертельно хочется мне изложить историю знаменитых охотников. Я знал Эйклера, спавшего под одеялом из скальпов; Беленького Бизона, работавшего в схватках дубиной, потому что, как говорил он, «грешно проливать кровь»; Сенегду, убившего пятьдесят гризли; Бебиль Висельник учил меня подражать крику птиц; Нежный Артур, прозванный так потому, что происходил из знатного семейства, лежал умирающий в моем шалаше и выздоровел, когда я сказал, что отыскал тайник Эноха, где были планы бобровых озерков, известных только ему.

Глаза Тинга светились; увлеченный воспоминаниями, он встал и подошел к решетке веранды. Блюм, красный от спирта, смотрел на Ассунту; что-то копилось в его мозгу, укладывалось и ускользало; входило и выходило, ворочалось и ожидало конечного разрешения; эта работа мысли походила на старание человека попасть острием иглы в острие бритвы.

— А что вы любите? — неожиданно спросил он таким тоном, как будто ответ мог помочь решить известную лишь ему сложную математическую задачу. — Я полагаю, что этот вопрос нескромен, но мы ведь разговорились.

В последних его словах дрогнул еле заметный насмешливый оттенок.

— Ну, что же,— помолчав, сказал Тинг,— я могу вам ответить. Пожалуй — все. Лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню.

— А вы, прелестная Ассунта,— льстиво осклабился Блюм,— вы тоже? Между нами говоря, жизнь в городах куда веселее. Женщины вашего возраста делают там себе карьеру, это в моде; честолюбие, благотворительность, влияние на политических деятелей — это у них

считается большим лакомством. Вы здесь затеряны и проскачете. Как вы живете?

— Я... не знаю,— сказала молодая женщина и засмеялась; краска залила ее нежное лицо, растаяв у маленьких ушей. Она помолчала, взглядывая из-под опущенных ресниц на Гергеса.— Я очень люблю вставать рано утром, когда еще холодно,— несмело произнесла она.

Блюм громко захохотал и поперхнулся. Сиплый кашель его бросился в глубину ночи; брезгливая тишина медленно стряхнула эти звуки, чуждые ее сну.

— Жизнь ее благословенна,— сухо сказал Тинг,— а значение этой жизни, я полагаю, выше нашего понимания.

Блюм встал.

— Я пойду спать,— заявил он, зевая и щурясь.— Негр приготовил мне отличную постель вверх, под крышей. Мой пол — ваш потолок, Тинг. Спокойной ночи.

Он двинулся, грузно передвигая ногами, и скрылся в темноте. Тинг посмотрел ему вслед, задумчиво посвистал и обернулся к Ассунте. Один и тот же вопрос был в их глазах.

— Кто он? — спросила Ассунта.

— Я это же спрашиваю у себя,— сказал Тинг,— и не нахожу ответа.

Блюм остановился за углом здания; он слышал последние слова Тинга и ждал, не будет ли чего нового. Слепящий мрак окружал его; сердце билось тоскливо и беспокойно. За углом лежал отблеск света; слабые, но ясные звуки голосов выходили оттуда — голоса Ассунты и Тинга.

— Вот это я прочитаю тебе,— расслышал Блюм.— Для стихов это слишком слабо, и нет правильности, но, Ассунта, я ехал сегодня в поезде, и стук колес твердил мне отрывочные слова; я повторял их, пока не запомнил.

Блюм насторожил уши. Короткая тишина оборвалась немного изменившимся голосом Тинга:

В мгле рассвета побледнел ясный
ореол звезд,
Сон тревожный, покой напрасный
трудовых гнезд
Свергнут небом, где тени утра
плывут в зенит,

водяные цветы, испещренные красноватыми жилками; от них шел тонкий сырой аромат болота, сладковатый и острый.

Блюм посмотрел на часы; девственный покой леса превращал их тиканье в громкий, суеливый шепот нетерпеливого ожидания. Он спрятал их, продолжая кусать губы и смотреть на воду; затем встал, походил немного, стараясь не удаляться от берега, возвратился и сел на прежнее место.

Прошло несколько времени. Маленькое голубое пятно, только что замеченное им слева, пропадало и показывалось раз двадцать, приближаясь вместе с неровным потрескиванием валежника; наконец, бритые губы раздвинулись в сухую улыбку,— улыбку Хейля; он шел к Блюму с протянутой рукой, разглядывая его еще издали.

Хейль был одет в праздничный степенный костюм зажиточного скотовода или хозяина мастерской: толстые ботинки из желтой кожи, светлые брюки и куртка, пестрый жилет, голубой с белыми горошками пластрон и шляпа с низко опущенными полями. Он, видимо, недавно покинул седло, так как от него разило смешанным запахом одеколона и лошадиного пота.

— Я шел берегом, пробираясь сквозь чащу,— сказал Хейль,— лошадь привязана за полмили отсюда; невозможно было вести ее в этой трущобе. Как ваше здоровье? Вы, кажется, отдохнули здесь. Мое письмо, конечно, вами получено.

— Я здоров, с вашего позволения.— Блюм сел в траву, подобрав ноги. Хейль продолжал стоять.— Письмо, план этой жилой местности и милостивые ваши инструкции я получил, потому-то и имею счастье взи-
рять на вашу мужественную осанку.

Он проговорил это своим обычным, тонким, ворчащим голосом, похожим на смешанные звуки женской брани и жиканье точильного камня.

— Вы не в духе,— сказал Хейль,— высморкайтесь, это от насморка. Как живет Тинг? Я видел его полгода назад, а жену его не встречал ни разу. Довольны ли вы их отношением?

— Я? — удивленно спросил Блюм.— Я плачу от благородства. Я благословляю их. Я у них, как родной,— нет,— внезапно бросая тон кривляющегося акте-

ра прибавил Блюм,— в самом деле, и теперь вы можете мне поверить, я очень люблю их.

Хейль рассеянно кивнул головой, присел рядом с Блюмом, бегло осмотрел речку и задумался, всасывая ртом нижнюю губу. Молчание длилось минут пять; посторонний наблюдатель мог бы смело принять их за людей, размышляющих о способе переправиться на другой берег.

— Ваше положение,— сказал, наконец, Хейль,— очень затруднительно. Вам надо исчезнуть совсем, отправиться в другие края. Там вы можете быть полезны. Я точно обдумал весь маршрут и предусмотрел все. Согласны вы ехать?

Блюм не пошевелил бровью, как будто этот вопрос относился к совершенно другому человеку. Он молчал, невольно молчал и Хейль. Несколько времени они смотрели друг другу в глаза с таким вниманием, словно ими были исчерпаны все разговорные темы; Хейль, задетый непонятием для него молчанием Блюма, отвернулся, рассматривая свесившуюся над головой ткань цветущих вьюнков, и заметил вслух, что роскошные паразиты напоминают ему, Хейлю, блестящих женщин.

— Нет,— сказал Блюм и бросил в воду небольшой камень, пристально следя за исчезающими кругами волнения.— Я не поеду.

— Не-ет... Но у вас должны быть серьезные причины для этого.

— Да, да,— Блюм поспешно обернулся к Хейлю, проговорив рассудительным, деловым тоном: — Я хочу от вас отделаться, Хейль, от вас и ваших.

— Какой дьявол,— закричал Хейль, покраснев и вскакивая,— вкладывает в ваш мозг эти дерзкие шутки!.. Вы ренегат, что ли?..

— Я преступник,— тихо сказал Блюм,— профессиональный преступник. Мне, собственно говоря, не место у вас.

— Да,— возразил изумленный Хейль, овладевая собой и стараясь придать конфликту тон простого спора,— но вы пришли к нам, вы сделали два блестящих дела, третье предполагалось поручить вам за тысячу миль отсюда, а теперь что?

— Да я не хочу, поняли? — Блюм делался все грубее, казалось, сдержанность Хейля раздражала его.—

Я пришел, и я ушел; посвистите в кулак и поищите меня в календаре, там мое имя. Как было дело? Вы помогли бежать одному из ваших, я сидел с ним в одной камере и бежал за компанию; признаться, скорее от скуки, чем от большой надобности. Ну-с... вы дали мне переночевать, укрыли меня. Что было мне делать дальше? Конечно, выжидать удобного случая устроиться посolidнее. Затем вы решили, что я — человек отчаянный, и предложили мне потрошить людей хорошо упитанных, из высшего общества. Мог ли я отказать вам в такой безделке,— я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лижет щенят. Вы меня кормили, одевали и обували, возили меня из города в город на манер багажного сундука, пичкали чахоточными брошюрами и памфлетами, кричали мне в одно ухо «анархия», в другое — «жандармы!», скормили полдесятка ученых книг. Так, я, например, знаю теперь, что вода состоит из азота и кислорода, а порох изобретен китайцами.— Он приостановился и посмотрел на Хейля взглядом продажной жещины.— Вы мне благоволили. Что ж... и дуракам свойственно ошибаться.

Сильный гнев блеснул в широко раскрытых глазах Хейля; он сделал было шаг к Блюму, но удержался, потому что уяснил положение. Отпущенный Блюм, правда, мог быть опасен, так как знал многое, но и удерживать его теперь не было никакого смысла.

— Не блещете вы, однако,— глухо сказал он.— Значит, игра в открытую. Я поражен, да, я поражен, взбешен и одурачен. Оставим это. Что вы намерены теперь делать?

— Пакости,— захохотал Блюм, раскачиваясь из стороны в сторону.— Вы бьете все мимо цели, все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий,— они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшее открытие, превосходящее заслуги Христофора Колумба. Моя биография тоже участвовала в этом плане.

Хейль молчал.

— Моя биография! — крикнул Блюм.— Вы не слышите, что ли? Она укладывается в одной строке: публичный дом, исправительная колония, тюрьма, каторга. В публичном доме я родился и воспринял святое крещение. Остальное не требует пояснений. Подробности:

зуботычины, пощечины, избиеие до полусмерти, плети, удары в голову ключом, рукояткою револьвера. Пощечины делятся на четыре сорта. Сорт первый: пощечина звонкая. От нее гудит в голове, и все качается, а щека горит. Сорт второй — расчетливая: концами пальцев в висок, стараясь задеть по глазу; режущая боль. Сорт третий — с начинкой: разбивает в кровь нос и расшатывает зубы. Сорт четвертый: пощечина клейкая, — дается липкой рукой шпиона; не больно, но целый день лицо загажено чем-то сырым.

— Мне нет дела до вашей почтенной биографии, — сухо сказал Хейль. — Ведь мы расстаемся?

— Непременно. — Крупное лицо Блюма покрылось красными пятнами. — Но вы уйдете с сознанием, что все вы — мальчишки передо мной. Что нужно делать на земле?

Он порылся в карманах, вытащил смятую, засаленную бумажку и начал читать с тупым самодовольством простолудина, научившегося водить пером:

«Сочинение Блюма. О людях. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдению, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения».

Он поднял голову, немного смущенный непривычным для него актом, как поэт, прочитавший первое свое стихотворение, сложил бумажку и вопросительно рассмеялся. Хейль внимательно смотрел на него, — нечто любопытное послышалось ему в запутанных словах Блюма.

— Что же, — насмешливо спросил он, — синодик этот придуман вами?

— Я сообразил это, — тихо сказал Блюм. — Вы кончили мою мысль. Не стоит убивать только тех, кто был бы рад этому. Это решено мной вчера, до тех пор все было не совсем ясно.

— Почему?

— Так. — Тусклые глаза Блюма сощурились и остановились на Хейле. — Разве дело в упитанных каплунах или генералах? Нет. Что же, вы думаете, я не найду единомышленников? Столько же, сколько в лесу осиных гнезд. Но я не могу объяснить вам самого главного, —

таинственно добавил он,— потому что... то есть почему именно это нужно. Здесь, видите ли, приходится употреблять слова, к которым я не привык.

— Почтенный убийца,— хладнокровно возразил Хейль,— я, кажется, вас понимаю. Но кто же останется на земле?

— Горсть бешеных! — хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи.— Они будут хлопать успокоенными глазами и нежно кусать друг друга острыми зубками. Иначе невозможно.

— Вы сумасшедший,— коротко объявил Хейль.— То, что вы называете «зацепкой», есть почти у каждого человека.

Блюм вдруг поднял брови и засопел, словно его осенила какая-то новая мысль. Но через секунду лицо его сделалось прежним, непроницаемым в обычной своей гусклой бледности.

— И у вас? — пристально спросил он.

— Конечно.— Яркое желание бросить в отместку Блюму что-нибудь завидное для последнего лишило Хейля сообразительности.— Я честолобив, люблю опасность, хотя и презираю ее; недурной журналист, и — поверьте — наслаждаться блажеством жизни, сидя на ящике с динамитом,— очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение. Мы — не проповедники смерти.

— У вас есть зацепка,— утвердительно сказал Блюм.

Хейль смерил его глазами.

— А еще что хотели вы сказать этим?

— Ничего,— коротко возразил Блюм,— я только говорю, что и у вас есть зацепка.

— Вот что,— Хейль проговорил это медленно и внушительно: — Бойтесь повредить нам болтовней или доносами: вы — тоже кандидат виселицы. Я сказал,— ставлю точку и ухожу. Кланяйтесь Тингу. Прощайте.

Он повернулся и стал удаляться спиной к противнику. Блюм шагнул вслед за ним, протянул револьвер к затылку Хейля, и гулкий удар пролетел в тишине леса вместе с небольшим белым клубком.

Хейль, не оборачиваясь, приподнял руки, но тотчас же опустил их, круто взмахнул головой и упал плашмя, лицом вниз, без крика и судорог. Блюм отскочил в сторону, нервно провел рукой по лицу, затем, вздрагивая

от острого холодка в груди, подошел к труп, секунду простоял неподвижно и молча присел на корточки, рассматривая вспухшую под черными волосами небольшую, сочащуюся кровью рану.

— Чисто и тщательно сделанный опыт,— пробормотал он.— Револьвер этой системы бьет удивительно хорошо.

Он взял мертвого за безжизненные, еще теплые ноги и потащил к реке. Голова Хейля ползла по земле бледным лицом, моталась, ворочалась среди корней, путалась волосами в папоротниках. Блюм набрал камней, погрузил их в карманы Хейля и, беспрестанно оборачиваясь, столкнул труп в освещенную темно-зеленую воду.

Раздался глухой плеск, волнение закачало водоросли и стихло. Спящее лицо Хейля проплыло в уровне воды шагов десять, сузилось и опустилось на дно.

V

ТИШИНА

Блюм проснулся в совершенной темноте ночи, мгновенно припомнил все, обдуманное еще днем, после того, как бледное лицо Хейля потонуло в лесной воде, и, не зажигая огня, стал одеваться с привычной быстротой человека, обладающего глазами кошки и ногами мышонка. Он натянул сапоги, тщательно застегнул жилет, нахлобучил плотнее шляпу, шею обмотал шарфом. Все это походило на приготовления к отъезду или к тихой прогулке подозрительного характера. Затем, все не зажигая огня, вынул карманные часы, снял круглое стекло их острием складного ножа и ощупал циферблат пальцами,— стрелки показывали час ночи.

Он постоял несколько минут в глубоком раздумьи, резко улыбаясь невидимым носкам сапог, подошел к окну и долго напряженно слушал стрекотанье цикад. Сердце тишины билось в его душе; тьма, униженная роскошным дождем звезд, приближала свои глаза к бессонным глазам Блюма, сном казался минувший день, мрак — вечностью. Это была вторая ночь гостя; настроенный торжественно и тревожно, как доктор, засучивший рукава для небольшой, но серьезной операции, Блюм отворил дверь и стал спускаться по лестнице. На

это он употребил минут десять, делая каждый шаг лишь после того, как исчезало даже впечатление прикосновения ноги к оставленной позади ступеньке. Выходная дверь открывалась в сад. Он прикоснулся к ней легче воздуха, увеличивая приоткрытую щель с медленностью волокиты, проникающего к любовнице через спальню ее мужа, и так же медленно, осторожно ступил на землю.

Влажный мрак поглотил его; он исчез в нем, растаял, слился с тьмой и двигался, как лунатик, протягивая вперед руки, но зорко улавливая оттенки тьмы, намечавшие ствол дерева или угол дома. Через несколько минут слабо заржала лошадь, его лошадь, привязанная негром к столбу небольшого деревянного заграждения, где стояли две лошади Тинга. Блюм гладил крутую шею; теплая кожа животного скользила под его рукой; присутствие живого существа наполнило человека жесткой уверенностью. Блюм разматал коновязь, расправил захваченную узду, взнуздal лошадь и потянул ее за собой.

Теперь, обеспеченный на случай тревоги, он двинулся быстрее, шел тверже. Копыта глухо переступали за его спиной. Блюм пересек пустое, неогороженное пространство, заворачивая со стороны обрыва; миновав второй угол здания, он привязал лошадь к кустарнику, прополз на четвереньках вперед, выступил головой из-за третьего угла и припал к земле, пораженный тяжелым хлестким ударом неожиданности.

Из окна бежал свет; косая бледная полоса его терялась в сумрачном узоре листвы. Тинг, по-видимому, не спал; причина этого была понятна Блюму не более, чем воробью зеркало, так как, по собственным словам Тинга, он ложился не позднее двенадцати. С минуту Блюм оставался неподвижен, тоска грызла его, всевозможные, один другого отчаяннее и нелепее, планы боролись друг с другом в бешено заработавшей голове. Он наскоро пересмотрел их, отбросил все, решил выждать и пополз вдоль стены к полосе света.

Чем более приближался он, тем яснее и мучительнее касался его ушей негромкий перелив разговора. Под окном он остановился, присел на корточки и переложил из левой руки в правую небольшой сильный револьвер. Блюм был почти спокоен, холодно созерцая риск поло-

жения, как в те дни, когда взламывал чужие квартиры. Ему предстояло дело, он жаждал выполнить его тщательнее. И видел совершенно отчетливо одно: свои руки, делающие в неопределенный еще момент бесшумные жуткие усилия.

Он поднял голову, рассчитал, что нижний край окна придется в уровень глаз, и встал, выпрямившись во весь рост. В этот момент рука его приросла к револьверу, дыхание прекратилось. Глаза встретили яркий свет. Блюм привалился к стене грудью, безмолвный, застывший, почти не дышащий. Вместе с ним смотрела, слушающая, ночь.

Горели две свечи: одна у окна, на выступе низенького темного шкафа, другая — у противоположной стены, на круглом столе, застланном цветной скатертью. В глубине толстого кожаного дивана, развалившись и обхватив колени руками, сидел Тинг. Огромный звездобразный ковер из меха пумы скрывал пол; в центре этого оригинального украшения, подпирая руками голову, лежала ничком Ассунта; ее длинные, пушистые волосы, распущенные и немного растрепанные, падали на ковер; из их волнистого маленького шатра выглядывало смеющееся лицо женщины. Она болтала ногами, постукивая одна другую розовыми голыми пятками. В этот момент, когда Блюм увидел все это, Тинг продолжал говорить, с трудом приискивая слова, как человек, боящийся, что его не точно поймут.

— Ассунта, мне хочется, чтобы даже тень огорчения миновала тебя. Долго ли я пробуду в отсутствии? Полгода. Это большой срок, я знаю, но за это время я успею побывать во всех странах. Меня дразнит земля, Ассунта; океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных углов. Я с детства мечтаю об этом. Буду ли я здоров? Конечно. Я очень вынослив. И я не буду один, нет, — ты будешь со мной и в мыслях, и в сердце моем всегда. — Он вздохнул. — Хотя, я думаю, было бы довольно и пяти месяцев.

— Тинг, — сказала Ассунта, улыбаясь, с маленьким тайным страхом в душе, что Тинг, пожалуй, уедет по-настоящему, — но я тоже хочу с тобой. Разве ты не любишь меня?

Тинг покраснел.

— Ты глупая,— сказал он так, как говорят детям,— разве ты вынесешь? Мне не нужны гостиницы, я не турист, я буду много ходить пешком, ездить. Мне страшно за тебя, Ассунта.

— Я сильная,— гордо возразила Ассунта, осторожно стучая сжатым кулачком мех ковра,— я, правда, маленького роста и легкая, но все же ты не должен относиться ко мне насмешливо. Я могу ходить с тобой везде и стрелять. Мне будет скучно без тебя, понял? И ты там влюбись в какую-нибудь...— Она остановилась и посмотрела на него сонными, блестящими глазами.— В какую-нибудь чужую Ассунту.

— Ассунта,— с отчаянием сказал Тинг, подсакивая, как ужаленный,— что ты говоришь! В какую же женщину я могу влюбиться?

— А это должен знать ты. Ты не знаешь?

— Нет.

— А я, Тингушок, совершенно не могу знать. Может быть, в коричневую или посветлей немного. Ну вот, ты хохочешь. Я ведь серьезно говорю, Тинг,— да Тинг же!

Лицо ее приняло сосредоточенное, забавное, сердитое выражение; тотчас же вслед за этим внезапным выражением ревности Ассунта разразилась тихим, сотрясающим все ее маленькое тело, долгим неудержимым смехом.

— Тише ты смейся,— сказала она по частям, так как целиком эта фраза не выговаривалась, разрушаемая хохотом,— ты смейся, впрочем...

Оба хотели сказать что-то еще, встретились одновременно глазами и безнадежно махнули рукой, сраженные новым припадком смеха. Темный, внимательный, смотрел на них из-за окна Блюм.

— Ассунта,— сказал Тинг, успокаиваясь,— правда, мне слишком тяжело будет без тебя. Я думаю... что... в первый раз... хорошо и три месяца. За это время много можно объехать.

— Нет, Тинг,— Ассунта переместилась в угол дивана, подобрав ноги,— слышишь, из-за меня ты не должен лишаться чего бы то ни было. Я избалованная, это так, но есть у меня и воля. Я буду ждать, Тинг. А ты вернешься и расскажешь мне все, что видел, и я буду счастлива за тебя, милый.

Тинг упорно раздумывал.

— Вот что,— заявил он, подымая голову,— мы лучше поедем вместе, когда... у нас будет много денег. Вот это я придумал удачно, сейчас я представил себе все в действительности и... безусловно... то есть расстаться с тобой для меня невозможно. С деньгами мы будем поступать так: ты останавливаешься в какой-нибудь лучшей гостинице, а я буду бродить. Почему раньше мне не приходило этого в голову?

Он щелкнул пальцами, но взгляд его, останавливаясь на жене, еще что-то спрашивал. Ассунта улыбнулась, закрыв глаза; Тинг наклонился и поцеловал ее задумчивым поцелуем, что прибавило ему решительности в намерениях.

— Я без тебя не поеду,— заявил он.— Да.

Лукавое маленькое молчание было ему ответом.

— Совершенно не поеду, Ассунта. А я и ты — вместе. Или не поеду совсем. Денег у нас теперь, кажется... да, так вот как.

Ассунта обтянула юбку вокруг колен, прижимаясь к ним подбородком.

— Ты ведь умненький,— наставительно сказала она,— и довольно смешной. Нет, ты, право, ничего себе. Бывают ли с тобой, между прочим, такие вещи, что неудержимо хочется сделать что-нибудь без всякого повода? Меня, например, тянет подойти к этому окну и нагнуться.

Блюм инстинктивно присел. Тинг рассеянно посмотрел в окно, отвернулся и спрятал руки Ассунты в своих, где им было так же спокойно, как в гнезде птицам.

— Усни,— сказал он.— Почему мы не спим сегодня так долго? Глухая ночь, а между тем меня не клонит к подушке, и голова ясна, как будто теперь утро. Пожалуй, я поработаю немного.

Блюм переживал странное оцепенение, редкие минуты бесстрастия, глубочайшей уверенности в достижении своей цели, хотя до сих пор все было, по-видимому, против этого. Он не мог прыгнуть в комнату; как произойдет все, не было известно ему, и даже намек на сколько-нибудь отчетливое представление об этом не ощущал он в себе, но благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал с настойчивостью дикаря, покорившего свое несовершенное тело отточенному борьбе инстинк-

ту. Ручная, послушная ярость спала в нем, он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался.

— Ты идешь спать? — сказал Тинг, перебирая пальцы Ассунты. — Ну да, и мне кажется, что ты дремлешь уже.

— Нет. Я выйду и похожу немного. — Ассунта встала, и Тинг заметил, что и капли сна нет в ее блестящих глазах, полных серьезной нежности. — Как душно, Тинг, — мне душно, и я не знаю, отчего это. Мое сердце торопится и стучит, торопится и замирает, как будто говорит, но не может высказать. Мне грустно и весело.

Она закинула руки, потянулась, стремительно обняла Тинга и вышла в темный узкий коридор дома. Некоторое время Блюм не видел и не слышал ее, но вскоре уловил легкий шелест вблизи себя, прислушался и затрепетал. Прежде, чем двинуться на звук шагов, он сунул в карман револьвер, это оружие было теперь ненужным.

Ослепительный, торжественный мрак скрывал землю. Бессонные глаза ночи дышали безмолвием; полное, совершенное, чистое, как ключевая вода, молчание стерегло пустыню, бесконечно затопив мир, уходило к небу и царствовало. В нем, обрызганные созвездиями ночных светил, толпились невидимые деревья; густой цвет их кружил голову тонким, но сильным запахом, щедрым и сладким, волнующим и привольным, влажным и трогательным, как полураскрытые сонные уста женщины; обнимал и тревожил миллионами воздушных прикосновений и так же, как тишина, рос бесконечно властными, неосознательными усилиями, бескрылый и легкий.

Ассунта бессознательно остановилась в глубине сада. Руки ее прильнули к горячему лицу и медленно опустились. Воздух глубоко наполнял легкие, щекотал самые отдаленные поры их, как шмель, перебирающий мохнатыми лапками в глубине венчика; неугомонно и звонко стучало сердце: немой голос его не то звал куда-то, не то спрашивал. Женщина снова подняла руки, прижимая их к теплой груди, и рассмеялась беспричинным, беззвучным смехом. Недолго простояла она, но уже показалось ей, что нет ни дома, ни земли под ногами, что бесконечна приветная пустота вокруг, а она, Ассунта, стала маленькой, меньше мизинца, и беззащитной, и от

этого весело. Неслышный призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака, звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у ее ног; неподвижная, улыбающаяся всем телом, чем-то растроганная, благодарная неизвестному, Ассунта испытывала желание стоять так всегда, вечно, и дышать и трогать маленькое свое сердце — оно ли это стучит? Оно влажное, теплое; она и сердце — и никого больше.

Блюм скорее угадал ее, чем увидел; соображая в то же время состояние до оставленной позади лошади, он тихо подвигался вперед. Правая рука его торопливо что-то нащупывала в кармане; Блюм сделал еще несколько шагов и почувствовал, что Ассунта совсем близко, против него. Он глубоко вздохнул, сосредоточился и холодно рассчитал время.

— Это ты, Тинг? — задумчиво сказала Ассунта. — Это пришел ты. Я успокоилась, и мне хорошо. Иди, я сейчас вернусь.

Запах непролитой еще крови бросился Блюму в голову и потряс его.

— Тинг, — проговорил он наполовину трепетным движением губ, наполовину звуком, мало напоминающим человеческий голос. — Не придет Тинг.

Глухая боль внезапного страха женщины мгновенно передалась ему, он оттолкнул боль и занес руку.

— Кто это? — медленно, изменившимся голосом спросила Ассунта. Она отступила, инстинктивно закрывая себя рукой. — Вы, Гергес? И вы не спите. Нет, мне просто послышалось. Кто здесь?

— Это ваша рука, Ассунта, — сказал Блюм, сжимая тонкую руку ее уверенными холодными пальцами. — Ваша белая рука. А это — это рука Гергеса.

Он с силой дернул к себе молодую женщину, ударив ее в тот же момент небольшим острым ножом — удар, рассчитанный по голосу жертвы — правее и ниже. Слух его смутно, как во сне, запомнил глухой крик, остальное исчезло, смертельный гул крови, отхлынувшей к сердцу, обдал Блюма горячим паром тревоги. Через минуту он был в седле, и головокружительная, сумасшедшая скачка показалась ему в первый момент движением черепахи.

Взмах, удар, крик раненой мелькнули далеким сном. Он мчался по дороге в Суан, изредка волнуемый страхом быть пойманным, прежде чем достигнет города. Конвульсивное обсуждение сделанного странно походило на галоп лошади; мысли, вспыхивая, топтали друг друга в беспорядочном вихре. Сознание, что не было настоящей выдержки и терпения, терзало его. «Ничего больше не оставалось»,— твердил он. Лошадь, избитая каблуками, вздрагивала и бросалась вперед, но все еще оставалось впечатление, будто он топчется на одном месте. Иногда Блюм овладевал собой, но вспоминал тут же, что прошло десять—пятнадцать минут, не более, с тех пор, как скачет он в темноте пустыни; тогда этот промежуток времени то увеличивался до размеров столетия, то исчезал вовсе. По временам он ругался, ободряя себя; попробовал засмеяться и смолк, затем разразился проклятиями. Смех его походил на размышление; проклятия — на разговор со страхом. Неосиленная еще часть дороги представлялась чем-то вроде резинового каната, который невозможно смотать, потому что он упорно растягивается. Зудливая физическая тоска душила за горло.

Наконец Блюм остановил лошадь, прислушиваясь к окрестностям. Отдуваясь, обернувшись лицом назад, он слушал до боли в ушах. Было тихо; тишина казалась враждебной. Пустив лошадь шагом, он через несколько минут остановил ее, но одинокое, хриплое дыхание загнанного животного не подарило Блюму даже капли уверенности в своей безопасности; он прислушался в третий раз и, весь всколыхнувшись, ударил лошадь ручкой револьвера; сзади отчетливо, торопливо и тихо несясь дробный, затерянный в тишине, уверенный стук копыт.

VI

ТИНГ ДОГОНЯЕТ БЛЮМА

Тинг выбежал на крик с глухо занявшим сердцем. За минуту перед этим он был совершенно спокоен и теперь весь дрожал от невыразимой тревоги, стараясь сообразить, что произошло за окном. Тьма встретила его напряженным молчанием.

— Ассунта,—громко позвал он и, немного погодя, крикнул опять: — Ассунта!

Собственный его голос одиноко вспыхнул и замер. Тогда, не помня себя, он бросился в глубину сада, обещал его в разных направлениях с быстротой лани и остановился: глухой внутренний толчок приковал внимание Тинга к чему-то смутно белеющему у его ног.

Он наклонился и первым прикосновением рук узнал Ассунту. Теплое, неподвижное тело ее, вытянувшись, повисло в его объятиях с тяжелой гибкостью неостывшего трупа.

— А-а,— болезненно сказал Тинг.

Глухое, невероятное страдание уничтожало его с быстротой огня, съедающего солому. Это было помешательство мгновения, тоска и страх. Он не понимал ничего; растерянный, готовый закричать от ужаса, Тинг тщетно пытался удержать внезапную дрожь ног. Бережно приподняв Ассунту, он двинулся по направлению к дому, шатаясь и вскрикивая. Действительность этого момента по всей своей силе переживалась им, как сплошной кошмар; жизнь сосредоточилась и замерла в одном ощущении дорогой тяжести. Он не помнил, как внес Ассунту, как положил ее на ковер, как очутился стоящим на коленях, что говорил. По временам он встряхивал головой, пытаясь проснуться. Побледневшее, с плотно сомкнутыми губами и веками лицо жены таинственно и безмолвно говорило о неизвестном Тингу, только что пережитом ужасе. Он взял маленькую, бессильную руку и нежно поцеловал ее; это движение разрушило столбняк души, наполнив ее горем. Быстро расстегнув платье Ассунты, пропитанное кровью с левой стороны, под мышкою, Тинг разрезал рукав и осмотрел рану.

Нож Блюма рассек верхнюю часть левой груди и смежную с ней внутреннюю поверхность руки под самым плечом. Из этих двух ран медленно выступала кровь: сердце едва билось, но слабый, обморочный шепот его показался Тингу небесной музыкой и разом вернул самообладание. Он разорвал простыню, обмыл раненую грудь Ассунты спиртом и сделал плотную перевязку. Все это время, пока дрожащие пальцы его касались нежной белизны тела, изувеченного ножом, он испытывал бешеную ненасытную нежность к этой маленькой, обнаженной груди,— нежность, сменяющуюся взрывами ярости, и страдание. Скрепив бинт, Тинг поцеловал его в проступающее на нем розовое пятно. Почти обес-

силенный, приник он к закрытым глазам Ассунты, целуя их с бессвязными, трогательными мольбами посмотреть на него, вздрогнуть, пошевелить ресницами. Все лицо его было в слезах, он не замечал этого.

То, что произошло потом, было так неожиданно, что Тинг растерялся. Веки Ассунты дрогнули, приподнялись; жизнь теплилась под ними в затуманенной глубине глаз,— возврат к сознанию, и Тинг водил над ними рукой, как бы глядя самый воздух, окутывающий ресницы. Теперь, в первый раз, он почувствовал со всей силой, какие это милые ресницы.

— Ассунта,— шепнул он.

Губы ее разжались, дрогнув в ответ движением, одновременно похожим на тень улыбки и на желание произнести слово.

— Ассунта,— продолжал Тинг,— кто ударил тебя? Это не опасно... Кто обидел тебя, Ассунта?.. Говори же, говори, у меня все мешается в голове. Кто?

Глубокий вздох женщины потонул в его резком, похожем на рыдание смехе. Это был судорожный, конвульсивный смех человека, потрясенного облегчением; он смолк так же внезапно, как и начался. Тинг встал.

— Ты здесь? — Это были первые ее слова, и он внимал им, как приговоренный к смерти — прощению.— За что он меня, Тинг, милый?.. Гергес... Сначала он взял меня за руку... Это был Гергес.

Она не произнесла ничего больше, но почувствовала, что ее с быстротой молнии кладут на диван и что Тинг исчез. Еще слабая, Ассунта с трудом повернула голову. Комната была пуста, полна тоски и тревоги.

— Тинг,— позвала Ассунта.

Но его не было. Перед ним в кухне стоял разбуженный негр и кланялся, порываясь бежать.

— Как собака! — хрипло сказал Тинг.— Возьми револьвер.— Он топнул ногой; волна гнева заливала его и несла, в стремительном своем беге, в темной пучине инстинкта.— Беги же,— продолжал Тинг.— Стой! Ты понял? Будь собакой и сдохни, если это понадобится. Я догоню, я догоню. Пожелай мне счастливой охоты.

Он подбежал к сараю, вывел гнедую лошадь, одну из лучших во всем округе, взнуздal ее и поскакал к Суану. Все это время душа Тинга перемалывала тысячи

вопросов, но ни на один не получил он ответа, потому что еще далеко был от него тот, кто сам, подобно но- жу, холодно и покорно скользнул по красоте жизни.

Задыхающийся, привстав на стременах, Блюм бил лошадь кулаками и дулом револьвера. Другая лошадь скакала за его спиной; пространство, выигранное внача- ле Блюмом, сокращалось в течение получаса с неуклон- ностью самого времени и теперь равнялось нулю. Лязг подков наполнял ночную равнину призраками тысяч коней, взбешенных головокружительной быстротой скачки. Секунды казались вечностью.

— Пойдите! Остановитесь!

Блюм обернулся, хриплый голос Тинга подал ему на- дежду уложить преследователя. Он поворотился, методи- чески выпуская прыгающей от скачки рукой все шесть пуль; огонь выстрелов безнадежно мелькал перед его глазами. Снова раздался крик, но Блюм не разобрал слов. Тотчас же вслед за этим гулкий удар сзади про- бил воздух; лошадь Блюма, заржав, дрогнула задними ногами, присела и бросилась влево, спотыкаясь в ку- старниках. Через минуту Блюм съехал на правый бок, ухватился за гриву и понял, что валится. Падая, он ус- пел отскочить в сторону, ударился плечом о землю, вскочил и выпрямился, пошатываясь на ослабевших но- гах; лошадь хрипела.

Тинг, не удержавшись, заскакал справа, остановился и был на земле раньше, чем Блюм бросился на него. Две темные фигуры стояли друг против друга. Карабин Тинга, направленный в голову Блюма, соединял их. Блюм широко и глубоко вздыхал, руки его, поднятые для удара, опустились с медленностью тройного блока.

— Это вы, Гергес? — сказал Тинг. Деланное спо- койствие его тона звучало мучительной, беспощадной ясностью и отчетливостью каждого слова.— Хорошо, если вы не будете шевелиться. Нам надо поговорить. Сядьте.

Блюм затрепетал, изогнулся и сел. Наступил мо- мент, когда не могло быть уже ничего странного, смеш- ного или оскорбительного. Если бы Тинг приказал опу- ститься на четвереньки, и это было бы исполнено, так как в руках стоящего была смерть.

— Я буду судить вас,— быстро произнес Тинг.— Вы — мой. Говорите.

— Говорить? — спросил Блюм совершенно таким же, как и охотник, отчетливым, тихим голосом.— А что? В конце концов я неразговорчив. Судить? Бросьте. Вы не судья. Что вы хотите? Нажмите спуск, и делу конец. Убить вы можете меня, и с треском.

— Гергес,— сказал Тинг,— значит, конец. Вы об этом подумали?

— Да, я сообразил это.— Самообладание постепенно возвращалось к Блюму, наполняя горло его сухим смехом.— Но что же, я хорошо сделал дело.

Палец Тинга, лежавший на спуске курка, дрогнул и разжался. Тинг опустил ружье,— он боялся нового, внезапного искушения.

— Вы видите,— продолжал Блюм, осканливаясь,— я человек прямой. Откровенность за откровенность. Вы грозите меня убить, и так как я влез к вам в душу, вы можете и исполнить это. Поэтому выслушайте меня.

— Я слушаю.

— «Ассунта,— кривляясь, закричал Блюм.— О, ты, бедное дитя». Вы, конечно, произносили эти слова; приятно. Очень приятно. Она милая и маленькая. Вы мне противны. Почему я мог думать, что вы не спите еще? Вам тоже досталось бы на орехи. План мой был несколько грандиознее и не удался, черт с ним! Но верите ли, это тяжело. Я это поставлю в счет кому-нибудь другому. Хотя, конечно, я нанес вам хороший удар. Мне сладко.

— Дальше,— сказал Тинг.

— Во-первых, я вас не боюсь. Я — преступник, но я под защитой закона. Вы ответите за мою смерть. Вероятно, вы гордитесь тем, что разговариваете со мной. Не в этом дело. У меня столько припасено гостинцев, что глаза разбегаются. Я выложу их, не беспокойтесь. Если вы прострелите мне башку, то будете по крайней мере оплеваны. Если бы я убил вас раньше ее... то... впрочем, вы понимаете.

— Я ничего не понимаю, Гергес,— холодно сказал Тинг,— мне противно слушать вас, но, может быть, этот ваш бред даст мне по крайней мере намек на понимание. Я не перебую вас. Я слушаю.

— Овладеть женщиной,— заклебываясь и торопясь, продолжал Блюм, как будто опасался, что ему выбьют зубы на полуслове,— овладеть женщиной, когда она сопротивляется, кричит и плачет... Нужно держать за горло. После столь тонкого наслаждения я убил бы ее тут же и, может быть, привел бы сам в порядок ее костюм. Отчего вы дрожите? Погода ведь теплая. Я не влюблен, нет, а так, чтобы погуще было. У нее, должно быть, нежная кожа. А может быть, она бы еще благодарила меня.

Раз сорвавшись, он не удерживался. В две-три минуты целый поток грязи вылился на Тинга, осквернил его и наполнил самого Блюма веселой злобой отчаяния, граничащего с иступлением.

— Дальше,— с трудом проговорил Тинг, раскачиваясь, чтобы не выдать себя. Дрожь рук мешала ему быть наготове, он сильно встряхнул головой и ударил прикладом в землю.— Говорите, я не перебую вас.

— Сказано уже. Но я посмотрел бы, как вы припадете к труп и прольете слезу. Но вы ведь мужчина, сдержитесь, вот в чем беда. В здешнем климате разложение начинается быстро.

— Она жива,— сказал Тинг,— Гергес, она жива.

— Ложь.

— Она жива.

— Вы хотите меня помучить. Вы врете.

— Она жива.

— Прицел был хорош. Тинг, что вы делаете со мной?

— Она жива.

— Вы помешались.

— Она жива, говорю я. Зачем вы сделали это?

— Тинг,— закричал Блюм,— как смеете вы спрашивать меня об этом! Что вы — ребенок? Две ямы есть: в одной барахтаетесь вы, в другой — я. Маленькая, очень маленькая месть, Тинг, за то, что вы в другой яме.

— Сон,— медленно сказал Тинг,— дикий сон.

Наступило молчание. Издыхающая лошадь Блюма забила передними ногами, приподнялась и, болезненно заржав, повалилась в траву.

— Ответьте мне,— проговорил Тинг,— поклянетесь ли вы, если я отпущу вас, спрятать свое жало?

Блюм вздрогнул.

— Я убью вас через несколько дней, если вы это сделаете,— сказал он деловым тоном.— И именно потому, что я говорю так, вы, Тинг, освободите меня. Убивать безоружного не в вашей натуре.

— Вот,— продолжал Тинг, как бы не слушая,— второй раз я спрашиваю вас, Гергес, что сделаете вы в этом случае?

— Я убью вас, милашка.— Блюм ободрился, сравнительная продолжительность разговора внушала уверенность, что человек, замахивающийся несколько раз, не ударит.— Да.

— Вы уверены в этом?

— Да. Разрешите мне убить вас через неделю. Я выслежу вас, и вы не будете мучиться. Вы заслужили это.

— Тогда,— спокойно произнес Тинг,— я должен предупредить вас. Это говорю я.

Он вскинул ружье и прицелился. Острые глаза его хорошо различали фигуру Блюма; вначале Тинг выбрал голову, но мысль прикоснуться к лицу этого человека даже пулей была ему невыразимо противна. Он перевел дуло на грудь Блюма и остановился, соображая положение сердца.

— Я пошутил,— глухо сказал Блюм. Холодный, липкий пот ужаса выступил на его лице, движение ружья Тинга было невыносимо, оглушительно, невероятно, как страшный сон. Предсмертная тоска перехватила дыхание, мгновенно убив все, кроме мысли, созерцающей смерть. Его тошнило, он шатался и вскрикивал, бессильный переступить с ног на ногу.

— Я пошутил. Я сошел с ума. Я не знаю. Остановитесь.

И вдруг быстрый, как молния, острый толчок сердца сказал ему, что вот это мгновение — последнее. Пораженный, Тинг удержал выстрел: глухой, рыдающий визг бился в груди Блюма, сметая тишину ночи.

— А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! — кричал Блюм. Он стоял, трясся и топал ногами, ужас душил его.

Тинг выстрелил. Перед ним на расстоянии четырех шагов зашаталась безобразная, воющая и визжащая фигура, перевернулась, взмахивая руками, согнулась и сунулась темным комком в траву.

Было два, остался один. Один этот подождал лошадь, выбросил из ствола горячий патрон, сел в седло и уехал, не оглянувшись, потому что мертвый безвреден и потому что в пустыне есть звери и птицы, умеющие похоронить труп.

VII

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ

— Тинг, ты не пишешь дней двадцать?

— Да, Ассунта.

— Почему? Я здорова, и это было, мне кажется, давно-давно.

Тинг улыбнулся.

— Ассунта,— сказал он, подходя к окну, где на подоконнике, подобрав ноги, сидела его жена,— оставь это. Я буду писать. Я все думаю.

— О нем?

— Да.

— Ты жалеешь?

— Нет. Я хочу понять. И когда пойму, буду спокоен, весел и тверд, как раньше.

Она взяла его руку, раскачивая ее из стороны в сторону, и засмеялась.

— Но ты обещал написать для меня стихи, Тинг.

— Да.

— О чем же? О чем?

— О тебе. Разве есть у меня что-либо больше тебя, Ассунта?

— Верно,— сказала маленькая женщина.— Ты прав. Это для меня радость.

— Ты сама — радость. Ты вся — радость. Моя.

— Какая радость, Тинг? Огромная, больше жизни?

— Грозная.— Тинг посмотрел в окно; там, над провалом земной коры, струился и таял воздух, обожженный полуднем.— Грозная радость, Ассунта. Я не хочу другой радости.

— Хорошо,— весело сказала Ассунта.— Тогда отчего никто меня не боится? Ты сделай так, Тингушок, чтобы боялись меня.

— Грозная,— повторил Тинг.— Иного слова нет и не может быть на земле.

ЖИЗНЬ ГНОРА

Большие деревья притягивают молнию.

Александр Дюма

I

Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц.

Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло; раннее холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные роснстые тени пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной и беспокойной.

«Это приснилось», — подумал молодой человек и лег снова, пытаясь заснуть.

— Голос был похож, очень похож, — пробормотал он, поворачиваясь на другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые воспоминания; в утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов, волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью.

Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о совершеннолетию стоял для него ребром: очень молодым людям, когда они думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия. Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой жил около месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи, вывешенной над конторкой дельца: «сутки имеют двадцать четыре часа». На языке Гнора это звучало так: «у нее слишком много денег».

Гнор покраснел, перевернул горячую подушку — и сна не стало совсем. Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости; вслед за этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно улыбнулся. Интимные воспоминания для него,

как и для всякой простой души, были убедительнее выкладок общественной математики. Медленно шевеля губами, Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером; слова, перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре и пропавшим в тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке, он вспомнил первые осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы. Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон.

— Шесть часов,— сказал Гнор,— а я не хочу спать. Что мне делать?

Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом, беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины, не знает на другой день, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца, кажется ему несносной обузой. Вместе с тем потребность двигаться, жить и начать жить как можно раньше бывает постоянной причиной беспокойного сна счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых цветным шелком лощеных зал; в последней из них стенное зеркало отразило спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым столом; опущенная голова его поднялась при звуке шагов Гнора; последний остановился.

— Как! — сказал он, смеясь.— Вы тоже не спите?! Вы, образец регулярной жизни! Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем, что делать, проснувшись так безрассудно рано.

У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам довольствовались одной частью его: Энниок. Он бросил зашумевший лист на пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая улыбка появилась на его бледном лице.

— Я не ложился,— сказал Энниок.— Правда, для этого не было особо уважительных причин. Но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в бумагах, делать заметки. Какое сочное золотистое утро, не правда ли?

— Вы тоже едете?

— Да. Завтра.

Энниок смотрел на Гнора спокойно и ласково; обычно сухое лицо его было теперь привлекательным, почти

дружеским. «Как может меняться этот человек,— подумал Гнор,— он — целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он один наполняет этот большой дом».

— Я тоже уеду завтра,— сказал Гнор,— и хочу спросить вас, в каком часу отходит «Епископ Архипелага»?

— Не знаю.— Голос Энниока делался все более певучим и приятным.— Я не завишу от пароходных компаний; ведь у меня, как вы знаете, есть своя яхта. И если вы захотите,— прибавил он,— для вас найдется хорошенькая поместительная каюта.

— Благодарю,— сказал Гнор,— но пароход идет прямым рейсом. Я буду дома через неделю.

— Неделя, две недели — какая разница? — равнодушно возразил Энниок.— Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются жгучие воспоминания. Я знаю земной шар; сделать крюк в тысячу миль ради вас и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья.

Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал с ней, смотрел на нее, втроем они неоднократно совершали прогулки. Для влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но осязательным утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это прекрасное, не написанное еще письмо Гнор желал прочесть как можно скорее.

— Нет,— сказал он,— я благодарю и отказываюсь.

Энниок поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся лицом к террасе. Утренние, ослепительные ее стекла горели зеленью; сырой запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим холодную пышность здания ясной и мягкой.

Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и подробности. Дом этот стал важной частью его души; на всех предметах, казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную силу притяжения; беззвучная речь вещей твердила о днях,

прошедших быстро и беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных разговорах, волнуемых, как гнев, как радостное потрясение; немых призывах улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Энниока, Гнор молча смотрел в глубь арки, открывающей перспективу дальних, пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал. Прикосновение Энниока вывело его из задумчивости.

— Отчего вы проснулись? — спросил Энниок зевая. — Я выпил бы кофе, но буфетчик еще спит, также и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?

— Нет, — сказал Гнор, — я стал нервен... Какой-то пустяк, звуки разговора, быть может, на улице...

Энниок взглянул на него из-под руки, которой тер лоб, вдумчиво, но спокойно. Гнор продолжал:

— Пойдемте в бильярдную. Мне и вам совершенно нечего делать.

— Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному мяснику Кнасту.

— Я не играю на деньги, — сказал Гнор и, улыбаясь, прибавил: — у меня их к тому же теперь в обрез.

— Мы договоримся внизу, — сказал Энниок.

Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед за ним. Но, услышав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и ясным лицом; движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность.

— Это не вы, это солнце, — сказал Гнор, взяв маленькую руку, — оттого так светло и чисто. Почему вы не спите?

— Не знаю.

Эта изящная девушка, с доброй складкой бровей и твердым ртом, говорила открытым грудным голосом, немного старившим ее, как бабушкин чепчик, надетый десятилетней девочкой.

— А вы?

— Сегодня никто не спит, — сказал Гнор. — Я люблю вас. Энниок и я — мы не спим. Вы третья.

— Бессонница. — Она стояла боком к Гнору; рука ее, удержанная молодым человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя меж сукном и рубашкой бла-

женное ощущение мимолетной ласки.— Вы уедете, но возвращайтесь скорее, а до этого пишите мне чаще. Ведь и я люблю вас.

— Есть три мира,— проговорил растроганный Гнор,— мир красивый, прекрасный и прелестный. Красивый мир — это земля, прекрасный — искусство. Прелестный мир — это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен; этого хочет отец; он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно. Я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне; мне все чуждо, я люблю только вас одну.

— И я,— сказала девушка.— Прощайте, мне нужно прилечь, я устала, Гнор, и если вы...

Не договорив, она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в расцвете первой любви, отошла к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блестевшему в пыльном свете окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было знакомо Гнору; опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии, веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки; неоконченный такт замер вопросительным звоном.

— Я доиграю потом,— сказала она.

— Когда?

— Когда ты будешь со мной.

Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери.

Гнор потрянул головой, мысленно dokonчил мелодию, оборванную Кармен, и ушел к Энниоку. Здесь были сумерки; низкие окна, завешанные плотной материей, почти не давали света; небольшой ореховый бильярд выглядел хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку; электрические тюльпаны безжизненно засияли под потолком; свет этот, мешаясь с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал кий, тщательно намелил его и сунул под мышку, заложив руки в карман.

— Начинайте вы,— сказал Гнор.

— На что мы будем играть? — медленно произнес Энниок, вынимая руку из кармана и вертя шар пальцами.— Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы проиграете, я везу вас на своей яхте.

— Хорошо,— сказал Гнор. Ироническая беспечность

счастливого человека овладела им.— Хорошо, яхта — так яхта. Во всяком случае, это лестный проигрыш! Что вы ставите против этого?

— Все, что хотите.— Энниок задумался, выгибая кий; дерево треснуло и выпало из рук на паркет.— Как я неосторожен,— сказал Энниок, отбрасывая ногой обломки.— Вот что: если выиграете, я не буду мешать вам жить, признав судьбу.

Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми глазами.

— Я шутник,— сказал он.— Ничего не доставляет мне такого, по существу, безобидного удовольствия, как заставить человека разинуть рот. Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите.

— Хорошо.— Гнор выкатил шар.— Я не разорю вас.

Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол, и уступил место Энниоку.

— Раз,— сказал тот. Шары забегали, бесшумными углами чертя сукно, и остановились в выгодном положении.— Два.— Ударяя кием, он почти не сходил с места.— Три. Четыре. Пять. Шесть.

Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими щелчками и возвращался к Энниоку.

— Четырнадцать,— сказал Энниок; крупные капли пота выступили на его висках; он промахнулся, перевел дух и отошел в сторону.

— Вы сильный противник,— сказал Гнор,— и я буду осторожен.

Играя, ему удалось свести шары рядом; он поглаживал их своим шаром то с одной, то с другой стороны, стараясь не разединить их и не остаться с ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки шли поровну; через полчаса на счетчике у Гнора было девяносто пять, девяносто девять у Энниока.

— Пять,— сказал Гнор.— Пять,— повторил он, задев обонх, и удовлетворенно вздохнул.— Мне остается четыре.

Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем: кий скользнул, а шар не докатился.

— Ваше счастье,— сказал Гнор с некоторой досадой,— я проиграл.

Энниок молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся: шары стояли друг против друга у противоположных бортов; третий, которым должен был играть Энниок, остановился посередине бильярда; все три соединялись прямой линией. «Карамболь почти невозможен»,— подумал он и стал смотреть.

Энниок согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы под низ шара; шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой прочь, и, быстро крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катясь все тише, легко, словно вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий.

— Я раньше играл лучше,— сказал он. Руки его тряслись.

Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника.

Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее казалось ему поэтому вдвойне нелепым. «Ты не принесла мне сегодня счастья,— подумал он,— и я не получу скоро твоего письма. Все случайность».

— Все дело случая,— как бы угадывая его мысли, сказал Энниок, продолжая возиться у полотенца.— Может быть, вы зато счастливы в любви. Итак, я вам готовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен; у нее хорошая техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время.

— Странно? Почему же? — рассеянно сказал Гнор.— Это случайность.

— Да, случайность.— Энниок погасил электричество.— Пойдемте завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.

II

Зеленоватые отсветы волн, бегущих за круглым стеклом иллюминатора, ползли вверх, колебались у потолка и, снова, повинаясь размахам судна, бесшумно неслись вниз. Ропот водяных струй, обливающих корпус яхты

стремительными прикосновениями; топот ног вверху; заглушенный возглас, долетающий как бы из другого мира; дребезжание дверной ручки; ленивый скрип мачт, гул ветра, плеск паруса; танец висячего календаря на стене — весь ритм корабельного дня, мгновения тишины, полной сурового напряжения, неверный уют океана, воскрешающий фантазии, подвиги и ужасы, радости и катастрофы морских летописей, — наплыв впечатлений этих держал Гнора минут пять в состоянии торжественного оцепенения; он хотел встать, выйти на палубу, но тотчас забыл об этом, следя игру брызг, стекавших по иллюминатору мутной жижей. Мысли Гнора были, как и всегда, в одной точке отдаленного берега — точке, которая была отныне постоянной их резиденцией.

В этот момент вошел Энниок; он был очень весел; клеенчатая морская фуражка, сдвинутая на затылок, придавала его резкому подвижному лицу оттенок грубоватой беспечности. Он сел на складной стул. Гнор закрыл книгу.

— Гнор, — сказал Энниок, — я вам готовлю редкие впечатления. «Орфей» через несколько минут бросит якорь, мы поедем вдвоем на гичке. То, что вы увидите, восхитительно. Милях в полутора отсюда лежит остров Аш; он невелик, уютен и как бы создан для одиночества. Но таких островов много; нет, я не стал бы отрывать вас от книги ради сентиментальной прогулки. На острове живет человек.

— Хорошо, — сказал Гнор, — человек этот, конечно, Робинзон или внук его. Я готов засвидетельствовать ему свое почтение. Он угостит нас козьим молоком и обществом попугая.

— Вы угадали. — Энниок поправил фуражку, оживление его слиняло, голос стал твердым и тихим. — Он живет здесь недавно, я навещу его сегодня в последний раз. После ухода гички он не увидит более человеческого лица. Мое желание ехать вдвоем с вами оправдывается способностью посторонних глаз из пустяка создавать истории. Для вас это не вполне понятно, но он сам, вероятно, расскажет вам о себе; история эта для нашего времени звучит эхом забытых легенд, хотя так же жизненна и правдива, как вой голодного или шишка на лбу; она жестока и интересна.

— Он старик,— сказал Гнор,— он, вероятно, не любит жизнь и людей?

— Вы ошибаетесь.— Энниок покачал головой.— Нет, он совсем еще молодое животное. Он среднего роста, сильно похож на вас.

— Мне очень жалко беднягу,— сказал Гнор.— Вы, должно быть, единственный, кто ему не противен.

— Я сам состряпал его. Это мое детище.— Энниок стал тереть руки, держа их перед лицом; дул на пальцы, хотя температура каюты приближалась к точке кипения.— Я, видите ли, прихожусь ему духовным отцом. Все объяснится.— Он встал, подошел к трапу, вернулся и, предупредительно улыбаясь, взял Гнора за пуговицу.— «Орфей» кончит путь через пять, много шесть дней. Довольны ли вы путешествием?

— Да.— Гнор серьезно взглянул на Энниока.— Мне надоели интернациональные плавучие толкучки пароходных рейсов; навсегда, на всю жизнь останутся у меня в памяти смоленая палуба, небо, выбеленное парусами, полными соленого ветра, звездные ночи океана и ваше гостеприимство.

— Я — сдержанный человек,— сказал Энниок, качая головою, как будто ответ Гнора не вполне удовлетворил его,— сдержанный и замкнутый. Сдержанный, замкнутый и мнительный. Все ли было у вас в порядке?

— Совершенно.

— Отношение команды?

— Прекрасное.

— Стол? Освещение? Туалет?

— Это жестоко, Энниок,— возразил, смеясь, Гнор,— жестоко заставлять человека располагать в виде благодарности лишь жалкими человеческими словами. Прекратите пытку. Самый требовательный гость не мог бы лучше меня жить здесь.

— Извините,— настойчиво продолжал Энниок,— я, как уже сказал вам, мнителен. Был ли я по отношению к вам джентльменом?

Гнор хотел отвечать шуткой, но стиснутые зубы Энниока мгновенно изменили спокойное настроение юноши, он молча пожал плечами.

— Вы меня удивляете,— несколько сухо произнес он,— и я вспоминаю, что... да... действительно, я имел раньше случаи не вполне понимать вас.

Энниок занес ногу за трап.

— Нет, это простая мнительность,— сказал он.— Простая мнительность, но я выражаю ее юмористически.

Он исчез в светлом кругу люка, а Гнор, машинально перелистывая страницы книги, продолжал мысленный разговор с этим развязным, решительным, пожившим, заставляющим пристально думать о себе человеком. Их отношения всегда были образцом учтивости, внимания и предупредительности; как будто предназначенные в будущем для неведомого взаимного состязания, они скрещивали еще бессознательно мысли и выражения, оттачивая слова — оружие духа, борясь взглядами и жестами, улыбками и шутками, спорами и молчанием. Выражения их были изысканны, а тон голоса всегда отвечал точному смыслу фраз. В сердцах их не было друг для друга небрежной простоты — спутника взаимной симпатии; Энниок видел Гнора насквозь, Гнор не видел настоящего Энниока; живая форма этого человека, слишком гибкая и податливая, смешивала тона.

Зверский треск якорной цепи перебил мысли Гнора на том месте, где он говорил Энниоку: «Ваше беспокойство напрасно и смахивает на шутку». Солнечный свет, соединявший отверстие люка с тенистой глубиной каюты, дрогнул и скрылся на палубе. «Орфей» повернулся.

Гнор поднялся вверх.

Полдень горел всей силой огненных легких юга; чудесная простота океана, синий блеск его окружал яхту; голые обожженные спины матросов гнулись над опущенными парусамн, напоминавшими разбросанное белье гиганта; справа, отрезанная белой нитью приборя, высилась скалистая впадина берега. Два человека возились около деревянного ящика. Один подавал предметы, другой укладывал, по временам выпрямляясь и царапая ногтем листок бумаги: Гнор остановился у шлюпбалки, матросы продолжали работу.

— Карабин в чехле? — сказал человек с бумагой, проводя под строкой черту.

— Есть,— отвечал другой.

— Одеало?

— Есть.

— Патроны?

— Есть.

— Консервы?

- Есть.
- Белье?
- Есть.
- Свечи?
- Есть.
- Спички?
- Есть.
- Огниво, два кремня?
- Есть.
- Табак?
- Есть.

Матрос, сидевший на ящике, стал забивать гвозди. Гнор повернулся к острову, где жил странный, сказочный человек Энниока; предметы, упакованные в ящик, вероятно, предназначались ему. Он избегал людей, но о нем, видимо, помнили, снабжая необходимым,— дело рук Энниока.

— Поступки красноречивы,— сказал себе Гнор.— Он мягче, чем я думал о нем.

Позади его раздались шаги; Гнор обернулся: Энниок стоял перед ним, одетый для прогулки, в сапогах и фуфайке; у него блестели глаза.

— Не берите ружья, я взял,— сказал он.

— Когда я первый раз в жизни посетил обсерваторию,— сказал Гнор,— мысль, что мне будут видны в черном колодце бездны светлые глыбы миров, что телескоп отдаст меня жуткой бесконечности мирового эфира,— страшно взволновала меня. Я чувствовал себя так, как если бы рисковал жизнью. Похоже на это теперешнее мое состояние. Я боюсь и хочу видеть вашего человека; он должен быть другим, чем мы с вами. Он грандиозен. Он должен производить сильное впечатление.

— Несчастный отвык производить впечатление,— легкомысленно заявил Энниок.— Это бунтующий мертвец. Но я вас покину. Я приду через пять минут.

Он ушел вниз к себе, запер изнутри дверь каюты, сел в кресло, закрыл глаза и не шевелился. В дверь постучали. Энниок встал.

— Я иду,— сказал он,— сейчас иду.— Поясной портрет, висевший над койкой, казалось, держал его в нерешительности.— Он посмотрел на него, вызываяще щел-

кнул пальцами и рассмеялся.— Я все-таки иду, Кармен,— сказал Энниок.

Открыв дверь, он вышел. Темноволосый портрет ответил его цепкому, тяжелому взгляду простой, легкой улыбкой.

III

Береговой ветер, полный душистой лесной сырости, лез в уши и легкие; казалось, что к ногам падают невидимые охапки травы и цветущих ветвей, задевая лицо. Гнор сидел на ящике, выгруженном из лодки, Энниок стоял у воды.

— Я думал,— сказал Гнор,— что отшельник Аша устроит нам маленькую встречу. Быть может, он давно умер?

— Ну, нет.— Энниок взглянул сверху на Гнора и наклонился, подымая небольшой камень.— Смотрите, я сделаю множество рикошетов.— Он размахнулся, камень заскакал по воде и скрылся.— Что? Пять? Нет, я думаю, не менее девяти. Гнор, я хочу быть маленьким, это странное желание у меня бывает изредка; я не подаюсь ему.

— Не знаю. Я вас не знаю. Может быть, это хорошо.

— Быть может, но не совсем.— Энниок подошел к лодке, вынул из чехла ружье и медленно зарядил его.— Теперь я выстрелю два раза, это сигнал. Он нас услышит и явится.

Подняв дуло вверх, Энниок разрядил оба ствола; гулкий треск повторился дважды и смутным отголоском пропал в лесу. Гнор задумчиво покачал головой.

— Этот салют одиночеству, Энниок,— сказал он,— почему-то меня тревожит. Я хочу вести с жителем Аша длинный разговор. Я не знаю, кто он; вы говорили о нем бегло и сухо, но судьба его, не знаю — почему, трогает и печалит меня; я напряженно жду его появления. Когда он придет... я...

Резкая морщина, признак усиленного внимания, пересекла лоб Энниока. Гнор продолжал:

— Я уговорю его ехать с нами.

Энниок усиленно засмеялся.

— Глупости,— сказал он, кусая усы,— он не поедет.

— Я буду его расспрашивать.

— Он будет молчать.

— Расспрашивать о прошлом. В прошлом есть путеводный свет.

— Его доконало прошлое. А свет — погас.

— Пусть полюбит будущее, неизвестность, заставляющую нас жить.

— Ваш порыв, — сказал Энниок, таищуя одной ногой, — ваш порыв разобьется, как ломается кусок мела о голову тупого ученика. — Право, — с одушевлением воскликнул он, — стоит ли думать о чуде? Дни его среди людей были бы банальны и нестерпимо скучны, здесь же он не лишен некоторого, правда, весьма тусклого, ореола. Оставим его.

— Хорошо, — упрямо возразил Гнор, — я расскажу ему, как прекрасна жизнь, и, если его рука никогда не протягивалась для дружеского пожатия или любовной ласки, он может повернуться ко мне спиной.

— Этого он ни в коем случае не сделает.

— Его нет, — печально сказал Гнор. — Он умер или охотится в другом конце острова.

Энниок, казалось, не слышал Гнора; медленно подымая руки, чтобы провести ими по бледному своему лицу, он смотрел прямо перед собой взглядом, полным сосредоточенного размышления. Он боролся; это была короткая запоздавшая борьба, жалкая схватка. Она обессилила и раздражила его. Минуту спустя он сказал твердо и почти искренно:

— Я богат, но отдал бы все и даже свою жизнь, чтобы только быть на месте этого человека.

— Темно сказано, — улыбнулся Гнор, — темно, как под одеялом. А интересно.

— Я расскажу про себя. — Энниок положил руку на плечо Гнора. — Слушайте. Сегодня мне хочется говорить без умолку. Я обманут. Я перенес великий обман. Это было давно; я плыл с грузом сукна в Батавию, — и нас разнесло в щепки. Дней через десять после такого начала я лежал поперек наскоро связанного плота, животом вниз. Встать, размяться, предпринять что-нибудь у меня не было ни сил, ни желания. Начался бред; я грезил озерами пресной воды, тряся в лихорадке и для развлечения негромко стонал. Шторм, погубивший судно, перешел в штиль. Эной и океан сварили меня; плот стоял неподвижно, как поплавок в пруде, я голодал, задыхал-

ся и ждал смерти. Снова подул ветер. Ночью я проснулся от мук жажды; был мрак и грохот. Голубые молнии полосовали пространство; меня вместе с плотом швыряло то вверх — к тучам, то вниз — в жидкие черные ямы. Я разбил подбородок о край доски; по шее текла кровь. Настало утро. На краю неба, в беспрерывно мигающем свете небесных трещин, неудержимо влеклись к далеким облакам пенистые зеленоватые валы; среди них метались черные завитки смерчей; над ними, как стая обезумевших птиц, толпились низкие тучи — все смешалось. Я бредил; бред изменил все. Бесконечные толпы черных женщин с поднятыми к небу руками стремились вверх; кипящая гряда их касалась небес; с неба в красных просветах туч падали вниз прозрачным хаосом нагие, розовые и белые женщины. Озаренные клубки тел, сплетаясь и разрываясь, кружась вихрем или камнем летя вниз, соединили в беспрерывном своем движении небо и океан. Их рассеяла женщина с золотой кожей. Она легла причудливым облаком над далеким туманом. Меня спасли встречные рыбаки, я был почти жив, трясся и говорил глупости. Я выздоровел, а потом сильно скучал; те дни умирания в океане, в бреду, полном нежных огненных призраков, отравили меня. То был прекрасный и страшный сон — великий обман.

Он замолчал, а Гнор задумался над его рассказом.
— Тайфун — жизнь? — спросил Гнор. — Но кто живет так?

— Он. — Энниок кивнул головой в сторону леса и нехорошо засмеялся. — У него есть женщина с золотой кожей. Вы слышите что-нибудь? Нет? И я нет. Хорошо, я стреляю еще.

Он взял ружье, долго вертел в руках, но сунул под мышку.

— Стрелять не стоит. — Энниок вскинул ружье на плечо. — Разрешите мне вас оставить. Я пройду немного вперед и разыщу его. Если хотите, — пойдемте вместе. Я не заставляю вас много ходить.

Они тронулись. Энниок впереди, Гнор сзади. Тропинки и следов не было; ноги по колено вязли в синевато-желтой траве; экваториальный лес напоминал гигантские оранжереи, где буря снесла прозрачные крыши, стерла границы усилий природы и человека, развертывая пораженному зрению творчество первобытных

форм, столь родственное нашим земным понятиям о чудесном и странном. Лес этот в каждом листе своем дышал силой бессознательной, оригинальной и дерзкой жизни, ярким вызовом и упреком; человек, попавший сюда, чувствовал потребность молчать.

Энниок остановился в центре лужайки. Лесные голубоватые тени бороздили его лицо, меняя выражение глаз.

Гнор ждал.

— Вам незачем идти дальше.— Энниок стоял к Гнору спиной.— Тут неподалеку... он... я не хотел бы сразу и сильно удивить его, являясь вдвоем. Вот сигары.

Гнор кивнул головой. Спина Энниока, согнувшись, нырнула в колючие стебли растений, сплетавших деревья; он зашумел листьями и исчез.

Гнор посмотрел вокруг, лег, положил руки под голову и принялся смотреть вверх.

Синий блеск неба, прикрытый над его головой плотными огромными листьями, дразнил пышным, голубым царством. Спина Энниока некоторое время еще стояла перед глазами в своем последнем движении; потом, уступив место разговору с Кармен, исчезла. «Кармен, я люблю тебя,— сказал Гнор,— мне хочется поцеловать тебя в губы. Слышишь ли ты оттуда?»

Притягательный образ вдруг выяснился его напряженному чувству, почти воплотился. Это была маленькая, смуглая, прекрасная голова; растроганно улыбаясь, Гнор зажал ладонями ее щеки, любовно присмотрелся и отпустил. Детское нетерпение охватило его. Он высчитал приблизительно срок, разделявший их, и добросовестно сократил его на половину, затем еще на четверть. Это жалкое утешение заставило его встать,— он чувствовал невозможность лежать далее в спокойной и удобной позе, пока не продумает своего положения до конца.

Влажный зной леса веял дремотой. Лиловые, пурпурные и голубые цветы качались в траве; слышалось меланхолическое гудение шмеля, запутавшегося в мшистых стеблях; птицы, перелетая глубину далеких просветов, раздражались криками, напоминающими негритянский оркестр. Волшебный свет, игра цветных теней и оцепенение зелени окружали Гнора; земля беззвучно дышала полной грудью — задумчивая земля пустынь,

кротких и грозных, как любовный крик зверя. Слабый шум послышался в стороне; Гнор обернулся, прислушиваясь, почти уверенный в немедленном появлении незнакомца, жителя острова. Он старался представить его наружность. «Это должен быть очень замкнутый и высокомерный человек, ему терять нечего»,— сказал Гнор.

Птицы смолкли; тишина как бы колебалась в раздумьи; это была собственная нерешительность Гнора; подождав и не выдержав, он закричал:

— Энниок, я жду вас на том же месте!

Безответный лес выслушал эти слова и ничего не прибавил к ним. Прогулка пока еще ничего не дала Гнору, кроме утомительного и бесплодного напряжения. Он постоял некоторое время, думая, что Энниок забыл направление, потом медленно тронулся назад к берегу. Необъяснимое сильное беспокойство гнало его прочь из леса. Он шел быстро, стараясь понять, куда исчез Энниок; наконец, самое простое объяснение удовлетворило его: неизвестный и Энниок увлеклись разговором.

— Я привяжу лодку,— сказал Гнор, вспомнив, что она еле вытащена на песок.— Они придут.

Вода, пронизанная блеском мокрых песчаных отмелей, сверкнула перед ним сквозь опушку, но лодки не было. Ящик лежал на старом месте. Гнор подошел к воде и влево, где пестрый отвес скалы разделял берег, увидел лодку.

Энниок греб, сильно кидая весла; он смотрел вниз и, по-видимому, не замечал Гнора.

— Энниок!— сказал Гнор; голос его отчетливо прозвучал в тишине прозрачного воздуха.— Куда вы?! Разве вы не слышали, как я звал вас?!

Энниок резко ударил веслами, не подняв головы и продолжал плыть. Он двигался, казалось, теперь быстрее, чем минуту назад; расстояние между скалой и лодкой становилось заметно меньше. «Камень скроет его,— подумал Гнор,— и тогда он не услышит совсем».

— Энниок!— снова закричал Гнор.— Что вы хотите делать?

Плывущий поднял голову, смотря прямо в лицо Гнору так, как будто на берегу никого не было. Еще продолжалось неловкое и странное молчание, как вдруг, случайно, на искристом красноватом песке Гнор прочел фразу, выведенную дулом ружья или куском палки:

«Гнор, вы здесь останетесь. Вспомните музыку, Кармен и биллиард на рассвете».

Первое, что ощутил Гнор, была тупая боль сердца, позыв рассмеяться и гнев. Воспоминания против воли головокружительно быстро швырнули его назад, в прошлое; легион мелочей, в свое время ничтожных или отрывочных, блеснул в памяти, окреп, рассыпался и занял свои места в цикле ушедших дней с уверенностью солдат во время тревоги, бросающихся к своим местам, услышав рожок горниста. Голая, кивающая убедительность смотрела в лицо Гнору. «Энниок, Кармен, я,— схватил на лету Гнор.— Я не видел, был слеп; так...»

Он медленно отошел от написанного, как будто перед ним открылся провал. Гнор стоял у самой воды, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть Энниока; он верил и не верил; верить казалось ему безумием. Голова его выдержала ряд звонких ударов страха и наполнилась шумом; ликующий океан стал мерзким и отвратительным.

— Энниок! — сказал Гнор твердым и ясным голосом — последнее усилие отравленной воли. — Это писали вы?

Несколько секунд длилось молчание. «Да», — бросил ветер. Слово это было произнесено именно тем тоном, которого ждал Гнор, — циническим. Он стиснул руки, пытаясь удержать нервную дрожь пальцев; небо быстро темнело; океан, разубранный на горизонте облачной ряской, закружился, качаясь в налетевшем тумане. Гнор вошел в воду, он двигался бессознательно. Волна покрыла колени, бедра, опоясала грудь, Гнор остановился. Он был теперь ближе к лодке шагов на пять; разоренное, взорванное сознание его конвульсивно стряхивало тяжесть мгновения и слабело, как приговоренный, отталкивающий веревку.

— Это подлость. — Он смотрел широко раскрытыми глазами и не шевелился. Вода медленно колыбалась вокруг него, кружа голову и легонько подталкивая. — Энниок, вы сделали подлость, вернитесь!

— Нет, — сказал Энниок. Слово это прозвучало обыденно, как ответ лавочника.

Гнор поднял револьвер и тщательно определил прицел. Выстрел не помешал Энниоку; он греб, быстро откидываясь назад; вторая пуля пробила весло; Энниок

выпустил его, поймал и нагнулся, ожидая новых пуль. В этом движении проскользнула снисходительная покорность взрослого, позволяющего ребенку бить себя безвредными маленькими руками.

Третий раз над водой щелкнул курок; непобедимая слабость апатии охватила Гнора; как парализованный, он опустил руку, продолжая смотреть. Лодка ползла за камнем, некоторое время еще виднелась уползающая корма, потом все исчезло.

Гнор вышел на берег.

— Кармен,— сказал Гнор,— он тоже любит тебя? Я не сойду с ума, у меня есть женщина с золотой кожей... Ее имя Кармен. Вы, Энниок, ошиблись!

Он помолчал, сосредоточился на том, что ожидало его, и продолжал говорить сам с собой, возражая жестоким голосам сердца, толкающим к отчаянию: «Меня снимут отсюда. Рано или поздно придет корабль. Это будет на днях. Через месяц. Через два месяца». — Он торговался с судьбой. — «Я сам сделаю лодку. Я не умру здесь. Кармен, видишь ли ты меня? Я протягиваю тебе руки, коснись их своими, мне страшно».

Боль уступила место негодованию. Стиснув зубы, он думал об Энниоке. Гневное иступление терзало его. «Бестыдная лиса, гадина,— сказал Гнор,— еще будет время посмотреть друг другу в лицо». Затем совершившееся показалось ему сном, бредом, нелепостью. Под ногами хрустел песок, песок настоящий. «Любое парусное судно может зайти сюда. Это будет на днях. Завтра. Через много лет. Никогда».

Слово это поразило его убийственной точностью своего значения. Гнор упал на песок лицом вниз и разразился гневными огненными слезами, тяжкими слезами мужчины. Прибой усилился; ленивый раскат волны сказал громким шепотом: «Отшельник Аша».

— Аша,— повторил, вскипая, песок.

Человек не шевелился. Солнце, тяготея к западу, коснулось скалы, забрызгало ее темную грань жидким огнем и бросило на побережье Аша тени — вечернюю грусть земли. Гнор встал.

— Энниок,— сказал он обыкновенным своим негромким, грудным голосом,— я уступаю времени и необходимости. Моя жизнь не доиграна. Это старая, хорошая игра; ее не годится бросать с середины, и дни не карты;

над трупами их, погибающих здесь, бесцених моих дней, клянусь вам затянуть разорванные концы так крепко, что от усилия занеет рука, и в узле этом захрипит ваша шея. Подымается ветер. Он донесет мою клятву вам и Кармен!

IV

Сильная буря, разразившаяся в центре Архипелага, дала хорошую встрепку трехмачтовому бригу, носившему неожиданное, мало подходящее к суровой профессии кораблей, имя — «Морской Кузнечик». Бриг этот, с оборванными снастями, раненный в паруса, стеньги и ватер-линию, забросило далеко в сторону от обычного торгового пути. На рассвете показалась земля. Единственный уцелевший якорь с грохотом полетел на дно. День прошел в обычных после аварий работах, и только вечером все, начиная с капитана и кончая поваром, могли дать себе некоторый отчет в своем положении. Лаконический отчет этот вполне выражался тремя словами: «Черт знает что!»

— Роз,— сказал капитан, испытывая неподдельное страдание,— это корабельный журнал, и в нем не место различным выкрутасам. Зачем вы, пустая бутылка, нарисовали этот скворешник?

— Скворешник! — Замечание смутило Роза, но оскорбленное самолюбие тотчас же угостило смущение хорошим пинком.— Где видали вы такие скворешники? Это барышня. Я ее зачеркну.

Капитан Мард совершенно закрыл левый глаз, отчего правый стал невыносимо презрительным. Роз стукнул кулаком по столу, но смирился.

— Я ее зачеркнул, сделав кляксу; понюхайте, если не видите. Журнал подмок.

— Это верно,— сказал Мард, щупая влажные прощнурованные листы.— Волна хлестала в каюту. Я тоже подмок. Я и ахтер-штевен — мы вымокли одинаково. А вы, Аллигу?

Третий из этой группы, почти падавший от изнурения на стол, за которым сидел, сказал:

— Я хочу спать.

В каюте висел фонарь, озарявший три головы тенями и светом старинных портретов. Углы помещения, заваленные сдвинутыми в одну кучу складными стульями,

одеждой и инструментами, напоминали подвал старьевщика. Бриг покачивало; раздражение океана не утихает сразу. Упустив жертву, он фыркает и морщится. Мард облокотился на стол, склонив к чистой странице журнала свое лошадиное лицо, блестящее умными хмурыми глазами. У него почти не было усов, а подбородок напоминал каменную глыбу в миниатюре. Правая рука Марда, распухшая от ушиба, висела на полотенце.

Роз стал водить пером в воздухе, выделявая зигзаги и арабески; он ждал.

— Ну, пишите,— сказал Мард,— пишите: заброшены к дьяволу, неизвестно зачем; пишите так...— Он стал тяжело дышать, каждое усилие мысли страшно стесняло его.— Пойдите. Я не могу опомниться, Аллигу, меня все еще как будто бросает о площадку, а надо мною Роз тщетно пытается удержать штурвал. Я этой скверной воды не люблю.

— Был шторм,— сказал Аллигу, проснувшись, и снова впал в сонное состояние.— Был шторм.

— Свежий ветер,— методично поправил Роз.— Свежий... Сущие пустяки.

— Ураган.

— Простая шалость атмосферы.

— Водно- и воздухотрясение.

— Пустяшный бриз.

— Бриз! — Аллигу удостоил проснуться и, засыпая, снова сказал: — Если это был, как вы говорите, простой бриз, то я более не Аллигу.

Мард сделал попытку жестикулировать ушибленной правой рукой, но побагровел от боли и рассердился.

— Океан кашлял,— сказал он,— и выплюнул нас... Куда? Где мы? И что такое теперь мы?

— Солнце село,— сообщил вошедший в каюту боцман.— Завтра утром узнаем все. Поднялся густой туман; ветер слабее.

Роз положил перо.

— Писать — так писать,— сказал он,— а то я закрою журнал.

Аллигу проснулся в тридцать второй раз.

— Вы,— зевнул он с той сладострастной грацией, от которой трещит стул,— забыли о бесштаннике-кочегаре на Стальном Рейде. Что стоило провезти беднягу? Он так мило просил. Есть лишние койки и сухари? Вы ему

отказали, Мард, он послал вас к черту вслух — к черту вы и приехали. Не стоит жаловаться.

Мард налил кровью.

— Пусть возят пассажиров тонконогие франты с батистовыми платочками; пока я на «Морском Кузнечике» капитан, у меня этого балласта не будет. Я парусный грузовик.

— Будет, — сказал Аллигу.

— Не раздражайте меня.

— Подержим пари от скуки.

— Какой срок?

— Год.

— Ладно. Сколько вы ставите?

— Двадцать.

— Мало. Хотите пятьдесят?

— Все равно, — сказал Аллигу, — денешки мои, вам не везет на легкий заработок. Я сплю.

— Хотят, — проговорил Мард, — чтобы я срезался на пассажире. Вздор!

С палубы долетел топот, взрыв смеха; океан вторил ему заунывным гулом. Крики усилились: отдельные слова проникли в каюту, но невозможно было понять, что случилось. Мард вопросительно посмотрел на боцмана.

— Чего они? — спросил капитан. — Что за веселье?

— Я посмотрю.

Боцман вышел. Роз прислушался и сказал:

— Вернулись матросы с берега.

Мард подошел к двери, нетерпеливо толкнул ее и удержал взмытую ветром шляпу. Темный силуэт корабля гудел взволнованными, тревожными голосами; в центре толпы матросов, на шканцах блестел свет; в свете чернели плечи и головы. Мард растолкал людей.

— По какому случаю бал? — сказал Мард. Фонарь стоял у его ног, свет ложился на палубу. Все молчали.

Тогда, посмотрев прямо перед собой, капитан увидел лицо незнакомого человека, смуглое вздрагивающее лицо с неподвижными искрящимися глазами. Шапки у него не было. Волосы темного цвета падали ниже плеч. Он был одет в сильно измятый костюм городского покроя и высокие сапоги. Взгляд неизвестного быстро переходил с лица на лицо; взгляд цепкий, как сильно хватающая рука.

Изумленный Мард почесал левую щеку и шумно вздохнул; тревога всколыхнула его.

— Кто вы? — спросил Мард. — Откуда?

— Я — Гнор, — сказал неизвестный. — Меня привезли матросы. Я жил здесь.

— Как? — переспросил Мард, забыв о больной руке; он еле сдерживался, чтобы не разразиться криком на мучившее его загадочностью своей собрание. Лицо неизвестного заставляло капитана морщиться. Он ничего не понимал. — Что вы говорите?

— Я — Гнор, — сказал неизвестный. — Меня привезла ваша лодка... Я — Гнор...

Мард посмотрел на матросов. Многие улыбались напряженной, неловкой улыбкой людей, охваченных жгучим любопытством. Боцман стоял по левую руку Марда. Он был серьезен. Мард не привык к молчанию и не выносил загадок, но, против обыкновения, не вспыхивал: тихий мрак, полный грусти и крупных звезд, остановил его вспышку странной властью, осязательной, как резкое приказание.

— Я лопну, — сказал Мард, — если не узнаю сейчас, в чем дело. Говорите.

Толпа зашевелилась; из нее выступил пожилой матрос.

— Он, — начал матрос, — стрелял два раза в меня и раз в Кента. Мы его не задели. Он шел навстречу. Четверо из нас таскали дрова. Было еще светло, когда он попался. Кент, увидев его, сначала испугался, потом крикнул меня; мы пошли вместе. Он выступил из каменной щели против воды. Одежда его была совсем другая, чем сейчас. Я еще не видал таких лохмотьев. Шерсть на нем торчала из шкур, как трава на гнилой крыше.

— Это небольшой остров, — сказал Гнор. — Я давно живу здесь Восемь лет. Мне говорить трудно. Я очень много и давно молчу. Отвык.

Он тщательно разделял слова, редко давая им нужное выражение, а по временам делая паузы, в продолжение которых губы его не переставали двигаться.

Матрос испуганно посмотрел на Гнора и повернулся к Марду.

— Он выстрелил из револьвера, потом закрылся рукой, закричал и выстрелил еще раз. Меня стукнуло по

голове, я повалился, думая, что он перестанет. Кент бежал на него, но, услышав третий выстрел, отскочил в сторону. Больше он не стрелял. Я сшиб его с ног. Он, казалось, был рад этому, потому что не обижался. Мы потащили его к шлюпке, он смеялся. Тут у нас, у самой воды, началось легкое объяснение. Я ничего не мог понять, тогда Кент вразумил меня. «Он хочет,— сказал Кент,— чтобы мы ему дали переодеться». Я чуть не лопнул от смеха. Однако, не отпуская его ни на шаг, мы тронулись, куда он нас вел,— и что вы думаете?.. У него был, знаете ли, маленький гардероб в каменном ящике, вроде как у меня сундучок. Пока он натягивал свой наряд и перевязывал шишку на голове,— «слушай,— сказал мне Кент,— он из потерпевших крушение,— я слышал такие истории». Тогда этот человек взял меня за руку и поцеловал, а потом Кента. У меня было, признаться, погано на душе, так как я ударил его два раза, когда настиг...

— Зачем вы,— сказал Мард,— зачем вы стреляли в них? Объясните.

Гнор смотрел дальше строгого лица Марда — в тьму.

— Поймите,— произнес он особенным, заставившим многих вздрогнуть усилением голоса,— восемь лет. Я один. Солнце, песок, лес. Безмолвие. Раз вечером поднялся туман. Слушайте: я увидел лодку; она шла с моря; в ней было шесть человек. Шумит песок. Люди вышли на берег, зовут меня, смеются и машут руками. Я побежал, задыхаясь, не мог сказать слова, слов не было. Они стояли все на берегу... живые лица, как теперь вы. Они исчезли, когда я был от них ближе пяти шагов. Лодку унес туман. Туман рассеялся. Все по-старому. Солнце, песок, безмолвие. И море кругом.

Моряки сдвинулись тесно, некоторые встали на цыпочки, дыша в затылки передним. Иные оборачивались, как бы ища разделить впечатление с существом выше человека. Тишина достигла крайнего напряжения. Хриплый голос сказал:

— Молчите.

— Молчите,— подхватил другой.— Дайте ему сказать.

— Так было много раз,— продолжал Гнор.— Я кончил тем, что стал делать выстрелы. Звук выстрела уничтожал видение. После этого я, обыкновенно, целый день

не мог есть. Сегодня я не поверил; как всегда, не больше. Трудно быть одному.

Мард погладил большую руку.

— Как вас зовут?

— Гнор.

— Сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Кто вы?

— Сын инженера.

— Как попали сюда?

— Об этом,— неохотно сказал Гнор,— я расскажу одному вам.

Голоса их твердо и тяжело уходили в тьму моря: хмурый — одного, звонкий — другого; голоса разных людей.

— Вы чисто одеты,— продолжал Мард,— это для меня непонятно.

— Я хранил себя,— сказал Гнор,— для лучших времен.

— Вы также брились?

— Да.

— Чем вы питались?

— Чем случится.

— На что надеялись?

— На себя.

— И на нас также?

— Меньше, чем на себя.— Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все лица отразили его улыбку.— Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я не труп и не идиот.

Роз, стоявший позади Гнора, крепко хватил его по плечу и, вытащив из кармана платок, пронзительно высморкался; он был в восторге.

Иронический взгляд Аллигу остановился на Марде. Они смотрели друг другу в глаза, как авгуры, прекрасно понимающие, в чем дело. «Ты проиграл, кажись»,— говорило лицо штурмана. «Оберну вокруг пальца»,— ответил взгляд Марда.

— Идите сюда,— сказал капитан Гнору.— Идите за мной. Мы потолкуем внизу.

Они вышли из круга; множество глаз проводило высокий силуэт Гнора. Через минуту на палубе было три группы, беседующие вполголоса о тайнах моря, суевериях, душах умерших, пропавшей земле, огненном бриге из

Калифорнии. Четырнадцать взрослых ребят, делая страшные глаза и таинственно кашляя, рассказывали друг другу о приметах пиратов, о странствиях проклятой бочки с водкой, рыбьим запахе сирен, подводном гро-те, полном золотых слитков. Воображение их, получившее громовую встряску, несло кувыркком. Недавно еще ждавшие неумолимой и верной смерти, они забыли об этом; своя опасность лежала в кругу будней, о ней не стоило говорить.

Свет забытого фонаря выдвигал из тьмы наглухо за-драенный люк трюма, борта и нижнюю часть вант. Аллигу поднял фонарь; тени перескочили за борт.

— Это вы, Мард? — сказал Аллигу, приближая фо-нарь к лицу идущего. — Да, это вы, теленок не ошибает-ся. А он?

— Все в порядке, — вызывающе ответил Мард. — Не стоит беспокоиться, Аллигу.

— Хорошо, но вы проиграли.

— А может быть, вы?

— Как, — возразил удивленный штурман, — вы оста-вите его доживать тут? А бунта вы не боитесь?

— И я не камень, — сказал Мард. — Он рассказал мне подлую штуку... Нет, я говорить об этом теперь не буду. Хотя...

— Ну, — Аллигу переминался от нетерпения. — Деньги на бочку!

— Отстаньте!

— Тогда позвольте поздравить вас с пассажиром.

— С пассажиром? — Мард подвинулся к фонарю, и Аллигу увидел злорадно торжествующее лицо. — Оболь-стительнейший и драгоценнейший Аллигу, вы ошиблись. Я нанял его на два месяца хранителем моих свадебных подсвечников, а жалованье уплатил вперед, в чем имею расписку; запомните это, свирепый Аллигу, и будьте здоровы.

— Ну, дока, — сказал, оторопев, штурман после не-приятного долгого молчания. — Хорошо, вычтите из мо-его жалованья.

V

На подоконнике сидел человек. Он смотрел вниз с высоты третьего этажа, на вечернюю суету улицы. Дом, мостовая и человек дрожали от грохота экипажей.

Человек сидел долго,— до тех пор, пока черные углы крыш не утонули в черноте ночи. Уличные огни внизу отбрасывали живые тени; тени прохожих догоняли друг друга, тень лошади перебирала ногами. Маленькие пятна экипажных фонарей беззвучно мчались по мостовой. Черная дыра переулка, полная фантастических силуэтов, желтая от огня окон, уличного свиста и шума, напоминала крысиную жизнь мусорной ямы, освещенной заржавленным фонарем тряпичника.

Человек прыгнул с подоконника, но скоро нашел новое занятие. Он стал закрывать и открывать электричество, стараясь попасть взглядом в заранее намеченную точку обоев; комната сверкала и пропадала, повинувшись щелканью выключателя. Человек сильно скучал.

Неизвестно, чем бы он занялся после этого, если бы до конца вечера остался один. С некоторых пор ему доставляло тихое удовольствие сидеть дома, проводя бесцельные дни, лишённые забот и развлечений, интересных мыслей и дел, смотреть в окно, перебирать старые письма, отделяя себя ими от настоящего; его никуда не тянуло, и ничего ему не хотелось; у него был хороший аппетит, крепкий сон; внутреннее состояние его напоминало в миниатюре зевот человека, утомленного китайской головоломкой и бросившего, наконец, это занятие.

Так утомляет жизнь и так сказывается у многих усталость; душа и тело довольствуются пустяками, отвечая всему гримасой тусклого равнодушия. Энниок обдумал этот вопрос и нашел, что стареет. Но и это было для него безразлично.

В дверь постучали: сначала тихо, потом громче.
— Войдите,— сказал Энниок.

Человек, перешагнувший порог, остановился перед Энниоком, закрывая дверь рукой позади себя и слегка наклоняясь, в позе напряженного ожидания. Энниок пристально посмотрел на него и отступил в угол; забыть это лицо, мускулистое, с маленьким подбородком и ртом, было не в его силах.

Вошедший, стоя у двери, наполнял собой мир — и Энниок, пошатываясь от бьющего в голову набата, ясно увидел это лицо таким, каким было оно прежде, давно. Сердце его на один нестерпимый миг перестало биться; мертвея и теряясь, он молча тер руки. Гнор шумно вздохнул.

— Это вы,— глухо сказал он.— Вы, Энниок. Ну, вот мы и вместе. Я рад.

Два человека, стоя друг против друга, тоскливо бледнели, улыбаясь улыбкой стиснутых ртов.

— Вырвался!— крикнул Энниок. Это был болезненный вопль раненого. Он сильно ударил кулаком о стол, разбив руку; собрав всю силу воли, овладел, насколько это было возможно, заплясавшими нервами и выпрямился. Он был вне себя.

— Это вы!— наслаждаясь повторил Гнор.— Вот вы. От головы до пяток, во весь рост. Молчите. Я восемь лет ждал встречи.— Нервное взбешенное лицо его дергала судорога.— Вы ждали меня?

— Нет.— Энниок подошел к Гнору.— Вы знаете— это катастрофа.— Обуздав страх, он вдруг резко переменялся и стал, как всегда.— Я лгу. Я очень рад видеть вас, Гнор.

Гнор засмеялся.

— Энниок, едва ли вы рады мне. Много, слишком много поднимается в душе чувств и мыслей... Если бы я мог все сразу обрушить на вашу голову! Довольно крика. Я стих.

Он помолчал; страшное спокойствие, похожее на неподвижность работающего парового котла, дало ему силы говорить дальше.

— Энниок,— сказал Гнор,— продолжим нашу игру.

— Я живу в гостинице.— Энниок пожал плечами в знак сожаления.— Неудобно мешать соседям. Выстрелы— мало популярная музыка. Но мы, конечно, изобретем что-нибудь.

Гнор не ответил; опустив голову, он думал о том, что может не выйти живым отсюда. «Зато я буду до конца прав— и Кармен узнает об этом. Кусочек свинца осмыслит все мои восемь лет, как точка».

Энниок долго смотрел на него. Любопытство неистребимо.

— Как вы?..— хотел спросить Энниок; Гнор перебил его.

— Не все ли равно? Я здесь. А вы— как вы зажали рты?

— Деньги,— коротко сказал Энниок.

— Вы страшны мне,— заговорил Гнор.— С виду я,

может быть, теперь и спокоен, но мне душно и тесно с вами; воздух, которым вы дышите, мне противен. Вы мне больше, чем враг,—вы ужас мой. Можете смотреть на меня сколько угодно. Я не из тех, кто прощает.

— Зачем прощение? — сказал Энниок. — Я всегда готов заплатить. Слова теперь бессильны. Нас захватил ураган; кто не разобьет лоб, тот и прав.

Он закурил слегка дрожащими пальцами сигару и усиленно затынулся, жадно глотая дым.

— Бросим жребий.

Энниок кивнул головой, позвонил и сказал лакею:

— Дайте вино, сигары и карты.

Гнор сел у стола; тягостное оцепенение приковало его к стулу; он долго сидел, понурившись, сжав руки между колен, стараясь представить, как произойдет все; поднос звякнул у его локтя; Энниок отошел от окна.

— Мы сделаем все прилично,— не повышая голоса, сказал он. — Вино это старше вас, Гнор; вы томились в лесах, целовали Кармен, учились и родились, а оно уже лежало в погребе. — Он налил себе и Гнору, стараясь не расплескать. — Мы, Гнор, любим одну женщину. Она предпочла вас; а моя страсть поэтому выросла до чудовищных размеров. И это, может быть, мое оправдание. А вы бьете в точку.

— Энниок,— заговорил Гнор,— мне только теперь пришло в голову, что при других обстоятельствах мы, может быть, не были бы врагами. Но это так, к слову. Я требую справедливости. Слезы и кровь бросаются мне в голову при мысли о том, что перенес я. Но я перенес — слава богу, и ставлю жизнь против жизни. Мне снова есть чем рисковать,— не по вашей вине. У меня много седых волос, а ведь мне нет еще тридцати. Я вас искал упорно и долго, работая, как лошадь, чтобы достать денег, переезжая из города в город. Вы снились мне. Вы и Кармен.

Энниок сел против него; держа стакан в левой руке, он правой распечатал колоду.

— Черная ответит за все.

— Хорошо. — Гнор протянул руку. — Позвольте начать мне. А перед этим я выпью.

Взяв стакан и прихлебывая, он потянул карту. Энниок удержал его руку, сказав:

— Колода не тасована.

Он стал тасовать карты, долго мешал их, потом веером развернул на столе, крапом вверх.

— Если хотите, вы первый.

Гнор взял карту, не раздумывая, — первую попавшуюся под руку.

— Берите вы.

Энниок выбрал из середины, хотел взглянуть, но раздумал и посмотрел на партнера. Их глаза встретились. Рука каждого лежала на карте. Поднять ее было не так просто. Пальцы не повиновались Энниоку. Он сделал усилие, заставив их слушаться, и выбросил туза червей. Красное очко блеснуло, как молния, радостно — одному, мраком — другому.

— Шестерка бубей, — сказал Гнор, открывая свою. — Начнем снова.

— Это — как бы двойной выстрел. — Энниок взмахнул пальцами над колодой и, помедлив, взял крайнюю. — Вот та лежала с ней рядом, — заметил Гнор, — та и будет моя.

— Черви и бубны светятся в ваших глазах, — сказал Энниок, — пики — в моих. — Он успокоился, первая карта была страшнее, но чувствовал где-то внутри, что кончится это для него плохо. — Откройте сначала вы, мне хочется продлить удовольствие.

Гнор поднял руку, показал валета червей и бросил его на стол. Конвульсия сжала ему горло; но он сдержался, только глаза его блеснули странным и жутким весельем.

— Так и есть, — сказал Энниок, — карта моя тяжелая; предчувствие, кажется, не обманет. Двойка пик.

Он разорвал ее на множество клочков, подбросил вверх — и белые струйки, исчертив воздух, осели на стол белыми неровным пятнами.

— Смерть двойке, — проговорил Энниок, — смерть и мне.

Гнор пристально посмотрел на него, встал и надел шляпу. В душе его не было жалости, но ощущение близкой чужой смерти заставило его пережить скверную минуту. Он укрепил себя воспоминаниями; бледные дни отчаяния, поднявшись из могилы Аша, грозным хором окружали Гнора; прав он.

— Энниок, — осторожно сказал Гнор, — я выиграл и удаляюсь. Отдайте долг судьбе без меня. Но есть у ме-

ня просьба: скажите, почему проснулись мы трое в один день, когда вы, по-видимому, уже решили мою участь? Можете и не отвечать, я не настаиваю.

— Это цветок из Ванкувера,— не сразу ответил Энниок, беря третью сигару.— Я сделаю вам нечто вроде маленькой исповеди. Цветок был привезен мной; я не помню его названия; он невелик, зеленый, с коричневыми тычинками. Венчик распускается каждый день утром, свертываясь к одиннадцати. Накануне я сказал той, которую продолжаю любить: «Встаньте рано, я покажу вам каприз растительного мира». Вы знаете Кармен, Гнор; ей трудно отказать другому в маленьком удовольствии. Кроме того, это ведь действительно интересно. Утром она была сама как цветок; мы вышли на террасу; я нес в руках ящик с растением. Венчик, похожий на саранчу, медленно расправлял лепестки. Они выровнялись, напряглись—и цветок стал покачиваться от ветра. Он был не совсем красив, но оригинален. Кармен смотрела и улыбалась. «Он дышит,— сказала она,— такой маленький». Тогда я взял ее за руку и сказал то, что долго меня терзало; я сказал ей о своей любви. Она покраснела, смотря на меня в упор и отрицательно качая головой. Ее лицо сказала мне больше, чем старое слово «нет», к которому меня совсем не приучили женщины. «Нет,— холодно сказала она,— это невозможно. Прощайте». Она стояла некоторое время задумавшись, потом ушла в сад. Я догнал ее больной от горя и продолжал говорить — не знаю что. «Опомнитесь»,— сказала она. Вне себя от страсти я обнял ее и поцеловал. Она замерла; я прижал ее к сердцу и поцеловал в губы, но силы к ней тотчас вернулись, она закричала и вырвалась. Так было. Я мог только мстить — вам; я мстил. Будьте уверены, что, если бы вы споткнулись о черную масть, я не остановил бы вас.

— Я знаю это,— спокойно возразил Гнор.— Вдвоем нам не жить на свете. Прощайте.

Детское живет в человеке до седых волос— Энниок удержал Гнора взглядом и загородил дверь.

— Вы,— самолюбиво сказал он,— вы, гибкая человеческая сталь, должны помнить, что у вас был достойный противник.

— Верно,— сухо ответил Гнор,— пощечина и пожатие руки — этим я выразил бы всего вас. В силу из-

вестной причины я не делаю первого. Возьмите второе.

Они протянули руки, стиснув друг другу пальцы; это было странное, злое и задумчивое пожатие сильных врагов.

Последний взгляд их оборвала закрытая Гнором дверь; Энниок опустил голову.

— Я остаюсь с таким чувством,— прошептал он,— как будто был шумный, головокружительный, грозной красоты бал; он длился долго, и все устали. Гости разъехались, хозяин остался один; одна за другой гаснут свечи, грядет мрак.

Он подошел к столу, отыскал, расшвыряв карты, револьвер и почесал дулом висок. Прикосновение холодной стали к пылающей коже было почти приятным. Потом стал припоминать жизнь и удивился: все казалось в ней старообразным и глупым.

— Я мог бы обмануть его,— сказал Энниок,— но не привык бегать и прятаться. А это было бы неизбежно. К чему? Я взял от жизни все, что хотел, кроме одного. И на этом «одном» сломал шею. Нет, все вышло как-то совсем кстати и импозантно.

— Глупая смерть,— продолжал Энниок, вертя барабан револьвера.— Скучно умирать так от выстрела. Я могу изобрести что-нибудь. Что — не знаю; надо пройтись.

Он быстро оделся, вышел и стал бродить по улицам. В туземных кварталах горели масляные фонари из красной и голубой бумаги; воняло горелым маслом, отбросами, жирной пылью. Липкий мрак наполнял переулки; стучали одинокие ручные тележки; фантастические контуры храмов теплились редкими огоньками. Мостовая, усеянная шелухой фруктов, соломой и клочками газет, окружала подножья уличных фонарей светлыми дисками; сновали прохожие; высокие, закутанные до переносья женщины шли медленной поступью; черные глаза их, подернутые влажным блеском, звали к истасканным циночкам, куче голых ребят и грязному пестуху семьи, поглаживающему бороду за стаканом апельсиновой воды.

Энниок шел, привыкая к мысли о близкой смерти. За углом раздался меланхолический стон туземного барабана, пронзительный вой рожков: адская музыка со-

проводжала ночную религиозную процессию. Тотчас же из-за старого дома высыпала густая толпа; впереди, кривляясь и размахивая палками, сновали юродивые; туча мальчишек брела сбоку; на высоких резных палках качались маленькие фонари, изображения святых, скорченные темные идола, напоминавшие свирепых младенцев в материнской утробе; полуосвещенное море голов теснилось вокруг них, вопя и рыдая; блестела тусклая позолота дерева; металлические хоругви, задевая друг друга, звенели и дребезжали.

Энниок остановился и усмехнулся: дерзкая мысль пришла ему в голову. Решив умереть шумно, он быстро отыскал глазами наиболее почтенного, увешанного погремушками старика. У старика было строгое, взволнованное и молитвенное лицо; Энниок рассмеялся; тяжкие перебои сердца на мгновение стеснили дыхание; затем, чувствуя, что рушится связь с жизнью и темная жуть кружит голову, он бросился в середину толпы.

Процессия остановилась; смуглые плечи толкали Энниока со всех сторон; смешанное горячее дыхание, запах пота и воска ошеломили его, он зашатался, но не упал, поднял руки и, потрясая вырванным у старика идолом, крикнул изо всей силы:

— Плясунчики, голые обезьяны! Плюньте на своих деревяшек! Вы очень забавны, но надоели!

Свирепый рев возбудил его; в исступлении, уже не сознавая, что делает, он швырнул идола в первое, искаженное злобой, коричневое лицо; глиняный бог, встретив мостовую, разлетелся кусками. В то же время режущий удар по лицу свалил Энниока; взрыв ярости пронесся над ним; тело затрепетало и вытянулось.

Принимая последние, добивающие удары фанатиков, Энниок, охватив руками голову, залитую кровью, услышал явственный, идущий как бы издалека голос; голос этот повторил его собственные недавние слова:

— Бал кончился, разъехались гости, хозяин остается один. И мрак одевает залы.

VI

«Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек».

Подумав это, Гнор обратился к прошлому. Там была юность; нежные, озаряющие душу голоса ясной любви;

заманчиво кружащая голову жуткость все полнее и радостнее звучащей жизни; темный ад горя,— восемь лет потрясения, исступленной жажды, слез и проклятий, чудовищный, безобразный жребий; проказа времени; гора, обрушенная на ребенка; солнце, песок, безмолвие. Дни и ночи молитв, обращенных к себе: «спасайся»!

Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще дыша часто и утомленно, но с отдыхающим телом и раскрепощенной душой. Прошрое лежало на западе, в стране светлых возгласов и уродливых теней; он долго смотрел туда, всему было одно имя — Кармен.

И, простив прошлому, уничтожая его, оставил он одно имя — Кармен.

В настоящем Гнор видел себя, сожженного безгласной любовью, страданием многих лет, окаменевшего в одном желании, более сильном, чем закон и радость. Он был одержим тоской, увеличивающей изо дня в день силы переносить ее. Это был юг жизни, ее знойный полдень; жаркие голубые тени, жажда и шум невидимого еще ключа. Всему было одно имя — Кармен. Только одно было у него в настоящем — имя, обвеянное волнением, боготворимое имя женщины с золотой кожей — Кармен.

Будущее — красный восток, утренний ветер, звезда, гаснущая над чудесным туманом, радостная бодрость зари, слезы и смех земли; будущему могло быть только одно единственное имя — Кармен.

Гнор встал. Звонкая тяжесть секунд душила его. Время от времени полный огонь сознания ставил его на ноги во весь рост перед закрытой дверью не наступившего еще счастья; он припоминал, что находится здесь, в этом доме, где все знакомо и все в страшной близости с ним, а сам он чужой и будет чужой до тех пор, пока не выйдет из двери та, для которой он свой, родной, близкий, потерянный, жданный, любимый.

Так ли это? Острая волна мысли падала, уничтожаемая волнением, и Гнор мучился новым, ужасным, что отвергала его душа, как религиозный человек отвергает кошунство, навязчиво сверлящее мозг. Восемь лет легло между ними; своя, независимая от него текла жизнь Кармен — и он уже видел ее, взявшую счастье с другим, вспоминающую о нем изредка в сонных грезах или, может быть, в минуты задумчивости, когда грустная неудовлетворенность жизнью перебивается мимолетным

развлечением, смехом гостя, заботой дня, интересом минуты. Комната, в которой сидел Гнор, напоминала ему лучшие его дни; низкая, под цвет сумерек мебель, бледные стены, задумчивое вечернее окно, полуспущенная портьера с нырнувшим под нее светом соседней залы — все жило так же, как он, — болезненно неподвижной жизнью, замирая от ожидания. Гнор просил только одного — чуда, чуда любви, встречи, убивающей горе, огненного удара — того, о чем бессильно умолкает язык, так как нет в мире радости больше и невыразимее, чем взволнованное лицо женщины. Он ждал ее кротко, как дитя; жадно, как истомленный любовник; грозно и молча, как восстанавливающий право. Секундой он переживал годы; мир, полный терпеливой любви, окружал его; больной от надежды, растерянный, улыбающийся, Гнор, стоя, ждал — и ожидание мертвило его.

Рука, откинувшая портьеру, сделала то, что было выше сил Гнора; он бросился вперед и остановился, отступил назад и стал нем; все последующее навеки поработило его память. Та же, та самая, что много лет назад играла ему первую половину старинной песенки, вошла в комнату. Ее лицо выделилось и удесятирилось Гнору; он взял ее за плечи, не помня себя, забыв, что сказал; звук собственного голоса казался ему диким и слабым, и с криком, с невыразимым отчаянием счастья, берущего глухо и слепо первую, еще тягостную от рыданий ласку, он склонился к ногам Кармен, обнимая их ревнивым кольцом вздрагивающих измученных рук. Сквозь шелк платья нежное тепло колен прильнуло к его щеке; он упивался им, крепче прижимал голову и, с мокрым от бешеных слез лицом, молчал, потерянный для всего.

Маленькие мягкие руки уперлись ему в голову, оттолкнули ее, схватили и обняли.

— Гнор, мой дорогой, мой мальчик, — услышал он после вечности блаженной тоски. — Ты ли это? Я ждала тебя, ждала долго-долго, и ты пришел.

— Молчи, — сказал Гнор, — дай умереть мне здесь, у твоих ног. Я не могу удержать слез, прости меня. Что было со мной? Сон? Нет, хуже. Я еще не хочу видеть твоего взгляда, Кармен; не подымай меня, мне хорошо так, я был твой всегда.

Тоненькая, высокая девушка нагнулась к целующему ее платью человеку. Мгновенно и чудесно изменилось ее лицо: прекрасное раньше, оно было теперь более чем прекрасным,—радостным, страстно живущим лицом женщины. Как дети, сели они на полу, не замечая этого, сжимая руки, глядя друг другу в лицо, и все, чем жили оба до встречи, стало для них пустым.

— Гнор, куда уходил ты, где твоя жизнь? Я не слышу, не чувствую ее... Ведь она моя, с первой до последней минуты... Что было с тобой?

Гнор поднял девушку высоко на руках, прижимая к себе, целуя в глаза и губы; тонкие сильные руки ее держали его голову, не отрываясь, притягивая к темным глазам.

— Кармен,—сказал Гнор,—настало время доиграть арию. Я шел к тебе долгим любящим усилием; возьми меня, лиши жизни, сделай, что хочешь,—я дожил свое. Смотри на меня, Кармен, смотри и запомни. Я не тот, ты та же; но выправится моя душа — и в первое же раннее утро не будет нашей разлуки. Ее покроет любовь. Не спрашивай; потом, когда схлынет это безумие — безумие твоих колен, твоего тела, тебя, твоих глаз и слов, первых слов за восемь лет,—я расскажу тебе сказку — и ты поплачешь. Не надо плакать теперь. Пусть все живут так. Вчера ты играла мне, а сегодня я видел сон, что мы никогда больше не встретимся. Я поседел от этого сна — значит, люблю. Это ты, ты!..

Их слезы смешались еще раз — завидные, редкие слезы — и тогда, медленно отстранив девушку, Гнор первый раз, улыбаясь, посмотрел в ее кинувшееся к нему, бледное от долгих призывов, тоскующее, родное лицо.

— Как мог я жить без тебя,—сказал Гнор,—теперь я не пойму этого.

— Я никогда не думала, что ты умер.

— Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя на шаг.—Он поцеловал ее ресницы; они были мокрые, милые и соленые.—Не спрашивай ни о чем, я еще не владею собой. Я забыл все, что хотел сказать тебе, идя сюда. Вот еще немного слез, это последние. Я счастлив... но не надо об этом думать. Простим жизни, Кармен; она — нищая перед нами. Дай мне обнять тебя. Вот так. И молчи.

Около того времени, но, стало быть, немного позже описанной нами сцены, по улице шел прохожий — гладко выбритый господин с живыми глазами; внимание его было привлечено звуками музыки. В глубине большого высокого дома неизвестный музыкант играл на рояле вторую половину арии, хорошо известной прохожему. Прохожий остановился, как останавливаются, придираясь к первому случаю, малозанятые люди, послушал немного и пошел далее, напевая вполголоса эту же песенку:

Забвенье — печальный, обманчивый звук,
Понятный лишь только в могиле;
Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук
Предать мы забвению не в силе.
Что в душу запало — останется в ней.
Ни моря нет глубже, ни бездны темней.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее Собрание сочинений А. С. Грина вошли такие крупные произведения писателя, как «Алые паруса», «Блестящий мир», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесс и Моргана», «Дорога никуда», а также рассказы и повести, составляющие значительную часть творческого наследия писателя. Рассказы в Собрании расположены по тематическим сборникам. Такое расположение наиболее точно выражает волю автора, поскольку Грин на протяжении всей своей творческой жизни, кроме публикаций в периодике, издавал свои рассказы именно тематическими сборниками. Их, в сущности, можно охарактеризовать как циклы — настолько они органичны в своем составе. Таких сборников у писателя вышло тринадцать¹: «Шапка-невидимка» (1908), «Штурман «Четырех ветров» (1910), «Пролив бурь» и «Позорный столб» (1913), «Загадочные истории» и «Знаменитая книга» (1915), «Искатель приключений» (1916), «Белый огонь» (1922)², «Сердце пустыни» (1924), «На облачном берегу» (1925), «Брак Августа Эсборна» и «По закону» (1927), «Огонь и вода» (1930).

В 1913 году издательство «Прометей» в Петербурге выпустило трехтомник Грина, в который вошли сборники «Штурман «Четырех ветров», «Пролив бурь» и «Позорный столб». Затем, в конце 20-х годов, было предпринято издание Собрания сочинений Грина издательством «Мысль». Предполагалось выпустить пятнадцать томов, но вышло всего восемь. Девятый том был издан после ликвидации издательства «Мысль» в издательстве «Федерация». А. Грин не принимал активного участия в этом издании — в это время он был болен, находился в Крыму, корректур не держал, и многие рассказы печатались в Собрании без учета позднейшей правки автора. Сохранился список произведений, отобранных для этого издания самим автором. В список Грин включил, кроме произведений, входивших в тематические сборники, также рассказы и повести, печатавшиеся отдельно или в периодике. Лучшие из них помещены в настоящем издании в отдельных разделах. Расположены они в хронологической последовательности с учетом того, что творчество Грина резко делится на дореволюционное (1906—1917) и послереволюционное (1918—1932). За пределами авторского «списка», то есть издания «Мысль»,

¹ Эти сборники затем неоднократно переиздавались, и рассказы, входившие в них, подчас давались совсем в другом порядке.

² Составившие этот сборник три рассказа затем вошли в сборник «Огонь и вода» и печатаются в его составе.

остались многие произведения, публиковавшиеся в периодике, некоторые из них, достойные внимания широкого читателя, включены в соответствующие разделы настоящего издания.

ШАПКА-НЕВИДИМКА

М а р а т. Впервые — в журнале «Трудовой путь», 1907, № 5. *Демисек* (фр. *demi-sec*) — полусухое. Сорт вина.

Культ Венеры и Астарты — Венера у древних римлян, Астарта у древних сирийцев — богини любви. Здесь — преклонение перед чувственной любовью.

«Меж высоких хлебов затерялось...» — стихотворение Н. А. Некрасова «Похороны», ставшее народной песней. Цитировано А. С. Грином неточно.

...буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса — фантастические обозначения в Откровении Иоанна Богослова — библейском пророчестве о конце света.

Кек-уок — танец, модный в начале века.

К и р п и ч и м у з ы к а. Впервые — в еженедельном приложении к газете «Товарищ», 1907, 3 и 10 ноября. Публиковался также под названием «Столкновение».

Галах (местн.) — пьяница, забудыга.

Зимогор (обл.) — бродяга, босяк.

Уфимские «князья» — в дореволюционной России насмешливое прозвище татар.

Двунадесятый (слав.) — двенадцатый. Здесь один из 12 главных праздников православной церкви.

«Маменька родимая, свеча неугасимая...» — слова из народной песни XIX века.

Чалдон (обл.) — коренной житель Сибири.

Подземное. Впервые под заглавием «Ночь» — в журнале «Трудовой путь», 1907, № 5.

П.С.Р. — партия социалистов-революционеров, сокращенно всеров.

Эсдеки (сокращ.) — социал-демократы, члены РСДРП.

Уврие (франц. *ouvrier*) — рабочий.

Гектограф, мимеограф — копировальные аппараты, при помощи которых размножали рукописный или машинописный текст.

Бунт — здесь груда товара.

«Кавказ и Меркурий» — название русского пароходного общества конца XIX — начала XX века.

Ротмистр (устар.) — чин в кавалерии, равный пехотному капитану. Здесь жандармский чин.

Екатеринослав — прежнее (до 1926 г.) название Днепропетровска.

Бен-Акиба (Акиба Бен Иосиф, I век н. э.) — еврейский ученый и политический деятель.

Карбонарские — от карбонарии (итал. *carbonaro*) — угольщики. Тайное политическое общество в Италии, в начале XIX века боровшееся против владычества французов, за воссоединение Италии.

В И т а л и ю. Впервые — в газете «Биржевые ведомости», веч. вып., 1906, 5 (18) декабря. Подпись А. А. М-в. Автор проживал в то время по паспорту умершего вятского мещанина А. А. Мальгинова. Первый легально опубликованный рассказ А. С. Грина. В газете допущена опечатка — рассказ назван «В Италии».

С л у ч а й. Впервые — в газете «Товарищ», 1907, 25 марта (7 апреля). Этот рассказ впервые подписан псевдонимом «А. С. Грин». Публиковался также в измененной редакции под заглавием «Прусский разъезд» в журнале «XX-й век», 1915, № 4.

Тычина (укр.) — кол.

А п е л ь с и н ы. Впервые — в газете «Биржевые ведомости», утр. вып., 1907, 24 июня (7 июля).

Н а д о с у г е. Впервые — в газете «Товарищ», 1907, 20 июля (2 августа).

Чопуритесь — здесь от чопорный, строго соблюдающий правила приличия.

Товарищ прокурора — в дореволюционной России слово «товарищ» в соединении с названием должности обозначало понятие «заместитель».

Г о с т ь. Впервые — в сборнике «Шапка-невидимка» (1908). *Каутский, Карл* (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог центризма.

Л ю б и м ы й. Впервые — в газете «Биржевые ведомости», утр. вып., 1907, 18 ноября (1 декабря).

Трен (франц. *traine*) — шлейф у женского платья.

К а р а н т и н. Впервые — в сборнике «Шапка-невидимка» (1908).

Полевал — здесь: охотился на полевую дичь.

Вольт (франц. *volte*) — поворот.

Освобожденец — член либеральной группы, объединявшейся вокруг журнала «Освобождение» (1902—1905), издававшегося за границей под редакцией П. Б. Струве.

«Революционная Россия» — нелегальная эсеровская газета, издававшаяся в 1900—1905 гг.

Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта, 1806—1856) — немецкий философ-идеалист, идеолог анархизма и индивидуализма.

Ницше, Фридрих (1844—1900) — немецкий философ-идеалист, один из предшественников фашистской идеологии.

ШТУРМАН «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

Р а й. Впервые — в «Новом журнале для всех», 1909, № 3. Часть этого рассказа под заглавием «Приключение» была опубликована в журнале «Огонек», 1908, № 41, и газете «Биржевые

ведомости», утр. вып., 1908, 21 октября (1 ноября). Печатается по изд.: Полное собрание сочинений А. С. Грина, т. 6, Л., «Мысль», 1928¹.

Коронная — государственная служба.

Стуколка — азартная карточная игра.

Воздушный корабль. Впервые — в журнале «Всемирная панорама», 1909, № 2.

«По синим волнам океана...» — стихотворение М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль». Приведено А. С. Гриню не полностью и неточно.

Штурман «Четырех ветров». Впервые — в газете «Слово», 1909, 31 мая (13 июня). В этой публикации опечатка в заглавии «Штурм «Четырех ветров».

Жулькали — слово, выдуманное А. С. Гриню.

Принагтовленная — привязанная.

Бивань — здесь: задняя мачта на судне.

История одного убийства. Впервые — в книге «Рассказы», т. 1 (1910).

Словесность — в царской армии занятия солдат по изучению уставов, положений, инструкций и т. п.

...*лять суток переменным* — дисциплинарное наказание в виде ареста с выполнением днем служебных обязанностей.

Артельщик — здесь лиго, производящее закупки продуктов и контролирующее норму их закладки в котел.

Телеграфист из Медянского бора. Впервые под заглавием «Телеграфист» — в журнале «Русская мысль», 1908, № 12. Печатается по сборнику: «История одного убийства. Рассказы», М.-Л., «Земля и Фабрика», 1926.

Мочажины — топкое место.

Птица Рок — предвестница судьбы.

Окио в лесу. Впервые — в газете «Слово», 1909, 11 (24) мая. Печатается по изд.: Полное собрание сочинений А. С. Грина, т. 8, Л., «Мысль», 1929.

Происшествие в улице Пса. Впервые — в газете «Слово», 1909, 21 июня (4 июля). Позже публиковался и под заглавием «Происшествие на улице Пса».

Остров Рено. Впервые — в «Новом журнале для всех», 1909, № 6.

Штирборт — правый по ходу судна борт.

Клипер — быстроходное парусное судно.

Южный крест — созвездие в Южном полушарии.

Кабельтов — $\frac{1}{10}$ часть морской мили — 185,2 метра.

Штаг — снасть стоячего такелажа, удерживающая мачты.

Ванты — оттяжки для бокового крепления мачт.

Клюз — отверстие в борту и палубе для якорной цепи.

¹ Источник публикации в настоящем Собрании сочинений А. С. Грина указывается только для произведений, не вошедших в Собрание сочинений А. С. Грина, вышедшее в изд. «Правда» («Библиотека «Огонек») в 1965 году.

Гафель — продольная рея для крепления верхней кромки парусов и поднятия флага.

Фараон — название азартной карточной игры.

Лисель — парус, поднимаемый сбоку от основного прямого, при слабом ветре.

Шкот — трос для натягивания парусов, небольшой конец пеньковой снасти.

Штуцер — старинное нарезное ружье.

Макао — здесь: название азартной игры в карты или кости.

Брашпиль — лебедка с горизонтальным валом для подъема якоря, подтягивания при швартовке.

Фал — трос для подъема рей, парусов, флагов и т. п.

Бушприт — горизонтальный или наклонный брус, как продолжение носовой оконечности судна, служащий для вынесения вперед носовых парусов.

Третий этаж. Впервые — в журнале «Неделя «Современного слова», 1908, № 1. Рассказ посвящен Н. Быховскому — члену партии эсеров, с которым А. С. Грин поддерживал связь в 1902—1906 годах.

Инсургент — повстанец.

Маленький комитет. Впервые — в журнале «Неделя «Современного слова», 1908, № 20.

Бакуни М. А. (1814—1876) — русский революционер, идеолог анархизма и народничества.

Лаверов П. Л. (1823—1900) — русский социолог и публицист, теоретик революционного народничества.

Колония Ланфьер. Впервые — в «Новом журнале для всех», 1910, № 15.

Барк — большое парусное судно.

Тиара — тройная корона римского папы.

Дуриан (прав. дуриан) — плод тропического дерева с резким неприятным запахом.

Митральеза — старинное многоствольное оружие.

Вашгерд — простейший аппарат для промывки золотоносного песка.

ПРОЛИВ БУРЬ

Пролив бурь. Впервые — в «Новом журнале для всех», 1909, № 20.

Шхуна — парусное судно с двумя и более мачтами и косыми парусами.

Выбленки — ступени веревочной лестницы.

Салинг — рама, устанавливаемая на верхних частях мачт, служащая для лучшего их крепления.

Форштевень — продолжение кнля, образующее носовую оконечность судна.

Ватерлиния — черта вдоль борта, показывающая осадку судна.

Тимберс — верхний брус шпангоута — деревянной конструкции, к которой крепится обшивка судна.

Козана, Мортимера и т. д. — системы револьверов и пистолетов.

Кентуккийские, Бердана и т. п. — системы ружей.

Фордевинд — курс судна, совпадающий с направлением ветра.

Галс — курс судна относительно ветра.

Склянки — удары в корабельный колокол (рынду) каждые полчаса. (Прежде вахтенное время на судах измерялось песочными часами, представлявшими собой стеклянный сосуд.)

Балясина — свинцовый брусок; из таких брусков состоит балласт, применяемый для придания судну большей устойчивости.

Лот — приспособление или прибор для измерения глубины.

Брасопить — поворачивать реи в горизонтальной плоскости.

Фок — нижний прямой парус на передней мачте.

Грот — нижний прямой парус на второй от носа мачте.

В рифы (взять в рифы) — уменьшить площадь парусов при помощи рифов, специальных концов, продетых сквозь кромки парусов.

Жирандоль (франц. girandole) — настенный канделябр.

Бегучий такелаж — общее название подвижных снастей на судне.

Торнадо — смерч в Северной Америке.

Крюйс-камера — пороховой погреб.

Фрегат — трехмачтовое парусное судно.

Русленя — узкие площадки на высоте верхней палубы снаружи бортов; на русленях крепятся ваны.

Смерть Ромелинка. Впервые под заглавием «Смерть» — в журнале «Всемирная панорама», 1910, № 58.

Табльдот (франц. table d'hôte) — общий обеденный стол.

Леббок, Джон (1834—1913) — английский естествоиспытатель, археолог, популяризатор науки.

Дьявол Оранжевых Вод. Впервые — в «Летучем альманахе». 1913, вып. 4.

Феминизм — общее название течений в буржуазном женском движении за равные с мужчинами права.

Волонтер — доброволец, лицо, добровольно поступившее на военную службу.

На склоне холмов. Впервые — в журнале «Пробуждение», 1910, № 11.

Марабу — крупная птица из семейства антовых.

Трагедия плоскогорья Суан. Впервые — в журнале «Русская мысль», 1912, № 7.

Кларет — сорт вина.

Гризли — крупный американский серый медведь.

Пластрон — туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки.

Синодик — поминальная книжка.

Жизнь Гнора. Впервые — в «Новом журнале для всех», 1912, № 10.

Карамболь — бильярдная игра, при которой счет очков зависит от числа касаний красным шаром (акарамболом) других.

Ахтер-штевень (прав. ахтерштвень) — продолжение киля, образующее кормовую оконечность судна.

Ю. Киркин

СОДЕРЖАНИЕ

В. Вихров. Рыцарь мечты	3
-----------------------------------	---

ШАПКА-НЕВИДИМКА

Марат	35
Кирпич и музыка	48
Подземное	60
В Италию	78
Случай	86
Апельсины	94
На досуге	102
Гость	106
Любимый	110
Карантин	115

ШТУРМАН «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

Рай	148
Воздушный корабль	175
Штурман «Четырех ветров»	181
История одного убийства	186
Телеграфист из Медянского бора	202
Окно в лесу	240
Происшествие в улице Пса	245
Остров Рено	250
Третий этаж	272
Маленький комитет	280
Колония Ланфиер	286

ПРОЛИВ БУРЬ

Пролив бурь	341
Смерть Ромелинка	378
Дьявол Оранжевых Вод	385
На склоне холмов	407
Трагедия плоскогорья Суан	416
Жизнь Гиора	453
Примечания	489

А. С. ГРИН

**Собрание сочинений
в шести томах**

Том I

**Редактор тома
В. Л. Россельс**

**Оформление художника
А. И. Неровного**

**Технический редактор
А. И. Шагарина**

Сдано в набор 24 03 80 Подписано к печати 04 06 80
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,57 Уч.-изд. л. 28,10 Тираж 600 000 экз.
Изд. № 1518 Заказ № 2207. Цена 2 р. 60 к

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-137 ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70687

